ISSN 0130-6545

№ 5.1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ГРЭМ ГРИН
Последнее слово

КЭНДЗИ МАРУЯМА
Сердцебиение

ОЛДОС ХАКСЛИ
Гений и богиня

КАРЕН БЛИКСЕН
Поэт

ЧЕСЛАВ МИЛОШ
Стихи

К 100-летию МИХАИЛА БУЛГАКОВА

ЭЛЛЕНДЕА ПРОФФЕР
Художник и власть

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
О. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора),
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Международный общественный совет журнала
«Иностранная литература»

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия),
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия), МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал),
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

5 май **1991**

СОДЕРЖАНИЕ

ГРЭМ ГРИН — Последнее слово *(Рассказ. Перевод с английского Н. Трауберг)* 5

КЭНДЗИ МАРУЯМА — Сердцебиение *(Повесть. Перевод с японского Г. Чхартишвили)* 12

ИФТИХАР АРИФ — Стихи *(Перевод с урду Натэллы Горской. Вступление Анны Суворовой)* 84

ОЛДОС ХАКСЛИ — Гений и богиня *(Повесть. Перевод с английского и комментарии В. Бабкова)* 90

АНТОНИО ТАБУККИ — Новеллы *(Перевод с итальянского Наталии Ставровской)* 140

КАРЕН БЛИКСЕН — Поэт *(Новелла. Перевод с датского Е. Суриц)* 160

ЧЕСЛАВ МИЛОШ — Стихи *(Перевод с польского Иосифа Бродского и Владимира Британишского)*. Речь в Шведской королевской академии. Стокгольм, декабрь 1980 *(Перевод с польского Владимира Британишского)* 195

Критика

К 100-летию Михаила Булгакова

ЭЛЛЕНДЕА ПРОФФЕР — Художник и власть. По страницам романа «Мастер и Маргарита» 212

БОРИС СОКОЛОВ — Американский дипломат — знакомец Михаила Булгакова 221

Возвращаясь к напечатанному

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ — Переполох среди шпионов, или Метафизика предательства 224

Публицистика

УОЛТЕР ЛАКЁР — Наставники Гитлера *(Главы из книги «Россия и Германия». Перевод с английского О. Соловьяновой)* 228

Курьер «ИЛ» 250

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1991

На обложке:
ГЕНРИ МУР. Скульптурная композиция. Бронза. 1963—1964.

Главный художник **С. И. Мухин**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 05.03.91. Подписано в печать 06.05.91. Формат 70×108 1/16. Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. л. 26,10.

Тираж 147 400 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 1728
Отпечатано и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44. Зак.

ГРЭМ ГРИН

Последнее слово

РАССКАЗ

Перевод с английского Н. ТРАУБЕРГ

1

Старик почти совсем не удивился — он привык к необъяснимому,— когда какой-то человек дал ему паспорт на чужое имя и визу в страну, в которую он не думал и не хотел ехать. Он и впрямь был очень старым и пообвыкся с тихой, одинокой жизнью, без людей и без общения, даже нашел в ней какое-то счастье. У него была комната, там он и спал и жил, и кухонька, и ванная. Раз в месяц приходило маленькое пособие — он не знал, откуда оно, а на жизнь хватало. Возможно, это было связано с несчастным случаем, который много лет назад лишил его памяти. Помнил он только резкий звук, вспышку и долгую тьму, полную смутных снов. Проснулся он в этой самой комнатке.

— В аэропорт вас доставят двадцать пятого,— сказал незнакомец,— и посадят в самолет. Там, куда вы летите, вас встретят, есть и жилье. Будет лучше, если в полете вы не станете ни с кем беседовать.

— Двадцать пятого? Сейчас декабрь, да? — Ему было трудно следить за временем.

— Конечно, декабрь.

— Тогда это Рождество.

— Рождество отменили двадцать с лишним лет тому назад. После вашей беды.

Человек ушел, а он все думал, как же это можно отменить день. Оставшись в одиночестве, он поднял глаза к маленькому деревянному распятию над кроватью, словно ожидал ответа. Перекладина креста была отломана сбоку, не хватало одной руки — он нашел распятие два (или три?) года назад, на помойке, общей с соседями, которые никогда с ним не говорили. Сейчас он спросил вслух: «А Тебя? Тебя тоже отменили?» — и отсутствующая рука вроде бы ответила: «Да». Они ведь общались, помнили что-то вместе.

А вот с соседями он не общался. С тех пор как он пришел в себя здесь, он ни с кем не говорил, чувствуя, что они этого боятся, словно знают о нем то, чего не знает он. Быть может, они знали о преступлении, совершенном тогда, до тьмы. Еще был человек на улице, уже не сосед, его каждый день сменяли, он тоже ни с кем не говорил, даже со старушкой сверху, которая любила посплетничать. Как-то, на улице, она произнесла имя — не то, которое стояло в паспорте,— и глянула искоса на них обоих, на него и на этого человека. Имя обычное.

Однажды — может, потому, что долгий дождь сменился ясной погодой,— старик, отправляясь за хлебом, сказал человеку: «Благослови вас Бог, дорогой», а тот заморгал, как от внезапной боли, и резко от-

© Graham Greene, 1988, 1990.

вернулся. Старик пошел, купил хлеб, он больше им и питался и давно заметил, что его провожают в булочную. Все это было довольно странно, но не очень страшно. Как-то он сказал единственному собеседнику:

— Наверное, они хотят оставить нас с Тобой одних.

Он даже радовался, словно когда-то, во тьме забытых лет, нес непосильное бремя, а теперь освободился.

Пришел день, который он по-прежнему считал Рождеством; пришел и незнакомец.

— Я за вами,— сказал он,— отвезу вас в аэропорт. Вещи сложили?

— Вещей у меня мало, а чемодана и совсем нет.

— Схожу куплю.

Незнакомец ушел, старик завернул распятие в единственную кофту. Когда принесли чемодан, он положил его туда и прикрыл двумя рубашками.

— Это у вас все?

— В мои годы нужно немного.

— А что в карманах?

— Книжка.

— Дайте посмотрю.

— Зачем?

— Так приказано.

Он выхватил книгу прямо из рук, посмотрел на титульный лист.

— Это нельзя. Как вы ее достали?

— Она у меня с детства.

— Почему не отобрали в больнице? Придется сообщить.

— Никто не виноват. Я ее спрятал.

— Вы были без сознания. Прятать не могли.

— Наверное, они отвлеклись, спасали меня.

— Преступная халатность.

— Кажется, кто-то спрашивал, что это. Я не солгал. Я сказал, что это — из древней истории.

— Запрещенной истории. Придется сжечь.

— Это не так уж важно,— сказал старик.— Вы почитайте сперва немного, сами увидите.

— Не буду. Я верен генералу.

— Да, вы правы. Верность — великая добродетель. Вы не беспокойтесь, я за эти годы ее мало читал. Самое любимое — здесь, в голове, а ее вы не сожжете.

— Не зарекайтесь,— сказал незнакомец и больше ничего не говорил до самого аэропорта, а там все изменилось.

2

Офицер в форме поздоровался так учтиво, что старику показалось, будто он снова где-то в далеком прошлом. Он даже отдал честь. Он сказал:

— Генерал просил пожелать вам приятного путешествия.

— Куда вы меня везете?

Офицер не ответил, он спросил штатского:

— Это весь багаж?

— Да, только я книжку забрал.

— Покажите,— офицер взглянул на титул.— Да, конечно, так приказано, но можете ее вернуть. Особые обстоятельства. Он — гость генерала, да и вообще, какой от нее теперь вред?

— По закону...

— Закон может отстать от жизни.

Старик спросил иначе:

— Какая это линия?

— Вы тоже отстали от жизни, сэр. Теперь одна линия — Объединенная Всемирная.

— Сколько всего переменилось!

— Не волнуйтесь, время перемен позади. Все тихо, спокойно, всюду мир. Менять ничего не нужно.

— Куда вы меня везете?

— Просто в другую область. Четыре часа лету. Это — самолет генерала.

Самолет был удивительный. В большом салоне стояли широкие кресла, всего для шести человек, причем раскладные, кресла-кровати; через открытую дверь старик увидел ванну (он не видел их много лет, у него был только душ), и ему очень захотелось пролежать эти четыре часа в теплой воде. Между креслами и кабиной был бар. Стюард, чуть ли не кланяясь, предлагал напитки всех наций, если можно говорить о нациях в этом объединенном мире. Даже небогатый вид старика не уменьшал угодливости. Наверное, этот стюард вел себя так со всеми гостями генерала.

Офицер сел поодаль, словно хотел оставить в покое его и эту запрещенную книгу, но ему был нужен более глубокий покой. Он очень устал от тайн: почему он жил в той комнатке, откуда получал деньги, почему теперь в такой роскоши, да еще с ванной?.. Как нередко бывало, ум его шел по следу памяти, но она резко прервалась, когда раздался треск и наступила тьма. Сколько же этому лет? Он словно прожил их под общим наркозом, теперь просыпался. Вдруг ему стало страшно — что́ он вспомнит, если проснется в этом частном, роскошном самолете? Он решил почитать, книга открылась сама на любимом стихе, который он знал и так: «В мире был, и мир Его не узнал».

Стюард произнес над ухом:

— Икорки, сэр? Рюмочку водки? Бокал сухого вина?

Не отрываясь от привычной страницы, он сказал:

— Нет, спасибо. Я не хочу ни пить, ни есть.

Стюард отодвинул бокал и рюмку, зазвенело стекло, он что-то вспомнил. Рука сама словно бы положила что-то на стол, и он увидел перед собой много людей, склонивших головы, но тут раздался треск и наступила тьма...

Разбудил его голос стюарда:

— Пристегните ремень, сэр. Через пять минут посадка.

3

Другой офицер ждал у трапа и повел его к большой машине. Вся эта учтивость, вежливость, роскошь напоминала о чем-то. Он больше не удивлялся, словно когда-то давно так бывало. Рука сама собой поднялась, как бы отталкивая что-то, губы сами произнесли: «Я — слуга слуг...» Фраза оборвалась, когда стукнула дверца.

Они ехали по улицам, где никого не было, разве что очереди у редких лавок. Он снова начал: «Я слуга...» У гостиницы ждал управляющий. Он поклонился и сказал:

— Я горжусь, что у нас остановится гость генерала. Надеюсь, мы угодим вам во всем. Любое ваше желание...

Старик удивленно оглядел четырнадцать этажей и спросил:

— Сколько вы меня тут продержите?

— Номер заказан на одну ночь.

Офицер поспешил вмешаться.

— Генерала вы увидите завтра. Он хочет, чтобы вы как следует отдохнули.

Старик порылся в памяти и вспомнил имя. Воспоминания возвращались к нему кусками.

— Генерал Мегрим?

— Ну что вы! Генерал Мегрим скончался лет двадцать тому назад.

Швейцар поклонился ему. Портье подносил ключи. Офицер сказал:

— Я вас покину, а завтра утром зайду за вами ровно в одиннадцать. Генерал ждет вас в одиннадцать тридцать.

Управляющий проводил его до лифта.

Когда они оба ушли, портье спросил офицера:
— Кто он такой? Гость генерала? Судя по одежде, небогат.
— Он папа.
— Папа? А что это? — спросил портье, но офицер не ответил.

4

Когда управляющий оставил его, он понял, как устал, но все-таки с любопытством оглядел комнату, даже пощупал пышную перину на большой двуспальной кровати. Открыл дверь в ванную, увидел какие-то бутылочки. Распаковал он только деревянную фигурку и приладил у зеркала, на столике. Одежду бросил на стул, потом — лег, словно повинуясь приказу. Если бы он хоть что-то понял, он бы, наверное, не заснул, а так, не понимая, утонул в перине — и тут же явился сон. То, что он увидел во сне, он запомнил не полностью.

Он видел, что стоит в каком-то огромном сарае, перед десятком-другим людей. На одной стене висело искалеченное распятие, без руки, совсем как то, которое он прятал в чемодане. Он что-то говорил и не запомнил что, потому что все слова были на каком-то забытом или незнакомом языке — может, и не на одном. Сарай сжимался, пока не стал таким, как его комнатка, и перед ним, стариком, опустилась на колени старушка, а рядом была девочка, она стояла смотрела на него с презрением, словно хотела сказать: «Ничего не разберу! Нельзя ли как-нибудь по-человечески?».

Проснулся он, мучительно ощущая, что провалился, потерпел поражение, и тщетно пытался вернуться в сон, чтобы сказать девочке что-нибудь понятное. Он даже подыскивал слова. «Pax»[1],— произнес он вслух, но слово это было для нее чужеземным, как и для него. Он попытался еще: «Любовь», вроде вышло лучше, но все ж как-то плоско, да и неоднозначно, и он догадался, что толком не понимает этого слова. Еще неизвестно, любил ли он хоть кого-нибудь. Может быть, до странного треска и тьмы что-то такое и было... Но если любовь и впрямь что-то значила, он бы хоть что-то запомнил.

Невеселые мысли прервал слуга, принес кофе, какие-то хлебцы, рогалики, он таких не видел в булочной, где покупал единственную свою еду.

— Полковник просил напомнить,— сказал слуга,— что он придет в одиннадцать и отвезет вас к генералу. Одежда в шкафу. Если вы забыли в спешке бритву, губку или мыло, все в ванной.

— Моя одежда на стуле,— сказал он и улыбнулся слуге.— Я все ж не голый приехал.

— Мне приказали это убрать, все нужное здесь,— слуга показал на шкаф.

Старик смотрел, как забирают его брюки и кофту, носки и рубашку, и думал далеко не впервые, что пора бы все это постирать. Раньше он не хотел тратиться на чистку, ведь его видели только булочник да тот, кто за ним следил, соседи старались на него не смотреть, даже улицу перебегали. Другим положено ходить в чистом, но он на людях не бывал.

Слуга ушел, он постоял без брюк, размышляя о том, как все таинственно. Тут в дверь постучали и вошел офицер, который его привез.

— Что ж это вы не одеты, ничего не ели! Генерал ждет ровно в назначенное время.

— Слуга все унес.

— Ваша одежда в шкафу.— Он распахнул дверцу, старик увидел белый стихарь, белый плащ и сказал:

— Как же это?.. Нет... Я не имею права...

— Генерал хочет оказать вам честь. Он будет в полной форме. Вас встретит почетный караул. Наденьте форму и вы.

---

[1] Мир *(лат.)*.

— Форму?

— Одевайтесь поскорее. И побрейтесь. Вероятно, вас будут снимать для газет. Для Объединенного Всемирного Агентства.

Он послушно стал бриться, от растерянности порезался. Потом неохотно надел белые одежды. Посмотрелся в зеркало на дверце шкафа, испугался:

— Да я совсем как священник.

— Вы и были священником. Этот костюм предоставил вам Всемирный мифологический музей. Протяните руку...

Он послушался, начальство — это начальство. Офицер надел кольцо ему на палец.

— Музей не хотел давать перстень,— сказал он,— но генерал приказал им. Такой случай не повторится. Прошу вас, идите за мной.

Когда они уже выходили, офицер заметил на столике деревянную фигурку и сказал:

— Как же вам разрешили?

Старик никого не хотел подводить.

— Я очень хорошо это спрятал,— сказал он.

— Ладно. Музей с удовольствием возьмет.

— Я бы и сам сохранил...

— Навряд ли вам это понадобится после встречи с генералом.

5

Они ехали по странным, пустым улицам, до большой площади. Перед каким-то бывшим дворцом стояли солдаты. Машина остановилась. Офицер сказал:

— Здесь мы выйдем. Не пугайтесь. Генерал хочет оказать вам почести, как бывшему главе государства.

— Государства? Я не понимаю...

— Прошу, вот сюда.

Старик наступил бы на свой подол, если бы офицер не взял его под руку. Когда он выпрямился, раздался треск, он чуть не упал. Треск был такой, как тогда, перед долгой тьмой, только в десять раз громче. Голова у него просто раскололась, и в трещину ворвались воспоминания.. «Не понимаю»,— повторял он.

— Это в вашу честь.

Он посмотрел вниз и увидел подол одежды. Посмотрел на свою руку и увидел перстень. Лязгнула сталь. Солдаты приветствовали его.

6

Генерал учтиво поздоровался с ним и сразу перешел к делу.

— Прежде всего поймите,— сказал он,— что я никак не причастен к покушению. Один из моих предшественников, генерал Мегрим, допустил серьезную ошибку. Такие ошибки нередки, когда завершаются революции. У нас ушло лет сто, чтобы создать всемирное государство и установить всеобщий мир. Генерал, собственно, боялся вас и ваших немногочисленных последователей.

— Меня?

— Да. Вы поймите, ваша церковь вызвала немало войн. А мы, наконец, с войной покончили.

— Но вы вот генерал. Я видел там солдат.

— Они охраняют всеобщий мир. Возможно, еще лет через сто их не станет, как не стало вашей церкви.

— А ее нет? Я ведь давно ничего не помню.

— Вы — последний живой христианин. Для истории это не шутка! Поэтому я и решил почтить вас в конце концов.

Генерал взял коробку с сигаретами.

— Не выкурите ли со мной сигарету, папа Иоанн? Ах ты, забыл — какой! XXIX, да?

— Простите, я не курю. Почему вы назвали меня папой?

— Последний папа, но все же папа.— Генерал зажег сигарету.— Поймите, мы ничего не имеем против вас. Вы занимали высокий пост. Цели наши нередко бывали похожи, у нас вообще немало общего. Отчасти поэтому генерал Мегрим счел вас опасным врагом. Пока за вами хоть кто-то шел, вы представляли, так сказать, альтернативу. А пока есть альтернатива, есть и война. Я не согласен с генералом. Стрелять в вас тайком, когда вы... как это у вас говорят?

— Молился?

— Нет, нет. Была какая-то публичная церемония, теперь ее запретили.

Старик растерялся.

— Месса? — спросил он.

— Да, да, кажется, так. Плохо то, что вы могли стать мучеником, а это бы надолго задержало осуществление нашей программы. Конечно, там и десяти человек не было, на этой — как это у вас? — да, мессе. Однако метод рискованный. Преемник генерала это понял, и сам я придерживался той же линии. Мы вас не убили. Мы не разрешали прессе даже случайно упоминать ни о вас, ни о вашей уединенной жизни.

— Простите, не совсем понимаю. Я ведь только начал что-то вспоминать. Когда ваши солдаты стреляли вот сейчас...

— Мы сохранили вам жизнь, потому что вы — последний вождь тех, кто еще именовал себя христианами. Остальные сдались без особых трудностей. Ну и названия — свидетели Иеговы, лютеране, англикане, кальвинисты! Они отмирали, одни за другими. Ваши назывались католиками, словно они представляют всех разом [1], хотя на самом деле со многими они сами боролись. По-видимому, исторически вы первыми как-то сорганизовались и считали, что вы — последователи этого еврейского плотника.

— Как же у Него рука сломалась? — сказал старик.

— Рука?

— Простите, задумался.

— Мы не трогали вас, потому что у вас еще были последователи и потому, что цели наши совпадали иногда. Мир во всем мире, борьба с бедностью. Одно время мы могли вас использовать. Вы разрушали идею национальных стран ради чего-то более общего. Вы уже не были опасны, вот почему действия генерала Мегрима не нужны, по крайней мере, преждевременны. Теперь у вас нет последователей, папа Иоанн. За вами строго следили двадцать лет, ни один человек не пытался связаться с вами. У вас нет власти, а мир — един, войны — в прошлом. Теперь вы уже не враг, вас нечего бояться. Я искренне вам сочувствую, тяжело и скучно жить так годами. В сущности, вера — как старость, она не может длиться вечно. Коммунизм состарился и умер, империализм — тоже. Умерло и христианство, оно живо только для вас. Наверное, вы были неплохим папой, и я бы хотел избавить вас от такого жалкого прозябания.

— Спасибо. Мне было не так уж плохо. Со мной был друг, мы беседовали.

— Что вы такое говорите? Там никого не было. Даже за хлебом вы ходили один.

— Он ждал меня дома. Жаль только, рука у Него сломана.

— Ах, вы об этой деревянной фигурке! Мифологический музей охотно ее возьмет. Однако поговорим о серьезных делах, не о мифах. Видите, я кладу на стол револьвер. Я не люблю бессмысленных страданий. Вас я уважаю, я — не генерал Мегрим и хочу для вас достойной смерти. Все-таки последний христианин! Да, историческая минута.

— Вы хотите меня убить?

— Вот именно.

Старик не испугался, ему стало легче.

---

[1] Katholikos *(греч.)* — всеобщий, вселенский.

— Вы отправите меня туда,— сказал он,— куда я очень хотел попасть все эти годы.

— Во тьму?

— Нет, тьма — не смерть. Я был во тьме, там просто нет света. А вы отправляете меня в свет. Спасибо.

— Я надеялся, вы разделите со мной последнюю трапезу. Это как бы символ: те, кто рождены враждовать, примирились в конце концов.

— Вы уж простите, я не голоден. Делайте свое дело.

— Хотя бы выпейте со мной вина, папа Иоанн.

— Спасибо. Вина выпью.

Генерал наполнил бокалы. Когда он пил, рука его чуть-чуть подрагивала. Старик поднял бокал, словно приветствуя кого-то, и тихо произнес несколько слов, которых генерал толком не расслышал, на каком-то незнакомом языке: «Corpus domini nostri»[1]. Когда последний враг-христианин стал пить, генерал выстрелил.

Пуля еще не долетела, и странное, страшное подозрение поразило его: а вдруг то, во что верит этот старик,— правда?

Рассказ этот был уже набран, когда из Швейцарии пришло скорбное известие о смерти писателя. Вряд ли Грин мог предположить, что заглавие, «Последнее слово», приобретет дополнительный, грустный и итоговый смысл. Таинственная власть художественного слова — всяческого рода совпадения и предвидения, которые Грин любил наблюдать и которыми порой гордился,— на этот раз обернулась трагически. Коротенький, но удивительно емкий рассказ, едва ли не единственная в его обширном творчестве антиутопия, стал и его завещанием нам, живущим. Западная литература потеряла признанного классика XX века, а наш журнал, открывший Грина советской читающей публике еще в первые годы своего существования, расстается с живой частью своей истории, со своим постоянным автором, ставшим за эти тридцать пять лет одним из властителей дум целого поколения. Стоит внимательно прислушаться к последнему предостережению писателя, и пусть оно не обернется предвидением.

Т. ЛАНИНА

[1] Тело Господа нашего (*лат.*).

КЭНДЗИ МАРУЯМА

Сердцебиение

ПОВЕСТЬ

Перевод с японского Г. ЧХАРТИШВИЛИ

Небо как-то внезапно нахмурилось, и городок, еще несколько мгновений назад охваченный жарким дыханием уходящего лета, разом потускнел. Люди на привокзальной площади не успели и опомниться, как хлынул проливной дождь. Поползли вверх боковые стекла выстроившихся у стоянки такси, бросились к зданию вокзала те, кто ждал поезда, прочая публика устремилась ко входу в крытые торговые ряды. Небольшая сутолока и неразбериха — и нарушенное ненадолго спокойствие восстановилось.

Все уже привыкли к этим неожиданным ливням, и сейчас ни один человек даже не остановился, чтобы взглянуть на потемневшее небо. Крупные капли с силой колотили по асфальту мостовой, по разноцветным крышам, смывая измучившие город пыль и зной. Дождь лил уже совсем не по-летнему — ровно, монотонно, без порывов ветра и раскатов грома.

Я выключил кондиционер, заглушил мотор и слегка подкрутил боковое стекло, чтобы дождь не заливал сиденье. В воздухе запахло сентябрем. Пожухлая от солнца листва городских деревьев словно вздохнула с облегчением, а тяжело дышавший на соседнем сиденье пес спрятал свой длинный язык.

— Ну, подождем еще немного,— сказал я ему. Этот лохматый кобелек пристал ко мне всего три дня назад, но мы уже успели друг к другу привыкнуть. Вообще-то я не собирался брать пса к себе. Я наткнулся на него в лесу, возле озера, он побежал следом, да так и не отстал. Началось с того, что я легонько потрепал его по загривку, потом, вернувшись в дом, покормил объедками. Собака жадно накинулась на еду и с тех пор прочно обосновалась на вилле.

Это была небольшая дворняга, очень грязная, когда я увидел ее в первый раз, но с дорогим ошейником из натуральной кожи. Скорее всего, собаку приютило на лето какое-нибудь семейство с одной из здешних вилл, а потом, возвращаясь в город, бросило за ненадобностью. А может быть, пес сам сбежал от людей, возжаждав свободы и приключений, но вольная жизнь его разочаровала, и он был рад снова обрести хозяина.

Я не дал собаке никакой клички. Мне это и в голову не пришло. Ведь я тоже рано или поздно буду вынужден ее бросить. С тех пор как я приехал в эти края, где никогда прежде не бывал, прошло всего пять дней, но вряд ли я пробуду здесь еще хотя бы неделю. Какое там неделю, пожалуй, что и меньше. Я ведь не на экскурсии и не спасаюсь от жары. Мне предстоит дело, которым я никогда еще не занимался.

© Kenji Maruyama, 1983

«Работа пустяковая, займет самое большее пару недель»,— небрежно обронил С. Вот теперь я и приступаю к этой самой работе.

Спокойный такой, терпеливый пес. Я ни разу не слышал, чтобы он лаял или скулил. Мы уже целый час ждем в машине, а он даже виду не подал, что скучает. Мимо и кошки пробегали, и собак проводили, но пес никак на них не реагировал, только молча поглядывал — то в окно, то на меня. Я думаю, он гораздо старше, чем выглядит. Равняйся собачий век человечьему, мы с ним, наверное, были бы ровесниками — полжизни позади, эмоций остался самый минимум.

Я смотрел на дождь и терпеливо ждал. Работа предстоит действительно проще некуда — следовать указаниям С., самому голову ни над чем ломать не надо. Так-то оно так, но на самом деле голову поломать есть над чем, да и понервничать есть из-за чего. Теперь я уже начинал жалеть, что ввязался в эту историю, и мысленно повторял: зря, ох зря...

Сегодня утром, когда крытая жестью крыша, раскалившись на солнце, стала скрипеть и пощелкивать, на вилле зазвонил телефон. С., как всегда, говорил мягко и спокойно. Поезжай в город, сказал он, и с двенадцати до часу жди в машине на привокзальной площади.

И вот я сидел и ждал. С. сказал, что ко мне подойдет мужчина, но не сообщил ни имени, ни примет, ни даже возраста. «За этим человеком тебе и придется поухаживать»,— сказал еще С., потом повторил время и место встречи и, не дав мне рта раскрыть, повесил трубку.

Ну что ж, это для меня не новость. Когда я спросил С. во время того, первого, разговора, в чем будет заключаться работа, он ответил: в некоем месте в течение некоторого времени обслуживать одного человека. Больше мне ничего и не было известно, других сведений С. не сообщил. Я и сам не пойму, что заставило меня взяться за это подозрительное и явно нечистое дело. Наверное, я все-таки клюнул на бешеные деньги. Цифра, упомянутая С., оглушила меня и до сих пор звучит в ушах. И все же дело не только в деньгах.

А может, С. меня обманывает? Возможно ли, чтобы за такую ерундовую работу столько платили? Что это в ней такого ценного? Обуреваемый подозрениями, я засыпал С. градом вопросов, но он твердил одно: «Уж придется тебе поверить мне на слово».

И надо сказать, что, когда С. сидел передо мной, я ему верил. Но стоило ему уйти, как сомнения охватили меня с еще большей силой. Это верно, что мы с С. когда-то учились на одном курсе, но я уже не так молод, чтобы принимать за чистую монету все, что он мне наплел,— как-никак я не видел этого типа семнадцать лет. Но я еще не настолько стар, чтобы взять и наотрез отказаться. Вот приди он ко мне лет этак через пять, я бы, наверное, ни за что с ним не связался. Как только С. сказал бы: «Только ни о чем меня не спрашивай», я бы тут же послал его ко всем чертям... И все же я ему верю — наполовину, даже больше чем наполовину.

За лето я здорово отощал, пришлось в брючном ремне проковырять две новые дырки. Ел вроде много, а все худел. А здесь за несколько дней восстановил форму. Ничего удивительного — регулярное питание, целебный воздух. Курорт расположен между берегом моря и горами.

А С. за те годы, что я его не видел, растолстел будь здоров. На шее и на животе складки жира, лицо обрюзгло, глаза заплыли, казалось, что и говорит он через силу. В студенческие годы С. был сухощавым и поджарым, тогда пот не лил ручьями по его лицу. Когда он ни с того ни с сего заявился в мою конуру и уселся возле кровати, на которой я валялся в одних трусах, изнемогая от послеполуденной духоты, он показался мне похожим на клоуна, привязавшего для смеха на живот подушку. С. пришлось три раза повторить свое имя, пока я сообразил, кто этот непрошеный гость.

Всерьез зарядивший дождь словно смыл с площади прохожих. По опустевшему асфальту неслись только автомобили. Сновавшие взад-вперед автобусы, едва замерев у остановки, поспешно мчались дальше.

У таксистов из-за дождя дела пошли веселее. Кажется, только моя машина стояла на месте. Вообще-то стоянка здесь запрещена, но прошедший мимо регулировщик даже не взглянул в мою сторону. Городок курортный — все для удобства отдыхающих. Я то и дело включал дворники и внимательно осматривал все вокруг: не направляется ли в мою сторону какой-нибудь мужчина.

Пес заснул. В машине он непременно усаживается на переднее сиденье. Придется попросить мужчину сесть сзади. Ливневые тучи, принесенные ветром с океана, прочно зависли над городом. Дождь грозил перейти в затяжной, такой раньше ночи не кончится. Но меня это мало трогало — из машины вылезать не придется, все дела я успел сделать за утро. Купил все что нужно: еду на два дня, комплект постельного белья (на вилле был приготовлен только один). Сложил покупки в багажник, все портящиеся продукты убрал в морозильник. Теперь только посадить клиента — и в путь.

Когда я сказал С., что согласен, он добавил: «Если кто будет интересоваться, ты — управляющий на вилле». Вечером в тот же день какой-то молодой парень, наверное один из подчиненных С., пригнал к моему дому неприметный автомобиль с номерами этого курортного городка. Ночью вновь появился С. и вручил мне ключи от дома, дорожную карту и визитные карточки (на них значилось мое имя, а также название, адрес и телефон фирмы, которой принадлежала вилла). И еще большой бумажник, битком набитый купюрами («Это тебе на расходы. Не хватит, пришлю еще»). Не знаю, как для него, а для меня содержимое бумажника было целым состоянием. Вероятно, именно в тот момент я и поверил С.— по крайней мере наполовину. Бумажник сейчас лежал в отделении для перчаток. Выходя из машины, я всегда клал его в задний карман брюк, а ночью засовывал под матрас.

К машине никто не подходил. Ни один мужчина, мало-мальски похожий в моем представлении на того, кого я ждал, даже не смотрел в эту сторону. Но время еще было. До того как истечет назначенный час, оставалось еще несколько минут.

Он что, приедет на поезде? Или выйдет из дверей автобуса? А может, так же как и я, приедет на машине? На чем бы ни приехал, только б скорей. Надоело ждать.

Я ко всему готов. Какой бы отвратительный субъект ни заявился, мне в общем-то наплевать. Пусть хоть пьяный громила, хоть прокаженный какой-нибудь. Не так уж долго придется мне иметь с ним дело. «Увидишь — сам поймешь»,— сказал С. Так он отвечал на все мои вопросы, а напоследок бросил: «Чем меньше ты будешь знать, тем лучше для нас обоих. Ну как, согласен?» — и замолчал, вопросительно глядя на меня. Пауза длилась долго, и в конце концов я сказал «да» — может, просто потому, что не нашел веской причины для отказа. Он повторял: «Я спешу, я спешу» — и не дал мне времени все как следует обмозговать.

А ведь я ничего про С. не знаю. Фактически он для меня все равно что совершенно незнакомый человек. Учиться-то мы учились вместе, но я и тогда с ним особенно не общался. Ну, здоровались там, может, несколько раз перекинулись парой слов, но не более того. Мы не пили в одной компании ночи напролет, никуда, насколько мне помнится, вместе не ездили, денег друг у друга не занимали. Он был тихий такой, незаметный студентик; когда остальные с пеной у рта спорили о политике, всегда стоял в сторонке. По-моему, у него вообще не было тогда близких друзей.

Я понятия не имел о том, чем С. занимался семнадцать лет, которые прошли после окончания колледжа. Интересно, как это он обзавелся такой машиной, да еще с личным шофером? В дощатую развалюху, где я снимал комнатку, он прикатил на роскошном черном лимузине. И все на нем было экстракласса — и туфли, и костюм, и часы, и галстук.

Ему про меня было известно все до мельчайших подробностей: и то, что я три года назад уволился из фирмы, и что теперь нигде не работаю, если не считать случайных халтур, и что жена, забрав детей, давно от меня ушла. С. знал действительно все — даже вещи, о которых я сам понятия не имел. Он поведал мне, где сейчас обретается моя некогда любящая, а ныне разочаровавшаяся во мне женушка, как зовут ее нового мужа, сколько ему лет, кем он работает и откуда родом, в какой школе учатся дети,— в общем, я получил от него массу всяких сведений. Не обращая внимания на мое потускневшее лицо, С. пояснил: он хочет, чтобы я понял — его выбор не случаен и хорошо обдуман.

— Мы с тобой оба здорово постарели,— сказал он на прощание.— Я тебя понимаю, никому неохота ишачить всю жизнь. Но что делать, жить-то надо.— И стал неторопливо спускаться по узкой, крутой лестнице. Черный лимузин расшугал соседских ребятишек, которые все летние каникулы торчали на улице, и растаял в знойном мареве.

В тот вечер я заперся в комнате и до одурения накачался пивом, а потом стал с разбега биться плечом в стены — я ненавижу стены. Из соседних комнат зашумели, и я угомонился. Тогда я стал думать: вспомнил свою жизнь за семнадцать лет, миновавшие с тех пор, как я стал «полноправным членом общества» — и восемь лет семейной жизни, и последние три года полного бездействия. Меня не мучила мысль о том, что между мной и С. такая пропасть. Просто он, стиснув зубы, рвется к цели, мне же рваться надоело. А разговаривал он со мной, между прочим, на равных. Его приход не выглядел так, будто он явился меня облагодетельствовать — мол, знаю, как ты бедствуешь, на́ тебе работу. Под конец он даже поклонился и сказал: «Я очень тебя прошу».

Теперь-то я понимаю, что С. с самого начала был уверен в моем согласии. Иначе он не заготовил бы заранее визитных карточек с моим именем, не оформил бы на меня автомобиль, не отправил бы мою регистрационную карточку на новое место жительства — и как это ему только удалось? Во время его второго визита, когда я уже сел в машину и был готов отправляться в путь, С. снова заговорил о вознаграждении. Получишь деньги в тот день, когда работа будет закончена, пообещал он и помахал рукой мне вслед, крикнув: «Ну, я на тебя надеюсь!» Всю дорогу до указанного места — а она заняла часа четыре — я находился в приподнятом настроении. Разговаривал вслух сам с собой, бормотал: «Вот он, поворот судьбы» — и все такое, напевал, иногда даже хохотал в голос.

По сути дела, я всего-навсего вернулся в положение человека подневольного, но душа почему-то пела. Снова, как прежде в фирме, я должен был выполнять чьи-то приказы, и все же меня переполняло светлое и радостное чувство. Работа еще не успела и начаться, а ко мне уже вернулось давно забытое ощущение реальности происходящего. Сам не знаю почему. Наверное, я не приспособлен к тому, чтобы жить сам по себе. За последние три года я ни разу не задумался всерьез о своем будущем, пожалуй, единственный план, который более или менее конкретно у меня возникал,— это наняться на рыболовецкий сейнер и уплыть в далекие южные моря. Это прямо стало у меня навязчивой идеей — завербоваться матросом на какую-нибудь забубенную посудину, которая не возвращается в порт до тех пор, пока ее холодильники не будут доверху завалены тунцом.

Впрочем, все это были одни пустые мечтания, я не удосужился зайти ни в одну рыболовецкую фирму, даже в порт ни разу не заглянул. Так и жил на пособие по безработице, брался за случайные заработки, выбирая работу попроще, а сам уверял себя: вот, мол, скоро обязательно схожу и узнаю, как там и что. Прошла целая тысяча дней, а я все собирался. Жена терпела такую жизнь недолго — забрала детей и уехала к своим родителям. Однажды прихожу домой — а там пусто, нет даже вещей из ее приданого. По всему было видно, что план эвакуации разрабатывался не один день.

И вот я уже не тот. Вряд ли я опять стал таким, каким был в годы работы в фирме, но энтузиазм меня переполняет точно так же. Я прекрасно понимаю, что с моей нынешней работой что-то нечисто, но С. может быть спокоен, я его не подведу. Пусть я никчемен — не спорю. Признаю, что я — нуль, маленький человечек и буду вести себя соответственно, не так уж это и плохо.

Казалось, что из-за дождя перепутались день и ночь. Солнце исчезло за плотными тучами, вокруг становилось все темнее. Я посмотрел на ручные часы, потом на автомобильные и, для пущей верности, еще на часы-клумбу — яркое пятно посреди площади. Все они показывали ровно час дня.

В этот самый миг дремавший на сиденье пес вдруг приподнялся, тихонько зарычал, завертелся на месте и весь напрягся. Кто-то пытался открыть левую заднюю дверь. Поняв, что она заперта, человек — даже через залитое дождем стекло было видно, что это мужчина,— постучал пальцем по стеклу. Я открыл защелку. Человек сел на заднее сиденье, вытер платком промокшие волосы и плечи и сказал: «Здравствуйте». Голос вежливый, тихий.

Мой клиент, возникший словно из-под земли, оказался гораздо моложе, чем я его представлял. Я почему-то думал, что он будет непременно грозным на вид и намного старше меня. Собака рычала все громче и успокаиваться, кажется, не собиралась. Прямо полицейская овчарка, да и только. Я включил мотор и, крутанув руль, выехал в центр площади. Торопиться, собственно говоря, было некуда, но мне хотелось как можно скорее выбраться из города. Я, как и пес, чувствовал себя не в своей тарелке. С появлением клиента моя работа разом обрела реальный смысл. Всем сомнениям пришел конец.

Пес все рычал, повернувшись к незнакомцу и не сводя с него злобных глаз. Я впервые видел, чтобы он так враждебно на кого-то реагировал. Даже по ночам, когда у самой ограды виллы бродили влюбленные парочки, пес не обращал на чужаков внимания, а тут оскалил пасть, выставив острые клыки, и прямо пожирал взглядом молодого мужчину. Может быть, от этой дворняги и будет прок, вот уж не ожидал.

Я был всецело поглощен дорогой и не мог толком рассмотреть своего пассажира. Достаточно было кинуть взгляд в зеркало заднего вида, и я разглядел бы и его лицо, и во что он одет, но я не стал. Не то чтобы из деликатности, просто подумал: все равно успею еще на него налюбоваться. В общем, я нарочито старался на него не смотреть. Руль при этом, правда, сжимал сильнее, чем нужно.

Я успел заметить только, что мужчина молод, и, пожалуй, не смог бы описать, как он выглядит. Даже фигура как-то не отложилась в памяти. Все-таки я здорово разнервничался из-за того,. что он возник так внезапно. Смотрел я только вперед — на встречные машины да на светофоры. Я стал понемногу приходить в себя, только когда городок остался позади и машина выехала на широкое прямое шоссе, ведущее в горы, к озеру, вокруг которого были разбросаны виллы и дачи.

До меня дошло, что молчать все время не очень прилично, и я стал подыскивать тему для разговора. О дожде, что ли, поговорить, подумал я, но так ничего и не сказал. Может, он устал с дороги и не расположен болтать со мной. Интересно, откуда он приехал и, главное, на чем? Во всяком случае, не на поезде. Ни один поезд в это время в город не прибывает. Наверное, на автобусе. Или на такси. Не знаю, откуда и на чем, но если он приехал из какого-нибудь дальнего далека, ему, конечно, сейчас хочется помолчать. Может, он вообще не из разговорчивых. Или дает мне понять, что без нужды трепать языком ни к чему?

Я пихнул собаку в бок, чтобы она заткнулась, но без толку — она продолжала угрожающе рычать. Странно, мне показалось, что этот мо-

лодой человек не из тех, кого надо до такой степени опасаться. Да что там, просто бестолковая псина — какая еще так привяжется к новому хозяину за три дня.

Сзади раздался голос:

— Хорошо здесь, прохладно.

Голос приятный, звучный. Наверное, мужчина приехал из жарких мест, раз ему здесь прохладно. Но почему-то я был уверен, что он не из моего города, хотя там сейчас тоже жара дай боже.

— Жалко только — дождь,— сумел наконец выговорить я. На большее меня не хватило. Потом, сделав над собой усилие, добавил тоном этакого почтительного личного шофера: — Если бы не тучки, горы были бы как на ладони.

Мужчина пересел так, что теперь был хорошо виден в зеркальце. Обменявшись с ним парой слов, я чувствовал себя немного свободнее и впервые внимательно взглянул на него. Совсем молодой парень, намного моложе меня. Тридцати ему еще нет — это уж точно. Парень смотрел прямо на меня ровным, почти немигающим взглядом — но не так, словно хотел прочесть мои мысли, а вежливо и спокойно, как на обычного собеседника. Волосы аккуратно расчесаны на косой пробор, подбородок тщательно выбрит. Такое ощущение, будто он только что из парикмахерской. Лицо овальное, щеки еще сохраняют юношескую припухлость, но рот пролег резкой, прямой чертой. Одет подчеркнуто скромно — белая рубашка с короткими рукавами и синие брюки. Парень напомнил мне студента времен моей юности. В его внешности не было абсолютно ничего бросающегося в глаза.

— Заранее благодарен вам за заботу,— сказал он и, глядя в зеркальце, слегка поклонился. Сверкнули белоснежные зубы. Он наверняка не курит.

— Ну что вы, это моя работа,— ответил я и вспомнил лицо С.— Можете без стеснения обращаться ко мне за помощью по любым вопросам.

Пес все не унимался. Глупая дворняга, ни черта не понимает в людях. Помолчав немного, я решил объяснить парню про собаку. Рассказал в двух словах, как встретил ее в лесу, и, словно оправдываясь, заметил:

— Я подумал, что с собакой буду больше похож на управляющего.

Парень ничего мне на это не ответил. Прикинулся, что не слышал, и отвернулся к окну. Кажется, я сболтнул лишнее. Видимо, в разговоре с ним я должен касаться лишь нейтральных тем. Впредь буду ограничиваться обсуждением погоды. С., правда, ничего такого мне не говорил, но лишних вопросов задавать не стоит, решил я. Парень так и не сказал, как его зовут, я тоже не назвал ему своего имени.

Чем ближе мы подъезжали к горам, тем яростнее хлестал дождь. Дворники работали вовсю, но вода то и дело заливала лобовое стекло, а когда навстречу проносились тяжелые грузовики, фонтаны брызг, вылетавшие из-под их колес, начисто закрывали обзор. Я сбавил скорость и вел машину с предельной осторожностью. Автомобили обгоняли меня один за другим. Ну и ради бога. Я не мог позволить, чтобы моя работа сорвалась из-за какой-нибудь идиотской аварии. Я твердо решил выполнять свои обязанности с той же тщательностью, которая отличала меня, когда я служил в фирме.

Сунул в рот сигарету, но зажигать не стал. Не стоит курить в машине — это не понравится ни парню, ни собаке. Тем более когда подняты стекла. Пес наконец перестал рычать, но по-прежнему сидел, повернув голову назад, и не сводил с парня свирепого взгляда. Тот, по-моему, не обращал на собаку ни малейшего внимания.

— Вы что предпочитаете из еды? — осторожно спросил я.

— Все равно,— с готовностью отозвался парень.— Ем все, что дадут.

— Вы обедали?

— Да, спасибо.

С. велел кормить клиента три раза в день и по суперклассу. Пусть ест все, что любит, и как можно больше, так он сказал. Что-что, а готовить я умею, все же три года один живу. Да и потом, как известно, секрет кулинарии не в мастерстве, а в хороших продуктах. Если не жалеть денег, любой может стать первоклассным поваром. А здесь, вблизи от побережья, сколько угодно свежей морской снеди — самой разной, так что в продуктах недостатка нет.

Шоссе, преодолев перевал, пошло под уклон, к открывшемуся внизу горному озеру. Может, пересказать парню байки про озеро, которые я слышал от старика — владельца лодочной станции? Я взглянул в зеркальце и увидел, что мой клиент спит. Закрыв глаза, парень откинулся назад, подложив под голову черный саквояж. Похоже, здорово устал, хотя по виду не скажешь. Или просто не желает со мной разговаривать. Мне почему-то казалось, что он прибыл из неведомых, дальних мест, которых и на карте-то нет, затратив на дорогу много дней. И еще я не мог отделаться от странной мысли, что этот незнакомый парень явился из той моей давней студенческой поры. Каждый раз, когда я бросал на него взгляд, сердце сжимала какая-то непонятная мне самому ностальгия. Интересно почему? Мне ничего неизвестно о нем, но типаж, несомненно, необычный.

Не суй нос в чужие дела, оборвал я себя. Ни к чему тебе знать, какого рода отношения связывают его с С. Все, что от тебя в данный момент требуется — крути баранку. Давай кати себе не спеша по извилистой горной дороге к озеру, окутанному пеленой дождя...

Гладь озера была пустынна — ни лодки, ни яхты. В ясный день здесь шум, гам, крик, грохочет музыка, а теперь сумрачно и тихо. Отдыхающие забились в номера отелей, в комнаты вилл и пансионов и ждут окончания потопа. Вот, поди, скукотища.

Но мне не до скуки. Я чувствую себя так, словно рождаюсь заново. С каждым часом я все больше отдаляюсь от того жалкого типа, целыми днями бормотавшего: «Как, почему так вышло?» Я повернулся к жизни лицом, и обязан я этим свалившейся на меня работе. Колебаться и сомневаться некогда. Даже не верится, что я совсем недавно ломал голову над тем, зря или не зря я ввязался в эту историю и как мне быть. Теперь ясно, чего я хочу от жизни. Мне ненавистна стабильность, я жажду перемен. Причем перемен кардинальных, разрушительных. Сам добиться их я не в силах, поэтому так жадно накинулся на представившуюся возможность. Нет, «перемены» — слишком слабо сказано, меня влечет столкновение, сумбур, хаос. Следовало бы сказать С. спасибо.

Однако круглое лицо спящего парня никак не связывается в моем представлении с тем, чего я втайне так желаю. Тип, конечно, не совсем обычный, но никакой исключительностью там и не пахнет. И тем не менее С. уделяет ему столько внимания. Самое первое доказательство этому — сколько сил С. потратил только на то, чтобы нанять для парня прислугу. Любой нормальный человек может ведь позаботиться о себе и сам. Чем же ценен этот парень, совсем еще зеленый?

Выехав на набережную, мы промчались мимо лодочных станций, сувенирных лавок и перед зданием отеля свернули на узкую дорогу, проходившую через лес. Дорога была частная, незаасфальтированная, кончалась она у ворот виллы. Дом внешне не представлял собой ничего особенного — обычная бревенчатая дача, только в месте она располагалась немного странном. Другие виллы стояли или на южном склоне, поближе к солнцу, или на восточном, продуваемом свежими ветрами; эта же, единственная из всех, была построена на западном. Со всех сторон виллу окружали деревья и густые заросли кустарника, откуда день и ночь доносился птичий щебет. А в ясную погоду все звуки заглушал стрекот цикад.

Парень по-прежнему спал. Я поставил машину на ручной тормоз,

выпустил наружу собаку, а он все не просыпался. Вместе с псом я взбежал по крутым ступенькам и на всякий случай бельевой веревкой привязал дворнягу к перилам террасы. Вернулся к машине, открыл багажник, достал морозильник и бумажные сумки и, обхватив покупки обеими руками, направился к дому. Земля совсем раскисла от дождя, ступать было скользко. Собака опять начала рычать. Положив продукты, я вернулся к машине за комплектом постельных принадлежностей, но мне навстречу уже шел парень, держа сверток с одеялом, простынями и наволочками на плече. Свой черный саквояж он пристроил сверху. Собака, увидев его, зашлась в яростном лае и, сколько я ее ни бранил, не затихала.

Потом я перенес продукты из передней в кухню, портящиеся положил в холодильник. Все необходимое для жизни было заготовлено на вилле заранее. Единственное, чего не хватало,— одного комплекта белья. Парень, поднявшись на террасу, осматривался вокруг, только вряд ли он мог что-нибудь увидеть, кроме деревьев, кустов и дождя. Вот осенью, когда опадут листья, наверное, отсюда будет просматриваться озеро, а теперь даже набережной не разглядеть. Если не знать, в голову не придет, что в этих зарослях притаилась наша вилла.

Я отнес одеяло и белье на второй этаж, в комнату, которую С. велел отвести для клиента. Специально для этого звонил по телефону. Она была маленькая, в японском стиле — никакой мебели, даже без стенных шкафов. А ведь в доме пустовало три удобные европейские комнаты. Самому мне было велено поселиться в крошечной каморке, расположенной возле передней,— наверное потому, что от нее ближе всего до телефона. Да и странно было бы, если б управляющий жил в комнате для гостей.

Я разостлал в углу футон[1], сверху положил одеяло, простыни, пижаму и подушку. Затем раздвинул шторы и распахнул окно пошире. Я вчера весь день продержал его нараспашку, и затхлый запах выветрился почти без следа. Интересно, кто владелец виллы — сам С., или он снял ее на время?

Высунувшись из окна, я взглянул на оставшегося внизу парня. Он стоял на террасе и смотрел на привязанную собаку. Потом не спеша двинулся к ней — она зарычала еще громче, оскалила клыки и припала к полу. Но парень не остановился, а все так же медленно подошел к собаке и присел перед ней на корточки. Левой рукой взял ее за ошейник, а правой стал чесать по груди и горлу. И пес вдруг разом успокоился, спрятал клыки, перестал рычать, а скоро и завилял хвостом. Парень отвязал веревку, и, оказавшись на свободе, собака весело запрыгала вокруг него. Со мной она никогда себя так не вела.

Высунувшись из окна еще больше, я сказал:

— Ваша комната — вот эта.

— Хорошо,— откликнулся парень и тут же, подхватив саквояж, поднялся на второй этаж. Я показал ему ванную и туалет, объяснил, что еда будет подаваться в нижнюю гостиную. Он меня почти не слушал. Кто его знает, может, устройство виллы ему известно лучше, чем мне? Возможно, он уже бывал тут неоднократно.

— В общем, чувствуйте себя здесь как дома,— сказал я и, криво улыбнувшись, добавил: — Во всяком случае, я веду себя тут именно так.

Парень сел на татами[2], низко поклонился и опять повторил, как перед тем в машине:

— Заранее благодарен вам за заботу.

Я, смутившись, выпрямился и тоже поклонился. Ничего себе манеры у моего клиента. Внизу зазвонил телефон. Я поспешно сбежал по лестнице. Кто бы это мог быть? Сняв трубку, я молчал до тех пор, пока не убедился, что звонит С. Он тоже был предельно осторожен. «Ну

---

[1] Ватный тюфяк. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Соломенные маты стандартного размера, используемые для настилки полов.

как?» — спросил он. «В порядке»,— ответил я и помолчал. Потом коротко доложил, что встретил «того человека» и отвез на виллу. «Ясно,— отозвался С.— Ну пока»,— и повесил трубку. Весь разговор не занял, наверное, и десяти секунд.

Я не знал, откуда он звонит. Может быть, издалека, а может, он где-нибудь совсем рядом. Какая разница — все равно я-то ему позвонить не могу. Если случится что-нибудь непредвиденное, мне не удастся даже сообщить ему. Или это не моя забота?

С. не попросил позвать к телефону парня. Ему что, необязательно разговаривать с ним напрямую? Интересно, как он объяснил парню мою роль в этом деле?

Парень сидел на противоположном конце длинного узкого стола и уплетал за обе щеки, аппетит у него был замечательный. Но смотреть, как он ест, было не противно. Чувствовалось, что в детстве он прошел хорошую школу. От меня до него было метра четыре, не меньше. Я специально отсадил его подальше, чтобы он чувствовал себя свободнее. Парень сидел спиной к лестнице, я — к передней. Есть не хотелось — летом у меня всегда так, да и когда готовишь сам, аппетит пропадает. И потом я отвык есть при посторонних. Ведь целых три года после того, как ушла жена, я прожил в полном одиночестве, свыкся с одиночеством. Время от времени, конечно, я вспоминал свою прежнюю, семейную, жизнь, но она уже давно стала мне казаться нереальной, как будто ее и не было никогда. У меня такое ощущение, что я всю жизнь, с самого рождения, живу один.

Как я и думал, дождь до вечера так и не кончился, тугие струи били по крыше, хлестали по листьям деревьев. Не было слышно ничего, кроме шума дождя. С каждым днем отдыхающих у озера все меньше. Еще неделя-другая — и большая часть вилл и дач опустеет. Моя бывшая жена мечтала иметь дачу в горах, каждое лето она непременно заводила бесконечные разговоры на эту тему. В ту пору ее желания совпадали с моими. Наверное, теперь она мечтает об этом со своим вторым мужем. А может, она счастлива уже тем, что ее спутник жизни не из тех, кто бросает безо всякой причины солидную работу, и ничего другого ей уже не надо? Скорее всего, жене не до дачи в горах, она собирает осколки разбитой жизни и просто живет день за днем, не ропща на судьбу.

Я молчал, парень тоже. Посередине стола стояла ваза с букетом полевых цветов, которые я нарвал утром за горой. Цветы были оранжевые, без запаха и смахивали на искусственные. Теперь этот чертов букет загораживал мне парня, и я не мог разобрать выражения его лица. Он только что вышел из ванной. Расчесанные волосы глянцево блестели, кожа порозовела. Одет парень был в пижаму, которую я купил сегодня в городе. Размер оказался в самый раз, но цвет и покрой подкачали. Если б знать заранее, что мой клиент так молод, я купил бы что-нибудь пофасонистей. А я не переодевался, даже ванны не принял, хоть весь пропах по́том.

Наконец я нарушил затянувшееся молчание и стал объяснять парню про телевизор, который стоял перед большим креслом. Мол, кругом горы, поэтому четко принимаются всего две программы.

— Телевизор? — Парень поднял на меня глаза, отложил палочки и перестал жевать.— Телевизор не смотрю.

— Не любите?

— Слишком много вранья.

— Но вечерами здесь, в горах, скучновато. Кроме телевизора, никаких развлечений.

— Ничего, не привыкать.— И парень, взяв палочки, снова стал есть. К пиву он даже не притронулся. Может быть, следовало выставить на стол виски? Меня несколько тревожило то, что парень упорно из-

бегает употреблять местоимение «я». Такую публику я знаю, она встречается не так уж часто. Водитель С. и тот, второй, который пригнал машину к моему дому, тоже ни разу не сказали про себя «я».

Вот сейчас ужин кончится, и парень, наверное, отправится к себе, на второй этаж, спать. Должно быть, совсем вымотался — ведь в машине его сморило. Пожалуй, с этим клиентом возни будет гораздо меньше, чем я ожидал. С таким можно прожить и месяц, и целый год. Работка не бей лежачего, за что только деньги платят? Да уж, поди, не за мои красивые глаза. Что-то за всем этим кроется... С. тогда сказал:

— Ты извини, если я что не так говорю, но с деньгами, когда ты их получишь, по-моему, лучше не дурить.

— А я с ними никогда и не дурил,— ответил я.— Это они со мной дурили.

— И еще.— Утопавшие в складках жира глазки С. глядели прямо на меня.— Опять-таки прошу прощения, что лезу не в свое дело, но с такой суммой ты, наверно, смог бы и жену вернуть, а?

Ну, это он попал пальцем в небо. Выяснить-то он, конечно, все обо мне выяснил, до мельчайших подробностей. Представляю, сколько было хлопот — с ума сойти. Не то чтобы я так уж восхищался его оперативностью, дело, в общем-то, нехитрое: достаточно обратиться к любому частному детективу из тех, кто дежурит по ночам у мотелей, карауля супружеские измены. Да мне и самому, когда я служил в фирме, не раз приходилось обращаться к услугам сыскных агентств, когда надо было выяснить подноготную того или иного клиента. Так вот, информацию обо мне С. собрал точную, да только в душу мою ему было не заглянуть. Я и в мыслях не держал возвращать жену или, скажем, отсуживать у нее детей.

Нет, у меня не было искушения взять и начать все сначала. Я мог бы найти другую женщину и попытаться связать жизненную нить, оборвавшуюся три года назад,— но не хотелось. Я не строил себе планов на будущее. Если, конечно, не считать той идиотской мечты уплыть на сейнере в далекие моря, где солнце палит сильнее, чем в африканской пустыне. Что же я буду делать, когда получу от С. обещанную сумму? Начать, что ли, собственное дело? А чего, можно. Или жить себе, поплевывая в потолок, пока не истрачу все до последнего гроша? Тоже неплохо.

Я принял предложение С. не только из-за денег. И главную причину я понял только теперь. Просто я почувствовал, что запахло чем-то острым, рискованным. Именно потому я и взялся, что понял — эта работа не из чистеньких. Мне надоело жить с лицевой стороны общества — тоска зеленая. Сдохнуть можно.

Теперь мне, наверное, обратного пути уже нет. С того самого момента, когда С. возник в моей комнате, нет, с того момента, как он остановил свой выбор на мне, все уже было решено. Как вышло, что он выбрал именно меня? Перелистывал альбом с выпускными фотографиями и наткнулся на мою? Или случайно увидел меня на улице — как я стою в очереди за пособием или таскаю лотки с хлебом в какую-нибудь булочную?

Как бы то ни было, благодаря ему я оказался на новой ступеньке жизни. Новой хотя бы потому, что сплю я теперь не в своей конуре, а на новом месте. Интересно, а мог ли я вообще тогда взять и отказаться? Если бы я не клюнул на его удочку, оставил бы С. меня в покое, стал бы искать другого такого же никчемного человечка — их ведь на свете сколько хочешь? Почему ему понадобился именно я — вот что хотелось бы выяснить. Для такой работы лучше бы подошел человек, не имеющий к С. вообще никакого отношения. Да и потом, мало ли на свете людей, которые за деньги хоть отца родного прирежут?

Я-то кое-что про С. знаю, пусть совсем немного: имя, где учился, лицо, голос наконец. Если меня станут допрашивать, я тут же все выложу, уж будьте уверены. В конце концов, у меня нет перед ним ника-

ких моральных обязательств. Это ведь он обратился ко мне с просьбой, а не я к нему. Я временно нанят им на службу, и не более того. Просто мелкая сошка у него на побегушках.

А откуда, интересно, С. берет деньги? Когда я услышал, что мой парень, вроде того шофера, так подчеркнуто избегает словечка «я», мои подозрения усугубились. Вполне может быть, что содержимое пухлого бумажника принадлежало вовсе не С. Возможно, он и сам у кого-то на посылках. Как знать, не стоит ли за ним еще некая таинственная фигура?

Покончив с завтраком, я еще раз поверх оранжевых цветов оценивающе взглянул в лицо своему клиенту. Он сидел, выпрямившись, и размеренными движениями отправлял в рот то, что брал палочками с тарелки. К пиву по-прежнему не притрагивался. Что мне, собственно, было о нем известно? Внешний облик да примерный возраст, вот и все, я даже имени его не знал. А спроси я его, он, наверное, не ответил бы. Я только сейчас заметил, что парень слегка косит. Правый глаз совсем чуть-чуть смотрит в сторону, но, если не приглядываться, это незаметно.

А что известно парню обо мне? Наверное, перед тем как появиться здесь, он все обо мне выспросил и разузнал... Какую он преследует цель? Или, может, она уже достигнута, и теперь он прячется, а я должен его охранять? Однако С. ничего не говорил насчет того, что клиента нельзя выпускать с виллы или что его никто не должен видеть. К тому же, если парень в бегах, слишком уж неосторожно было выбрано время и место нашей встречи — на привокзальной площади полицейский пост.

— Большое спасибо,— сказал парень и поклонился.— Все было очень вкусно.

О том, что это не пустой комплимент, свидетельствовала пустая тарелка. Да и с чего это еде быть невкусной, когда я убухал на продукты столько денег?

— Вы предпочитаете не пиво, а виски? — спросил я на всякий случай.— У нас и вино есть.

— Спиртного не употребляю.

— Ни капли?

— Ни разу в жизни не пробовал.

— Ну так попробуйте.

— Нет, перед делом нельзя,— покачал головой парень и с серьезным видом добавил: — И потом, говорят, алкоголь разрушает нервные клетки мозга.

Ну о чем с таким говорить. Я встал, подошел к нему и налил чаю. Потом предложил фруктов. Когда я стал убирать посуду, парень сунулся было мне помогать, но я, нажав ему на плечо, посадил его обратно на стул. Плечо было необычайно твердым. Такое ощущение, будто прикоснулся к бревну. «Перед делом нельзя»,— сказал он. Перед каким делом? Зачем он сюда приехал?

Когда я вернулся из кухни в гостиную, парня там уже не было. На его тарелке остались только корки от дыни. Поднялся к себе? Не верилось, что на вилле появился кто-то чужой. Мне казалось, что я здесь по-прежнему один, как вчера и позавчера.

Дождь зачастил еще пуще. Или показалось? Может быть, это первый настоящий, затяжной осенний дождь. С завтрашнего дня, возможно, похолодает. Это было бы совсем неплохо. Лето уже надоело до смерти. Я приготовил еду для собаки. Соскреб с объедков горчицу, свалил их все в кастрюльку, перемешал и вскипятил на огне. Жратва для пса получилась — первый сорт. Потом навалю ее в миску, купленную в городе специально для собаки, дам остыть и отнесу на террасу вместе с плошкой воды.

Пес лежал на террасе, устроившись на коврике и повернув свою лохматую башку к ступенькам. Я поставил перед ним еду и сказал: «Ну,

давай лопай». Подошел к перилам и смотрел на дождь. Капли посверкивали иголками в свете, падавшем из окон дома, и исчезали в бездонной темноте. Ровный, неспешный шелест дождя. «Что я здесь делаю, на этой чертовой вилле?» — задумчиво пробормотал я вслух. Услышав мой голос, пес приподнял на миг морду, но тут же снова уткнулся в миску и деловито зачавкал.

Меня сейчас окружает все то, о чем так мечтала жена. Вилла, собака, тихая, как бы отпускная, жизнь. Если бы я не бросил службу в фирме, возможно, к сегодняшнему дню все это я бы уже имел. Только дачка была бы раза в четыре поменьше, кусочек земли, конечно, тоже, собака — какая-нибудь дворняга еще почище этой, ну и отпуск, само собой, максимум — пять дней.

Во всей фирме никто так не вкалывал, как я. То, что компания в столь короткий срок добилась сногсшибательных успехов, объяснялось не только высоким качеством продукции и благоприятной конъюнктурой. В значительной степени стремительное расширение рынка являлось моей личной заслугой — хочешь не хочешь, это вынуждено было признать все руководство, среди директоров фирмы не было ни одного, который не знал бы меня по имени и в лицо. Как они всполошились, когда я сказал, что ухожу! Как уговаривали остаться! Мол, если чем недоволен, скажи, обещали какие-то невероятные повышения и все такое.

Но я был тверд. С тех пор как сопротивление фирм-конкурентов ослабло, а наше положение стабилизировалось, я потерял интерес к работе. К тому времени, когда я решил уйти, все мои обязанности сводились к тому, чтобы сидеть у телефона да рисовать графики роста прибылей. Но я никому не говорил об истинной причине своего ухода — о том, что впереди больше ничего не светит, о том, что на меня тоску наводит подобная жизнь, когда сидишь и считаешь, сколько дней осталось до пенсии. Начальство и коллеги, естественно, заподозрили, что меня сманивают на сторону, пошли всякие сплетни.

Жена меня чуть не съела. «Ты рехнулся, просто рехнулся! — кричала она.— Я перестала тебя понимать! Ты меня больше не любишь!» Ну и все такое. Ее возмущение, безусловно, можно было понять. Как это так — взять и подать заявление об уходе, даже не подыскав нового места. Отцы семейства так себя не ведут. Но мне тогда на все было наплевать, хотелось только одного — уйти из фирмы. Я считал, что только так смогу снова почувствовать себя человеком. А жене я лишь сказал: «Все это была ненастоящая жизнь». И еще: «Не стану больше ишачить на других».

Тогда она сменила пластинку. Пошли рыдания. Каждый день она приставала ко мне: покажи тогда, что ты называешь «настоящей жизнью». Когда мы съезжали из дома, принадлежавшего фирме, на наемную квартиру, она захлебывалась от слез. Потом пошли разговоры о деньгах, на что, мол, жить семье. Я, чтобы отвязаться, брякнул про сейнер, но жена, конечно, не поняла. «Сейнер?!» — повторила она и больше ни слова мне не сказала, а неделю спустя, забрав детей, перебралась к своим родителям. С тех пор я ее не видел, и детей тоже. Поначалу меня донимали всякие ее родственники, мой старший брат — уговаривали, упрашивали, увещевали, но я их не слушал. По почте пришла бумажка, я шлепнул по ней печаткой, и привет, все на этом и кончилось. За все три года жена ни разу не заикнулась об алиментах. Знает, наверное, какие у меня доходы. Вот такой неинтересный конец был у моей семейной жизни.

Прошел, наверное, год, прежде чем я понял, насколько наивны мои мечты о новой жизни. Теперь я согласен — то была дикая, нелепая выходка. И все же сожалений не испытываю. До недавнего времени у меня просто не хватало на это душевных сил. Если бы С. не посетил меня в тот день, не знаю, что было бы со мной сегодня. Если бы он не вспомнил обо мне, я не уверен, что смог бы дотянуть до конца этого проклятого лета.

И какая мне, в сущности, разница, что представляет собой С. на самом деле. Пусть он сторонник каких-нибудь маразматических политических идей — меня это не испугает. Даже если он принадлежит к экстремистской организации — мне и на это наплевать. Если же С. из тех, кто всерьез озабочен судьбами того затхлого болота, каким стало наше общество — а с того момента, когда я увидел парня, мне захотелось в это верить,— ну что ж, тогда я охотно буду им помогать. Может быть, я уже и сейчас на их стороне. И меня не волнует то, что я не посвящен в величие их замысла, даже то, что этому замыслу, возможно, не суждено осуществиться.

Наевшись и напившись, собака снова разлеглась на коврике. Сегодня из-за дождя мошек было меньше, чем обычно, и все же они вились мелкой снежной пылью в свете горевшей в прихожей лампы. «Ладно, спи,— сказал я псу.— А если тебе здесь надоело, можешь проваливать на все четыре стороны.— Помолчал и добавил: — Ты ведь свободен». Дворняга, тихо повиливая хвостом, глядела на меня умудренным, все понимающим взглядом.

На втором этаже все было тихо — ни шагов, ни покашливания. Уснул он, что ли? Еще не было и семи часов. Не проснется ли он ночью от голода? Жратвы на кухне навалом, надо было сказать ему, чтобы он брал там все что пожелает.

Мои дела на сегодня закончены. Собачьи миски я помыл, ванну уже принял. Делать больше нечего. С., скорее всего, до завтра не позвонит. Хотел бы я знать, где он сейчас и чем занимается. Может, в своем доме, который наверняка пороскошнее этой горной виллы. Или сидит в кабинете и напряженно что-нибудь обдумывает. Это мне знакомо — сколько ночей в прежние времена провел я за своим рабочим столом, когда от страха, что сорвется крупная сделка, не мог сомкнуть глаз.

Я удобно устроился в кресле перед телевизором и стал пить пиво. Передавали новости — мелкие происшествия, то да се, в общем, всякую ерунду. Кому-то, может, это и было интересно, но ко мне никакого отношения не имело. Мир по-прежнему жил все той же нудной жизнью, когда сегодняшний день как две капли воды похож на вчерашний. Потом я просмотрел купленную утром газету — от первой до последней страницы,— но и там ничего интересного не было. Все те же избитые, шаблонные рассуждения о социальной справедливости, то же болото, никаких перемен. Парень сказал, что не смотрит телевизор. И к газете не притронулся. А я каждый день и телевизор смотрю, и газеты читаю, хотя меня от всего этого давно тошнит.

С тех пор как я поселился на вилле, во мне начал пробуждаться тот, прежний «я». Не знаю, радоваться этому или нет, не знаю даже, действительно прежний ли, но жизнь снова переполняет меня — это я чувствую. И все из-за непонятной, не укладывающейся ни в какие рамки работы, за которую я взялся. Если мои предположения не пустая фантазия, надо ждать каких-то больших событий. Очень скоро произойдет нечто из ряда вон выходящее, я почти уверен в этом,— если, конечно, С. почему-либо не откажется от своих планов. К такому выводу я пришел, лежа в ванне. И еще: смерч, который собираются поднять С. и компания, наверняка завертит меня, и в этом вихре мне, возможно, не сносить головы. Да, именно таким должно быть наиболее логичное завершение всей этой истории. Кто же станет жертвой? Парень, что спит сейчас на втором этаже? Или расплачиваться за все придется мне одному?

Даже если мне грозит опасность, С. на это наплевать. Для него я просто пешка, которой можно сделать ход, а потом спокойно взять и снять с доски. Уж этот-то умеет обращаться с людьми, оказавшимися за бортом и не знающими, как жить дальше. С. лучше меня понимает,

чем можно привлечь и заинтересовать такого, как я. С самого первого дня я только и делаю, что пытаюсь разгадать намерения своего бывшего однокурсника. Чего-чего, а времени на это у меня более чем достаточно. Правда, все сплошь домыслы да вымыслы, ни одного верного факта. Строить гипотезы я мастер, только как их подтвердить? А впрочем, мне и не нужны подтверждения. Пускай будут домыслы.

Очень возможно, что С.— вовсе не центральная фигура. Хоть он и возник у моего порога, приехав из неведомого мне мира на лимузине с шофером, это еще не значит, что он — самый главный. Если пользоваться терминологией, принятой в обычных фирмах, С., возможно, нечто вроде заведующего отделом. Будь он шишкой покрупнее, вряд ли ему пришлось бы самому бегать за такой мелюзгой, как я, и упрашивать меня не отказываться от выгодной работы. Кто знает, может, и сверкающий черным лаком автомобиль, и вымуштрованные мальчики из свиты — не более чем уловка, чтобы произвести на меня впечатление? Да нет, вряд ли. Скорее всего, за С. стоит какая-то могущественная, таинственная сила. По крайней мере с деньгами у него проблем нет. Не похоже, что содержимое моего бумажника досталось ему тяжким трудом.

Теперь с каждым днем я пива пью все меньше. И главное, пью не для того, чтобы осоветь, как раньше. Это приятно — голова остается незатуманенной. С. поставил мне только одно условие: ни капли спиртного, когда сажусь за руль. Условие это я выполняю. Да и ни к чему мне теперь напиваться. Мое воображение и без того работает на всю катушку, меня переполняют надежды. Когда парень сидел напротив, мне стоило огромных усилий сдержать тысячу вопросов, вертевшихся на языке.

О многом хотел бы я его расспросить, услышать от него всю правду. Но это, наверное, невозможно. С тем же успехом я могу надеяться, что мне удастся разговорить своего пса. Как и С., парень, конечно, ни слова не скажет о главном. Правда, ему, возможно, известен не весь замысел, а только какая-то его часть. Может, он, как и я, знает лишь, в чем состоит его непосредственное задание?

Ну, хватит гадать на кофейной гуще, подумал я. Гадай не гадай, ни до чего все равно не докопаешься. Но распалившееся воображение унять было не так-то просто. За окном чернела ночь, пиво начинало дурманить голову, и мысли накатывали одна за другой, как волны, лижущие песок. Я ничего не мог с собой поделать — слишком устал за день. Пройдет еще немало времени, прежде чем я засну. А дождь все идет. Если бы не он, можно было бы прогуляться до озера. Это так приятно — ходить по вечерней набережной вдвоем с собакой. Там на дикой скорости с незажженными фарами проносятся мимо мотоциклы и автомобили, в которых сидят бешеные юнцы, фланируют парочки, на лицах которых написано ожидание предстоящей ночи, дети, вышедшие с родителями прогуляться перед сном, с радостным визгом жгут бенгальские огни. Детский смех несется отовсюду, кажется, что, проносясь над гладью озера, он достигает противоположного берега, взметается вверх по горным склонам и поднимается в самое небо. Лениво прохаживаясь среди всей этой кутерьмы, я поглядываю по сторонам и снисходительно усмехаюсь. Почему-то я чувствую превосходство над гуляющей толпой. Но это, конечно, самообман. Не знаю, с чего я взял, что мое нынешнее положение делает меня самым свободным и независимым человеком на свете.

Здесь, возле горного озера, у людей такие довольные физиономии. За все время мне не встретился ни один человек с мрачным или озабоченным выражением лица. Публика вволю вкусила радостей лета и продолжает наслаждаться последними погожими деньками. Я и сам доволен. По внешнему виду не скажешь, что между мной и всем этим людом есть какая-то разница. А если и есть, то не столь уж значительная. Свет белых и красных фонариков, свисающих с гибких ветвей ивы,

освещает меня точно так же, как прочих отдыхающих. Точно так же обволакивает меня легкая музыка, несущаяся отовсюду,— из залов игральных автоматов, отелей, питейных заведений.

В глазах прохожих я — обычный курортник. И очень хорошо. Мне, слава Богу, нечего скрывать и не от кого прятаться. Не знаю, как С. и присланный им клиент, но я пока спокойно могу ходить в толпе, ничего не опасаясь. И все же, и все же, каждый раз, наслаждаясь прогулкой, я говорю сам себе по многу раз — не реже, чем задирает лапу моя псина,— одни и те же слова: «Между всеми вами и мной огромная разница». Или: «Я не то, что вы, я не вернусь к нудной повседневной жизни, как только спадет жара...».

В воздухе, проникавшем в гостиную через проволочную сетку двери, веяло сыростью, но душно не было. Дышалось сегодня вечером гораздо легче, чем вчера. Когда я вспомнил, как обливался по́том в своей комнатушке в том проклятом бараке, просто не поверилось, что это было со мной. Пусть на вилле я поселился ненадолго, но уж обратно в ту конуру не вернусь, решил я. Пропадай она пропадом вместе с тем жалким барахлом, которое там осталось. Заберу, пожалуй, свою регистрационную карточку, которую С. без моего ведома переправил в эти края, и уеду куда-нибудь далеко, в маленький городок, где я никого не знаю и меня никто не знает. Что мне терять, достаточно решиться — и я могу отправиться хоть на край света.

В глухой провинции на те денежки, которые я получу, наверное, нетрудно купить землю и дом. А можно обойтись и без этого — просто снять какое-нибудь жилье. Найти работу, и дело с концом. Половину денег надо будет обязательно отослать жене — нет, не жене, а детям. Ведь как муж и отец я палец о палец не ударил для своей семьи. Как это брат тогда сказал: «Никогда не думал, что ты такая безответственная скотина». С тех пор я ни разу его не видел.

А может, и не надо посылать никаких денег. Раз я безответственная скотина, пусть уж таким и останусь. Деньги мне и самому сгодятся. Без гроша в кармане свободной жизни не видать. Придется опять вкалывать. А какая к черту свобода, если ты вынужден вкалывать.

Главная причина несвободы — отсутствие денег. Это единственная истина, которую я усвоил за минувшие три года. Ни малейших иллюзий на свой счет я не испытываю. Я не гожусь на то, чтобы ворваться в какой-нибудь провинциальный банк с пистолетом в руке — для этого у меня кишка тонка. Не хватит у меня ловкости и чтобы морочить голову разным богатым дурам. То был, конечно, поступок идиота — бросить работу, не подыскав ничего взамен. Когда до меня дошло, что сильным человек может быть, лишь принадлежа к какой-то организации, было уже поздно. «Никогда не думал, что ты такой идиот»,— так еще сказал мой братец.

И вот теперь я вновь оказался в подчиненном положении. Опять кто-то отдает мне приказы. Я нанят на службу своим бывшим однокурсником и выполняю разную бабью работу — бегаю по магазинам, готовлю, стираю, подметаю, прислуживаю какому-то молокососу, который непонятно откуда и взялся. Он тоже, вне всякого сомнения, для меня — начальство. Подчиненный у меня только один — лохматая дворняжка.

Этот С. тоже мне шишка на ровном месте... Не знаю, кто так за ним стоит и что он может, но смотреть на меня свысока я ему не позволю. Неизвестно еще, на что бы он сгодился, если б оставить его одного. Вся разница между ним и мной состоит в том, что он всегда знал: в одиночку ничего не добьешься. К какому, интересно, выводу он пришел, собрав обо мне все интересовавшие его сведения? «Пожалуй, этого можно использовать»,— так он, наверное, решил и презрительно усмехнулся при мысли о моем никчемном существовании и моей загубленной жизни. Да знает ли он, что тот, прежний, я был пооборотистей его нынешнего? Что мне не было равных по части предприимчивости, что я не раз потрясал весь торгово-финансовый мир?

Думаю, что и теперь голова у меня варит не хуже, чем прежде. Так что если С. собирается сыграть со мной злую шутку, попользоваться и выкинуть на помойку, я бы ему советовал поостеречься. У меня еще хватит сил, чтобы, улучив момент, вернуть должок с лихвой.

Я здорово накрутил себя. Чем сильнее меня разбирало, тем чаще я прикладывался к пиву. Было еще только начало девятого, а я уже крепко набрался. Я совсем забыл о парне, ушедшем на второй этаж, а ведь нас под этой крышей теперь двое. Он не пьет и не курит, поэтому, наверное, у него такие ясные, незамутненные глаза. Немножко косят, но это его не портит. Вообще, в парне нет ничего такого, что вызывало бы неприязнь.

Он и ведет себя, и говорит совершенно естественно, в нем не чувствуется никакого напряжения. Пожалуй, самая отличительная его черта — это подчеркнутая скромность и неприметность. На такого никто не обернется на улице. Но то же самое можно сказать и обо мне. Когда я прогуливаюсь по берегу озера, многие смотрят в мою сторону, но не на меня, а на собаку. Ее длинная рыжая шерсть, вечно растрепанная от ветра, и строгий, неподвижный взгляд неизменно вызывают умиление у прохожих.

Перед тем как уйти насовсем, жена мне сказала такую вещь: когда я к ней сватался, она хотела отказать, но, узнав, какой я прекрасный работник, изменила свое решение. Может быть, С. прав и стоит подумать о том, чтобы попытаться ее вернуть?.. Сдается мне, что один из главных признаков, по которым С. подбирает людей,— это неприметность.

Я выключил телевизор и с трудом, как дряхлый старик, поднялся из кресла. Затворил окна, запер входную дверь на ключ. Меня слегка покачивало из стороны в сторону. Задергивая шторы, я посмотрел на пса, спавшего на террасе, потом — на окутанный ночным мраком лес. По ту сторону окна все то же — дождь и непроглядная тьма. А по эту — застывший у подоконника мужчина средних лет, который привык жить, как Бог пошлет, и отступать которому больше некуда.

В висках ломило — это с похмелья. Трезвон будильника до сих пор стоял в ушах. Я сам решил, что вставать буду в семь, С. мне этого не приказывал. Во сколько же я вчера уснул? Не помню. Помню только, что долго лежал в кровати, лениво прислушиваясь к шуму дождя. И еще где-то далеко лаяла лисица, а может, это уже был сон?

Мне понадобилось какое-то время, чтобы припомнить все события вчерашнего дня. Когда я просыпался по утрам в своей конуре, меня всегда била дрожь. Стоило осознать, что ночь прошла и я проснулся, как тут же от ног до головы пронизывал какой-то непонятный ток, и я начинал трястись в странном ознобе. В первые два утра на вилле было то же самое, но теперь дрожь исчезла без следа.

В голове все стало на свои места: С., работа, парень, собака. Спит ли еще мой клиент? Дождь кончился, ослепительно яркое солнце освещало листья, деревья, через оконное стекло и шторы заливало сиянием всю комнату. Чувствовалось, как тепло на улице. Снова вернулось лето. Озеро теперь опять оживет — заснуют яхты и лодки, у мостков перед кемпингом заплещутся в воде купающиеся.

Надо было готовить завтрак. Я оделся и отправился на кухню. Выпил залпом стакан воды — она медленно стекла по пищеводу, стало немного полегче. Пора завязывать с выпивкой. Да и с курением тоже. Я поставил на огонь кофе, сделал салат, мелко порезал мясо и бросил его на сковородку, сварил яйца, поджарил тосты. Пока вертелся на кухне, головная боль понемногу прошла. Но есть все равно не хотелось.

Весь длинный и узкий стол в гостиной я заставил тарелками. По-моему, завтрак получился первый сорт — и по качеству блюд, и по их количеству. Из напитков, кроме кофе, еще томатный сок и молоко. Только все это предназначалось для парня, мне на завтрак вполне доста-

точно стакана воды. Я пошел на второй этаж будить своего подопечного. Его комната была в японском стиле, но с обычной дверью[1]. Она была плотно закрыта, и из-за нее не доносилось ни звука. Я осторожно постучал. Никакого ответа. Может быть, лучше дать ему еще поспать? Нет, он и так проспал уже целых двенадцать часов. Я снова постучал и повернул ручку. Дверь была незаперта. «Завтрак готов»,— сказал я и шагнул в комнату. Затхлостью совсем уже не пахло.

Парня не было. Постель, аккуратно сложенная, лежала в углу, сверху — подушка и пижама. Окно было настежь распахнуто, и в ярко освещенной комнате стоял запах листвы и леса. Во всяком случае, клиент не сбежал — его черный саквояж был на месте. В туалете парня тоже не оказалось. Но для беспокойства, по-моему, причин не было. Мне ведь никто не говорил, что я обязан глаз с клиента не спускать. Я высунулся в окно и посмотрел вокруг. Погода была что надо.

Густые тучи, затянувшие вчера небо, уплыли куда-то далеко, наверное за океан. Сегодня весь мир заливало яркое солнце, в лучах которого ослепительными брызгами вспыхивали стебли травы и листья деревьев, на все голоса пели птицы, звенели насекомые. Озеро наверняка все светится, как огромное зеркало, подумал я. Уже с раннего утра там кипела жизнь — сюда доносились звонкие голоса, рев лодочных моторов, музыка. Летний день набирал силу. Теперь казалось, что до прихода осени очень далеко. Еще недели три все вокруг будет дышать влажным зноем.

Парня нигде не было видно. Пес тоже куда-то пропал. Он всегда с утра ждал меня, сидя на террасе, а сегодня исчез. Я и свистел, и звал его, но все без толку. Тогда я спустился в прихожую. Обувь была на месте: и туфли, в которых вчера был парень, и мои ботинки, и две пары сандалий. Я еще заглянул в ванную и в пустые комнаты, но парня не было и там. По крайней мере стало ясно, что на вилле его нет.

Я вышел на террасу. И тут увидел, как кто-то бежит через лес, по тропинке, направляясь к вилле. Это был мой парень. Лица я разглядеть не мог — мешал надвинутый капюшон тренировочной куртки, но это был точно он. За ним следом, сильно отстав, ковылял пес. На ногах у парня были новехонькие кроссовки. Бежал он спокойно и размеренно, не делая лишних движений, но в то же время очень быстро. Решил, значит, устроить небольшую пробежку. Как, однако, привязалась к нему собака — за одну ночь забыла, кто ей жратву дает.

Увидев на террасе меня, парень припустил еще быстрее и вмиг взлетел вверх по лестнице. Смахнул с головы капюшон и вежливо поздоровался. Пот с него лил прямо ручьями. Дыхание, впрочем, было ровным — говорил он нормально, даже не задыхался.

— Далеко бегали? — спросил я.

— Вокруг озера,— как ни в чем не бывало ответил парень.— Извините, душ надо принять.

— Сейчас еще нет горячей воды.

— Ничего, сойдет и холодная.

Взглянув на накрытый стол, парень добавил:

— Вы ешьте, не ждите,— потом сбегал на второй этаж за одеждой и исчез в ванной.

Для того чтобы обежать вокруг озера, нужен по меньшей мере час. Это и на машине-то конец неближний. Выходит, он встал, когда еще и шести не было. Собака еле вползла на террасу и свалилась без сил у моих ног. Я поставил перед ней миску с водой, но у нее не было сил даже лакать. Свесив длинный язык, пес шумно дышал, никак не мог очухаться. Я сел за стол и стал ждать. Судя по всему, парень тоже привык жить один. Наверняка ему известно лучше, чем мне, как расходовать двадцать четыре часа в сутки. Такой не нуждается в компании, чтобы занять себя. Нет, ей-богу, работка мне досталась не из пыльных.

---

[1] В традиционном японском жилище вместо дверей раздвижные перегородки.

Я не смог заставить себя взглянуть в залитое потом лицо парня. И на приветствие-то его толком не ответил. Что это со мной? Что, померещилось, будто мне показали самого себя, того, каким я был десять лет назад? Да нет, не был я таким крепышом, как этот. Даже в студенческие годы не мог как следует и стометровки пробежать. Куда уж мне на сейнер — такого, как я, поди, и на три дня в море не хватит.

Только ли сила и здоровье отличают парня от меня? А может, главное — перспективы? Или то, что у него впереди намного больше времени? Каким бы показался мне этот парень, встреться я с ним, когда работал в фирме? Наверное, я и не взглянул бы на него лишний раз, решив: еще один тупоголовый здоровяк, и больше ничего. У меня в ту пору был единственный критерий для оценки человека — может он работать или нет.

Зазвонил телефон — громко, заливисто, на весь дом. Я взял трубку и, глубоко вздохнув, тихо сказал: «Да». С. всегдашним ленивым голосом, но кратко и вразумительно изложил суть дела. Из ванной вышел парень и сел за стол. С. ни словом не упомянул о нем. Не спросил даже, как у того дела. Парень не отрывал глаз от тарелки. «Значит, получи бандероль до востребования»,— повторил С. и повесил трубку.

— С завтрашнего дня буду вставать раньше,— подал голос парень.

— Хорошо, я буду подниматься вместе с вами. Чувствуйте себя совершенно свободно.— Я тоже сел за стол.— Ну что ж, давайте завтракать.

Лицо парня прямо сияло молодостью и здоровьем — даже смотреть было больно.

— Хорошо быть молодым,— сказал я. Я старательно следил за своим тоном, но все равно прозвучало это как-то приниженно, по-холуйски, и я добавил: — Я смотрю, здоровья вам не занимать.

Парень выпил сначала томатный сок, потом молоко и принялся за тосты. Сегодня у него аппетит был еще лучше, чем вчера. А я только отхлебнул кофе и тут же отставил чашку. Сидел и обдумывал задание, полученное от С. Пробовал угадать, что там, в бандероли, которую мне надлежит забрать на почте. Фамилия будет указана моя. Но я не успел даже спросить, что мне делать потом с этой бандеролью. Наверное, он позвонит еще.

Я спросил у парня;

— Вы рыбалку любите?

— Рыбалку? — Парень поднял от тарелки румяное лицо.— В детстве любил.

— Может быть, съездим на озеро, половим рыбки? Просто так, с удочкой.

— А что здесь ловится?

— Местные говорят, что осенью можно поймать корюшку.

— Но сейчас ведь еще лето.

— Ничего. Будем считать, что уже осень.

— Тогда ладно,— улыбнулся парень.

Если он и не пойдет, я для себя уже решил. Еще раньше — когда владелец лодочной станции (у этого старика на спине была вытатуирована целая цветная картина, изображавшая актеров Кабуки) рассказал мне о корюшке. Самому даже странно — мне никогда и в голову не приходило заняться рыбалкой, а тут прямо загорелся. Захотелось пристроиться где-нибудь с удочкой и долго-долго, по-стариковски, сидеть над водой без единого движения. Странное желание для человека, жаждущего вечных перемен.

— Вы сегодня поедете в город? — спросил парень.

— Поеду,— ответил я, но о бандероли ни слова.— Немного попозже.

— Не могли бы вы захватить меня с собой?

— Пожалуйста.

— Здесь сидеть скучновато.

Я посмотрел ему в глаза, стараясь понять, что за этим кроется. Он явно не из тех, кому скучно находиться в одиночестве. Что ему понадобилось в городе? Связано ли это с бандеролью? Какое у парня задание — ведь не отдыхать же он приехал на эту виллу?

— Ну, тогда давайте пообедаем где-нибудь по дороге,— предложил я.— Выедем отсюда часов в девять.

Парень поднялся к себе, а я стал убирать со стола. Потом достал из холодильника кусок говядины, разрезал ее пополам, покрошил репчатого лука, яблочных долек, залил вином. Пусть постоит до вечера, размягчится. Это было фирменным блюдом моей жены, мы с детьми его обожали.

Парень занялся стиркой. Только когда он стал развешивать белье, я увидел, что мое тряпье тоже отстирано. Я выбежал во двор и смущенно пробормотал:

— Ну что вы, зачем это?

— Ничего, мне это нетрудно,— с серьезным видом ответил парень.

— Прямо общежитие, да и только,— засмеялся было я, но он даже не улыбнулся.

Около девяти я достал из-под своего матраса бумажник и пересчитал купюры. Словно ничего и не тратил — все такая же толстая пачка. На эту сумму можно прожить припеваючи полгода, а я бы и целый год продержался. Засунув бумажник в карман, я вышел на улицу. Парень уже ждал у машины, весь в пятнах солнечного света, просеянного через листву. Пес к нему даже не подошел, так и остался лежать на прохладной террасе; когда я спускался по лестнице, он и головы не поднял. Пробежка вокруг озера совсем доконала бедолагу.

Сев за руль, я сказал:

— Эта собака уже не первой молодости.

— Она молодец,— сказал парень, словно заступаясь за пса.— Бежала изо всех сил, старалась не отставать.

— Вот вернемся, а она издохла, надорвавшись.

— Скажете тоже,— засмеялся парень.

Какой приятный у него смех. Я тоже попытался рассмеяться, но мой прозвучал мрачно и неестественно.

Когда мы выехали на набережную, нас ослепил жгучий солнечный свет. Все озеро пылало огнем, хотелось зажмурить глаза. Я надел темные очки. Сидевший рядом парень высунул левую руку в открытое окно, а правой старательно причесывал еще не просохшие после душа волосы.

Отдыхающие, которых проливной дождь целый день продержал взаперти, высыпали на берег, заполнили улицы. С веселыми оживленными лицами они радовались возвращению лета. Ясный день, на который каждый из них возлагал столько приятных надежд, еще только начинался, и людей переполняла буйная, неуемная энергия. Все куда-то шли, бежали, спешили, на пляже никто не лежал. Счастливое выражение освещало лица и шедших в обнимку парней с девушками, и семейных пар. Нацелившиеся на карманы отдыхающих торговцы так и стреляли глазами во все стороны, сияя умильными улыбками. Вот оно — пресловутое общество, и мы двое прикидываемся, что тоже составляем его частицу. Но что будет дальше? Может быть, с того момента, как я получу на почте бандероль, мое положение разом изменится, и я окажусь окончательно повязанным с С. и его людьми.

Свернул на извилистую дорогу, поднимавшуюся в гору, и вовсю заработал рычагом переключения передач. Из леса доносилась перекличка кукушек. Парень тихонько что-то насвистывал. Меня всего трясло от волнения, а он был так спокоен. Если бы он хорошенько задумался над тем, что связывает его с С., ему бы, наверное, стало не до свиста. Поглядывая на беззаботное лицо парня, я подумал, что здорово в нем ошибся. Ничего необыкновенного в нем нет и в помине.

Городок, несмотря на ранний час, уже задыхался от жары. Над мостовыми дрожало знойное марево, и казалось, что дома, покачиваясь, плывут по волнам. Но пыли было немного — спасибо вчерашнему дождю. Временами налетал легкий ветерок, он пахнул свежестью и морем.

И здесь по улицам слонялись почти сплошь одни курортники, заходя в бесчисленные сувенирные лавки и магазины. Тут и там, привлекая взгляды прохожих, порхали стайки девушек, легкие одеяния которых мало отличались от купальников. Девицы трещали без умолку, их звонкие голоса разносились далеко. Парень по-прежнему фальшиво насвистывал какую-то мелодию, на что он смотрит своими слегка косящим взглядом, понять было трудно — то ли на голые ноги девушек, то ли еще куда.

Я медленно вел машину, вспоминая схему городка, которую успел неплохо изучить. Все вызубрил наизусть — и где основные здания, и куда ведет какая улица, каждый объезд и закоулок. Теперь я тут ни за что не заблужусь. Пока не было парня, я каждый день приезжал сюда и кружил, кружил по улицам. Городок-то сам по себе небольшой, но улицы широкие, знаков одностороннего движения почти нет, поэтому автомобилям здесь приволье. Мне городок приглянулся. Так он просторно раскинулся, что любо-дорого глядеть. С одной стороны, правда, город ограничен морем, зато с трех других ничто не стесняет его роста. И кати себе на машине в любом направлении, кроме восточного — там побережье.

Когда работа будет закончена, в какую сторону я поеду? Вернусь к югу? Или махнуть к северу, навстречу надвигающейся осени,— я там никогда еще не был. Можно и на запад, через горы. А что будет делать парень? Не останется же он на горной вилле навсегда. Но есть ли ему куда возвращаться? Или, как мне, некуда?

Ясно одно — родом он не из этих мест. Человек, которому знаком город, не станет изучать его с таким сосредоточенным видом. Я искоса кинул взгляд на соседа. Черта с два проведешь ты меня своим свистом, подумал я. Ну и взгляд — цепкий, ничего не упустит. Нет, на женщин таким взглядом не смотрят.

— Честно говоря, я эти места знаю плоховато,— сказал я.

Парень перестал свистеть.

— Я ведь тоже приехал сюда совсем недавно,— продолжал я.

Однако парень не клюнул, даже рта не раскрыл. Хочет, наверное, чтобы я думал, будто он просто так, из любопытства глазеет по сторонам. Я свернул на привокзальную площадь и медленно поехал мимо клумбы с цветочными часами. И тут глаза парня внезапно сузились, взгляд беспокойно зашарил по площади. Взгляд острый, как игла. С особой сосредоточенностью парень рассматривал выход из вокзала. Когда машина проезжала мимо дверей, он стиснул зубы, у рта пролегла резкая складка.

— Объедем площадь еще разок? — предложил я.

— Зачем? — спросил парень и повернулся ко мне, изображая недоумение.— Вам здесь что-нибудь нужно?

— Мне-то нет...

— Мне тоже.

Я, смутившись, отвел взгляд и выехал с площади. Парень снова принялся насвистывать. Да, такого не подловишь. Судя по всему, он твердо решил не говорить со мной ни о чем важном. Ну что ж, если ему так хочется, я тоже буду помалкивать. Не скажу ему, зачем я приехал в город. Впрочем, может быть, он и так знает. Даже и о том, что содержится в бандероли. Скорее всего, бандероль предназначается не мне. Так кому же? Выходит, парню — ведь здесь никого больше нет. Наверное, я один блуждаю в потемках, а ему все известно. Да, это самый логичный вывод.

Я — временная наемная сила, но парень наверняка занимает иное положение. Он — важное звено в организации, возглавляемой С., пол-

ноправный член «фирмы». Я более или менее могу предположить, почему С. не посвятил меня в суть дела. Или он доверяет мне только частично, или считает, что человеку, думающему лишь о себе, вообще доверять нельзя, или же решил меня сначала испытать. Хотя не исключено, что С. собирается использовать меня только один раз, а потом послать куда подальше. Я бы на его месте поступил именно так. Человек, которому скоро стукнет сорок, плохо поддается «промыванию мозгов». Лучшее доказательство тому, что я не ошибаюсь,— высокая плата за мои услуги.

Что, интересно, испытал С., увидев меня после семнадцатилетнего перерыва? Что он подумал, когда пришел в мое убогое жилище — в таких даже бедные студенты не живут,— и увидел меня, подыхавшего на койке от жары? Я тогда смутился и сел на кровати, пробормотав: «Ну вот, так я и живу». Что он чувствовал, глядя на меня? Наверное, мысленно потешался. Но виду не подал, ни словом, ни жестом не выдал насмешки. Если бы я почувствовал в его поведении снисходительность или брезгливость, я бы не стал с ним разговаривать, а в два счета выставил бы за дверь. Ячменный чай, которым я его угостил, С. выпил до последней капли и до самого ухода сидел вежливенько так, не развалясь. Не все, что он говорил, было приятно выслушивать, не нравилось мне и то, что он ничего не рассказывает о себе, но я понимал — это в интересах дела.

И все же нет, не верю я С. Чтобы я стал доверять ему полностью, на все сто, должен пройти не один год. А парень, он ему верит? Или его заставили верить? Какой идеей руководствуется он, делая свое дело? В его возрасте я тоже кое во что верил. Верил в свой талант, в знания, в то, что я не такой, как все. Благодаря моим достижениям самые бездарные сотрудники фирмы и те получали дополнительные премиальные. И все окружающие отдавали должное моим способностям.

Но теперь я больше в себя не верю, я полон сомнений. Когда я понял, что не могу существовать без напряжения, без борьбы, не могу больше работать в фирме, я стал жить один. Что за вздорная была идея — тратить двадцать четыре часа в сутки, триста шестьдесят пять дней в году только на себя. Я слишком поздно это понял.

А что будет с парнем? Не сорвется ли в один прекрасный день и он, тоже поняв, что все превзошел и всего достиг? И тогда до него дойдет, что им манипулировали, он захочет полной, абсолютной свободы и неминуемо сорвется, загремит вниз. Но, вероятнее всего, он будет верой и правдой служить своим боссам и после многих лет беспрекословного подчинения сядет на место, которое занимает сейчас С.

Я затормозил возле почты. Перед тем как выйти из машины, попросил парня:

— Если пристанет полицейский из-за нарушения правил стоянки, посигнальте, чтобы я вышел, или сами отгоните машину куда положено.

На привокзальной площади полицейские смотрели на мелкие нарушения сквозь пальцы, но здесь, на улице, запросто могли придраться.

— Чтобы загудело, надо нажать вот сюда, да? — спросил парень, показывая на середину руля.

Я кивнул и вылез из машины. Одно по крайней мере стало ясно. Он ни черта не смыслит в автомобиле. Первоклассник и то больше знает, чем он. Значит, одним из непременных условий при подборе кандидата на мое место было умение водить машину.

Я сказал почтовому служащему, сидевшему с кислой миной за стойкой, про бандероль, показал свое водительское удостоверение, шлепнул по бланку печаткой, после чего он небрежно швырнул мне узкий и длинный сверток в коричневой оберточной бумаге. Бандероль аккуратно, крест-накрест, была перевязана бечевкой. Взяв сверток в руки, я понл, что он тяжелее, чем можно было предположить по внешнему виду. Вверху значилось мое имя, но в графе «отправитель» стояла какая-то незнакомая мне фамилия.

Вернувшись в машину, я сунул бандероль в бардачок и пытливо взглянул на парня, но тот не обратил на мои действия никакого внимания. Возможно, прикидывается. И в это мгновение я вдруг испытал непонятный душевный трепет. В напряжении я находился с того самого момента, когда взял в руки сверток, мое неугомонное воображение заработало вовсю. Надо успокоиться. Перед тем как дать газ, я несколько раз глубоко вздохнул.

Парень опять насвистывал. Надоел до смерти. Этот чертов свист начинал раздражать меня не на шутку. Надо же, какой супермен, все ему нипочем. И до свертка ему дела нет, скажите пожалуйста. Хоть бы взгляд кинул в сторону бардачка. Я был зол. Зол и возбужден. Временами даже забывал, что сижу за рулем,— не следил за дорогой, один раз чуть не проскочил на красный свет.

Свернув на тенистую улочку, я остановил машину возле магазина рыболовных принадлежностей. На сей раз парень тоже вылез из автомобиля и последовал за мной. Все дверцы я закрыл на ключ — боялся за бандероль. Парень тем временем подошел к витрине, присел на корточки и стал внимательно разглядывать золотых рыбок, плававших в аквариуме.

— На корюшку? — переспросил хозяин лавки и покрутил головой.— Что-то рановато.

— Ничего,— ответил я.— Нам ведь только так, позабавиться.

Хозяин нацепил на нос очки, висевшие у него на шее на тонкой цепочке, и ушел в глубь магазина, пошарил там по полкам и тут же вернулся. Он вручил мне две короткие удочки с маленькими пластмассовыми катушками.

— Вот, это на корюшку.— И добавил: — А ловить надо на червя,— и принес из холодильника четыре виниловых пакетика с живыми червями.

Один из покупателей, лысоватый мужчина, стоявший у прилавка и глазевший на меня, вмешался:

— Зря вы это, корюшка сейчас не клюнет. Уж если ловить, так лосося.

Они оба смотрели на меня как на последнего идиота. Я мысленно проклинал свою неосторожность. Теперь двое из местных жителей меня запомнят. И как я выгляжу, забудут, наверное, не так скоро. Ни к чему здесь задерживаться. Я заплатил, взял покупки и поспешно вышел из магазина. Парень по-прежнему был увлечен золотыми рыбками, я поторопил его, и мы быстро уехали. Я-то еще ладно, но парню светиться уж совсем ни к чему. Почему я в этом так уверен?

Мы с парнем сидели за круглым белым столиком и молчали. Обед мы уже заказали, но официантка успела поставить только пепельницу и графин с водой. От солнца нас защищал натянутый над столиком полосатый красно-синий зонт, края которого бились и трепетали под дуновением ветерка, налетавшего с моря. Внизу, под обрывом, вытянулся серпом песчаный пляж, было видно, как мужские и женские фигурки копошатся в пенной полосе прибоя. Но купающихся можно было пересчитать по пальцам. У выхода из бухты стоял на якоре всего один прогулочный катер. Окружающий мир переливался и вспыхивал нестерпимо ярким сиянием, словно отлитый из раскаленного вольфрама. Плавно изогнутая линия берега, загорелые люди на пляже, покачивающийся на волнах катер, без устали машущие крыльями чайки, чернильная чаша моря — все слепило глаза, казалось, вокруг рассыпаны осколки одного огромного зеркала.

На веранде под зонтиками не оставалось ни одного свободного столика. Внутри, в зале, было прохладно, и море через цветные стекла широких окон просматривалось точно так же, но там почему-то не сел

ни один человек, лишь сновали официантки в ярких передниках да торчал какой-то тип в галстуке-бабочке, наверное администратор.

Рядом проходило широкое шоссе, по которому на бешеной скорости, стирая шины о раскаленный асфальт, один за другим проносились автомобили — не успеешь разглядеть, а он уже промчался мимо, заглушив ревом мотора шум прибоя, и исчез вдали, растворился в густом от зноя воздухе. Жарко. Ох, как жарко. Парень неподвижно застыл в кресле, на его белой спортивной рубашке проступили пятна пота. Откинувшись на спинку, закинув ногу на ногу и опершись правой рукой о край стола, он смотрел прищуренным взглядом куда-то за горизонт. Его электронные часы запищали — значит, уже двенадцать.

Я тоже старался избегать лишних движений, сидел развалившись, обмякший от жары. Только глазами сквозь темные очки все поглядывал по сторонам, особенно на автомобильную стоянку. Стоило кому-то приблизиться к моей машине, как я сразу дергался, готовый вскочить и броситься туда. И это при том, что дверцы я запер. Оставшаяся в машине бандероль все сильнее действовала мне на нервы.

Вообще-то особых причин для волнения у меня пока не было. Ну, приехал вчера клиент, ну, пришла сегодня бандероль — всего и делов-то. А я жаждал событий, жаждал перемен. Я догадывался о том, что́ в бандероли. Давно догадывался — еще с самого утра, когда впервые услышал о ней от С.

Но может, я ошибся? Попал пальцем в небо? Слишком много нафантазировал? Во всем, что касается работы, мои нервы обострены до предела. Так было всегда, еще со времен службы в фирме. Будь я таким, как все остальные, то есть обычным, не раздумывающим исполнителем, со мной, наверное, не произошло бы того срыва. И работа осталась бы при мне, и семья, и жил бы я на свете спокойно, всем довольный. «Ты так и не понял, идиот, насколько это важно — жить, как все»,— крикнул брат во время нашего последнего разговора.

Справа за соседним столиком сидело целое семейство, и я время от времени поглядывал туда. Они пришли раньше нас и уже начали есть. Двое загорелых до черноты детишек, уткнувшись носами в тарелки, уплетали за обе щеки. У мамаши лицо было усталым, но в уголках рта таилась счастливая улыбка. Папаша сидел ко мне спиной, и разглядеть его я не мог. Интересно, такой же у него усталый вид, как у жены, или нет. Может быть, то сижу я сам, собственной персоной, только не нынешний, а прежний? Вряд ли... Эта семья, наверное, ведет обычную жизнь, в которой бывают бури и невзгоды, но не происходит ничего такого, что исправить уже нельзя. Удел этой пары — жить изо дня в день тихо и размеренно, не сомневаясь в правильности заведенного порядка вещей, понемногу стариться и, наконец, отойти в мир иной, ни разу не переступив черты, делящей общество на фасад и изнанку. А по какую сторону этой черты находится С.? Наверное, он не признает подобного деления, ему даже в голову не приходит, что такая черта существует. Или, возможно, он понимает, что принадлежит к изнанке, но надеется со временем превратить ее в фасад. Может быть, С. верит, что ему удастся перевернуть общество вверх тормашками, если он нарушит его законы, если станет торпедировать его такими вот парнями, для которых цена собственной жизни — копейка? Пусть не С., а те, кто за ним стоит. Нет, даже не они, а сам этот парень, который сидит сейчас передо мной.

— Ух,— сказал я,— как все вокруг тихо и мирно.

Парень ничего не ответил. Даже не шелохнулся — по-прежнему сидел, откинувшись тренированным телом на спинку плетеного кресла, и смотрел вдаль.

— Скучно жить на свете,— пробормотал я.

И опять он промолчал. Высыпал в рот из бокала не успевшие еще растаять льдинки, звонко захрустел ими и проглотил. Но меня уже понесло, я решил во что бы то ни стало заставить его заговорить.

— А может, так оно и лучше. Еще немного — и наша страна, глядишь, станет просто раем.

Парень положил в рот еще несколько кубиков льда, но не глотал их, а сосал. Я с иронией добавил:

— Все у нас есть, о чем еще можно мечтать?

Ответа я так и не дождался. Парень с непроницаемым лицом смотрел на море, не раскрывая рта. Не мог он меня не слышать, и не понять тоже не мог. Просто я для него — пустое место, можно не обращать на меня никакого внимания. Наверное, он не снисходит до того, чтобы тратить время на споры с таким, как я. Или решил, что не клюнет на мою удочку? А может, он из тех, кто считает, что слова вообще ни к чему, и верит только в действия?

Надо еще помахать перед ним красной тряпкой, подумал я. Открыл было рот, чтобы сказать: «Теперь в нашей жизни ничего уже не изменишь»,— и заколебался. А тут как раз принесли еду. Я столько всего назаказывал, что пришли сразу две официантки. Они с трудом уместили на столике такое количество тарелок.

— Выглядит аппетитно,— разомкнул наконец уста мой клиент. Голос его звучал весело и беззаботно: — Это что, дары местных вод?

— Наверное,— равнодушно пожал я плечами, но тут же взял себя в руки и вежливо прибавил: — Вы ешьте, ешьте, в жару надо хорошо питаться.

Если б не машина, я б с удовольствием выпил пивка. Похмелье прошло еще утром, головная боль исчезла без следа, как только я получил на почте бандероль. Даже аппетит появился. Ничего удивительного — утром-то я не ел. Чувствовал я себя теперь отлично, настроение тоже было прекрасным. Как будто скинул разом лет десять.

Семейство за соседним столиком закончило трапезу, но уходить не спешило. Сидели, лениво о чем-то переговаривались. Может быть, обед в приморском ресторане — последний штрих их летнего отпуска. Но вот детишки, не слушая уговоров матери, вскочили и понеслись сломя голову в сторону берега. Глава семейства аккуратно пересчитал сдачу, сложил ее в кошелек и громко позвал расшалившихся детей. Потом вчетвером зашагали под палящим солнцем к стоянке. Кроме папаши, все подмели еду с тарелок подчистую.

Я неожиданно для самого себя спросил:

— Вы как, семейством обзаводиться не собираетесь?

Внезапность вопроса, видимо, подействовала — парень обескураженно заморгал.

— Семейством? — переспросил он и отпил воды.— Вы имеете в виду, не собираюсь ли жениться?

— Ну да.— Я продолжал есть, стараясь не смотреть на него.— Я имею в виду, не собираетесь ли и вы зажить так же, как все.

Парень на миг замер, потом глубоко вздохнул и вытер губы салфеткой. Но ответа на свой вопрос я так и не дождался.

— У меня с этим делом ничего не вышло,— сказал я и стал пить кока-колу. Увы, пиво она мне заменить не могла. Внутри накапливалось раздражение. Помолчав, я вдруг взял и ляпнул: — Нет ничего глупее, чем жертвовать собой ради каких-то там идей.

Парень резко поднялся с кресла и, бросив: «Пойду искупаюсь», поспешно направился к обрыву, оставив обед недоеденным. Я смотрел, как он легко, не касаясь перил, сбегает по крутой лестнице. Красиво это у него получалось. Потом он исчез, а когда появился внизу, на пляже, то казался уже маленькой букашкой. Я все следил за ним взглядом. Похоже, он на меня разозлился. Или просто ему надоело сидеть на месте — смотрел-смотрел на море и захотел искупаться. Может, парень с самого начала только об этом и думал, а все, что я ему тут нес, пропускал мимо ушей. Я вспомнил, как С. сегодня сказал про него: «Пускай *этот* делает все, что захочет». Подходя к воде, парень сбросил одежду и, оставшись в одних трусах, зашлепал по мелководью. Зайдя

по пояс, он упал грудью вперед и поплыл. Рассекая волны, он удалялся все дальше от берега. Я же продолжал есть, отгоняя ладонью жужжавших над столом мух.

Может быть, в море парень мысленно спорит со мной? Если тебя одолевает скука, думает он, наверное, сделай так, чтобы изгнать ее из жизни. И еще: наша страна не становится раем, а катится в тартарары — или что-нибудь в этом роде. Время от времени парень переставал работать руками и ногами и покачивался на волнах, лежа на спине. Я подумал, что он похож на огромную хищную рыбину, у которой в пасти притаилось несколько рядов острых, как бритва, зубов. Но если он акула, то никакой подходящей жертвы поблизости не было. Никто больше не заплывал так далеко, все остальные плескались возле самого берега.

Я не плавал со студенческих лет. Хотя нет. Один раз, вскоре после женитьбы, когда еще не родился наш старший, мы ходили вдвоем с женой в городской бассейн. Она плавала куда лучше, чем я, и намного быстрее. Меня хватало максимум на пятьдесят метров, а жена запросто проплыла бы и в десять раз больше. Помнится, она сказала тогда: «Если ты будешь тонуть, я тебя спасу».

Ничего, я и без нее не утонул. Держусь на плаву сам. Достаточно было С. протянуть мне руку, и я выкарабкался.

Я снова посмотрел на море. Теперь из воды торчало уже несколько голов, и я не мог различить, где там парень. Может, он нырнул? Жены у такого, конечно, нет. И не думаю, что он где-то когда-то работал. Непохоже на то. Почему у парня такой вид — будто у него вообще нет прошлого? Какой-то он неживой, прямо не верится, что за плечами у него прожитые годы. Создается ощущение, что он с самого рождения жил один, ни с кем не общаясь, даже в его связь с С. поверить трудно.

Я окинул взглядом морской простор. Только небо и вода — нет, далеко-далеко белела стая чаек, то падая на волны, то вновь взмывая к облакам. Наверное, там отмель, и во время шторма на том месте вздымаются пенные буруны. Но сейчас море везде было одинаковым. Да, так и не отправился я в плаванье. Где мне, человеку, которого и искупаться-то не заманишь, вырваться за линию горизонта? О, я прекрасно понимаю, в чем мой изъян. Мне недостает решимости. Я потому так и тянул с уходом в море, что жизнь не тряхнула меня как следует. Бросил работу, ушла жена — все это так, но по-настоящему меня еще все-таки не прижало. Вот С.— тот сразу смог припереть меня к стенке.

Я живу в мире фантазий. С тех самых пор, как остался один, в течение трех долгих лет я ни разу не столкнулся с реальностью, и эта искусственная, ненастоящая жизнь продолжается до сих пор. Как только я понял, что голодная смерть мне не грозит, что я как-нибудь проживу и в одиночестве, все напряжение куда-то схлынуло. Я утратил почву под ногами, и больше у меня ни в чем нет уверенности. Все кажется мне продолжением одного и того же бесконечного сна — эти незнакомые края, горная вилла на лесистом берегу озера, телефонные звонки С., живущий под одной со мною крышей парень, приблудная дворняга, трехразовое питание, набитое купюрами портмоне оленьей кожи, таинственная бандероль.

Прожитые сорок лет словно бы и не имеют ко мне никакого отношения, их как будто и не было. Вырастившие меня родители, их старость и смерть, старший брат, двадцать пять лет просидевший за одним и тем же столом в мэрии, младший брат, погибший во время пожара, места, где я жил, знакомые, жена и дети, вереница крупных и мелких событий, составлявших когда-то мою жизнь,— до всего этого мне дела больше нет. Передо мной бескрайнее небо и бескрайнее море, залитый солнцем мир, в котором нет места тени. Насколько хватает глаз, катятся волны, над ними — невидимый пар, беззвучно сталкивающиеся атмосферные потоки. Вспыхивающие над морем солнечные блики слепят меня, пронизывая светом все мое тело, наполняют душу трепетом и радост-

ным волнением. Я свободен. Ни С., ни этому парню, ни вообще кому-либо из живущих на земле такая свобода и не снилась. И я без сожалений расстаюсь с мечтой о работе на сейнере — она легко растворяется в бездонном синем небе. Теперь будем решать, как жить дальше. В течение краткого мига я вижу оскаленную пасть невиданной гигантской рыбы, слышу свист урагана и бешеный рев яростной толпы... Если бы из порта сейчас уходило судно, я бы не задумываясь уплыл на нем куда глаза глядят. Пусть хоть грузовое — наплевать. Есть отличный, древний как мир способ бегства: спрятаться в трюме и сидеть там до тех пор, пока корабль не отойдет от гавани подальше, а потом можно вылезать на палубу — и будь что будет...

Вдруг я заметил, что парень уже на пляже. Наплававшись, он теперь лежал на песке, подставляя тело жгучим лучам солнца. Его сразу можно было отличить от остальных — выдавали обычные, не купальные, трусы и белая незагоревшая кожа. Если он не хочет выделяться из толпы, ему надо поскорее загореть. И тогда, сколько бы он ни торчал на площади перед вокзалом, подозрений ни у кого не возникнет — обычный паренек, приехавший отдыхать на море, здесь таких тысячи.

Когда трусы подсохли, парень встал. Стряхнул прилипший к телу песок, надел штаны и рубашку, пригладил волосы и, держа туфли в руках, двинулся к высокому берегу. Обрыв заслонил его, и снова я увидел парня уже наверху. Цвет лица у него пока не изменился, наверное, загар проступит завтра.

— Ох, хорошо,— сказал парень.— Просто здорово.— Он сел за стол и продолжил прерванный обед.— Море здесь совсем чистое.

Я зажег сигарету и посмотрел на морскую ширь, потом снова перевел взгляд на парня. Его лицо казалось совсем детским — наверное, из-за мокрых волос. И на этого мальчишку С. возлагает столько надежд? Это что, символ их идей и устремлений? Опять меня заносит. Может быть, я вообще напридумывал себе невесть что. Нафантазировал про какие-то тайные замыслы, которых, поди, и в помине нет, и теперь сам себя накручиваю... Нет, это не фантазии.

Подобрав все до последней крошки, парень тщательно вытер рот и пальцы — для этого ему потребовалось несколько салфеток — и запил обед стаканом воды.

— Спасибо, все было очень вкусно,— сказал он.

— Ну что, поедем потихоньку? Уж больно здесь жарко.

— Поедем.

Я заплатил по счету и пошел следом за парнем к стоянке. От раскаленной на солнце щебенки полыхнуло таким жаром, что у меня даже голова закружилась. А в машине вообще было как в печке. Я открыл дверцы, врубил кондиционер на полную и подождал, пока из салона не уйдет нагревшийся воздух, только потом мы сели внутрь.

Солнце стояло в зените, жара достигла высшей точки. В небе — ни тучки. Дождя сегодня явно не будет. Опять было не продохнуть от пыли — как будто и не лило вчера до глубокой ночи. По шоссе сплошным потоком шли машины, и мы еле тащились.

Парень, похоже, был в прекрасном расположении духа. Опять рассвистелся. Во мне росло раздражение. Не прошло и суток, как я увидел его впервые, а он мне уже успел до смерти надоесть — говорить ни о чем серьезном не желает, даже имени не называет, тоже мне. Устал я подыскивать нейтральные темы для разговора, прощупывать его, пытаться что-то выведать. Теперь меня волновало только одно — содержимое бандероли, засунутой в бардачок. При одной мысли о том, что́ там, внутри, странный ток проходил по плечам и рукам.

Пожалуй, завалюсь-ка я спать, когда вернемся на виллу. Поставлю кресло на прохладную террасу и продрыхну до самого вечера, окруженный щебетанием птиц и стрекотом цикад. А этот пускай делает что хочет. Пусть сам развлекает себя как знает: смывает в ду́ше впитавшуюся в кожу соль, отправляется на прогулку с собакой или торчит у

себя наверху взаперти. Мне до него дела нет. Все разъяснится в свое время. Недолго ждать — каких-нибудь несколько дней.

Вдруг парень сказал:

— У каждого человека своя дорога в жизни. По-моему, так.

Я не сразу сообразил, что это он отвечает на мои вопросы. Искоса взглянув в его лицо, я подождал, не скажет ли он чего-нибудь еще, но парень молчал.

Солнце начинало клониться к закату, и терраса оказалась в тени. Но времени до вечера оставалось много, и косые лучи еще ярко освещали стволы деревьев. На берегу озера наверняка продолжало жарить вовсю. Я лежал, удобно устроившись на двух шезлонгах, и не спеша оглядывал все вокруг. Взгляд был слегка затуманен после сна.

Над травой порхали бабочки, они прилетели сюда из-за горы, с болота. Пока на вилле не было парня, я успел хорошо изучить окрестности. Изучать, правда, особенно было нечего. Все речушки и ручейки впадали в озеро, отлогие склоны гор заросли высокими травами. Тут не заблудишься даже самой темной ночью — достаточно взобраться на любой из холмов и посмотреть, в какой стороне озеро. Вершины гор покрыты густым лесом, в котором найти человека не так-то просто.

Сколько это я проспал? Никак не меньше часа. Собака лежала, свернувшись, у моих ног и мирно посапывала во сне. Все не могла оправиться после пробежки вокруг озера. Когда мы вернулись из города, она спала на том же самом месте. Я вспомнил, что произошло потом. Как только машина остановилась, парень открыл бардачок, взял оттуда бандероль и быстро ушел к себе на второй этаж. Даже слова мне не сказал. Надо будет доложить об этом С., когда тот позвонит. Или ни к чему? Наверное, парень действовал в соответствии с полученными инструкциями. Жаловаться мне не на что.

Шум с озера все не утихал. Крики, рев моторов, музыка сливались в единый нестройный гул, раскатывавшийся эхом по горам. Парень тоже, конечно, все это слышит. Временами доносятся автомобильные выхлопы — ну точно как выстрелы. Они здорово мешали мне спать — кто-то, наверное, приехал сюда на машине с неотрегулированным двигателем. Мой погибший младший брат обожал возиться с автомобилями, что-то там в них переделывал, перелаживал. Почти все деньги — и те, что мы со старшим братом присылали ему на учебу, и те, что сам зарабатывал,— он тратил на свое хобби. Когда сгорел дом, в котором брат снимал комнату, его обугленный труп лежал на груде автомобильных деталей.

Парень как поднялся к себе, так и не выходил. Окна в его комнате были закрыты, шторы задвинуты. Спит, что ли? Ничего удивительного, если он устал,— утром кросс вокруг озера, потом заплыв по морю. А может, он сидит посреди своей запертой, душной комнаты и изучает содержимое бандероли. Для того, что там, по-моему, должно находиться, сверток легковат. Но внутри металл — это точно.

Ужинать будем попозже, после захода солнца. Слишком плотно пообедали. А пока можно еще поваляться. Пес лежал все так же неподвижно, но время от времени приоткрывал глаза. Он даже не притронулся к миске с молоком, которую я перед ним поставил. Уши, однако, торчком — слушает звуки, доносящиеся от озера. Оттуда действительно слышится что-то новенькое.

Я знаю, кто устроил это представление: молодой европеец, мы видели его возле пансиона (того, у которого весь фасад в розах), когда ехали обратно из города. На спине у юнца висел аккумулятор, усилитель и магнитофон, над головой торчали две длинные металлические палки, на каждой из которых было установлено по два динамика. Я еще подумал, что паренек похож на кузнечика. Сам он помалкивал, да и голос с магнитофонной ленты звучал не его, а какого-то японца.

Юнец, видимо, должен был просто таскать свою шарманку по улицам, выбирая те, что помноголюдней.

Голос с пленки вещал мрачно и торжественно, разносясь на всю округу. Таким речам не место на курорте, они разрушали всю праздничную атмосферу. Начиналась проповедь словами «О, закоренелые грешники!», потом голос призывал «открыть глаза» и в самом конце — «покаяться». Ничего, кроме раздражения, эти вопли вызвать не могли, никто всерьез их, конечно, не принимал. Бедный парнишка, все его труды пропадут даром. Ходит целый день, пóтом обливается, еле ноги волочит, а проку — нуль. Он сам виноват — плохо выбрал время и место для своих проповедей. Ему бы в конце осени или в начале зимы, в мерзкую, слякотную погоду, податься в убогие городские кварталы, где живут те, кто всю жизнь выплачивает проценты по разным ссудам. А может, он страной ошибся, ехал бы себе в какие-нибудь другие края.

Сам-то он, интересно, верит в словеса, грохочущие из динамиков у него над головой? Может, это для него просто способ бесплатно посмотреть мир, побродить по разным странам? Или его юная душа все-таки пылает миссионерским огнем, и он верит в свое призвание? Надеется заронить сомнение хоть в одну заблудшую душу из многих тысяч и ради этого готов сносить тяготы и унижения? Или вообще мазохист — испытывает сексуальное удовлетворение, когда его осыпают бранью и кидают в него каменья? А он, этот проповедник, к какой стороне общества он принадлежит — к лицевой или к изнанке? Не в одном ли он лагере с С.?

С. обязательно должен позвонить, чтобы проверить, дошла ли бандероль. Телефонный звонок отлично можно услышать и с террасы. Обязательно позвонит, не нынче вечером, так завтра утром. А парень, с тех пор как попал сюда, ни разу не пытался с кем-то связаться. Наверное, все разработано до таких мелочей, что в этом нет необходимости.

Пес внезапно повернул морду к дорожке и поднялся. Кто-то шел сюда. Я тоже взглянул в том направлении, но никого не увидел. Нет, вот они — по дорожке к дому шли двое полицейских, о чем-то переговариваясь вполголоса.

Я поспешно закрыл глаза и притворился, что сплю, а сам лихорадочно продумывал ответы на возможные вопросы. Как бы дать знать парню, что здесь полиция? Ему нужно хотя бы немного времени, чтобы спрятать содержимое бандероли подальше. Не собираются же они сразу ломиться в дом?

Пес глухо зарычал. Я медленно приподнялся с кресла, делая вид, что только сейчас заметил посетителей, потом встал и подошел к перилам. Полицейские в выцветших от солнца и пота летних форменных рубашках были уже у самой веранды.

— В чем дело, господа полицейские? — спросил я громко, чтобы было слышно наверху.— А, господа полицейские? Что-нибудь случилось?

Они остановились и посмотрели на меня снизу вверх. Тот, что помоложе, спросил:

— Ваша собака не кусается?

— Не бойтесь, она смирная,— успокоил я его и притянул пса к себе за ошейник. Тот все рычал. Они что, пришли из-за собаки? Бывшие хозяева обратились в полицию? Вряд ли, тогда они тоже пришли бы сюда. Нет, собака здесь ни при чем.

Полицейские поднялись по ступенькам и остались стоять на самом краю террасы. Я-то совершенно спокоен, а вот как там парень наверху? Слышал он, как я орал «господа полицейские»? Молодой все время вежливо улыбался, но пожилой шарил вокруг настороженным взглядом, норовил заглянуть через стекло внутрь дома.

— Прошу вас,— предложил я им сесть.— Так чем обязан?

Пожилой, ни слова не говоря, все осматривался. Ответил мне молодой, поглаживая собаку: они, мол, просто совершают обычный обход,

поскольку в это время года всегда учащаются случаи взлома. И тут же задал мне такой вопрос:

— Вас ведь утром дома не было?

— Да, мы ездили в город за покупками. А потом я возил своего гостя к берегу моря.

— Это ваша вилла? — впервые подал голос пожилой.

— Нет, не моя.

— Если вилла принадлежит какой-нибудь фирме, обычно вывешивают табличку на воротах.

Я вынул бумажник и протянул полицейскому визитную карточку из тех, что дал мне С. Это подействовало. Они, кажется, поверили, что вилла принадлежит небольшой торговой фирме и что я работаю здесь управляющим.

— Можно взять? — спросил молодой и, не дожидаясь разрешения, сунул визитную карточку в свою записную книжку.— У вас гости?

— Только один. Он наплавался в море и теперь спит,— ответил я, все это было сущей правдой.

— И давно вы тут управляющим? — спросил пожилой, заходя мне за спину.

— Первое лето.— Я обернулся к нему лицом. Ни к чему ему знать, что я здесь всего несколько дней.

— А кто работал раньше?

— Понятия не имею, не спрашивал.

Я уселся в кресло и спокойно ждал следующего вопроса. Пес с настороженным видом кружил по веранде. Плохо, если придется врать и выкручиваться. Но они больше ни о чем спрашивать не стали. Полюбовались немного видом, открывающимся с террасы, посоветовали мне держать двери на запоре и спустились вниз по лестнице. Уходя, ни разу не оглянулись.

— Спасибо за заботу,— крикнул я им вслед.

Полицейские уже скрылись за деревьями, а я все стоял на террасе. Не хватало только, чтобы кто-то из них обернулся и увидел, как я сломя голову кидаюсь в дом или вытворяю еще что-нибудь в этом роде. Парень не мог не слышать нашего разговора. Наверное, стоял у самого окна, боясь пропустить хоть слово. Или, может, вообще дал деру через черный ход и теперь отсиживается в кустах, затаив дыхание.

Стало быть, обычный полицейский обход с целью предупредить жильцов о мерах предосторожности против взлома. Они что, обходят одну за другой все виллы? Или их интересовали только мы? Успели уже и утром здесь побывать, надо же. Не слишком ли много служебного рвения? Может быть, они подозревали, что я поселился на пустующей вилле самовольно? Если дело было только в этом, то их подозрения, надеюсь, рассеялись. Хуже, если полиция интересуется не мной, а моим клиентом. Тогда жди новых визитов. Интересно, как отреагирует С., когда я порадую его этой новостью? Предусмотрен ли у него такой вариант? Может быть, он велит нам перебраться отсюда в какое-нибудь другое место?

Пройдя через рощу к набережной, полицейские, наверное, сели в машину. Не исключено, что первым делом они сообщили в участок по радио данные, указанные на моей визитной карточке, и попросили их проверить. Если такой фирмы на самом деле нет и телефон указан вымышленный, я не виноват. Это проблема С., пусть он ее и решает. Вообще-то на него не похоже, чтобы он мог допустить такую дурацкую неосторожность.

Я был спокоен, и это меня радовало. Нет, С. во мне не ошибся. Что я, двух деревенских лопухов-полицейских вокруг пальца не обведу? Уж как-нибудь. Но если они заявятся снова, я должен быть предельно осторожен. Это будет означать, что номер с «управляющим» и «гостем» не прошел. Надо быть готовым к возможным осложнениям.

Что же все-таки сейчас делает парень? Наверное, когда они ушли, у него гора с плеч свалилась. А может, он ничего и не слышал, дрыхнет себе, как медведь в берлоге? Пес уже успокоился, снова пристроился у моих ног и затих.

Лодочная станция работала допоздна. Видимо, хозяин хотел выжать из летнего сезона все что можно — зимой-то его лодки никому не понадобятся. Желающих покататься и после захода солнца было вполне достаточно, хотя, конечно, не столько, сколько днем. Молодые парочки и даже целые семьи охотно проводили вечера на воде.

Зная, что ночью похолодает, я надел свитер, но парень остался в одной рубашке с короткими рукавами. Я предлагал ему взять с собой что-нибудь теплое, но он отказался, заявив: «Мне и в рубашке-то жарко». Хозяин лодочной станции к вечеру надел куртку, и знаменитой татуировки на спине было не видно. Он сидел на причале, потягивая сакэ, и напевал какую-то военную песню. То и дело он бормотал себе под нос одни и те же слова, наверное, свою излюбленную присказку: «Жив, здоров, ну и ладно». Увидев, что у нас в руках удочки на корюшку, старик засмеялся:

— А чего, попробуйте, чем черт не шутит.

— Улов будет, вот увидите,— пообещал я.— Мы до глубокой ночи.

Я заплатил за четыре часа и осторожно спросил:

— Говорят, тут виллы обворовывают, не слыхали?

— Бывает,— кивнул хозяин, кладя в лодку «якорь» — бетонный блок на веревке.— Только попозже, зимой. А чего, вас тряханули?

— Да нет, просто полиция заходила, предупреждала.

— Это у вас с приятелем видок такой подозрительный,— хмыкнул старик.

— Правда, что ли?

— Ага. Не похожи вы на порядочных людей.

— Ни он, ни я?

— Ни он, ни ты,— заржал старик.

— Ну конечно, то ли дело, когда на спине такая красота,— попробовал отшутиться я.

Первым делом я пустил в лодку пса, потом посадил парня и передал ему удочки. Лодку качало, но собака сидела спокойно, не боялась. Наверное, не в первый раз.

— Позвольте-ка мне,— сказал парень и забрал у меня весла.— Люблю грести.

Опустившись на корточки, я поглядел на хозяина лодочной станции, снова усевшегося на причале. Он отхлебнул сакэ, пропел куплет все той же песни и пробормотал: «Жив, здоров, ну и ладно». А потом громко заорал нам вслед:

— Катайтесь до утра, хрен с вами! — и загоготал.— Меня не проведешь!

Парень с силой налег на весла, и лодка как на крыльях понеслась к середине озера. На ужин он съел целый килограмм мяса. Я и половины не осилил. Псу достались такие роскошные объедки, что, сожрав их, он сразу повеселел и увязался за нами.

Ветра почти не было. Легкая рябь, то и дело пробегавшая по воде, появлялась от сновавших у берега лодок. Это только на первый взгляд казалось, что все они разбросаны по поверхности озера равномерно, на самом деле большинство лодок сгрудилось вдоль набережной, на узкой полосе, освещенной огнями магазинов, отелей и залов игральных автоматов. Ни одна лодка не пыталась оторваться и уйти в темноту. Кое-где попадались деревянные кораблики с догоревшими свечками — следы праздника «Бон» [1].

[1] Праздник поминовения усопших, в который по воде пускают зажженные фонарики.

— Куда плыть? — спросил парень.

— Вон туда,— показал я рукой на север.— Там в озеро впадает река, должна быть рыба.

Парень ровными, мощными взмахами весел погнал лодку вперед, время от времени оглядываясь через плечо, чтобы проверить, все ли в порядке. С каждым гребком людские голоса отдалялись и сильнее сгущалась тьма. Наконец в самом углу неба я увидел звезды, постепенно они усыпали весь небосклон, но луны было не видно — она пряталась за облаками. По берегам озера точечками светились окна вилл и пансионов, вспышками огня взметались фейерверки. Каждый раз, когда разноцветными искрами взрывался мрак и издалека доносился хлопок, пес поднимал морду и смотрел в сторону берега.

Поведение парня нисколько не изменилось, он был все так же спокоен и уравновешен. За ужином я ни словом не обмолвился о визите полиции. Но С. уже успел сообщить. Телефон зазвонил, когда парень был в ванной. Я доложил С. о том, что получил бандероль и что она у клиента. «Так-так»,— ответил он. Потом я во всех подробностях пересказал ему разговор с полицейскими, не забыв упомянуть и о визитной карточке. «Понятно,— отозвался С.— Ну, я еще позвоню». И повесил трубку. Ничего больше не сказал — ни «вы там поосторожнее», ни «перебирайтесь на новое место», ничего. Может быть, ему все было уже известно и без меня и он успел принять необходимые меры?

Парень греб, не произнося ни слова. Я так до сих пор и не понял — на самом деле он такой спокойный или прикидывается. Пожалуй, он и вправду спал и ничего не слышал. Или действительно настолько владеет собой? Правда, времени прошло уже достаточно, чтобы он мог полностью взять себя в руки. Мне, во всяком случае, он своего волнения, если оно вообще было, никак не выдал. А ведь парень не мог не слышать того, что брякнул хозяин лодочной станции. И ничего — даже бровью не повел. Да, работай парень в фирме, из него, наверное, вышел бы толк. Где только С. такого откопал? Или, может, сам взрастил, потратив на это долгие годы?

Наша лодка достигла самого дальнего края озера. И звуки, и огни были далеко отсюда, казалось, будто мы уплыли невесть куда. Вокруг царила такая тишь, что я без труда различал по плеску воды, в каких местах в озеро впадали сбегавшие с лесных склонов ручьи.

— Здесь, наверно, лучше всего,— сказал я.

Парень вынул из уключин весла и опустил наш бетонный «якорь» в воду. Я боялся, что веревки не хватит, но здесь оказалось совсем неглубоко. Парень принял от меня удочку и наживку, и я увидел, что он в рыбной ловле не новичок. До чего ловко работал он пальцами, насаживая червей на крючки, даже фонарика не зажег. Я еще возился с леской, а он уже забросил удочку. У меня дело что-то не клеилось, и чем больше я суетился, тем меньше было проку. То крючок цеплялся за брюки, то леска запутывалась, то пакет с червями падал из рук. Не знаю, сколько бы я еще провозился, но тут из-за облаков выглянула луна. Ее оранжевый свет рассеял мрак, стала видна даже леска под водой. Свинцовое грузило лежало на дне, и леска была не натянута, удочку слегка водило вверх-вниз. Корюшка не корюшка, но, может быть, хоть что-нибудь клюнет?

— Ловко это у вас получается,— сказал я.

— В детстве рыбачил немного,— ответил парень.— Правда, не на озере, а в море.

Похоже, не врет. Наверное, парень действительно вырос где-нибудь на берегу моря — вон как он плавал сегодня, да и с удочкой обращаться мастак. Но новых откровений с его стороны я не дождался — он умолк и всецело отдался рыбной ловле. Я же, хоть и сам предложил отправиться на рыбалку, выказывал гораздо меньше пыла. Для меня это был способ убить время, а заодно и насладиться вечерней прохладой. Все лучше, чем сидеть в душной гостиной, уставившись в телеви-

зор. А сюда даже комары не долетали. Я положил удочку на колени, закурил сигарету и стал размышлять над тем, что нес старик с лодочной станции. «Не похожи вы на порядочных людей»,— вот как он сказал, да еще с таким уверенным видом.

— Почему это все люди собрались в кучу у самого берега? — спросил я.— Здесь ведь и тише, и спокойнее.

— Кто их знает,— буркнул парень, не сводя глаз с поплавка.

— Наверно потому, что здесь так темно и пустынно.

Кажется, у него клюнуло — парень быстро стал наматывать леску. Нет, крючки пустые.

— Странно,— пожал плечами парень и снова закинул удочку.

— Если там, у берега, фасад общества,— сказал я, глубоко затянувшись и не спеша выпустив струю дыма,— то у нас тут изнанка общества. А как по-вашему?

Парень ответил, но не сразу, так и не оторвав глаз от воды.

— Это сравнение мне кажется неправильным. Для человека, который хочет поймать рыбу, фасад — здесь, а изнанка — там.

В первый раз он заговорил со мной по-людски. Кажется, я был не совсем справедлив к нему.

— Что ж, может быть,— сказал я.— Только ни черта мы не поймаем.

— Это мы еще посмотрим,— возразил он,— надо попробовать. Мы же только начали.

— Верно,— согласился я. Сдается мне, что парень не из тех, кто может служить слепым орудием в чужих руках.

Он продолжал:

— А если мы с вами поймаем здесь сегодня корюшку, то завтра все люди оттуда переместятся сюда.

— ...И тогда фасад общества уже точно окажется здесь,— подхватил я.

А парень, похоже, тоже изменил отношение ко мне. Может быть, слушая со второго этажа, как я объясняюсь с полицейскими, он понял, что я не просто мальчик на побегушках. Или ему уже невмоготу держать все в себе? Я не удивлюсь, если сегодня его наконец прорвет и он выложит мне начистоту, что и как.

— Однако для каждого дела нужно выбрать подходящий момент,— сказал я.— Надо, чтобы плод созрел, а?

— Это вы о рыбалке? — спросил парень.

— О чем угодно.— Я швырнул в воду окурок и взял в руки удочку.— Корюшку тоже надо ловить в определенное время года, так ведь? Сейчас ее не поймаешь.

— Так вы что, уверены в неудаче и все равно отправились удить?

— Не совсем. Маленькая надежда есть — вдруг поймаю? Так даже интереснее.

— Что касается меня,— тут парень взглянул на меня в упор,— верю твердо: улов будет.

Я не нашелся, что ответить. Вот я — сел в лодку, забросил в воду крючок с наживкой, а сам уверен, что все впустую. Даже уже и оправдание для себя приготовил — почему у меня ничего не вышло. И ни на секунду не забываю о том, что все остальные-то лодки не здесь, а там, где празднично и светло... Парень верит просто погому, что не знает еще ни жизни, ни людей. Вот стукнет ему столько лет, сколько мне сейчас, да прищучит его жизнь, как меня, посмотрим тогда... Нет, такой все равно, наверное, не отправится на рыбалку, заранее зная, что ничего не поймает. Это только я все терзаюсь, сомневаюсь да не решаюсь.

Сегодня вечером, когда парень наконец спустился из своей комнаты, он затеял жечь мусор во дворе. Сложил в печку оберточную бумагу от бандероли, бечевки и поджег. Пока огонь не погас, он не отходил от печки ни на шаг. Потом разворошил пепел кочергой, выгреб совком и закопал в землю.

Прошло уже минут тридцать, а рыба все не клевала. Леска, так ни разу и не дрогнув, замерла под водой без движения. Но парень, застывший в напряженном ожидании, не сводил глаз с поплавка. Я бы так не смог. Пса давно сморило, и он спал, пристроившись на носу лодки.

Нет, ничего не выйдет, подумал я. Невозможно поймать то, чего просто нет. Зря я затеял эту рыбалку. Ничего не попишешь — не тот сезон. Действительно, абсурд — ловить корюшку летом. Я просто рехнулся. И парень тоже. А С. — разве С. не рехнулся?

Луна снова ушла за тучи, и озеро окутал мрак.

— Впереди ничего, одна темнота,— сказал я себе под нос.

Все лодки по-прежнему скользили вдоль самого берега, сплошь залитого светом. Оттуда доносился смех, веселые крики, взлетали разноцветные огни фейерверков.

И парень сказал:

— Впереди — свет.

Парень на цыпочках спустился со второго этажа. Я уже проснулся, но еще лежал в своей жесткой постели. Вчера мы вернулись с рыбалки очень поздно, когда приняли ванну и улеглись спать, был уже третий час ночи. Корюшки мы не поймали, но улов все-таки был.

Я уже хотел возвращаться, но удочку парня вдруг повело книзу, и сразу после этого я тоже почувствовал рывок.

Собственно говоря, рыба не клюнула: катушка шла с трудом, еле-еле; когда мы смотали лески, оказалось, что и у парня, и у меня на крючках застряло по одной палии сантиметров в тридцать каждая. Именно застряло — ни один из семи крючков не попал рыбам в рот. Наверное, палии просто плыли стаей мимо нашей лодки, две зацепились, стали метаться и запутались в леске. Когда мы разбудили хозяина лодочной станции и показали ему нашу добычу, он глазам своим не поверил. Редкий, сказал, случай и посоветовал зажарить наш улов.

Теперь обе палии, выпотрошенные, обезглавленные и густо посыпанные солью, лежали в холодильнике. Я собирался на завтрак обжарить их в масле.

Когда у меня в руках забилась рыбина, я прямо заорал от радости. Но парень — тот вообще чуть не лопнул от счастья. Даже «ура» кричал, ей-богу. Наверное, наши с ним вопли разносились на все озеро. Малость погодя я, чтобы остудить его пыл, сказал: «А все-таки не корюшка». Но парень весело ответил: «Подумаешь — корюшка, палия еще лучше». А потом, когда рыбы перестали биться и затихли, он тихо произнес: «Значит, все будет хорошо». Что он имел в виду? Эх, надо было спросить.

Неужели, перед тем как пойти на рыбалку, он, желая испытать судьбу, загадал: поймаю рыбу — впереди удача, не поймаю — провал? Может, поэтому он так и усердствовал? Если я прав, то, значит, парня прямо-таки раздирает от тревоги и волнения, хоть виду он и не подает. Ну и как, придала ему мужества пойманная рыбешка?

Парень возился в прихожей, надевая кроссовки. Собирается начать новый день с пробежки вокруг озера, подумал я. Потом послышался скрип открываемой двери и легкие, удаляющиеся шаги. Кажется, пес, не наученный горьким опытом, побежал за парнем. Раньше чем через час они не вернутся. Поваляюсь-ка я в кровати. Если завтрак немножко запоздает, ничего страшного. Хоть я и только что проснулся, тело ломило от усталости. Руки и поясница были как чужие. Да, молодость прошла. В голове вертелись смутные обрывки сна, привидившегося мне перед самым пробуждением. Сон был настолько реален, что я замотал головой, отгоняя запечатлевшиеся в памяти образы, и пробормотал: «Это был сон, только сон».

А снилось мне вот что. В комнату через окно в вихре стеклянных осколков впрыгнул вчерашний пожилой полицейский. Ясное дело, набросился на меня, заломил руки за спину, щелкнул наручниками. Это бы еще ничего, такое я мог бы стерпеть. Но что возмутило меня во сне до глубины души — рядом с полицейским стоял парень и наблюдал за происходящим, ехидно посмеиваясь. Потом зашептал что-то полицейскому на ухо, показывая на меня пальцем. Тот с размаху двинул мне по спине кованым башмаком, и парень тоже стал осыпать меня ударами. Полицейский вдруг стал раздуваться прямо на глазах, лицо его расплылось жирными складками, и он превратился в С. Они вдвоем с парнем долго били меня, потом вынесли на террасу и сбросили со ступенек. Я явственно слышал, как захрустели мои ребра, этот хруст до сих пор у меня в ушах. Гнев и возмущение рвались откуда-то из самого моего нутра, ярость сдавливала грудь, ругательства застревали в горле. «Щенок!» — хрипел я парню, а жирному С. кричал: «Подлая тварь!»

Да я в любой момент могу заложить их обоих, хоть сейчас. Все козыри не у них в руках, а у меня. Вот возьму и позвоню в полицейский участок. Доказательств более чем достаточно: хватит одной бандероли, которая припрятана где-то в комнате наверху. Может, под матрасом или в том черном саквояже. Даже если ничего подозрительного не найдут, сам обыск и приход полиции сорвут планы С. и его дружков. И придется пареньку собирать свои манатки и убираться восвояси. А С. будет вынужден подыскивать на его место другого, имя и лицо которого неизвестны полиции, и ждать нового случая.

А что, если мне просто взять и самому смыться? Сяду сейчас в машину, пока парень чешет вокруг озера, и отбуду себе в неизвестном направлении. Остановит ли это С.? Или он будет продолжать операцию и без меня? Наверное, все-таки из осторожности даст отбой. Что я для него значу? Какова, в конце концов, роль, которая мне уготована в этом спектакле? Неужели только обслуживание парня? А вдруг мне предстоит стать козлом отпущения? Что, если меня заставят выполнять какой-нибудь страшный приказ? Например, сесть с парнем в машину и на полной скорости врезаться в толпу? Боюсь, я буду вынужден выполнить все, что прикажет С. Ведь ему известно, где живут жена и дети.

Ох, как хочется ясности. Надо подняться на второй этаж и порыться в вещах парня, глядишь, все и встанет на свои места. Но я лежал и не трогался с места. Повернулся спиной к солнцу, светившему через задернутые шторы, и вылезать из кровати не спешил. Пока я лежу здесь, я сам по себе. Но стоит мне подняться наверх, обыскать ту комнату, и я буду знать наверняка — тогда мне уже хочешь не хочешь придется встать на сторону С. И прощай, свобода. Я стану одним из них. Буду поступать не так, как мне заблагорассудится, а как скажут. Нет уж, черта с два. Лучше мне оставаться в неведении. Буду строить свои домыслы и наслаждаться трепетом, охватывающим меня от собственных фантазий. Самое подходящее занятие для такого, как я.

Я вспомнил еще один сон — нет, не сон, это было наяву. Не какое-нибудь душещипательное воспоминание вроде разрезания домашнего торта или похода с семьей в зоопарк. Так, ерунда, но почему-то запомнилось: по тесному дворику бегает мой старший сын, а жена ходит за ним, держа младшего на руках,— только и всего. Но эта картина стоит перед глазами как живая. Сожаления о том, чего уже не вернуть, мысли, которых я никогда себе не позволял, нахлынули разом. Как бы я хотел увидеть детей. Пусть не увидеть, хотя бы голоса услышать. Нет, нет — привезти сюда, покатать на лодке, устроить им вечером фейерверк, вкусно покормить в ресторане на набережной, дать поиграть с собакой...

Я громко откашлялся, а потом врезал самому себе ладонью по физиономии и сказал вслух: «Ну, подъем, что ли?» Нечего разлеживаться, раз все равно не сплю. И голову всякой ерундой забивать тоже нечего. Пожарю-ка я лучше рыбки до того, как вернется парень. Разре-

жу каждую палию на три части, залью вином, посыплю перцем и имбирем, покрошу лука, добавлю мисо[1] и сливочного масла, потом — в кастрюлю и в духовку. Если старик не соврал и рыба действительно вкусная, можно будет нынче вечером опять порыбачить. Хотя второй раз вряд ли нам так повезет.

Я пошел в туалет и оттуда через маленькое оконце все поглядывал во двор. Листья деревьев пылали на солнце, порхавшие по ветвям пичужки тоже вспыхивали искорками света. День опять обещал быть жарким. С озера доносился девичий смех и радостный визг. Наверное, вышел на утреннюю прогулку отряд герлскаутов.

Надраивая зубы щеткой, я смотрел в зеркало. Странно, но лицо, которое я там видел, вовсе не выглядело мрачным и озабоченным. Приснившийся мне на рассвете кошмар уже успел забыться. И ничуть я не устал. Вполне мог бы и сам сделать пробежку. Ну, вокруг озера, конечно, не побегу, но до кемпинга и обратно — запросто.

И нечего так вздрагивать от телефонного звонка. Пусть С. волен распоряжаться моей жизнью и смертью, но меня ведь не испугаешь. Он и представить себе не может, насколько я изменился за эти несколько дней. Если С. считает, что я за деньги готов на все или что меня так просто запугать, он крепко ошибается. Я и сам по себе, один-одинешенек, буду поопасней, чем все они, вместе взятые.

Сняв трубку, я решительно произнес: «Алло». Но потом голос мой ослаб, я еле мямлил что-то в ответ и, наконец, совсем умолк. Такое щекотливое задание я получал от С. впервые.

— Но я ничего в этом не смыслю,— жалобно воскликнул я.— Да и потом, я никого здесь не знаю.

— Чепуха, дело элементарное,— сказал С.— Деньги-то у тебя есть.

Вместе с голосом из трубки доносился звук работающего телевизора, но где находится С., определить было невозможно. Я спросил:

— А если он не захочет, что тогда?

Но С. уже повесил трубку. Я тоже с размаху хряснул трубкой об аппарат и выругался. Утренний сон снова возник перед глазами.

— Ну и наглость,— пробормотал я.

Взрезая ножом спинку палии, я размышлял. В принципе С. прав. Когда есть деньги, это не проблема. Мне ведь не нужны «порядочные». Надо съездить в город, авось что-нибудь и выяснится. Ночная рыбалка отменяется. Когда я только-только начинал работать в фирме, первое задание, полученное мной от начальства, было пригласить некоего господина в кафе и вручить ему конверт с деньгами. А год спустя моим основным делом стало доставлять девиц к клиентам, с которыми фирма собиралась заключать сделки. В то время у меня вся записная книжка была исписана именами и телефонами шлюх — на любой вкус.

Рыба оказалась не такой вкусной, как расписывал ее дед с лодочной станции. Сплошное разочарование. Жир не растопился, мясо было сухим и жестким. Но парень ел да нахваливал, все умял — даже то, что оставалось на моей тарелке. А пес сгрыз кости.

Потом парень разлегся на террасе загорать. Оставшись в одних белых трусах, он раскинулся в кресле и потягивал из стакана молоко. Вид у него при этом был такой, будто он пил не молоко, а виски. Может быть, несколько дней на горной вилле для парня — подарок судьбы. Да и для меня, наверное, тоже. Ничего подобного, очевидно, испытать мне больше не придется. Почему-то я в этом уверен.

Я занялся домашними делами. Помыл посуду, постирал, прибрался. Пылесосом и тряпкой вычистил весь дом. Только в комнату парня не зашел — он сказал: «Позвольте убрать там мне самому». Напоследок я отдраил ванну и туалет, потом сжег во дворе мусор, а объедки зако-

---

[1] Приправа из перебродивших соевых бобов.

пал в землю. Долго стоял и смотрел, как копошатся, поблескивая на солнце, выкопанные мною жирные земляные черви.

Тут до меня дошло, что я целиком вошел в роль управляющего. А что, работка неплохая, подумал я. Так можно и всю жизнь прожить, я не против. Вот самое подходящее для меня дело, а море и сейнер — ерунда. Эту идею я обдумывал совершенно серьезно. Если бы парень взял и спокойно куда-нибудь убрался, ничего не натворив, я бы и жил себе тут поживал, и не надо мне никаких перемен. Может быть, именно такая жизнь мне на самом деле и нужна — тихая, мирная? Ага. Как бы не так.

Эх, забыл подмести террасу и ступеньки. Я взял веник и совок и вышел из комнаты наружу. Пес обессиленно лежал на боку, но вид у него был не такой умирающий, как вчера. По крайней мере, сегодня у него осталось достаточно сил, чтобы приподнять голову от пола и наблюдать за моей возней во дворе. Рыжая шерсть полыхала на солнце, глянцево чернел кончик носа. Неплохо он тут у меня отъелся. Совсем не похож на того тощего, несчастного доходягу, который пристал ко мне несколько дней назад в лесу.

Парень все лежал в шезлонге неподвижный, как статуя. Вряд ли он спит, подумал я. Прокручивает заново в голове свой безумный план, готовится к предстоящему. Может быть, пытается рассчитать вероятность успеха. Или просто зажмурил глаза, подавляя страх и раскаяние? О чем бы он там ни думал, нормальным человеком такого назвать нельзя. Я не знаю, какими эта компания руководствуется идеями, но уверен, что они бредовые.

Чего, собственно, можно добиться таким образом? Ну, станут известны на всю страну имя и лицо парня. И больше ничего. Через год никто и не вспомнит обо всем этом. Подобные вещи случаются, но большого следа в истории им оставить не суждено. Зачем парень ввязался в это нелепое, бессмысленное дело? Сейчас еще не поздно отступить, еще есть время. Он должен жить, жить своей жизнью.

Но не мне упрекать его. Я и поговорить-то с ним толком не могу. Надо мной, как и над парнем, стоит С. Не знаю, как там будет дальше, а пока я делаю только то, что он мне приказывает. Казалось бы, если приказ не по душе, можно отказаться — ан нет, с каждым днем я увязаю все глубже и глубже. И с каждым днем сильнее необъяснимый трепет, охвативший все мое существо, он и сейчас тисками сжимает мне сердце.

Парень, может, во что-то там и верит, но мне верить не во что. Даже если все пройдет именно так, как планирует С., из-за одной акции, какой бы она ни была, мир не перевернется. Пошумят-пошумят и затихнут. Бейсбольный матч — и тот вызовет у публики куда больше интереса. Да так всегда и было. Когда это удавалось чего-нибудь добиться подобными средствами? Дорожка-то хоженая-перехоженная. Или С. все рассчитал, все учел и у него наготове целая армия таких вот парней? Может быть, он собирается выпускать их из клетки одного за другим? Откуда я знаю; возможно, С. преследует совсем иную, дальнюю, цель? А что, если для них главное — просто заставить общество говорить о себе, пусть даже с ненавистью? Тогда парень не более чем пешка в их руках, его успех или неудача тронут С. очень мало.

Я смел веником пыль с террасы. Потом сел рядом с парнем и затянулся сигаретой. Странное у меня было состояние. Хотелось, чтобы эта жизнь продолжалась и год, и два. Мне казалось, что я хорошо знаю, каково здесь, в горах, и осенью, и зимой, и весной. Надо же, думал я, не прожил на вилле и недели, а как ко всему здесь привык. Почему-то верилось, что так теперь всегда и будет.

На дороге к вилле появилась стайка девушек. Наверное, студентки из какого-нибудь пансиона. Они шли прямо сюда, громко болтая и смеясь, в руках у них были охапки полевых цветов. Я решил их не гнать. Какой смысл — сейчас они поймут, что здесь тупик, и повернут назад. Или свернут на узенькую тропинку, ведущую к горе.

Пес поднялся на ноги, подошел к перилам, но не рычал. Я взглянул на парня — тот тоже приоткрыл глаза. Но уходить в дом не спешил. Ни тени беспокойства. Интересно, как бы он реагировал, если бы это снова была полиция? Девушки, заметив пса на веранде, замахали ему руками. Их было пять — все в одинаковых шортах, лица и прически похожи, я бы не смог одну отличить от другой. Судя по загару, девушки провели на озере уже дня три, не меньше.

Они подошли ближе, их шеи и лица блестели от пота. Парень смотрел на них безо всякого выражения — ни тревоги, ни улыбки, бесстрастный взгляд, руки по-прежнему сложены на животе. Девушки остановились у самых ступенек и, разглядывая дом, стали обмениваться впечатлениями: ах, какого чудного цвета крыша, ах, какой очаровательный домик, ах, какой прелестный уголок, а одна спросила: «Можно погладить собачку?» Пока я кряхтел, не зная, что ответить, они уже взбежали по лестнице на террасу. Мне-то не жалко, но как отнесется к этому парень? Ему это может не понравиться. Нет, по его губам скользнула едва заметная улыбка. А пес — тот вообще был счастлив, что его тискают и гладят, чуть из шкуры не выпрыгнул от радости.

Одна из девушек спросила:

— Это пансион, да?

— Ни в коем случае,— ответил я.— Это дом отдыха торговой фирмы.

— Ах, какая жалость! А то бы мы с удовольствием здесь пожили.

Пес заинтересованно тыкался носом девушкам между ног, принюхивался. Надо же, эти несколько лет я и не вспоминал о женщинах. С тех пор как ушла жена, я ни одной и вблизи-то не видал. Случая не было, да, честно говоря, и желания тоже. Мне и с мужчинами разговаривать было не о чем. Работал — ровно столько, чтобы хоть как-то перебиться,— а все остальное время сидел у себя в комнате, напивался до одури да смотрел телевизор. Один раз ко мне пристала соседка, тоже одинокая. Но я послал ее. Мне было отлично известно, сколького лишается человек, попадаясь к бабе на крючок.

Но сейчас болтать с девицами было почему-то приятно. Я их расспрашивал о том о сем: где они учатся — в университете или в колледже, сколько еще пробудут тут и все такое.

— Эх, вот бы нам пожить в этом доме,— вздохнула одна из них. Остальные затарахтели, соглашаясь с ней, а потом вся компания пошла своей дорогой. Куда они теперь? Наверное, на лодке кататься. Пес побежал было следом, влекомый интересным запахом, но тут же вернулся. Над террасой витал неуловимый аромат женских волос.

Я спросил у парня:

— Вы, наверное, не любите женщин?

Он, отхлебнув молока, ответил:

— Нет, отчего же.

— Вот и отлично. Хотите, съездим вечером в город?

— А на рыбалку?

— Рыбалка не убежит.

— Хорошо бы опять палии поесть.

— Второй раз так не повезет,— улыбнулся я.— Это была фантастическая удача.

— Если будем рыбачить всерьез, поймаем.

— Да мы же тех рыб не поймали, они сами за крючки зацепились.

— Нет, поймали,— очень серьезно возразил парень.— По-моему, так поймали.

Я поехал в город один — за покупками. Звал парня с собой, но он отказался. Пес тоже остался. Парень хотел еще позагорать на террасе, а собака не ушла от него, лежала рядом, в тени.

Город ничуть не изменился со вчерашнего дня — такой же поток машин на прямом проспекте, ведущем к вокзалу, столько же праздноша-

тающейся публики на тротуарах. Торговля в сувенирных магазинах шла так же бойко. Два встречных воздушных потока — один с моря, другой с гор — сталкивались над городом и, смешиваясь, обволакивали улицы влажной духотой. Солнце палило изо всех сил, стены домов и мостовые накалились до предела. После полудня асфальт, наверное, совсем размягчится.

Обычный день конца лета, все то же яркое солнце. Постой-ка, обычный, да не совсем. Кое-что все-таки со вчерашнего дня изменилось. На тротуарах возились какие-то люди в спецовках с пилами и садовыми ножницами, подстригая кроны деревьев. Обрезанные ветки подбирали и складывали в кузова грузовиков — все спешили, суетились. Казалось бы, ничего особенного, обычная работа по благоустройству улиц. Да только деревья, как правило, подстригают в конце осени или в начале зимы. Или в этом городе свои традиции? Но листья и ветви еще продолжают расти — видно, придется в этом году обрезать их еще раз.

Тополя подстрижены не так, как всегда — по самый ствол, им просто придали более аккуратный вид, подровняв торчавшие в стороны ветви. Кипела работа и у фонарных столбов, с которых сдирали рекламы и объявления. Только подъехав к вокзалу, я сообразил, что вся эта кутерьма с чисткой и уборкой улиц затеяна не для горожан и не для отдыхающих.

— Так, значит, время пришло,— сказал я сам себе вслух.

Скоро парню предстоит выйти на сцену. Если не завтра, так послезавтра. Ну, в крайнем случае через два дня. Тогда все станет окончательно ясно. Моим заданием в тот день будет отвезти парня в город — это понятно. Возможно, сам С. поедет с нами, чтобы руководить операцией на месте.

Особенно старательно была обработана клумба с цветочными часами напротив вокзала. Какие-то тетки в шляпах с широкими полями возились там, сидя на корточках, выдергивали одни цветы, сажали другие, поливали из леек, выпалывали траву.

Я подумал об обещанном вознаграждении. Никакое оно не чрезмерное, а в самый раз. Вопрос только, как я его получу,— С. ничего мне об этом пока не говорил. Сдержит ли он слово? Если сдержит, это будет плата за мое молчание, если нарушит, то одним обманом дело не ограничится. Уж он найдет способ закрыть мне рот раз и навсегда. Я бы на его месте поступил именно так. Моя жизнь для С. гроша ломаного не стоит, в этом я не сомневаюсь. И потом, ему отлично известно, что, если я исчезну, разыскивать меня никто не станет. С тех пор как развод с женой был окончательно оформлен, меня ни разу никто и не навестил. Ни одного телефонного звонка. На всем белом свете никому до меня нет дела, разве что С., да и тому через пару дней я стану не нужен. Пожалуй, единственный, кто во мне заинтересован, это пес, но тоже не так уж сильно. Уверен: если ему придется выбирать, он побежит не за мной, а за парнем.

Перед тем как ехать в супермаркет, я не спеша покружил по узким улочкам. Я знал, какая жизнь кипит в этих кварталах после наступления темноты. За два дня до появления парня я проходил здесь вечером — кто-то сказал, что в этом районе есть магазин, где продают посуду для домашних животных. Пока нашел, меня несколько раз окликнули. То сами девицы, то какие-то мужчины, которые показывали пальцем на стоявших в стороне красоток.

Так что, если прийти сюда вечером, найти кого-нибудь, наверное, не сложно. Но меня интересует качество товара. С. сказал только: «Достань *этому* бабу», но не могу же я вести парня ко всякой дешевке. Все должно быть на высшем уровне — как со жратвой. Надо расстараться — ведь это моя работа. Жалко, времени на поиски маловато. Знать бы раньше, а то где теперь найдешь в этой дыре что-нибудь приличное.

В квартале было пустовато — ни машин, ни прохожих. Ну и запахи неслись тут отовсюду, везде горы мусора и отбросов. Пахло не только

гнилью, но и жженым волосом и еще какой-то дрянью. Я скорее закрыл окно. Ну их к черту, здешних потаскух. В часе езды к югу есть другой городок, побольше. Тоже, конечно, не Бог весть что, но наверняка получше этого. Надо бы расспросить кого-нибудь из таксистов — им про такие дела все известно.

Оставив машину на стоянке возле супермаркета, я прошел через торговый пассаж к вокзалу. Когда я поравнялся с витриной писчебумажного магазина, мне в глаза бросилась продукция, которую выпускает моя бывшая фирма. Этот товар пользовался самым большим спросом у покупателей. Я поспешно отвел взгляд и ускорил шаг, словно спасаясь от чего-то.

Перейдя через площадь, я вошел в зал ожидания вокзала. Купил в киоске газету и сел на скамью. С только что пришедшего скорого валом валили пассажиры. А у выхода стоял полицейский и внимательно вглядывался в лица вновь прибывших.

Я развернул газету и открыл страницу местной хроники, но не обнаружил того, что искал. Ни слова о том, ради кого город так лихорадочно наводит лоск. Наверное, еще рано. Сообщат в тот же день или даже на следующий.

Я отложил газету в сторону, надел темные очки и направился к стоянке такси. Когда я попросил отвезти меня в городской парк, пожилой таксист молча кивнул и рванул машину с места. Немного выждав, я спросил, не знает ли он каких-нибудь веселых заведений в городе.

— Каких таких «веселых»? — глянул на меня в упор таксист.

Тогда я стал ему плести про то, что клиент, с которым у меня должна состояться сделка, скучает — и гольф ему надоел, и бега наскучили, прямо не знаю, как его еще развлекать.

— Ты о бабах, что ли? — спросил таксист.— Этого добра тут сколько хочешь.

Я вынул из бумажника купюру и сунул водителю в нагрудный карман, как бы между прочим заметив, что уличные девки меня не устроят.

— Да есть и не уличные,— сказал шофер,— только время сейчас неподходящее.

Я понял, что он имеет в виду — ужесточился полицейский надзор.

— Из-за той шишки, что должна приехать? — небрежно спросил я.

— Вот-вот,— вздохнул таксист.— Пусть полюбуется, какой расчудесный у нас город.

— А кто хоть приедет-то?

И он назвал имя, известное в нашей стране любому школьнику.

— Вот это да,— присвистнул я.

— Шишка-то он, конечно, шишка,— скривился шофер,— но он ведь у нас только проездом, и устраивать из-за этого такой тарарам просто смешно.

— И когда он приезжает?

— Послезавтра, что ли.

— Во сколько?

— А шут его знает. Сказали только, что все такси с площади выставят.

— И чего его сюда несет?

— Как это «чего», выборы на носу. Он же у нас тут как Господь Бог. Только моего голоса ему, гадюке, не дождаться.

Таксист вынул купюру, взглянул на нее и переложил в карман брюк. У ворот парка резко затормозил и на прощание написал мне на клочке бумаги название, адрес и телефон заведения.

— Только звякни туда сначала. Девки там высший класс.

Проводив взглядом такси, я еще раз посмотрел на бумажку. Город был указан не этот, соседний. В голове у меня гудело. Надо было топать пешком назад к супермаркету. Путь недальний, минут десять—пятнадцать. Но я сначала завернул в парк. Грудь сжимало от волнения, перед глазами все так и плыло. Какие там сейчас покупки. Надо прийти в се-

бя. Не помню, где я бродил, опомнился, только когда присел на скамейку перед большим фонтаном.

Хотел зажечь сигарету, но пальцы ходили ходуном. Не мог ни на чем взгляд остановить, попытался — не вышло, ничего вокруг не видел. От табачного дыма к горлу подступила тошнота, и я затоптал сигарету. Надо же, сидел на самом пекле, а жарко ничуть не было. И еще все вставал и садился, как заведенный,— никак не мог остановиться. Ощущение — хуже, чем в кошмарном сне.

Прошло немало времени, прежде чем я начал понемногу приходить в себя. Ветер задул в другую сторону, на меня стали попадать брызги из фонтана. В парке я был один. Хотя нет — на одной из скамеек напротив сидела мамаша с крохотной дочкой. Над ними дрожала маленькая радуга. Мать сосредоточенно двигала спицами, а девчонка громко распевала модную песенку, отчаянно фальшивя. Махала в такт ручонками, дрыгала ногами и раскачивалась на скамейке.

Женщина подняла голову и встретилась со мной глазами. Я, смутившись, отвернулся, но искоса продолжал их разглядывать. На лице мамаши промелькнул испуг. Она поспешно сунула вязание в пакет, подхватила дочку и быстрым шагом пошла прочь.

Я остался сидеть на скамейке, только выругался. Теперь мой взгляд был прикован к столбу воды, яростно бившему вверх. Я все никак не мог собраться с мыслями. Стоило мне произнести про себя имя человека, о котором так пренебрежительно отозвался таксист, как смятение охватывало мое сердце с новой силой, а по спине пробегал холодок. Но мало-помалу дрожь в пальцах и коленях утихла. Я улегся на скамейку и стал смотреть вверх. По небу плыли сверкающие облака — туда, ввысь, устремлялись все звуки города. Струи фонтана вспыхивали на солнце волшебными радугами, плеск воды бередил мне душу. Таксист сказал: «Послезавтра, что ли».

Постепенно дыхание стало ровным, и я подумал: в сущности, альтернатива очень простая. Или продолжать делать свое дело и идти с ними до конца, или уносить ноги. Смыться проще простого. Но что меня ждет, если я, никому ни слова не говоря, уеду к чертовой матери? Одна мысль о бесконечной веренице пустых дней, ожидающих меня впереди, наводит страх и тоску. Теперь мне кажется, что жить так, как в последние три года,— все равно что умереть. А я хочу жить. «Впереди свет»,— сказал парень, ради этого самого «света» он поставил на карту свою жизнь, а направляет парня, преследуя дальние, неведомые цели, С., великий честолюбец. Эти двое дают мне возможность жить, жить по-настоящему. Вот истинная плата за мои труды! Я прекрасно понимаю, что ждет меня, если я пойду с ними до конца. Ну и пусть — раз жизнь все равно не заладилась, что мне терять? Нет, я не отступлю. Пускай «добропорядочные члены общества» трясутся за свою шкуру, а мне бояться нечего.

Насколько искренне парень увлечен идеей? Как далеко может он зайти? Я хочу это знать, хочу увидеть собственными глазами. Увидеть, как он бросится очертя голову к «свету», который, по его мнению, находится впереди.

Я встал, распрямил плечи, невольно подражая осанке парня, и пронзительным взглядом окинул все вокруг. Сердцебиения и дрожи как не бывало. Волнение, от которого я еще недавно готов был в голос вопить, как рукой сняло.

Я быстрым и решительным шагом шел через пустой парк. Свернул под увитую розами арку, над которой жужжали тучи пчел, и шагнул в жаркую и душную будку телефона-автомата. Твердой рукой набрал номер, который записал мне шофер такси. Ответил хрипловатый женский голос. Я назвался первым пришедшим в голову именем и попросил принять заказ. Приедем сегодня вечером, сказал я, нас двое. Женщина вежливо осведомилась, какую сумму мы планируем истратить на визит.

— Мы поужинаем, а потом развлечемся,— ответил я.— Нам скучно без женского общества, понятно?

Женщина молчала — видимо, опасалась подвоха.

— Вы меня поняли или нет? — спросил я.

— Я вас поняла... Вы ведь у нас будете впервые?

Я объяснил ей, что телефон получил от водителя такси. Такое объяснение, кажется, ее вполне удовлетворило.

— Вы собираетесь провести у нас всю ночь?

— Да, торопиться мы не будем.

— Извольте подождать секундочку. Я узнаю, есть ли свободные девушки.

Я ждал, опуская в автомат заранее приготовленные монеты. То и дело приходилось утирать пот со лба. Время от времени я поглядывал по сторонам. Хоть я и придерживал ногой дверь будки, не давая ей закрыться, ветерка не было. По дорожке, обсаженной подсолнухами, приближались двое. Наверное, муж и жена. Она тяжело переваливалась на ходу — беременная. Ее я видел в первый раз, а вот лицо мужчины показалось мне знакомым. До чего похож на одного молодого сотрудника из моего отдела! Если это действительно тот самый парень, какого черта ему тут надо? Отдыхать, что ли, приехал, в отпуск? А что, вполне возможно. Когда я увольнялся, он был холост, но, кажется, собирался жениться.

Очень похож, прямо одно лицо. И тоже на меня смотрит. Я отвернулся. Что делать, если это и вправду мой бывший коллега, как с ним разговаривать, если он подойдет?

В трубке опять зазвучал женский голос:

— Так как все-таки насчет предполагаемой суммы?

— А как хотите,— ответил я.— Вы на нас не экономьте.

— Каких предпочитаете девушек?

— Самых лучших.

Левой рукой, в которой была зажата трубка, я попытался прикрыть лицо. Супружеская пара как раз подходила к будке. Нет, это не он. Просто похож. Действительно сходство потрясающее, но не тот. У меня отлегло от сердца, все наспех заготовленные слова вылетели из головы.

— Во сколько вас ожидать? — спросила женщина.

— Думаю, часов в девять.

— Как прикажете. Ну что ж, будем счастливы видеть вас у себя.

Я ссыпал в карман неизрасходованные монетки и направился к выходу из парка. Обогнав по дороге давешнюю пару, стал спускаться по отлогой улочке, ведущей к супермаркету. Асфальт совсем расплавился, так и лип к подметкам. «Значит, послезавтра»,— пробормотал я.

Пообедали мы поздно, и парень, прихватив с собой пса, отправился на озеро купаться. Я хотел дать ему денег на плавки, но он наотрез отказался. «Уж на плавки-то у меня хватит»,— сказал.

Когда я вернулся из города, парень все так же лежал в шезлонге. Загар уже был виден, кожа на кончике носа начинала лупиться. Но уверенности, что за время моего отсутствия парень никуда с террасы не отлучался, у меня не было. Откуда я знаю, может, он звонил кому-нибудь по телефону или кто-то к нему сюда наведывался. Например, С. или человек с поручением от С.

Времени до вечера оставалось более чем достаточно, а делать было абсолютно нечего. Пожалуй, только повесить футоны подсушиться на солнце. Первым делом я выволок из комнаты свой и развесил его на перилах террасы. Потом поднялся наверх и решительно вошел в комнату парня. Окна там были распахнуты настежь, по комнате гулял свежий ветерок, несущий запахи озера и леса. И ни пылинки, все сияло чистотой. Футоны были аккуратно сложены в углу комнаты, рядом с ними стоял черный саквояж.

Высунувшись из окна, я посмотрел, не возвращается ли назад парень. Не видно. Сейчас он, наверное, уже ныряет где-нибудь возле кемпинга. Времени у меня было предостаточно. Не колеблясь ни секунды, я присел на пол возле саквояжа. Внутри я обнаружил только пепельно-серый костюм, рубашку, брюки, нижнее белье и умывальные принадлежности. Ни единого документа, по которому можно было бы узнать имя парня. Ни визитных карточек, ни какого-нибудь членского билета, ни значка, ни даже инициала. Не нашел я в саквояже и ничего такого, что дало бы мне представление об их политической платформе,— книг, листовок или каких-то записей.

Под футонами тоже ничего не было. Я все обшарил, но напрасно. Куда же он спрятал эту штуку? Я имею право ее видеть. Раз я решил идти с ними, мне нужно знать все наверняка. Меня уже мутит от домыслов. Я простучал татами, пытаясь обнаружить тайник, но все маты были пригнаны плотно. Потом сходил за половой щеткой и потыкал палкой в потолок. Снова ничего. Может быть, *это* не в комнате? Но остальные помещения для гостей закрыты на ключ. Я отнес футоны парня на террасу. Солнце все еще стояло высоко. До вечера матрасы и одеяла успеют просохнуть, подумал я.

Сел было в кресло смотреть телевизор, но как только появились звук и изображение, тут же выключил. Накатило непонятное раздражение. Ну не унес же парень эту штуку с собой? Не может такого быть! Он не полный идиот, чтобы плескаться себе в воде, оставив *это* на берегу. Содержимое бандероли где-то здесь, на вилле. Мне непременно нужно его увидеть. Хоть одним глазком взглянуть — и сразу станет легче. Откажет мне парень, если я прямо его об этом попрошу? Откажет. Да еще, поди, врать начнет. Или заявит: «Не хочу впутывать вас в это дело». Да только я все равно уже увяз по самые уши. Я догадался, куда он отправится послезавтра и кто ему будет там нужен. Мне уже не отговориться тем, что я ничего не знал.

Потом, откинувшись на спинку кресла, я стал думать о той встрече в парке. Все-таки я не мог бы с полной уверенностью сказать, что это был не мой давний сослуживец. Тогда у меня сомнений не осталось, но ведь он-то тоже в меня всматривался... Что бы я стал ему отвечать, окликни он меня? Вряд ли мне удалось бы сделать вид, что он обознался, пришлось бы что-то объяснять. Смог бы я сказать как ни в чем не бывало, что работаю управляющим на одной из здешних вилл? Или еще что-нибудь наплел бы? Например, что разбогател на спекуляции земельными участками, и в доказательство предъявил бы набитый деньгами бумажник — с меня, пожалуй, сталось бы.

Если это действительно был мой коллега, значит, он нарочно сделал вид, что не узнает меня. Решил по моему внешнему виду, что так будет для меня лучше. А может, ему просто нет дела до бывшего сослуживца. Из моих подчиненных он был самым толковым. Не знаю, как у него идут дела, но вряд ли ему удалось добиться таких же невероятных успехов, как его прежнему начальнику. Кто знает, может, руководство фирмы без конца тычет ему в нос моими былыми достижениями, и он успел так меня возненавидеть, что и говорить со мной не захотел. Скорее всего так оно и есть.

После прощального банкета, когда я уходил из фирмы, мы с ним вдвоем пили в баре до глубокой ночи. Спьяну я произнес тогда целую речь. Говорил, что, пока пашешь на других, своей жизни у тебя не будет, что истинную свободу обретешь, только вырвавшись из клетки общества, ну и все такое прочее.

Если тот, гулявший по парку с беременной женой,— мой бывший подчиненный, то теперь, вернувшись из отпуска, он, конечно, расскажет в фирме, что видел меня. Мол, знаете, ребята, я тут в одном чудно́м месте встретил одного чудно́го типа, кого бы вы думали? Сотрудники выслушают его рассказ и, покачав головой, решат: «Вот к чему приводит безответственное отношение к жизни». В этот день, наверное, вся фирма

будет трудиться с удвоенным усердием. Тем же, кто в глубине души испытывает похожую тягу, мой пример послужит хорошим уроком.

Интересно, приди я туда с повинной, взяли бы они меня обратно? Что уж теперь об этом думать... В один из последних дней жена сказала: «Если тебе самому стыдно, давай я схожу и попрошу начальство». И еще: «Другой такой работы тебе не найти».

Наверное, я показался С. очень удачной кандидатурой. Он понял, что я идеально подхожу для его целей. И С. не ошибся — вон как я из кожи лезу. Конечно, меня мог бы легко заменить любой мальчик из его команды, но слишком уж они бросаются в глаза: и стрижка, и выражение лица, и речь, и одежда, и осанка — сразу видно, что это за птицы. Ни шофер С., ни тот молодчик, который потом пригнал мне машину, никак не походили на обычных, рядовых граждан. В отличие от меня, да и от парня тоже. Хотя хозяину лодочной станции мы оба показались подозрительными. Какой-то чокнутый старикан с целой картинной галереей на спине, без конца бормочущий: «Жив-здоров, ну и ладно», и тот сказал, что мы «не похожи на порядочных людей». Может, просто потому, что мы пришли кататься вдвоем, без жен, без детей?

Вряд ли парень вернется до темноты. Будет плавать и валяться на пляже, пока не загорит дочерна, как все остальные отдыхающие. Так что у меня есть время осмотреть его комнату еще разок. Надо получше изучить саквояж — вдруг у него двойные стенки? Перед тем как идти наверх, я заглянул на кухню и одним духом выдул банку пива. Потом на всякий случай вышел на террасу и огляделся. Никого.

Расстегнув молнию саквояжа, я все из него вынул. Нет, ничего необычного в нем не было. Обыкновенная кожаная сумка. Я стал перебирать одежду. Вот оно! В брюках лежало что-то твердое. Продолговатый предмет, завернутый в белую тряпку. Я выглянул в окно — все в порядке. Развернул. Нож. Рукоятка обтянута обрезанной велосипедной покрышкой.

Кто-то идет. Я выглянул из-за подоконника и тут же нырнул вниз. К дому шел парень, за ним бежал пес. Вынимать клинок из ножен времени не было. Я быстро обернул нож тряпкой, засунул в брюки и запихал все обратно в саквояж. Стремглав выбежал из комнаты, слетел по лестнице и плюхнулся в кресло перед телевизором. В тот же самый миг парень открыл входную дверь. Волосы у него были мокрые, в руке он держал полотенце и плавки.

— Накупались? — спросил я, с трудом сдерживая дыхание.— Время у нас еще есть, так что можете не торопиться.

Парень, никак на это не ответив, спросил:

— Вы что, повесили сушить мои футоны? Спасибо.

— Делать было нечего,— смешался я и понес какую-то чушь.— Знаете, их надо время от времени... Тут такая влажность... Вы... вы куда ходили купаться?..

— К мосткам. Плавал на тот берег и обратно.— Парень стоял прямо передо мной.— И собака тоже плавала. Отличный у вас пес.

У меня сердце екнуло: вдруг я забыл закрыть молнию на саквояже? Черт, не помню.

— Так он умеет плавать? — изобразил я удивление.

— А что ж тут странного? Все собаки умеют.

Парень вошел в ванную. Послышался звук льющейся воды. Потом он захватил банку томатного сока и поднялся к себе. Если я забыл закрыть молнию, сейчас начнется. Вдруг через секунду парень бросится ко мне с перекошенным от ярости лицом? Но я не предпринимал никаких мер предосторожности. Мог бы приготовиться к тому, чтобы дать деру через дверь, но остался сидеть как сидел.

Странное какое-то состояние. Стоило мне взять в руки ту штуку, как волнение разом схлынуло. Мне бы, наоборот, испугаться, так нет же. Волнения я больше не испытывал, но тот скрытый душевный трепет стал еще сильнее. Жалко, не успел вынуть нож из ножен и рассмотреть кли-

нок. Было слышно, как насвистывает наверху парень. Потом зажужжал фен — сушит волосы. Значит, молнию я все-таки закрыл. Или нет, но парень решил не подавать виду? Я надел сандалии и вышел на террасу. Намокшая шерсть прилипла к бокам пса, он разом стал как-то мельче и совсем не похожим на себя. Парень высунулся из окна.

— Во сколько мы выезжаем?

— В седьмом часу,— ответил я, снимая с перил подсохшие тюфяки.— Можно даже в семь.

Парень спустился на террасу и унес свои футоны на второй этаж.

Сумерки, не успев начаться, сменились темнотой — в горах солнце заходит быстро. Погас последний луч, и все вокруг окутал мрак, от гор и деревьев остались одни силуэты. В антрацитово-черной глади озера, наверное, зажглись отражения бесчисленных огней. Отдыхающих вечерняя прохлада могла только обрадовать.

Я недавно принял ванну и теперь отдыхал на террасе. Пес уже обсох, он лежал у моих ног, и ветерок колыхал шерсть его длинного пушистого хвоста. Парень возился с машиной — сначала помыл ее водой из шланга, потом принялся старательно натирать воском. Я его не просил — сам придумал себе работу. При этом он умудрялся сохранять свой обычный неприступный вид.

Я пребывал в блаженном расположении духа. Ни следа беспокойства или раздражения, странное умиротворение снизошло на меня. Сердце билось ровно, сомнения больше не терзали мою душу. Не испытывал я и угрызений совести по поводу того, что шарил в чужих вещах. Или волнение все же таилось где-то внутри?

— Хватит ее драить,— крикнул я парню.— Собирайтесь, сейчас едем.

Парень отделил от крана шланг, свернул его и поднялся на террасу. Кажется, он еще не заметил, что я переменился, что я с ним заодно.

— Как мне одеться? — спросил он.

— Как обычно,— ответил я, хотя сам приготовил свой летний костюм. Мне сшили его, когда я работал в фирме. Еще я надел белую рубашку и галстук. Галстук, правда, тут же снял. Отвык я носить на шее эту удавку. Ну ее. Пиджак, пожалуй, понесу в руке.

Парень спустился со второго этажа все в той же спортивной рубашке и джинсах, вышел из дома и стал ждать меня во дворе. По виду — студент да и только. Сколько же ему все-таки лет?

Перед тем как завести мотор, я оглянулся и окинул взглядом виллу. В гостиной я оставил свет, чтобы дом не казался пустым. И потом собака. Да если кто-то и заберется, красть на вилле особенно нечего. Деньги у меня в бумажнике, который я положил во внутренний карман пиджака. Беспокоит меня только саквояж. Без той штуковины у парня ничего не выйдет.

Хотя отчего же? В любом скобяном магазине можно купить нож на любой вкус. Да у меня на кухне три таких, из нержавеющей стали. Или они не годятся? Наверное, тот, с рукояткой из велосипедной покрышки, имеет особый смысл. Может быть, он символизирует политические идеи организации. Он взрежет толстые складки жира, рассечет аорту и вонзится в самое сердце, а там будь что будет.

Я бы посоветовал парню спрятать оружие понадежнее, да нельзя. Помахав псу рукой, я дал газ и поехал через лес к набережной. Зря я, наверное, волнуюсь. Вряд ли полиция в наше отсутствие заявится на виллу и станет устраивать обыск. Да и взломщики не полезут в дом — ведь сначала надо будет убить собаку.

Машина уже мчалась по шоссе, спускавшемуся к городу, а мы оба еще не произнесли ни слова. Теперь мне не о чем было расспрашивать парня, я и без него во всем разобрался. Он смотрел прямо перед собой, немного выпятив нижнюю челюсть, слева его обдувал встречный ветер.

Я завернул рукава рубашки и расстегнул пуговицы на груди. Правую руку держал на руле, в левой теребил сигарету. Вдалеке озером огней светился прибрежный городок, дальше, в тридцати километрах к югу, сияло еще одно пятно — соседний город, куда мы теперь и направлялись. Далековато, конечно, но, если на шоссе не будет больших пробок, часа за полтора доедем.

— Вот уже и осень,— сказал парень.— Сегодня вечер куда прохладнее, чем вчера.

Он прав. Температура, может, и такая же, но воздух стал суше. Еще какая-нибудь неделя — и прощай лето.

— Так ведь сентябрь начался,— отозвался я.— Хорошо бы сухая погодка еще подержалась.

— Это почему? — взглянул на меня парень.

— Так. Не люблю дождя.

На самом деле я имел в виду, что послезавтра дождь был бы совсем некстати. Я нажал на акселератор и обошел грузовик, ехавший на предельно допустимой скорости, и потом гнал все быстрее и быстрее. Я уже не тот терзавшийся сомнениями слабак, который слепо следовал приказам С. И не важно, разделяю я их идеи или нет, наплевать на это. В общем-то я могу себе представить, насколько они опасны и рискованны. Но мне безразлично, какие они на самом деле — ультраконсервативные или сверхпрогрессивные, примет эти идеи общество или отвергнет. Мне даже неинтересно знать, что именно и каким образом хотят изменить в социальном устройстве С. и компания. Я понятия не имею, чем кончится все это для меня, но пусть они знают: если парень выйдет из игры — заболеет или еще почему,— я готов взять его роль на себя. Во мне теперь решимости не меньше, чем в нем. Я не знаю, откуда взялась эта мощь, переполняющая все мое тело, но я рад ей.

Парень снова начал насвистывать — все ту же песню. Я знал эту мелодию, во времена моего детства, когда все еще ходили по улицам в гэта [1], ее разучивали в школе на уроках пения. Я стал про себя подпевать парню. Половину слов, конечно, уже забыл, но мне это не мешало. Сдается мне, что парню осталось насвистывать недолго. Поди, завтра к этому часу ему уже будет не до свиста. Сложит губы дудочкой, а звука не выйдет. А послезавтра его желудок, наверное, сожмется, кусок не полезет в горло. И со сном тоже — сегодня ночью еще куда ни шло, но завтра вряд ли ему удастся сомкнуть глаза. Однако, даже если он не сможет снова свистеть, не сможет есть, не сможет спать, все равно он не такой, как все. Он человек необыкновенный. Мне таких до сих пор встречать не приходилось. Если, конечно, я не ошибаюсь и послезавтра ему предстоит взять в руки тот нож.

Он еще может спастись — у него масса лазеек. Сказаться больным или даже нарочно упасть с террасы и сломать ногу. Да что там — ночью, когда я сплю, просто потихоньку удрать с виллы, и дело с концом. Только он этого не сделает. Да и я с него глаз не спущу.

Когда мы выехали на автостраду, я вдруг взял и спросил парня, что он обо мне думает. Само сорвалось с языка, я тут же пожалел об этом. Что за идиотский вопрос! Но так хотелось услышать ответ. Парень долго ничего не отвечал, сидел с угрюмым лицом, сложив руки на животе, и молчал. Наконец сказал:

— Вы не вполне мне понятны.

Такой ответ устроить меня не мог, и я вцепился в него всерьез, стал допытываться, что именно во мне ему непонятно. Я что, кажусь ему скрытным, скользким?

— Вовсе нет,— очень серьезно ответил парень.— Просто мне ничего о вас неизвестно.

Но меня уже было не остановить, я завелся не на шутку. Бог с ним, с именем и биографией тоже, но хоть понимает он, что я за человек?

---

[1] Деревянная обувь.

— По-моему, вы хороший человек,— ответил парень.

Мне от него было нужно совсем не это. Я хотел знать, подхожу ли я, по его мнению, для такого дела. Нет, даже не это. К какой стороне общества следует отнести меня — к фасаду или изнанке? Опять не то. Что же я все-таки хотел от него услышать? Может, для того, чтобы решить, как жить дальше, мне необходимо было узнать, чего я сто́ю, по мнению этого молодого, младше меня лет на пятнадцать, парня? Или я жаждал откровенности, добивался, чтобы он принял меня послезавтра в полноправные соучастники? У меня наготове были новые вопросы, но парень перебил меня:

— Давайте оставим этот разговор.— Он коротко взглянул на меня и снова стал смотреть на дорогу.— По-моему, и самому человеку не дано понять, что он представляет собой на самом деле.

На этом беседа и закончилась. Сказать мне больше было нечего. Парень абсолютно прав. Я действительно сам себя не понимаю — почему, попав в такую передрягу, я не испытываю ни малейшего страха? Почему не пытаюсь бежать? Почему я не смог жить так, как живут остальные люди? Весь я состою из одних противоречий. Ничего-то я о себе не знаю.

Несусь я на чужой машине в какой-то неизвестный мне город, рядом — незнакомец, от которого за версту несет опасностью. Что мог ответить парень на мой дурацкий вопрос? «Вы хороший человек» — и больше ничего. Я тоже ничего не могу в нем понять, хоть мы прожили бок о бок уже много часов, вместе ели, рядом спали. Может быть, послезавтра он станет мне понятнее.

Я стал думать об этом дне. Вполне вероятно, что у парня ничего не выйдет. По-моему, шансов на успех у него мало. Быстрые ноги, сила и ловкость вряд ли помогут ему прорваться через охрану. Зачем он выбрал такое оружие? Нужен пистолет, чтобы можно было осуществить акцию с расстояния в несколько метров. Но мне хочется, чтобы парень воспользовался именно той штукой. Той самой, которая спрятана в саквояже. Если бы от парня требовалось всего лишь нажать указательным пальцем на спусковой крючок, он не казался бы мне особенным человеком.

Парень совсем заворожил меня — и я понял это только теперь. Я не могу осуждать его. Он не кажется мне ни слепым орудием, которым кто-то управляет с безопасного расстояния, ни маньяком, готовым на любое преступление, лишь бы оставить свое имя в истории. Возможно, выбрал его на эту роль С., но решение-то парень принял сам. Он не похож на послушного раба, да и юношеской пылкости в нем тоже нет. Парень — сам себе хозяин, над ним нет никого. И поэтому он по-настоящему свободен. Вот как я считаю. Да, он именно таков.

Я здорово расчувствовался. Собственно говоря, эмоции переполняли меня все это время, с того момента, когда я увидел парня в первый раз. Если бы не огонь, сжигавший меня изнутри, я бы давно уже вышел из игры. Как убедился бы в том, что дело нечисто, только бы они меня и видели. А теперь мне даже денег не нужно, ей-богу. Какое право имеет С. называть парня *этот*? Ишь ты, «корми его повкусней да к бабам своди». Как славно он устроился — сидит себе где-то в тихом месте и командует по телефону. С. должен сам приехать на виллу и лично поговорить с парнем, причем не позднее завтрашнего дня. Я бы на его месте обязательно так сделал. Хотя парню, наверное, это ни к чему. Он ведь действует не ради С., а ради самого себя.

Хорошо бы девки оказались сто́ящие, подумал я. Если сегодня ночью парень останется недоволен, я в лепешку расшибусь, но достану завтра такую, которая ему понравится.

Парень все насвистывал. Я сидел, яростно вцепившись в руль и сверля глазами ленту шоссе. Никогда еще не вел я машину так осторожно, даже когда выезжал куда-нибудь с детьми. Если навстречу мчался грузовик для дальних перевозок, я сжимался в комок — вдруг шофер уснул за рулем.

Таксист набросал на клочке бумаги маршрут. Я без труда нашел нужную улицу, и вскоре впереди показалось море, а слева — дом в японском стиле, окруженный высокой каменной стеной. По виду он напоминал обыкновенный ресторан, только в месте был расположен не совсем обычном: сзади — сосновая роща, впереди — песчаный пляж, никаких других строений поблизости.

Автомобильная стоянка располагалась во дворе, но роскошные решетчатые ворота были закрыты. Я посигналил. Сразу откуда-то выскочил маленький старикашка и, низко кланяясь, раздвинул тяжелые створки. Во дворе стояло две машины, обе с местными номерами, так что я не понял, кому они принадлежат — хозяйке заведения или гостям.

Мы вошли в прихожую, разулись, старикашка тут же убрал обувь в ящик и уволок его куда-то. Нам навстречу вышла миниатюрная пожилая дамочка, поставила две пары шлепанцев и вопросительно на меня посмотрела. Я повторил то имя, которым назвался по телефону. Дамочка, сложив ладони, почтительно поклонилась и неожиданно хриплым голосом произнесла: «Добро пожаловать». Это она говорила со мной по телефону.

Следом за ней мы поднялись на второй этаж. Хотя по внешнему виду заведение и напоминало ресторан, внутри оно было устроено совершенно иначе и скорее смахивало на гостиницу. В доме царила тишина. Дамочка провела нас по коридору к предпоследней двери. За дверью оказалась комната в японском стиле. Когда хозяйка раздвинула сёдзи, открылся вид на море. Несмотря на наглухо закрытые окна, в комнате не было душно — работал кондиционер.

Я хотел посадить парня на почетное место, но он уперся и ни в какую, только повторял как заведенный: «Ну что вы, как можно».

Пришлось мне самому садиться во главе стола. Я сунул дамочке купюру и сказал:

— Сначала — поужинать.

Попросил принести пива. А потом, подмигнув, спросил, все ли у них готово. Хозяйка молча кивнула и бесшумно выскользнула из комнаты. Парень, отвернувшись к окну, смотрел на море. Оно было совсем близко — вспыхивая звездочками, катились к берегу невысокие черные волны, но шум прибоя поглощали толстые стекла. Вдали горели огни судов, светились фонари лодок, вышедших в море на ночной лов.

Мы сидели молча. Парень потягивал чай, я курил сигарету. Я пока не объяснил ему, зачем мы сюда приехали. Наверное, он думает, что мы завернули в обычный ресторан поужинать. А может, и догадался что к чему. Я ведь спрашивал его тогда, на террасе, про женщин. Он еще ответил, что ничего против них не имеет.

Вновь появилась та же дамочка, и под ее руководством три официантки расставили на столе блюда. Так даже лучше, чем если бы они носили их одно за другим. Все это были дары моря. Я посмотрел на официанток: молоденькие и хорошенькие, но явно не из тех, кто должен развлекать нас сегодня ночью. Парень не обратил на них ни малейшего внимания. Он поглядывал только на меня, на еду да еще на море. По-моему, когда официантки удалились, он даже вздохнул с облегчением.

— Приятного аппетита,— сказала хозяйка.— Когда пожелаете удалиться на отдых, позвоните по этому телефону.

— Ну, приступим? — Я плеснул парню в бокал немного пива.— Сегодня мы ночуем здесь. Так что пейте и ни о чем не думайте.

Я залпом осушил свой стакан, но парень к пиву даже не притронулся, а накинулся на еду. В отличие от него я только пил, и бутылка в два счета опустела. Каждый раз, поднимая бокал, я мысленно произносил тост. Сначала за парня, сидевшего напротив меня и умудрявшегося сохранять столь завидное спокойствие. Потом за его успех послезавтра. Выпил и за С. Ну, и себя не забыл.

Вот пошла уже третья бутылка. Мне казалось, что я могу выпить целое море. Но сегодня я хлестал пиво не для того, чтобы обо всем за

быть. И не для того, чтобы заглушить отвращение к самому себе или распустить нюни, думая о том, как я одинок и никому на свете не нужен. Никто не выбрасывал меня из общества — я сам из него ушел. И не надо об этом забывать. Многие, наверное, стали меня презирать, но только какое мне до этого дело.

Если бы те, кто знал меня раньше, увидели, каким я стал сейчас, им пришлось бы переменить свое мнение. Представляю, как отвисла бы челюсть у моих бывших коллег, у жены и братца. Так вот, значит, для чего он все это затеял, подумают они, вот к чему он стремился.

Прошли времена, когда я растерянно бормотал: «Как, почему так вышло?». Я прекрасно помню тот день, когда, получив смехотворно маленькое выходное пособие, оказался за воротами фирмы. Мимо спешили по служебным делам никчемные людишки, сжимая в руках папки с бумагами. Все они, все до единого, казались мне жалкими бездарями. И вот то давнее чувство превосходства снова всколыхнулось во мне, приобретя несколько иную окраску, я снова был доволен жизнью. Пускай все они живут долго, много-много лет, каждый день трясясь, как бы чего не стряслось. Мне такая жизнь не нужна, большое спасибо.

Надо же, парень так и не утратил своего отменного аппетита. Изысканные блюда исчезают одно за другим; разжеванные его белоснежными крепкими зубами, они превращаются в кровь, в мускулы, в силу, которая понадобится парню послезавтра. Я же накачиваю желудок пивом, которое, хмелем проникая в нервные клетки мозга, неумолимо тянет меня к могиле.

Кто знает, может, это не парень, а я приближаюсь к своему последнему часу. Возможно, гибель уготована одному мне. Но все равно — мне больше не кажется, что мое существование неотличимо от смерти. Так я считал все три года, проведенных в своей дощатой конуре, да и в первые дни на вилле тоже. Но теперь меня переполняет жизненная сила, а это ощущение стоит того, чтобы ради него погибнуть.

Впрочем, парень тоже свое получит. Его ждет полная изоляция от общества, погребение заживо. И тем не менее он готов бросить псу под хвост все лучшие годы своей жизни, чтобы только прикоснуться к ослепительному сиянию. Пусть же и мне достанется хоть луч того света. Хоть малая часть страсти, переполняющей его душу,— это станет высшей точкой моей жизни. Может быть, омытый исходящим от парня сиянием, я смогу переродиться заново. Почему бы мне не встать целиком на сторону С.? «Жив, здоров, ну и ладно». Нет, так дело не пойдет! Тот старикан с лодочной станции с его военной песней уже опоздал, его жизнь безнадежно и бездарно истрачена. Я начинал пьянеть. Мысли стали путаться. Меня распирало от собственной мощи, казалось, что любое дело по плечу.

— Интере-есные дела,— пробормотал я и снова отхлебнул пива.— Очень интересные.

Не знаю, слышал ли меня парень. Он наверняка давно понял, что я обо всем догадался. Понял, а сам дурачком прикидывается. Решил помалкивать и на мои намеки не реагировать. Так я и не знаю, что он обо мне думает на самом деле. Наверное, я кажусь ему пустым, слабым и ненадежным человеком. Человеком, который слишком много о себе мнит, хотя сам ни на что не способен. Непредсказуемым, скользким типом, от которого в любую минуту можно ждать предательства. Черт с ним, пусть думает обо мне что хочет. Все равно я буду с ним до самой последней минуты. Мне это нужно даже больше, чем ему.

Когда парень съел все, что было на тарелках, я снял телефонную трубку.

— Ну что ж, теперь пора,— сказал я. Хозяйка ответила, что девушки ждут нас в двух соседних комнатах. В каждой по одной, так что выбирайте сами, кому какая понравится, добавила она. Я, оставив парня, вышел в коридор и заглянул сначала в ту дверь, что была справа. Посреди

комнаты красовалась роскошная двухспальная кровать, рядом на стуле сидела женщина. На ней почти ничего не было.

— Добрый вечер,— приветствовала она меня. Не первой юности, но фигурка ничего, отметил я. Женщина встала и подошла к двери. И лицо вроде не подкачало. Пожалуй, сойдет, решил я. Такая не должна разочаровать парня.

— Добрый вечер,— снова повторила она и коснулась моего плеча.

Я стряхнул ее руку и, буркнув: «Я сейчас», вышел обратно в коридор. Заглянул в дверь слева. Эта девица явно была классом повыше. Молоденькая, стройная. Особенно хороши глаза и губы. Она не выдержала моего оценивающего взгляда, отвела глаза и села на край кровати. Боюсь, она не сможет обслужить парня как следует. Я подошел к девице поближе и внимательно ее осмотрел. Потом сказал, что к ней сейчас зайдет мой приятель, и спросил, когда нужно платить по счету. Она едва слышно прошептала, что рассчитываться принято перед уходом, в кассе. Я подумал сначала, что она специально изображает застенчивость, но было не похоже на то.

Я вернулся в ту комнату, где был накрыт стол, выпил, не присаживаясь, бокал пива и сказал парню:

— Теперь идите. Первая дверь налево.

— Уже пора спать? — спросил он.

— А это как хотите. Хоть спите, хоть резвитесь всю ночь,— засмеялся я.— Все время до самого утра в вашем распоряжении.

Перекинув через руку пиджак, я отправился в свою комнату. Может, надо было у него самого спросить, какая из женщин ему больше нравится? Да нет, он, наверное, сгорел бы от смущения.

Не знаю, что там было дальше. В комнату слева парень вошел — я слышал, как открылась и закрылась дверь. Интересно, удивился он, увидев там девицу, или нет?

Моя приняла у меня из рук пиджак, расправила его и аккуратно повесила в шкаф. Кажется, я допустил ошибку — надо было пустить парня к этой женщине, подумал я, она явно опытней. Та может подвести.

— Приготовить вам что-нибудь выпить? — спросила женщина.

Я попросил виски с содовой. Она присела на корточки перед холодильником, а я смотрел на нее со спины и чувствовал, что настрой у меня не тот. Заплатить, что ли, деньги и отправить ее восвояси?

— Я пока выпью,— сказал я и, взяв у нее бокал, отошел к окну.— Устал что-то.

— Ну конечно,— усмехнулась женщина и сняла с кровати покрывало.— Пойду ванну приготовлю. Вам погорячее?

— Нет, не очень,— сказал я ей вслед. Отхлебывая маленькими глотками виски, я мучился сомнениями. Как все-таки быть с женщиной? Отпустить? Или пролежать, прижавшись к ней, до самого утра? В оконном стекле отражалось мое опухшее от выпитого пива лицо. Налитые кровью глаза тускло поблескивали. Как я изменился за каких-то полдня! Опять на меня смотрел человек, не знающий, как ему быть. Да что тут голову ломать. Я уже не в том возрасте, когда, чтобы ощутить всю радость жизни, нужно переспать с бабой.

Когда мой бокал опустел, я вдруг начал раздеваться. Потом открыл рывком дверь ванной и решительно обхватил сзади наклонившуюся над водой женщину. Она игриво заверещала, что я замочу ей пеньюар, стала выворачиваться, но я не обращал внимания. Повалил ее прямо в воду, сорвал невесомую ткань и подмял женщину под себя. Притворная улыбка исчезла с ее лица, она закричала теперь уже всерьез и забилась подо мной.

Со стороны моря безжалостно светило солнце; сколько я ни жмурился, сколько ни ворочался в кровати, укрыться от его ярких лучей было невозможно. Женщина исчезла, в постели лежал я один. Я опрометью

кинулся к шкафу и трясущимися пальцами полез в карман пиджака. Слава Богу. Бумажник был на месте, деньги тоже. Я заглянул в ванную — никого. Выходит, женщина уже ушла.

На столике лежала маленькая визитная карточка, на обороте которой было наскоро набросано что-то бисерным почерком. «Позвони как-нибудь». Это от женщины. Единственное, что после нее осталось. Ни запаха, ни волоска на подушке, даже мусорная корзинка пуста.

Время — самое начало седьмого. Как там парень? Спит или уже проснулся? Его девица, наверное, тоже ушла. Остался ли он ею доволен? Ведь теперь он обречен долгие годы жить, не видя женщин. Надеюсь, он не устроил пробежку по берегу моря? Хотя от этого всего можно ожидать. Может, он и в борделе день начинает с кросса. А вдруг он сбежал, прихватив с собой ту девицу?

Я отодвинул штору и выглянул в окно. Как ярко светит солнце — ослепнуть можно. Море вот оно, совсем рядом, переливается расплавленной лавой, смотреть больно. На берегу ни души, только волны до самого горизонта да несколько кустиков травы. Парня что-то не видно.

Но вот вдалеке я разглядел какие-то фигуры. Нет, это не он. По песку быстро шагал тощий, долговязый мужчина. Я видел его впервые. В белом костюме, в шикарных двухцветных туфлях. Следом за ним, стараясь не отставать, семенили две женщины. Я узнал их — одна провела ночь в этой комнате, другая обслуживала парня.

По сравнению с щегольским нарядом долговязого женщины выглядели простовато. В руках они держали по сумке — наверное, там лежала их ночная амуниция. Все трое быстро удалялись прочь и скоро растворились в солнечном сиянии. Казалось, их поглотили морские волны.

Я снова улегся в кровать и закурил. Вспомнилась вдруг сбежавшая жена. Потом стал думать о человеке, взявшем ее с двумя детьми. Попытался представить, кого же она избрала, так сказать, в спутники жизни после меня. Наверное, полную мою противоположность. Какое-нибудь живое воплощение надежности и стабильности, мужчину, твердо знающего, что почем, который никогда не свернет с проторенной дороги. Такому от жизни не нужно ничего, кроме мира да покоя. Можно было бы спросить у С., он наверняка знает, что за человек новый муж моей жены. Ну, узна́ю я, а к чему мне это? Вечно с утра в голову лезут всякие дурацкие мысли.

Как мы проведем сегодняшний день? Удастся ли парню сохранить маску невозмутимого спокойствия? Купаться в озере, загорать на террасе, гулять с собакой, есть... Или он собирается провести последний день каким-нибудь особенным образом. Например, запрется у себя в комнате и будет глядеть в стену отрешенным взглядом.

А чем заняться мне? Не могу ли я что-нибудь для него сделать? Конечно, можно постараться и закатить роскошную трапезу, это само собой, но что еще? Если парень попросит свозить его сюда еще разок, я обязательно выполню его просьбу, будет на то указание С. или нет. Денег хватит. Тут хоть целыми днями кути, так быстро все не просадишь.

В самый первый миг пробуждения, когда я только-только открыл глаза, мне вдруг подумалось: а что, если я просто хочу умереть? Может быть, все последние три года, нет, еще раньше, я в глубине души лишь этого и желал? Но теперь я решительно отвергаю эту мысль.

Зазвонил телефон. Я не спешил взять трубку. Это, наверное, хозяйка. Что ей надо в такой ранний час? Хочет попросить ключи от машины, чтобы перегнать ее на другую сторону двора? Или потребует, чтобы мы расплатились и выметались? Я думаю, за все про все, вместе со жратвой, двухсот тысяч иен будет более чем достаточно. Скорее всего, хочет договориться о плате.

Я затушил сигарету и поднял трубку. Хрипловатый женский голос сообщил, что соединяет с внешним телефоном — спрашивают меня. Это, несомненно, С. Но как он узнал, где мы? Да, это был он. Первым делом С. спросил, есть ли у меня под рукой бумага и карандаш. «Да»,— отве-

тил я и достал из кармана пиджака записную книжку и шариковую ручку. Он два раза повторил мне адрес, а потом небрежным, как всегда, голосом добавил: «Отвези, пожалуйста, туда *этого*. Только смотри, на виллу вы должны вернуться не позднее завтрашнего утра»,— и опять, не дожидаясь моего ответа, повесил трубку.

Я вернулся в кровать и перечитал адрес. Собственно, не так уж далеко отсюда. Соседняя префектура — пяти часов за глаза хватит, чтобы сгонять туда и обратно. Если выехать после обеда, к ночи обернемся. Непонятно одно: как С. меня нашел. Возможны два варианта. Первый: с нас круглые сутки не спускают глаз. Но я бы почувствовал слежку. Все эти дни я с обостренным вниманием слежу за тем, нет ли хвоста. Второй вариант: парень сам сообщил С., где мы находимся. И это наиболее вероятно. Наверное, я не вызываю у этой публики доверия. Ну и не нанимали бы меня, если так.

Я принял душ. Горячий дождь смыл остатки вчерашнего хмеля, стер из памяти воспоминание о ночных буйствах, по жилам жарким током побежала кровь, голова стала ясной.

Почему же все-таки С. решил воспользоваться услугами постороннего? Что, если он скрывает свой замысел от собственной организации? Может быть, у них там идет внутренняя борьба и это решение С. принял самовольно, на свой страх и риск? В любом коллективе встречаются подобные умники. Аналогичные ситуации не раз возникали в моей прежней фирме: кто-нибудь из начальства пытался обскакать других, сгорал на этом деле и в конце концов оказывался вынужден подать в отставку. Зато, если номер удавался, честолюбец разом взлетал над остальными.

Не исключено, что парень работает лично на С. и в план операции посвящены лишь они двое. Я оделся, вышел в коридор и постучался к парню. Думал, что придется долго ждать, но изнутри немедленно отозвались: «Да?» — и дверь тут же открылась. На пороге стоял парень, уже готовый в дорогу. Он словно знал, что я сейчас постучусь. Выражение лица у него ничуть не изменилось по сравнению со вчерашним, он смотрел на меня и спокойно улыбался. Я спросил, как ему понравилась девица.

— Было отлично,— ответил он.

— Правда? А то я беспокоился, вдруг она вам придется не по вкусу.

— Все было отлично,— повторил парень.

Делать нам тут больше было нечего. Если он не выспался, можно отдохнуть и на вилле. Мы прошли длинным коридором, спустились по крутой лестнице. В доме было очень тихо. Я подошел к кассе и нажал на кнопку звонка. Откуда-то сбоку вынырнула вчерашняя дамочка в пижаме. На ее ненакрашенное лицо было жутко смотреть. Совсем другой человек: шея и лицо в глубоких морщинах, хитро поблескивающие глазки жадно уставились на мой бумажник. Впрочем, сумму она назвала гораздо меньшую, чем я предполагал.

Отказавшись от сдачи, я вышел во двор. Парень ждал меня возле машины. Он времени даром не терял: прыгал, приседал, махал руками. Судя по всему, мы были единственными посетителями. Во дворе стояли все те же две машины, которые наверняка принадлежали заведению.

Неизвестно откуда возникший старикашка уже распахивал створки ворот. Мы выехали за высокую ограду. Старик низко поклонился нам вслед и закрыл ворота. Весь мир был залит солнцем. Поверхность моря сияла, как в жаркий полдень, над песчаными холмами уже с раннего утра воздух струился от зноя. Кругом — ни души. Можно было бы отправиться по указанному С. адресу прямо сейчас. Тогда мы бы уже к полудню вернулись на виллу. Но я вспомнил про пса, его надо было покормить. У него и так уже, наверное, брюхо подвело. Может, бродит сейчас возле кемпинга в надежде перехватить кусок.

Да и устал я что-то. Руки еле руль удерживают. У меня не хватит сил на такой дальний конец. Надо передохнуть перед дорогой. И спешить в общем-то некуда. Времени — хоть отбавляй.

Я спросил:

— Вы ночью кому-нибудь звонили?

— Нет,— отозвался парень.— А что?

— Да нет, это я так.

Больше говорить я ничего не стал. Как его проверишь — врет он или нет. Свернув на автостраду, я внимательно посмотрел в зеркало заднего вида. Потом, на выезде из города, еще раз. Никакого автомобиля, похожего на «хвост», не было.

Пес стремглав бросился с террасы нам навстречу, отчаянно виляя хвостом. С разбегу прыгнул на парня и лизнул его в лицо. Похоже, всю ночь прождал нас возле двери. Ей-богу, заберу его с собой, когда кончится житье на вилле. Только вряд ли он за мной пойдет.

Парень взбежал на второй этаж, но тут же спустился, переодевшись в тренировочный костюм. Не останавливаясь ни на миг, помчался по дорожке к озеру, пес понесся следом. Может, парень не в состоянии усидеть на месте? Мне и самому было не по себе. Я внимательнейшим образом осмотрел всю виллу, чтобы проверить, не был ли здесь кто-нибудь в наше отсутствие, но ни разбитых стекол, ни отпечатков грязных подошв не обнаружил. На двери прихожей следов взлома не было. Потом я поднялся к парню и сунул руку в саквояж. Все в порядке. Твердый, длинный предмет был на месте.

Немного успокоившись, я повесил свой костюм на вешалку, прошелся по нему щеткой и оставил на сквозняке — пусть проветрится. Я собирался снова надеть его в дорогу. И завтра тоже. Не пристало на работе одеваться черт-те во что. Хотя какая это работа? Значит, С. велел вернуться на виллу не позднее завтрашнего утра. Пожалуй, надо будет отправиться в путь вечером, чтобы попасть назад поздней ночью. Неохота трястись по жаре целых пять часов. Прошлой ночью выспаться толком не удалось. Какой тут сон, когда рядом лежит чужая женщина... Я уж и забыл, как она выглядит.

Все-таки здорово я вымотался. Сейчас самое лучшее — принять ванну. Только сначала надо кое-что простирнуть и приготовить еду. Сварюка я рис с кэрри и положу в морозилку. А вечером поужинаем как следует в каком-нибудь придорожном ресторане. Если, конечно, будет аппетит.

Голову ломать особенно не над чем. А если есть, то не сейчас, потом. Пока нужно отдохнуть, набраться сил. Что будет завтра, одному Богу известно. Может быть, мне не удастся остаться сторонним наблюдателем. Вдруг на меня тоже бросятся дюжие молодцы, повалят, станут выворачивать руки?

Я залез по самое горло в горячую воду, подложил под голову полотенце и прикрыл глаза. Где-то совсем близко закуковала кукушка. Из лесу доносилось и щебетание каких-то других птиц. С озера, как всегда, неслись крики купающихся, треск лодочных моторов, развеселая музыка. И еще — магнитофонные проповеди того европейца. Он что, собирается тут торчать до самого конца сезона? Грозные и горькие слова навязчиво гремели над лесом.

По-моему, сегодня он крутил новую пленку, хотя кто его разберет. Вчера голос вещал что-то такое про спасение, а сегодня горы сотрясались от призывов совсем иного рода. До меня ветер доносил лишь обрывки фраз, но, если я правильно понял, проповедник призывал всех к самоубийству. Зачем, мол, держаться за свою жизнь, когда она пуста и бессмысленна. Чушь какая-то — еще вчера обличал грехи, пороки, обращал людей на путь мира и любви, а сегодня агитирует отправляться на тот свет. То ли магнитофон сломался, то ли ветер шутил надо мной, то ли мешала кукушка, но именно так воспринимал я речи проповедника.

Когда-то я сказал жене:

— Признаю, что работа всегда была для меня смыслом жизни. Но теперь я изменился. Мне стало на все наплевать, хочу жить, как Бог на душу положит и ни о чем не думать.

Она только зло улыбнулась. Пробовал я говорить об этом и со знакомыми. Из десяти человек восемь реагировали примерно так же, как жена, и только двое сказали, что понимают меня. А один из них мрачно заметил: «Эх, не в то время мы с тобой родились. Нам бы жить в какую-нибудь эпоху потрясений».

Ох, хороша водичка. Не слишком горячая — в самый раз. Тело размякло, настроение такое, что ни до чего на свете дела нет. Как там мой парень? Ишь ты, не успел вернуться и сразу побежал вокруг озера. Должен же быть предел его выносливости. Да было ли у него что-нибудь с той девицей? Может, он и пальцем ее не тронул, а просто продрых себе преспокойненько до самого утра? Ладно, мне-то что. Главное — как он покажет себя завтра. Я многого ожидаю от завтрашнего дня. Я растворился в этом ожидании без остатка.

А вдруг он не вернется со своего кросса? Да я его под землей разыщу! Разыщу и приволоку назад — и безо всякого приказа! Отвезу завтра в город и ни на шаг от него не отойду, до самого последнего мига.

Тот юнец, кажется, двигался в сторону виллы — звучный бас, гремевший из динамиков, слышался теперь явственней. «Смерть, и только смерть, сделает тебя свободным,— рокотал голос.— Именно в этом мгновении — суть человеческой жизни». Так по крайней мере слышалось мне. Но люди, приехавшие на озеро развлечься и отдохнуть, наверное, пропускали эти мрачные призывы мимо ушей. Для них проповедь — лишь досадный и назойливый шум, мешающий насладиться купанием в один из последних дней лета. Всей этой толпе кажется, что мир устроен наилучшим образом. Радуясь отдыху и безделью, они не замечают окружающей их стены. Но мне она отлична видна. Я никогда о ней не забываю — даже во сне. Стена окружает меня со всех сторон. И парень хочет пробить брешь в этой несокрушимой преграде. С жалкой игрушкой в руках — ручная дрель и то мощнее — он атакует каменную стену собственным телом.

Я был кругом не прав — признаю. Правы те мои знакомые, которые увещевали: «Другой жизни нет и быть не может». Но я не стану тратить время на споры с хамелеонами. О, как быстро меняют они свой цвет, приспосабливаясь к переменам в окружающем мире, как извиваются, стремясь избежать любых конфликтов, как охотно со всем соглашаются, лишь бы не сойти с прямой и накатанной дорожки безбедного житья! Это существование было не для меня. Я знал, что тоже так могу, да только не стал.

Какова же все-таки конечная цель, к которой стремится С. или те, кто за ним стоит? Может быть, они хотят окружающий мир перекрасить в свой цвет? Недовольны мутным, размытым колером нашего общества и стремятся достичь четких контуров и раскраски? Или их планы не идут так далеко, и им достаточно просто показать всему миру, какого цвета они сами? Неужели смысл их действий только в этом?

Меня с неудержимой силой клонило в сон. Отяжелевшее тело мокло в горячей воде, а мысли бродили где-то далеко за пределами эмалированных стенок ванны. Сначала передо мной возникла вчерашняя женщина — без лица, одно только тело, и я долго его рассматривал. Потом вспомнилась жена, вспомнилось, как я принимал когда-то ванны вместе с детьми. Но эта картина лишь промелькнула — и исчезла. Остался я один, осталось ощущение пустоты. Словно я качаюсь на волнах посреди безбрежного моря. Как хорошо! Будто спишь и тебе снится, что ты видишь сон. Яростные слова проповеди больше не терзали мою душу.

Я думал, что задремал всего на пять — десять минут, но, выйдя из ванной, увидел по часам в гостиной, что пролежал в воде целых полтора часа.

Еще не было и двенадцати. Солнце просвечивало листву деревьев насквозь, в лесу надрывалась кукушка, шум на озере достиг апогея.

Парень и пес еще не вернулись. Я был на вилле один. Как там парень, не проголодался? Я верю ему. Такой не сбежит. Скорее уж пес даст деру, чем он. И С., наверное, тоже так считает. Может, парень купается? Как мало времени осталось у него делать все, что ему хочется! Завтра его ждет взлет к ослепительному сиянию, а сразу за тем, скорее всего, арест. Или неудача и смерть?

После захода солнца я должен буду отвезти парня в соседнюю префектуру. По всей вероятности, там он встретится с С. Наверное, тот расскажет мне обо всем и попросит о помощи. Может быть, даже пригрозит. Что мне ответить ему? Сказать, что я готов на это и без его просьб и угроз?

Я полон воодушевления, меня не испугает никакой, пусть самый безрассудный, приказ. Волнует меня другое — что будет после того, как завтра я отвезу парня в город? Больше всего я боюсь, что мне велят немедленно исчезнуть и даже не позволят увидеть, как все это будет.

Я пошел на кухню чего-нибудь пожевать. Доставал из холодильника все подряд и ел прямо руками. Может быть, мне тоже недолго осталось питаться всякими разносолами. Сваренный утром рис с кэрри уже остыл. Им я накормлю парня. И жратву для собаки тоже надо приготовить: Я зажег плиту.

Может, выйти им навстречу? Вдруг с парнем что-нибудь случилось? Если у него солнечный удар, я мир переверну, но к вечеру поставлю парня на ноги. А если он, испугавшись последствий своего деяния, бежит сломя голову прочь от виллы, я догоню его и притащу назад, как бы он ни брыкался. Другого такого шанса в моей жизни уже не будет.

Бросившись к машине, я на полной скорости понесся по набережной. Я почти не смотрел по сторонам и чуть не сбил встречного мотоциклиста. Нет, все-таки задел заднее колесо, и тот грохнулся на мостовую. Вскочив на ноги, он первым делом поднял мотоцикл, а уже потом снял шлем и осмотрел себя — все ли цело. Убедившись, что травм нет, юнец кинул на меня злобный взгляд. Но я рявкнул на него с перекошенным от ярости лицом: «Куда прешь, паскуда!» Откуда и слова-то такие взялись? Паренек весь сжался от моего бешеного рыка, ни слова не говоря, вскочил на свой драндулет и умчался. Если бы их была целая банда, я вел бы себя точно так же.

Я взглянул в зеркало. Ну и рожа — никогда еще таким себя не видел.

Парень наворачивал сделанные мной колобки из риса, заедая их холодной вареной рыбой. Пес тоже чавкал у себя на террасе. Я налил парню чаю, потом отнес собаке воды.

Нашел я их возле кемпинга, они катались на лодке. Когда я замахал парню, высунувшись из машины, он стал быстро грести к берегу. Пес никак не хотел вылезать из лодки — видно, полюбил кататься.

— Что-нибудь случилось? — спросил парень, посмотрев мне в глаза.

— Нет-нет, ничего,— ответил я.— А что?

— У вас такой сердитый вид.

— Неужели?

— Да.— Парень посмотрел на автомобиль.— И машина вон помята.

— Ерунда, зацепился немножко.— На бампере действительно была небольшая вмятина, но фара и «мигалка» не разбились.— Я вовсе не сердит.

Парень хотел что-то сказать, но передумал, вернулся к лодке и вытащил пса. Когда я уже собрался ехать назад, он произнес, взглянув на меня:

— Нет, вы все-таки на что-то сердитесь.

Он ошибается — просто у меня настроение такое боевое. А может быть, я действительно на что-то зол? Копившееся три года раздражение наконец прорвалось наружу, и меня захлестнула волна гнева, излить который мне до сих пор было не на кого?

Парень все так же спокоен, хотя завтрашний день значит для него еще больше, чем для меня. Как это ему удается? В нем ни малейших признаков волнения — как ни в чем не бывало лопает рис, рыбу, пьет суп-мисо с моллюсками, закусывает маринованными овощами. Странно.

— После захода солнца мы уезжаем,— сказал я.

Но парень только кивнул в ответ, даже не спросил куда и зачем. Кончив есть, он поднялся и стал собирать со стола грязную посуду.

— Бросьте,— попытался остановить его я.— Я потом сам уберу.

Но парень, не послушавшись, сложил тарелки и унес на кухню. Когда же в его поведении произойдет перемена? Сегодня ночью? На рассвете? Или прямо перед акцией? А может, никакой перемены вообще не будет? Вдруг он сделает свое дело все с тем же невозмутимо-спокойным видом?

Парень ушел к себе. Я же отправился на террасу купать пса. Вооружившись флаконом шампуня и двумя полотенцами, я провозился с ним целый час. Жалко будет бросать его здесь. Но не тащить же пса за собой. Завтра мне будет не до собаки, дай Бог с самим собой разобраться. Не знаю даже, попаду ли я еще на виллу. Вот и с псом мне осталось быть вместе совсем недолго.

Пока не высохла шерсть, он неподвижно стоял в углу террасы. Может, вспоминал прежнюю жизнь и старых хозяев. Составив три стула, я улегся и решил подремать здесь до вечера. Мысли уже не порхали в заоблачных высях, мозг словно закоченел, несмотря на зной. Я будто отключился, умер.

Когда я проснулся, солнце клонилось к закату, жара спала, в воздухе посвежело, пение птиц и стрекот цикад звучали гораздо тише. Словно подброшенный пружиной, я вскочил на ноги и кинулся в комнату. Наспех надел свежую белую рубашку и костюм, из которого еще не успел выветриться запах пота. Мы с парнем вышли из дома, и я закрыл дверь на ключ. Пес опять не выразил желания ехать с нами. Все начиналось так же, как вчера вечером. Только маршрут был иной. Да и цель, судя по всему, тоже. Куда ехать, я знаю, но вот зачем? С. не сказал об этом ни слова, ни даже: «Приедешь, сам поймешь».

Схему местных дорог я уже успел усвоить, заглядывать в карту нужды нет. Надо проехать часа полтора по автостраде на север, а потом, у перевала, свернуть вправо, на проселок. Других развилок там нет, знай гони до самого моря. Нас там кто-то будет ждать? Наверное, не С. А то он не говорил бы заранее, что мы должны вернуться на виллу не позднее утра. Связного от С. там тоже не будет, иначе было бы назначено точное время встречи.

Парень сидел, прикрыв глаза, его слегка покачивало в такт ходу машины. Не поймешь — то ли задумался о чем-то, то ли рисует себе картины предстоящей бешеной схватки, то ли просто дремлет. Рядом человек, уже несколько дней живущий со мной под одной крышей, а поговорить с ним по душам так ни разу и не пришлось. Неужели этого разговора вообще не будет? Если парень и завтра ничем не выдаст своего волнения, значит, он не человек. Если сегодня ночью он будет крепко спать, а утром плотно, как всегда, позавтракает, сядет со мной в машину, нырнет, не дрогнув, в толпу — а на площади перед вокзалом наверняка соберутся сторонники *того,*— тогда он просто оборотень.

Предположим, что у парня дело сорвется,— С. никак от этого не пострадает. Все, чем он рискует,— потерять парня да еще меня в придачу. Я просто уверен в этом. А потом в один прекрасный день найдет еще одну пару, похожую на нас. Такого же несгибаемого молодого безумца и такого же изгоя, потрепанного судьбой и не знающего, что ему делать с собственной жизнью. С. сведет их вместе и начнет все заново. И, мо-

жет быть, будет повторять этот трюк много-много раз. Вполне возможно, что С. таким образом самовыражается, находит в этом смысл своей жизни.

Стемнело. По сторонам дороги ничего не было видно, я ориентировался только по указателям. Мне нравилась наша поездка. Мчаться куда-то в ночь, в незнакомую префектуру — это было похоже на настоящее путешествие. Вспомнилось, как ездил когда-то на машине с семьей. В первый же день, когда я купил автомобиль, мы отправились кататься за город. В ту пору жена часто говорила мне: давай объездим по очереди все-все уголки страны, пусть на это уйдет хоть пятьдесят лет. А когда состаримся и не сможем водить машину сами, нас будут возить дети.

Своему новому мужу она тоже так говорит? Он, наверное, всей душой «за», готов кататься по этим самым уголкам до гробовой доски. Их главная мечта в жизни, чтобы лет эдак через двадцать за руль сел сын и провез их по очередному шоссе, до которого сами они добраться еще не успели. «Ты жалкий трус»,— кинул мне старший брат... Интересно, а буду ли я жив через двадцать лет? Каким я стану к тому времени? Почему-то мне кажется, что после завтрашнего дня не будет уже ничего.

Если и будет — так снова полупьяное существование в деревянном бараке, снова стану мечтать о сейнере и палец о палец не ударю, чтобы эту мечту осуществить. А вдруг я попаду в окружение С., проникнусь их немудрящими идеями, создам себе положение в том, изнаночном, мире? Возможно и другое — подыщу замену своей бывшей жене, обзаведусь новой семьей и попробую начать все сначала. Или еще — открою в маленьком городишке какую-нибудь контору по торговле недвижимостью, добьюсь успеха, а потом, ясное дело, разорюсь и полезу в петлю. Мне в общем-то все равно, любая из этих планид меня устраивает. А если узнаю, что меня ждет еще более жестокий и быстрый конец, тоже плакать не стану. Пропаду без вести? Пожалуйста. Пускай мой труп зароют в землю где-нибудь на мрачном лесистом склоне, я согласен и на это. Скорее всего, именно так С. со мной и поступит. Возможно, всей моей жизни осталось как раз на один день.

Замигала лампочка — горючее на исходе. Проехав по шоссе еще километра три, я завернул на бензоколонку. Парень не проснулся. Его ровное дыхание действовало мне на нервы. Я поболтал со служителем, расплатился, а парень все спал. Вдавив педаль газа в самый пол, я рванул с места — только покрышки завизжали — и снова вылетел на шоссе.

Понемногу я успокоился. Теперь мною владело безмятежное состояние духа, ведь у меня был четкий ориентир. Не такое уж гиблое положение, если вдуматься. Пусть этот мирно спящий человек — оборотень, я все равно за него. Куда бросится он, туда очертя голову кинусь и я. До чего же я сам себе надоел! Мечтаю посмотреть на себя нового, не такого, как прежде. Это не из общества я тогда ушел, это я от себя ушел.

Мне отлично известно, что я собой представляю. Никчемный человечишка, обожающий позу и обуреваемый лютой гордыней, но бесхарактерный и ни на что путное не способный. Потерпев в жизни крах и прекрасно понимая, как многого лишился, я упрямо это отрицаю. Наконец, я пал так низко, что ниже уже и не бывает... Верно, все верно, но жить так, как призывает мой старший братец, я не буду. По-моему, погибший во время пожара младший брат и то распорядился своей жизнью лучше.

Я и не заметил, как в воздухе перестало пахнуть морем и песком, как затих вдали шум прибоя. Невозможно было понять, где именно мы находимся. В темноте вырисовывались только очертания гор да дорога, свернуть с которой было некуда.

Я взглянул на свои руки, лежавшие на руле. До чего же костлявые — как у дряхлого старика. То ли дело у парня — крепкие, мускулистые. Легко сцепленные на животе, они едва заметно опускались и поднимались в такт сонному дыханию. Такой вот рукой и следует сжимать рукоять, обтянутую велосипедной резиной. Моих же едва-едва хватает, чтоб руль удерживать. Где уж им вытянуть тяжелую сеть с уловом. Но

если завтра парень допустит оплошность и нож выпадет из его руки, я подхвачу оружие и доведу дело до конца.

— А-а,— вдруг вырвалось у меня — и не стон, и не вздох, странный какой-то звук. По телу пробежала дрожь, но не от страха.— Ладно,— решительно процедил я.

Парень спал. Стрелка спидометра ушла далеко за сотню, и сигнал превышения скорости пищал не унимаясь. Я обошел три трейлера, пролетел на красный свет, заскрежетал тормозами на крутом повороте. Мой покойный брат всегда так ездил... Машина — что надо. С виду так себе, но мотор — зверь. И педали упругие, надежные.

Проскочив извилистый участок дороги, я взглянул на соседнее сиденье. У парня из угла рта свисала ниточка слюны. Он был похож на спящего мальчугана. Неужели этот человек совершит завтра такое, на что я никогда не буду способен? Ну конечно этот, именно он и может проявить сверхъестественную ловкость и бесстрашие. А я, что я, гнать по шоссе на ста тридцати — вот предел моего геройства.

У перевала я свернул направо. Дорога пролегала по дну лесистого ущелья, с обеих сторон вплотную надвинулись горы. Ветерок, задувавший через окно, был свеж и прохладен. Спереди и сзади — ни одной машины. По сторонам дороги росли могучие криптомерии, делая тьму еще черней. Дорога — хуже некуда. Когда-то ее, наверное, асфальтировали, но теперь вся поверхность была в трещинах и выбоинах — на грунтовой и то трясло бы меньше. Даже парень проснулся от этой скачки по ухабам. Открыв глаза, он сначала взглянул на меня, потом — в окно.

— Где это мы?

— Сам толком не разберу,— ответил я.— Никогда тут раньше не проезжал.

То есть приблизительно я себе представлял, где мы находимся, но как называется эта местность — понятия не имел. А доставать карту было лень. Ну, узна́ю я, как называются эти горы, а что толку? Парень все озирался по сторонам. Что, не знает, куда мы едем?

Он снова о чем-то спросил, но я молчал. Не все же мне быть в дураках, пусть и он над чем-нибудь голову поломает. А то нравится им меня в потемках держать.

— Как так,— не унимался парень,— вы не знаете, куда держите путь?

— Да ладно вам,— небрежно бросил я.— Приедем, сами все поймете.

Впервые парень спросил у меня, куда я его везу. Что же все-таки С. рассказал ему обо мне? Может, что я приставлен к нему кем-то вроде надзирателя? Да нет, вряд ли. В ту ночь, на рыбалке, парень наверняка понял, что я собой представляю. Я тогда лез ему в душу со своими вопросами — помощник С. не стал бы так себя вести.

Парень без устали вертел головой, поглядывая то на меня, то в окно. Что-то на него не похоже. Не то чтобы он проявлял признаки беспокойства, но слишком уж сосредоточен, таким я его еще не видел. Только вряд ли он мог разглядеть что-нибудь за окном — сплошная темень да бесконечный ряд криптомерий. Из травы взлетела птица, встревоженная светом фар и ревом мотора. Ее глаза сверкнули золотым блеском.

Парень явно терзался подозрениями. Не знал, куда и зачем его везут,— на лице отчетливо читалось беспокойство. Он спал довольно долго и поэтому не мог сориентироваться, в каком направлении мы движемся, даже не видел, что мы пересекли границу соседней префектуры. Собственно, никто не запрещал мне объяснить парню наш маршрут, но разрешения на это я тоже не получил. Так что лучше помолчу.

Парень снова спросил:

— Мы что, в соседней префектуре?

Как он догадался? Мы не проехали ни одного указателя, вокруг по-прежнему были только деревья.

— Да,— подтвердил я.

Парень перестал вглядываться в темноту.

— Так я и думал,— пробормотал он.— Точно.— Парень прищелкнул языком.— Так оно и есть.

Расслабившись, он вновь откинулся на спинку кресла. Потом, повернув ручку, откинул спинку сиденья назад. Кажется, он все понял — и куда мы едем, и зачем. Но почему он так прищелкнул языком? Ишь, какое лицо недовольное, и ноги все перекладывает с одной на другую. По-моему, ему не больно охота туда ехать.

Дорога спустилась на равнину, криптомерии стали попадаться реже, мы проезжали через небольшую, аккуратненькую долину. Выглянула луна, осветив рисовые поля. В домах горели огоньки. Парень рывком приподнялся, высунул голову в окно и стал жадно ьглядываться, не обращая внимания на то, что в лицо ему ударялась роившаяся над дорогой мошкара. Что это он — никак и досада прошла?

Вот мы и у цели. Если я правильно понял маршрут, осталось только пересечь долину, потом перевалить через гору, а там уже и море. Минут пятнадцать, не больше. Похоже, недавно здесь прошел ураган — рис полег на заливных полях. В воздухе уже ощущалось доносимое ветерком дыхание моря. Парень пару раз взглянул на меня, словно собирался что-то сказать, но, видно, передумал и снова отвернулся к окну. Тогда я сам спросил:

— Что, знакомые места?

Уверен, что знакомые.

— ...Да,— кивнул парень.— Очень знакомые.

На дороге, заросшей кое-где травой, по-прежнему не было ни одной машины, кроме нашей. Из деревни не доносилось ни звука. Долина осталась позади, к дороге снова вплотную подступил лес, какое-то время мы ехали вдоль излучины реки. И вот наконец показалось море, а на берегу изогнутой полумесяцем небольшой бухты — поселок, десяток сбившихся в кучку домов. Они резко выделялись на фоне белого песчаного пляжа.

Я гнал машину вперед. Дорога кончилась, растворившись в песке. Дальше ехать было некуда — впереди море да изрезанный волнами мыс. Как быть? Парень жестом попросил сбавить скорость. Теперь машина еле ползла. На берегу лежало несколько рыбацких лодок, но все они были сухие — наверное, путина еще не началась. Не сушились сети, не пахло рыбой. Приглядевшись получше, я увидел, что половина лодок давно прогнила, в море на таких не выйдешь.

Домишки выглядели совсем развалюхами. Если бы не горевший внутри свет, никогда бы не подумал, что там живут люди.

— Погасите свет,— еле слышно произнес парень.

Я выключил фары. Видимость все равно была хорошая — луна, белый песок. Поселок просматривался как на ладони. На улице — ни души. Я осторожно тронул машину с места, но чуть не уперся в море. Метрах в десяти плескались волны.

— Развернитесь, пожалуйста,— попросил парень и показал на песчаный холм слева, высотой примерно с три телеграфных столба.— И поднимитесь вон туда.

Я не спеша повернул руль и начал было подъем, но холм оказался круче, чем я думал. Чтобы проверить, можно ли туда въехать, я собрался выйти из машины, но парень остановил меня:

— Не беспокойтесь, машина въедет. Здесь песок твердый.

Я попробовал — и действительно машина довольно легко пошла вверх по склону, парень был прав. Колеса в песке не вязли.

— Остановите здесь,— сказал парень.

На вершине холма была небольшая ровная площадка, как раз для

одного автомобиля. Оттуда хорошо просматривалась дорога, по которой мы приехали, и все побережье.

Парень перешел на шепот:

— Выключите, пожалуйста, мотор.

Я повернул ключ зажигания. Шум прибоя стал слышнее. Теперь можно было разобрать и плеск воды в бухте, и удары волн о мол. Шел девятый час, мы доехали минут на тридцать быстрее, чем я предполагал. Парень, не трогаясь с места, все смотрел на поселок. Прикрывая ладонью огонь, я зажег сигарету. Время шло, а ничего не происходило. Никто не подходил к машине, кругом вообще не было ни единого человека. Но парень напряженно высматривал что-то внизу. Я не знал, чего он ждет, но его напряжение передалось и мне.

Выждав какое-то время, я спросил:

— Кто-нибудь должен подойти?

Парень не ответил. Я хотел было упомянуть об С., но передумал.

— Можно хоть из машины выйти? — спросил я.— А то мне невтерпеж.

Он только кивнул. Я осторожно, стараясь не шуметь, открыл дверцу и вылез из машины. Потянувшись, я долго мочился на чахлые кустики, чудом прилепившиеся на вершине холма. Море тускло поблескивало, в его темном зеркале отражалась луна и свет далекого маяка. Стояла страшная духота. Над месяцем гигантским зонтом нависли тучи, похоже, будет дождь. Наверное, зарядит еще с ночи. Как бы завтра погода не подвела.

Лучше вернуться в машину. Кто знает, вдруг придется срочно сматывать удочки. Я навалился грудью на руль и попытался понять, что там высматривает парень, но так ничего и не увидел. Он не отрывал глаз от какой-то ему одному ведомой точки и не произносил ни слова. В той стороне были только дома. Пару раз парень щелкнул пальцами, и я понял, что его гложет нетерпение. Потом он сжал губы и обреченно вздохнул. Скосив глаза, я внимательно изучал выражение его лица.

Возле самых домов высился еще один песчаный холм, на котором темнело несколько камней,— наверняка деревенское кладбище. Парень вдруг, ни слова не говоря, вышел из машины и зашагал вниз по склону. Глядя ему вслед, я вцепился пальцами в ключ зажигания. Как мне отсюда спускаться, если что? Площадка слишком узкая — не развернешься, а если пятиться задом, уйдет слишком много времени. Придется гнать прямо вперед, хотя спуск и крутоват. Главное — все время жать на акселератор.

Спустившись с холма, парень огляделся вокруг и двинулся к поселку. У первого дома он обернулся и посмотрел в мою сторону, но знака никакого не подал. Направился прямиком к крайней лачуге, однако у самой двери свернул в сторону и прижался к стене. Присев на корточки возле светящегося окна, парень потихоньку стал приподниматься и, наконец, заглянул внутрь. Я наклонился вперед, нажал ногой на педаль сцепления и вцепился левой рукой в ручной тормоз. Двигатель пока заводить не стал.

Окно, в которое заглядывал парень, было открыто, но спущенная бамбуковая штора приглушала свет, голубой и мерцающий — в комнате работал телевизор. Парень, пригнувшись, припал к шторе и застыл. Несколько раз быстро приседал на корточки. Потом замер, обхватив колени. Прислушивался к разговору в комнате? Или собирался, улучив момент, перескочить через подоконник? Может, хотел сам вызвать тех, кто в доме, наружу?

И тут вдруг раздался лай. Послышался лязг цепи. Это надрывалась сидевшая на привязи собачонка из соседнего двора. Парень кинул в нее чем-то, наверное камешком, но она не унималась. Он вскочил и бросился бежать, и в тот же миг бамбуковая штора приподнялась. Раздался тонкий, пронзительный крик. Услышав человеческий голос, собачонка залаяла еще пуще. Я увидел, как из дверей дома метнулась чья-то фигура.

Врубив мотор и спустив ручник, я рванул машину вниз по склону. Колеса запрыгали на ухабах; каждый раз, когда днище скрежетало по земле, руль чуть не вырывался у меня из рук. Но я все равно жал на газ и слетел с холма в один миг. На полной скорости я помчался навстречу парню, открыл на ходу левую дверцу и резко затормозил. За парнем бежали трое, но кто именно, в темноте было не разобрать. Первой, кажется, гналась женщина — длинные волосы развевались на бегу. Она махала руками и что-то кричала, но слов из-за шума мотора я не слышал.

Парень плюхнулся на сиденье и резко — куда подевалась всегдашняя вежливость? — крикнул: «Гони!» Я дал полный газ, но задние колеса прокручивались на холостом ходу, и машина еле ползла. Переключил на вторую, и только тогда мы стали набирать скорость. Взглянув в зеркальце, я увидел, что из соседних домов выскочили люди. «Быстрее!» — закричал парень. За машиной теперь гналась только женщина, остальные остановились. Она одна бежала и все кричала что-то сорванным голосом. Только где ей было угнаться за машиной. Женщина отставала все дальше и дальше, но не сдавалась, бежала.

Доехав до середины долины, я резко сбросил скорость, а потом, у пожарной вышки, и вовсе остановил машину. Парень тяжело дышал. Что это с ним — то вокруг озера гоняет и ничего, а тут пробежал каких-нибудь сто метров и так запыхался? Я посмотрел ему в глаза.

— В чем дело? — спросил он.— Машина сломалась?

Я не ответил. Выключил фары, остановил мотор и вышел на дорогу. В воздухе звенели ночные цикады, но у меня в ушах до сих пор стоял лай собаки и крик женщины. Машины возле того дома не было. Женщина наверняка уже отказалась от своей бессмысленной погони. Я бросил пару монеток в придорожный автомат и получил две банки сока. В горле пересохло, язык был как чужой.

— Едем скорей,— поторопил меня парень. Но я не спешил. Протянул ему банку охлажденного сока, присел на перекладину лестницы пожарной вышки, стал пить сам. Никто за нами больше не гнался, а парень все оглядывался на дорогу. Ну и пусть — пока я не сяду за руль, машина с места не тронется. Если он так сильно торопится, пускай ножками побегает. А я погожу. Отшвырнув в траву пустую банку, я закурил. Нет, пожалуй, это не цикады, а сверчки. Первый признак осени. Мне все слышался голос той женщины.

— Едем же,— повторил парень.— Нам больше нечего здесь делать.

Я снова не ответил и вставать тоже не торопился. Вот если бы он попросил снова отвезти его в поселок — тогда другое дело. Что же это за прощание? Так не делается. Я понимаю, что он ничего не может толком ей объяснить, но так-то тоже нельзя. Не знаю, кто ему та женщина, но он поступил паршиво. Как это так — заглянул в окно, и все. А когда заметили, сбежал, словно мелкий воришка! Ох, как я был зол на парня.

Наконец, я сел за руль и включил мотор. Парень, кажется, на меня рассердился. Я стал разворачивать машину на сто восемьдесят градусов.

— Куда это вы собираетесь ехать? — тут же спросил парень.

Я, не отвечая, продолжал крутить руль. Тогда парень положил руку мне на плечо и сжал его. Плечо сразу онемело, пальцы разжались. Ну и силища. Я хотел сбросить его руку, но куда там. Глядя мне в лицо злобно прищуренными глазами, парень легко вернул руль в прежнее положение.

— И так сойдет,— тихо сказал он и отпустил мое плечо.— Мне этого достаточно.

Я, низко опустив голову, ждал, пока левая рука вновь обретет чувствительность. Весь мой запал куда-то исчез.

— Ну, давайте трогаться,— сказал парень своим всегдашним вежливым голосом.

— Вам действительно этого достаточно? — все-таки спросил я.

Парень скривил губы и кивнул. Потом, буркнув «спасибо», стал пить сок. Я медленно тронулся с места. На поросшей травой дороге по-прежнему не было других машин, кроме нашей. У меня из головы не выходила та женщина. Парень пил сок, сосредоточенно уставившись на банку. Машина понемногу набирала скорость, но особенно я не гнал.

Позади остались и долина, и извилистая лесная дорога, и перевал, а мы все молчали. Парень почти не шевелился, только ресницами моргал. Я смолил сигарету за сигаретой, не отрывая глаз от дороги. Напряжение немного спало — во всяком случае, приступ ярости прошел.

Я вел машину и думал об отце. Перед смертью он оставил все свои бонсаи[1] моему старшему брату. «Будешь умирать, передашь их своему сыну»,— завещал он. Брат отнесся к последней воле отца с благоговением. Даже в отпуск перестал ездить — пятьсот деревцов требовали постоянного ухода. Перед самым концом отец сказал такую вещь: «Когда подумаешь, сколько живет бонсай, умирать совсем не страшно».

Полдесятого. Мы уже выехали на автостраду. Надо бы где-нибудь перекусить. Есть неохота, но пива я бы выпил. Как назло, на глаза без конца попадались пивные автоматы. Я прямо извелся. Сейчас бы кружку свежего, пенного пивка — и ничего больше не нужно. И хоть завтра не наступай. Пускай потом руль вырвется из рук и мы кубарем полетим под откос. Парню подобная смерть, наверное, пришлась бы не по вкусу, а, по-моему, для таких, как мы с ним,— в самый раз.

Я прожил на свете четыре десятка лет, но к жизни так и не притерся. Боюсь, что и в мире ином подходящего места для меня не сыщется. Мы с парнем оба белые вороны, надо уяснить это себе как следует, тогда жить будет проще. Меня вдруг разобрал смех. Накатило — не удержишься, и я загоготал дурным голосом. Тут мне стало еще смешней, так зашелся, что никак не мог остановиться. Только смеялся я один. Парень даже не улыбнулся, сидел с каменным лицом. Приступ веселья прошел, я проглотил последний судорожный смешок вместе со слюной и затих.

Время было за полночь. Я лежал в кровати, накрывшись с головой одеялом. Меня била дрожь, но не от слабости и не от холода. Как только мы вернулись на виллу, я вдруг заметил, что сигарета дрожит в моих пальцах, и тут же затрясло всего — с головы до ног.

Мы так поздно попали домой оттого, что остановились по дороге поужинать. Наконец-то я смог накормить парня как следует — впервые за весь день. Он умял две большие тарелки рамэна[2] и выпил несколько стаканов воды. Мне же еда совсем не лезла в горло. Даже пива, о котором столько мечтал дорогой, не заказал.

Парень вышел из ванной минут тридцать назад. Почистил зубы, зашел в туалет и поднялся к себе. Ничего необычного в его поведении я не заметил. Заснет ли он сегодня ночью? Без снотворного, без алкоголя? Я, например, глаз не сомкну, это точно.

После ужина мы проехали через город. Улицы и привокзальная площадь были празднично разукрашены. На деревьях красовались разноцветные флажки, над цветочными часами установили большую арку из ветвей криптомерии. Повсюду суетились полицейские патрули, вдруг начавшие ревностно гонять нарушителей правил стоянки. Представляю, сколько фуражек тут будет завтра. Наверное, не меньше, чем встречающих.

Но я не знаю, в котором часу прибудет *тот*. То ли утром, то ли после полудня. То ли на рассвете, то ли поздним вечером. Скорее, все же ут-

---

[1] Карликовое дерево в горшке или на подносе, живущее десятки, а то и сотни лет.
[2] Китайская лапша.

ром, ведь именно к этому времени С. велел быть на вилле. Хотя кто его знает — может, он хочет, чтобы парень утром хорошенько отдохнул, а акция намечена на более позднее время. Наверное, С. и не думал, что мы так быстро обернемся. Рассчитывал, что прощание займет больше времени. Однако парень решил по-своему. Просто заглянул в окно, а когда его заметили, взял и сбежал. Странное какое-то, одностороннее прощание. «И так сойдет»,— сказал парень.

Если это был его родной дом, то начиная с завтрашнего дня для троих людей, бежавших за нами, настанут трудные времена. Конец их мирному житью. Вероятно, придется сниматься с родных мест и переезжать куда-нибудь, где их никто не знает. Могу представить, что за гости нагрянут завтра в тихий рыбачий поселок и какой там начнется тарарам. Парень не может этого не понимать.

Виллу тоже перевернут вверх дном. Не пройдет и полдня, как установят мою личность. Фотографию мою раздобыть проще простого: у бывших соучеников есть выпускные карточки, в фирме наверняка остались снимки совместных поездок и экскурсий, у жены тоже что-нибудь найдется — нет, она, скорее всего, мои фотографии выкинула. Одним словом, спрятаться мне не удастся. Что я скажу на допросе? Буду твердить, что ничего не знал, только вряд ли этот номер пройдет. А может, мне помалкивать, ни слова не отвечать на град перекрестных вопросов?

Дрожь никак не унималась. Но я трясся не от страха. Если б от страха, то что мне стоило сию же минуту одеться и бежать отсюда? Нет, мое сердце, словно зажатое тисками, замирало в странном, хмельном трепете. Никогда в жизни я еще не испытывал такого смятения.

Казалось, что все сорок лет своей жизни я прожил ради одного завтрашнего дня. Ну и пусть, отступать уже поздно и незачем. Сейчас на жесткой кровати лежал не тот человек, который некогда решил отгородиться от всего мира. Дрожь дрожью, но тело горело огнем... Утром, видимо, позвонит С. Даст какие-нибудь особые инструкции? Или просто велит доставить парня в город? Если С. попросит помочь, я согласен. Может, я смогу каким-нибудь образом отвлечь внимание от парня. А что, это совсем несложно.

Дрожь стихала. Но сон все равно не шел. Слишком о многом надо было поразмыслить до того, как наступит рассвет. Я так и не решил, что делать, когда все кончится. Бежать куда глаза глядят или остаться здесь? Следовало хотя бы вещи собрать, но заниматься этим было неохота.

Повернувшись на другой бок, я взглянул на часы. Почти два. До утра еще долго. Солнца, похоже, не будет. Бог с ним, с солнцем, дождя бы хоть не было — все небо в тучах. Как там парень? Неужели спит? Так молод и столько выдержки — может, и уснул. Наверху тихо — ни шорохов, ни шагов.

А что, интересно, сейчас делает С.? Должно быть, он уже где-нибудь в этих местах и бинокль посильнее прихватить не забыл. Возможно, снял номер в той самой гостинице, что выходит окнами на привокзальную площадь. Или уже продумывает следующий шаг? Разрабатывает план, как наиболее эффективно использовать потрясение, которое вызовет завтрашняя акция. Можно предположить и такой вариант: сделав все, что было в его силах, С. теперь спокойно сидит и ждет результата. Есть ли у него семья? Неужели можно заниматься такими делами, имея жену и детей? Если ему это не мешает, значит, он человек совсем иного склада, чем я.

Я встал с кровати, но не для того, чтобы собирать вещи. Мне захотелось сходить на кухню и выпить. Пиво меня бы не спасло, только что-нибудь крепкое, даже если потом вывернет наизнанку. Стараясь не шуметь, я налил в стакан виски и плеснул немного воды. Зажмурил глаза, залпом выпил все до последней капли и тут же налил еще. В глаза почему-то бросались одни ножи — то хлебный, то десертный. Внутри потеплело, но сразу же к горлу подступила тошнота.

Я едва успел согнуться над раковиной. Желудок свела судорога, только что выпитое виски пошло обратно. Я изо всех сил старался не делать шума, но из горла все же вырывались всхлипы. Рвота никак не кончалась, меня било в конвульсиях, ноги подкашивались, я едва стоял. Выворачивало сильней, чем при отравлении. Вдруг вспомнилось, как мучилась токсикозом жена и в первую и во вторую беременность.

Я обессиленно сполз на холодный пол и долго лежал так, согнувшись пополам. Каждый раз, когда подкатывало, вставал, совал голову в раковину и блевал, давясь хрипом и стоном. Не надо было пить. Лежа на полу, я пытался успокоить дыхание. Один раз, приоткрыв на секунду глаза, я увидел парня. Он стоял передо мной, сжимая в руке то самое, с рукояткой, обтянутой велосипедной резиной. Я зажмурился, а когда снова открыл глаза, парень исчез. Поднявшись, я заглянул и в гостиную, и на лестницу, и даже в туалет, но никого не было.

Тогда я вернулся на кухню и открыл окошко, чтобы выветрился запах рвоты и виски. Дождь. На улице шел дождь. Видно, только начался. Я тщательно прополоскал рот. Несколько раз резко оглядывался, но парня больше не видел. К себе я не вернулся, а вышел, не обуваясь, на террасу. Лежавший в углу пес встал и подошел ко мне, но не слишком близко, так, чтобы на него не капало. Я остановился у самых перил и долго стоял, всматриваясь в темноту. Вдруг показалось, что я сплю и никак не могу проснуться. С тех пор как я попал на виллу, все происходило будто не наяву, а во сне. Я вымок до нитки, но зато прошла тошнота. Придвинув кресло, я сел. Отчего-то на душе стало хорошо и спокойно. Кругом — кромешная тьма, у парня наверху тоже было темно.

Потом я отогревался в ванне, и когда улегся в кровать, было уже полчетвертого. Меня наконец начал одолевать сон, но мешали пронзительные, какие-то потусторонние крики, разрывавшие тишину. Я знал, что это. Бесшумно скользящие между деревьев летяги, серые создания с огненно-желтыми глазами. А в последний миг перед тем, как провалиться в сон, я услышал еще один крик. Он раздался со второго этажа, прогремел на весь дом и больше не повторился.

Открыв глаза, я увидел, что ночь за окном посветлела. Мне не надо было смотреть на часы, чтобы понять, который час. Я ночью долго мок под дождем, почти не спал, но в теле ощущалась странная, бьющая через край энергия. Это от напряжения. Или только кажется, что во мне столько сил? Лицо, наверное, осунулось, глаза запали, щеки ввалились — чистый покойник.

Ну и денек сегодня предстоит. Похоже, с виллой придется распрощаться. Скоро позвонит С., уж в этом можно не сомневаться. Я жду его звонка, хотя о сути следующего приказа догадаться нетрудно. Отвезти парня в город — что же еще. Я доставлю его к привокзальной площади, и на этом моей службе конец. Вероятно, С. велит мне исчезнуть, уехать отсюда как можно дальше. А вдруг убежище для меня, наоборот, приготовлено где-нибудь поблизости, и я должен буду затаиться там на время? Или он решил спрятать меня наиболее надежным из всех способов? Меня, собственно говоря, не так уж это и интересует. Не хочется думать о том, что будет потом. Вчера, стоя под дождем на террасе, я ответил разом на все вопросы. Плевать на все ответы — вот как я ответил.

Дождя что-то не слышно. Не вставая с кровати, я протянул руку и отдернул занавеску. Да, лить перестало. Но все равно было пасмурно, низко нависли свинцовые тучи, воздух казался каким-то серым. И холод стоял, как самой настоящей осенью.

На лестнице послышались шаги. Неужели он и сегодня побежит вокруг озера? Парень прошел через гостиную, потом завозился в прихожей — надевал кроссовки. Я бы на его месте не валял дурака. Чем тратить силы на длинный кросс, лучше гимнастику бы сделал. Я выглянул в окно. Парень вместе с собакой как раз сбегáл с террасы. Обычно

он сразу припускал по дороге к озеру, но сегодня остался во дворе. Гляди-ка, действительно зарядку делает. Ничего особенно торжественного в его лице я не заметил. Ни озабоченности, ни волнения.

Крикнул разок вчера ночью и сразу взял себя в руки? Пес радостно скакал вокруг размахивавшего руками и ногами парня. Ничего не поделаешь, собаку придется оставить. Свяжет руки. Несколько дней она, наверное, посидит на террасе, надеясь, что мы еще вернемся. А потом уйдет отсюда, отправится искать нового хозяина. Может, превратится в бродячего пса, заживет дикой и вольной жизнью.

Дворняга подбежала к машине и оперлась передними лапами на капот, пытаясь дотянуться до бумажного пакета, который там лежал. Парень сломя голову бросился к псу, отпихнул его и, взяв пакет, повесил на ветку. Пес пару раз подпрыгнул, не достал и вернулся к парню. Вот кто теперь его хозяин, не я. Пускай он и ломает голову над тем, что будет с собакой.

Потом парень стал бегать по лесу. С невероятной скоростью он носился по чаще, каждый раз успевая в последний миг увернуться от столкновения с деревом. Даже пес, бежавший следом, не мог за ним угнаться. Это зигзагообразное метание между стволами продолжалось долго.

К машине парень вернулся, уже изрядно вспотевший. Он снял с ветки пакет, свернул его трубкой и засунул под тренировочный костюм. И только тогда они с собакой побежали к озеру. Глубоко вздохнув, я отошел от окна, снова лег в кровать и несколько раз провел ладонью по лицу. Только бы не было дождя. Если польет, дело плохо.

Зазвонил телефон. Ну наконец-то. Надо встать. Я не спеша прошел в гостиную и снял трубку. С. говорил, я молча слушал. Все, как я и предполагал. Говорил он неторопливо, обстоятельно. Голос обычный — не взволнованный, не дрожащий. Значит, в десять. С. велел доставить парня в город к десяти.

Но больше он ничего не сообщил. Ни слова о том, что моя работа закончена. И о плате, естественно, тоже. Поэтому я, чувствуя, что С. сейчас повесит трубку, поспешно спросил, что мне делать потом. Он помолчал, потом коротко ответил: «Я с тобой свяжусь». «Как?» — крикнул я, но в трубке раздались гудки.

Я остался стоять перед телефоном. С. не просил ничего передать парню. Разве так можно? Хоть бы одно слово! Неужели ему до такой степени плевать на парня? А может быть, С. уже в городе и еще успеет с ним поговорить? Возможно, они заранее условились о встрече. С. наверняка думает, что я ничего в их делах не понял и ни о чем не догадался.

Так или иначе, на виллу мне лучше не возвращаться. Надо собрать вещи. А зачем? Бумажник и машина — больше мне ничего не нужно. Перехитрить С. ничего не стоит — достаточно махнуть рукой на вознаграждение. Он-то думает, что я ради платы стараюсь. Ошибаешься, приятель.

И вовсе не деньги мне нужны, чтобы начать жизнь заново. Да и не собираюсь я начинать ее заново. Я сейчас завишу от одного человека, и человек этот вовсе не С., а парень. Вся моя судьба будет определена тем, как он сегодня себя проявит. Пусть даже у него ничего не выйдет. Главное, чтобы он попытался. Вот что я хочу видеть. Вот что я хочу знать. Отчаянный, смелый рывок и вспышку — хотя бы мгновенную — того света, что сияет впереди. И еще я мечтаю услышать, как рассыплется вдребезги проклятая стена.

Я пошел на кухню готовить завтрак. Жратвы в холодильнике оставалось еще по меньшей мере на день. Свежее мясо, овощи, да и консервов навалом. Последний раз парень сможет поесть как следует. Если не повезет, есть ему вообще больше не придется.

Расставив на длинном столе тарелки, я вышел во двор. Возле кустов цвели скабиозы (это вчерашние девицы сказали мне, что цветы так называются), и я нарвал целый букет. Не знаю, подойдет ли бледно-ли-

ловое к сегодняшнему настроению парня, к одолевающим его мыслям. Не знаю и знать не хочу. Пусть это просто будет маленький подарок ему от меня. Я поставил букет в глиняный широкогорлый кувшин и пристроил его точно посередине стола. Нас здесь уже не будет, а цветы еще останутся свежими дня три или четыре. Закипел кофе — завтрак готов.

Парня все не было. Если он побежал вокруг озера, это займет у него столько же времени, сколько обычно. Потом он примет душ и переоденется. Держу пари, что сегодня он наденет костюм. Парень привез его специально для этого дня. Ту штуку он спрячет под пиджаком. А сейчас она у него под тренировочной курткой — ведь это ее он вынес из дома в бумажном пакете.

Я поджидал парня, стоя на террасе. Все-таки дождь будет. Тучи, висевшие над землей виноградными гроздьями, чернели прямо на глазах, птичий щебет умолк. Я пошел в свою комнатушку и занялся уборкой: сложил постель, вытер тряпкой пыль, вымыл пепельницу, аккуратно сложил одежду, начистил до блеска обувь. Туфли парня тоже — вряд ли он наденет сегодня кроссовки. Раз костюм, значит, туфли. Я осмотрел их подошвы. Не кожаные, без гвоздей — такие не заскользят, даже если асфальт будет мокрым.

Что бы еще сделать? Протереть тряпкой все, на чем могли остаться наши отпечатки пальцев? Бессмысленно. Лучше проверить машину. Вчера, съезжая с песчаного холма, я мог поцарапать днище. Что касается бензина, то до города хватит. Но надо будет все равно залить бак доверху. Чтобы быть на месте к десяти, надо выехать с виллы не позднее половины десятого. Даже в девять — по дороге заправиться и помыть машину. А мои часы показывали шесть пятьдесят.

Я приготовил собаке еду и вынес на террасу, не забыв и миску с водой. Раза в два больше навалил, чем обычно. По крайней мере, на сегодня должно хватить. А с завтрашнего дня придется псу добывать себе пропитание самому. Начнется у него та же жизнь, что до встречи со мной,— будет бродить вокруг озера. Сейчас хоть объедков кругом сколько хочешь. А осенью, когда отдыхающие разъедутся, придется псу податься в город. Зимой он может двинуть на юг, где не так холодно и снег не выпадает.

Появился парень. Он бежал легко и размеренно, как всегда. Непохоже, что он устал. По-моему, ему ничего не стоит и до города рвануть, безо всякой машины. Пса пока не было видно. Наверное, отстал. Парень мельком взглянул на меня, но не поздоровался. Я окликнул его, но он, не отзываясь, пробежал мимо меня в переднюю. Сорвал с ног кроссовки, швырнул на пол (обычно аккуратно ставит их в угол) и скрылся в ванной. Лицо под капюшоном было бледным — или мне это показалось? Но сегодня он был явно не таким, как вчера. Впрочем, это и понятно.

Я сел за стол первым, но не ел, ждал парня. Что-то он застрял в ванной. Похоже, затеял стирку. Но при такой влажности вещи до девяти ни за что не высохнут. Не хочет оставлять после себя грязного белья? Интересно, возьмет он с собой саквояж?

Опять с утра пораньше в воздухе разносились мрачные проповеди того мальчишки-европейца. Он напросится, ей-богу. Если этот «миссионер» не угомонится, ему наверняка намнут бока. Судя по звуку, он сейчас двигался по противоположной стороне озера на юг. Старая песня — о закоренелых грешниках. «Путь к спасению один, и только один! — гремели динамики.— Покайтесь! Всех вас ждет страшный конец! Злодеи и головорезы всех мастей и калибров, следуя зову своих кровожадных инстинктов, жаждут насилия, они влекут мир к неминуемой гибели!» И после каждого предложения, словно хлопая по столу козырной картой, проповедник кричал, что «спасти нас может только любовь».

А я и так уже спасен. Во мне живет жгучий трепет, наполняющий душу силой и огнем. То, что меня ожидает, не назовешь «страшным кон-

цом». Это не бездонная тьма и не вечное безмолвие. Думаю, что и парень считает так же. Впереди, совсем близко, нестерпимо яркое сияние, и ничего, кроме него... Остальное не имеет значения... И никто не в силах остановить нас двоих. Не знаю, под силу ли это даже С., пожелай он дать отбой. И сами мы остановиться уже не можем.

Что-то пес не идет. Миска с целой горой объедков ждет на террасе, а его все не видно. Где это он так задержался? Парень вынес выстиранное белье через черный ход и пошел наверх переодеться.

Против ожидания, он спустился не в костюме, а опять в джинсах и спортивной рубашке. Мне — ни слова. Молча сел за стол, даже не извинился за опоздание.

Я налил ему кофе. Парень как воды в рот набрал. Сидел, положив руки на колени, и смотрел пустыми глазами на стол.

— Прошу,— сказал я.— Ешьте, пока не остыло.

Парень медленно начал есть. Лицо у него было бледное и все какое-то застывшее. Он ни разу не взглянул мне в глаза.

— Того и смотри, дождь пойдет,— снова нарушил я молчание.— Надо бы белье с улицы убрать.

— Хорошо,— тонким голосом отозвался парень.

Он почти ничего не ел. Еле двигал челюстями, как тяжелобольной. Из меня и то едок сегодня был лучше. Я смолотил булку, салат, выпил кофе и соку. Ел бы и ел. Выбрав момент, я как бы между прочим объявил, что мы в девять часов выезжаем в город.

— Хорошо,— ответил парень, не поднимая глаз от тарелки.

«Хорошо» — и все. Больше — ни слова. У него упала на пол ложка, и он поспешно, как-то суетливо, дернулся ее поднимать.

— Как вам цветы? — спросил я, кивнув на скабиозы.— Правда, красивее, чем покупные?

— Правда,— еле слышно произнес он.

— А куда пес подевался?

Парень не ответил.

— Странно,— пожал я плечами.— Что-то его до сих пор нет.

Парень молчал. Не слышит меня, что ли? Такое ощущение, что у него под столом мелко дрожат колени. Человека, сидевшего сегодня напротив меня, никак нельзя было назвать необыкновенным. Что-то он перестал казаться мне исключительным. Наверное, это в порядке вещей. Ведь дело делать ему, а не мне.

Я обернулся к террасе. Пес так и не появился. Похоже, с ним что-то случилось. Вдруг он встретил бывших хозяев? Или унюхал запах суки в течке? Может, просто валяется где-нибудь, вконец измотанный гонкой вокруг озера. Все равно сегодня нашей с ним совместной жизни конец. Так даже лучше, чем уезжать, бросив его одного в доме. Хотя до девяти он, возможно, еще приковыляет.

Парень ушел к себе. Его завтрак остался наполовину несъеденным. Ну что ж, для такого дня и это неплохо. Дел у меня перед отъездом по горло: надо вымыть посуду и расставить по полкам, сжечь мусор и почистить печку, прибрать в ванной и в туалете.

Я помыл холодильник, закрыл водопроводный и газовый краны, отключил электричество. Кто, интересно, заплатит по счетам? Откуда мне знать. Да и не попаду я, видно, никогда больше в этот дом. А что касается регистрационной карточки... Об этом после, когда решу, куда ехать и чем заняться дальше.

Парень сегодня явно на пределе. Похож на меня вчерашнего. Какой там к черту оборотень! А я как раз начинаю смахивать на него, каким он был до сегодняшнего дня. Сам становлюсь оборотнем?

Я побрился, тщательно умылся, причесался, переоделся, то и дело поглядывая на часы.

Так, бумажник — во внутренний карман, окна — на задвижки, шторы задернуть. По неосвещенной лестнице медленно спускался парень. На нем был пепельно-серый костюм, белоснежная рубашка и синий

галстук. По-моему, он чувствовал себя в этом наряде неуютно. Пиджак был застегнут на обе пуговицы и немного топорщился слева, под мышкой. Но если не приглядываться, это не бросалось в глаза. Саквояж парень оставил в комнате.

Мы вместе вышли из дома. Ключ от виллы я решил взять с собой. Если свижусь с С., отдам. Пса нигде не было. В том момент, когда мы сели в машину, пошел дождь. Окружавшие озеро горы до половины затянуло тучами. Дождь был не такой уж сильный, но вокруг сразу стало тихо-тихо. Даже идиотские проповеди того типа прекратились — спрятался куда-нибудь от дождя, не иначе. Боится промочить динамики и усилитель.

Настоящий осенний день. Вдруг по дороге встретится пес? Если увижу, как он трусит к вилле под дождем, вылезу и скажу ему на прощанье пару слов. Нет, не видно. Может, он и вообще не вернется. Не сотворил ли с ним чего-нибудь парень? Например, решил на нем потренироваться — а что, вполне возможно. Что ж, если это было необходимо, ничего не поделаешь.

Парень молчал. Не вздыхал, не насвистывал, застыл, как неживой. Мне показалось, что он сбоку поглядывает в мою сторону — да нет, просто немного косит, я забыл. На самом деле парень, не отрываясь, смотрел куда-то вперед.

Дождь, похоже, зарядил не на шутку. Вдоль разделительной полосы шел узкий газон, засаженный георгинами — цветы гордо тянулись ядовито-алыми головками вверх, не склоняясь под дождем. Почему они все одного цвета?

Свернув на бензозаправку, я кинул подошедшей девушке: «И помыть». Надо было смыть песок и грязь, налипшие на машину во время вчерашней поездки. Девушка сказала, что под дождем автомобиль все равно в два счета забрызгает. «Не беда,— ответил я, вылезая наружу.— Забрызгает, снова помоем».

Парень пошел к туалету, а я сел на скамейку и стал думать о псе. Я так и видел его — лежащего на боку в густой траве, с кровавой раной на груди. Парень застрял в туалете — никак понос прохватил. Может, вчерашний рамэн виноват? Парень появился, когда машина уже выезжала из мойки. Он зашагал ко мне, засовывая на ходу платок в карман брюк. В костюме и при галстуке парень почему-то стал похож на моего старшего брата. Походка у него была дерганая, лицо все такое же застывшее. У меня, наверное, не лучше, подумал я. Мы сели в машину и поехали. Девица заорала, как будто ее режут. Я забыл заплатить.

Дав задний ход, я подъехал к ней и, виновато улыбнувшись, протянул деньги. Да, я тоже на взводе, хоть и не до такой степени, как парень.

Очень скоро машину снова заляпало грязью. Дождь переходил в настоящий ливень. Все вокруг так затянуло, что моря было не видно. Молчание начинало действовать на нервы. Хотелось говорить — все равно о чем. Спросить, что ли, про пса? Прирезали, мол, собачку-то? Ладно уж, помолчу. Не буду его трогать.

Впереди на шоссе показался полицейский кордон. Полицейские в дождевиках останавливали машины одну за другой. Я кинул взгляд на парня. Он безучастно смотрел прямо перед собой. Придется решать самому. Развернуться и умчать прочь уже поздно — слишком близко, они нас заметили. Я нажал на тормоз и медленно подкатил к полицейскому. Надо было ждать, пока он отпустит переднюю машину. Дорогу перегораживали три полицейских автомобиля, один был развернут в сторону города, и в нем наготове сидели двое. Тех, что заходили на виллу, вроде не видно. Я зажег сигарету, хотя курить не хотелось. Парень за все время ни разу не шелохнулся. Даже бровью не повел.

Переднюю машину трясли основательно, что-то там в багажнике искали. Потом полицейский, дунув в свисток, поманил к себе нас. Хотел

бы я знать, получили они сигнал или просто это обычная проверка. Один подошел с левой стороны, другой — с правой.

Я протянул права, ответил на два-три вопроса. Да, отвожу гостя на вокзал. Если бы он спросил, во сколько поезд, я бы ответил, что мы торопились и не успели заглянуть в расписание. Но полицейский не стал больше задавать вопросов. Второй внимательно осмотрел парня, заглянул на заднее сиденье, потом попросил открыть багажник.

Я вышел под дождь и исполнил, что было велено. Надо будет в городе купить нам с парнем по зонту, совсем про это забыл.

— А в чем, собственно, дело? — спросил я.

Полицейский, не ответив, махнул следующей машине и пошел ей навстречу. Я сел за руль, стряхнул с волос и плеч дождевые капли и не спеша дал газ. Отъехав немного, посмотрел в зеркальце. Никто из полицейских не провожал нас взглядом, патрульный автомобиль следом не увязался. Слава богу, не стали парня обыскивать. Хотя кто знает, что еще ждет нас в городе. Сжав губы, я протяжно вздохнул. Парень сидел, скрестив руки на груди, и смотрел в потолок. Можно было особенно не гнать. Времени оставалось вполне достаточно.

Чем ближе мы подъезжали к городу, тем сильнее лил дождь. Эти тучи наверняка принесло не с гор, а с океана, вон они какие — черные, многослойные. Плохо дело. В такую погоду много народу на площади не соберется. Парню не удастся затеряться в толпе.

Надо не забыть про зонтики. Две штуки. Мне и парню. Их продают в супермаркете, где я обычно делаю покупки. Все равно прямо на площадь не проедешь — проспект сегодня закрыт для транспорта. На проезжей части я увидел регулировщиков, показывавших водителям, чтобы те ехали в объезд. Я вывернул руль вправо. На улице образовалась пробка. Собственно говоря, С. велел отвезти парня в город, и только. Тут уже город. Он же не просил меня отвести парня за ручку на площадь. Так что я мог бы остановиться и здесь, но парень ничего мне не говорил. Он сидел все с тем же отрешенным видом, закрыв глаза.

— Куда ехать? — спросил я.

Молчит.

— Видите ли, мне не объяснили, куда именно вас отвезти,— снова попробовал я.

Ни слова в ответ. Все-таки он меня не слышит. Ладно, решу сам. Я повернул на узкую улочку, ведущую к супермаркету. На тротуарах почти не было прохожих, может, одна десятая по сравнению с обычным днем, даже меньше. В городе царила непривычная тишина.

Я исподтишка все время наблюдал за парнем. Можно сказать, глаз с него не сводил. Дышал он ровно, руки вроде не дрожали. Только губы были совсем сухими, даже потрескались.

На стоянке перед супермаркетом было пусто — становись где хочешь. Я покружил немного и пристроился возле самого выезда, поближе к улице. Выключил мотор, зажег сигарету. Штук десять уже выкурил с тех пор, как уехали с виллы. Дворники перестали очищать переднее стекло, и оно в момент покрылось каплями, все вокруг стало как в тумане. Да и снаружи нас, наверное, не видно, даже если пройти совсем рядом с машиной.

До десяти оставалось пятнадцать минут. Парень молчал. Я тоже. Все, моя работа сделана. В город я его доставил. Теперь все зависит от него самого. Что-то он и не собирается трогаться с места. Сидит себе и сидит. Что он задумал? Может, он не знает, сколько времени — на часы он, по-моему, не смотрел.

Или у них назначена встреча с С.? Но откуда С. знать, что мы окажемся именно здесь, возле супермаркета? Хотя от него всего можно ожидать. Где он сейчас? Приехал в город и ждет теперь на площади? Или сидит где-нибудь далеко отсюда, в зале ожидания аэропорта и, нервно глотая слюну, не отрывает глаз от экрана телевизора? Наверняка в новостях будет репортаж об этом приезде.

Черт с ним, с С. Пускай делает что хочет. Меня волнует парень. Что он предпримет? Вся моя жизнь зависит от него. Если он пойдет к вокзалу, я стану его тенью и последую за ним. Ах, да, зонтики. Но двери супермаркета еще закрыты. Сходить в другой магазин? Нет, лучше подождать до десяти.

Дождь набирал силу. Время от времени я включал дворники, чтобы посмотреть, не открылся ли еще супермаркет. Поколебавшись, спросил:

— Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?

Парень молча смотрел на дождь.

— Вы только скажите, я все что угодно сделаю,— тверже сказал я.

Ну скажи же что-нибудь.

— Если я вам мешаю, я могу уйти...

Нет, он так ничего мне и не ответил. Может, он перед акцией должен и меня... вслед за псом? На стоянке ни одной машины. Темно, как в сумерки. Не решается? Где-то высоко над городом небо расколола молния, гром раскатисто обрушился вниз, стекло мелко задрожало. Ад кромешный, а не погода. Молнии засверкали одна за другой, земля стонала, как во время извержения вулкана. Пожалуй, такая гроза сама по себе уже достаточно веский предлог для того, чтобы свернуть предприятие.

Я смотрел на застывшего, как изваяние, парня. С этим человеком я прожил вместе несколько дней, но понять, о чем он сейчас думает, мне не дано. Даже предположить не могу. Вообще ни о чем не думает? Без девяти минут десять. Какое у него белое, бескровное лицо — прямо лист бумаги.

Вдруг у парня из ноздри сорвалась вниз алая струйка. Не много задержалась на верхней губе, свернула в сторону и стекла на подбородок. Прежде чем кровь попала на брюки, парень подхватил ее платком. Зажимая нос, он смотрел куда-то в одну точку своим слегка косящим взглядом. Лицо не выражало ровным счетом ничего.

Двери супермаркета открылись.

— Схожу куплю нам зонты,— сказал я.— Подождите меня здесь, я скоро.

Я шагнул в дождь и, съежившись, побежал через стоянку. Грудь рвало на части почище любого грома. Это был уже не душевный трепет, а ток высокого напряжения. Я даже на миг забыл, зачем выскочил под дождь. Мне казалось, что я бегу просто ради того, чтобы бежать. А гонятся за мной все прожитые на свете сорок долгих лет.

Зонтики я купил не на деньги С., а на свои. Один раскрыл над головой, второй зажал под мышкой и помчался назад, к машине. Без четырех минут десять. Надо спешить. Правда, поезд, возможно, прибывает не ровно в десять, а в начале одиннадцатого, время еще есть. Парень возьмет зонтик и попадет на вокзал как раз тогда, когда нужно. Что это еще за неожиданные штучки с кровью из носа? Сегодня должна пролиться совсем другая кровь.

В машине никого не было. Парень исчез. Я посмотрел по сторонам, выбежал на улицу. Нет. Неужели он отправился к вокзалу под таким ливнем без зонта? А вдруг, стоило мне отойти, как он тут же рванул со всех ног в противоположную сторону? Не может быть! Нет, ни в коем случае. Он не такой. Я в него верю. Как же это я опоздал! Человек, идущий под проливным дождем без зонта, может привлечь внимание.

Я отправился на поиски, даже забыв вынуть ключ из замка зажигания. Вышел через пассаж на проспект. Тротуары кишели форменными фуражками, их было гораздо больше, чем прохожих. Основная масса полицейских, конечно, собралась на площади, но и здесь их тоже хватало — у каждого фонарного столба торчал постовой. Вот она, стена, во всей своей красе. Развешанные на деревьях флажки набрякли от воды

и понуро обвисли. Редкие прохожие, главным образом отдыхающие, удивлялись наплыву полиции, они вертели головами, но не останавливались, спешили дальше. Кто станет околачиваться на улице в такой ливень?

Парня нигде не было.

Часть площади огородили канатами, там темнели плотные шеренги полиции. Каждый раз, когда небо прочерчивала молния и гремел гром, шеренги, как по команде, задирали головы кверху. У выхода из вокзала ждал огромный черный автомобиль, очень похожий на лимузин С., и здесь же белели четыре мотоцикла эскорта. Немного в стороне стояло несколько крытых грузовиков и микроавтобусов. Под здоровенным тентом оранжевого цвета топтался духовой оркестр школьников. Со своими желтыми перьями на шапочках они были похожи на выводок цыплят. Ко входу в вокзал направилась группа солидных господ с торжественными лицами.

Сколько я ни высматривал парня, все было напрасно. Может, он на той стороне проспекта? Всех, кто шел на площадь, останавливали полицейские. Я тоже двинулся в том направлении. Наверное, парень на вокзале, где-нибудь в самом здании. Полицейский, подозрительно глядя на второй зонтик, торчавший у меня из подмышки, спросил, зачем мне нужно на площадь. Я ответил, что встречаю гостя, и меня пропустили. Что, интересно, наплел парень?

Я быстро шел, лавируя между серыми автобусами и грузовиками, на которых сюда доставили всю эту ораву полицейских. На вокзале для обычных пассажиров оставили только половину зала ожидания и кафе на втором этаже. У турникетов и на платформах собралась плотная толпа из полицейских и встречающих. Возле третьего пути выстроились представители городских властей, были там и женщины в кимоно, с букетами цветов в руках. Делая вид, что изучаю расписание, я внимательно осматривался вокруг.

Парень должен вынырнуть где-то между третьей платформой и выходом из вокзала, на тех нескольких десятках метров, которые отделяют железнодорожный путь от поджидающего на площади лимузина. Но спрятаться здесь абсолютно негде. Скорее всего, парень в кафе на втором этаже. Ждет прибытия поезда там. Я поднялся по лестнице наверх. Мне навстречу спускалась группа мужчин в одинаковых, с иголочки, блейзерах. У каждого на лацкане сиял значок. Какая-нибудь ассоциация «Помоги ближнему», клуб любителей гольфа или предвыборный комитет — в любом городишке таких полно. Молодцы в блейзерах выстроились в две шеренги по всему пути — от платформы до выхода.

Заплатив в кассе за чашку кофе, я хотел сесть за свободный столик. Но все места у окон были заняты полицейскими, у каждого на груди висел микрофон. Они так и впились глазами в два моих зонтика. Уже давно шел одиннадцатый час, поезд должен был прибыть с минуты на минуту.

Гроза неистовствовала вовсю: хлестал дождь, рокотал гром. Даже странно, что электричество еще не отключили. На площади дождевая вода стекалась в целые ручьи. Клумба с цветочными часами превратилась в болотце. Все машины вдалеке шли с зажженными фарами.

Потягивая дрянной кофе, я напряженно думал. Парень где-то здесь, рядом. Может, в туалете или в одном из вагонов товарного состава, стоящего на четвертом пути. Нет, он наверняка придумал что-нибудь похитрей. Я вспомнил про пса. Похоже, парень и в самом деле его зарезал. А потом, глядя на труп, вдруг осознал всю чудовищность затеянного, впервые понял до конца, что́ ему предстоит совершить. Неужели сбежал? Никакой он тогда не особенный. Обычный живодер, убийца собак.

А вдруг его уже арестовали? Что, если миссия парня провалилась, еще не успев начаться? Запросто — где-нибудь на подходе к вокзалу его остановила полиция, сочтя подозрительным, обыскала, нашла то, что у него спрятано под пиджаком, и привет, всему конец. Но рано те-

рять надежду. Я верю, верю в парня — он выпрыгнет откуда-нибудь в самый нужный момент, я знаю. За соседним столиком двое, мужчина и женщина, вполголоса крыли поднятую на вокзале шумиху. «Совсем сдурели»,— ворчал он, а она, брезгливо разглядывая полицейских, кивала: «Не говори».

Пол мелко задрожал — на платформу прибывал скорый. Тут же на первом этаже духовой оркестр врезал марш. Зазвенел звонок. Я залпом допил кофе и, чувствуя, как по коже бегут мурашки, медленно двинулся через зал к лестнице. Парня пока не было — только полиция и красавцы в блейзерах. Ничего у него не выйдет, подумал я, это просто невозможно. Какой бы он ни был сильный и ловкий, ему не прорваться через эту стену. Трое ближайших полицейских следили за каждым моим шагом.

Сквозь раскаты грома, звуки марша и дребезжание звонков донесся шум аплодисментов. Наверное, женщины в кимоно вручили свои букеты. Вспышки — нет, это не молнии, это защелкали фотокамеры. Звон прекратился, скорый тронулся дальше — из-под стеклянной крыши вокзала, под дождь. Сначала через турникеты прошли обычные приезжие, их было немного. Они изумленно пялились вокруг и спешили поскорее выбраться наружу. Потом появился *тот*, окруженный десятью, нет, двадцатью рядами сопровождающих и встречающих. В жизни он оказался куда ниже ростом, чем на телеэкране. Слегка помахивая рукой в ответ на растущий гром рукоплесканий, он ласково улыбнулся «блейзерам», которые хором заорали: «Бан-за-ай!!» Ну же — до дверцы черного автомобиля осталось всего ничего! Никто не трогался с места, только репортеры, которых можно было узнать по нарукавным повязкам с названием газеты.

Где же парень?!

В миг, когда *тот* вышел из дверей вокзала, на площади взметнулся фейерверк, но гром заглушил звук ракет, а цветной дым был почти не виден за стеной дождя. Мотоциклы эскорта замигали красным светом фар, дверцы лимузина словно сами по себе распахнулись. До них метров пять, не больше!

Я кричал во весь голос, сам не разбирая своих слов. Но их все равно никто бы не услышал в реве оваций, воплях «банзай!» и грохоте оркестра. Я размахивал зонтиками, рвался из толпы и орал, орал, чувствуя, что сейчас лопну от натуги.

Дождь капал на «высокого гостя» каких-нибудь две-три секунды. Вот двинулись, взревев моторами, два первых мотоцикла, за ними длинный автомобиль, потом двое замыкающих. Прямо перед кортежем — так мне, во всяком случае, показалось — вспыхнул зигзаг молнии, сухо треснуло небо, школьники из оркестра закричали что-то звонкими голосами.

И все. Все было кончено. Мой разинутый рот так и застыл в беззвучном гневном выкрике. Сон, все сон... Ноги были как ватные — чтобы спуститься по лестнице, я должен был держаться за перила. Надо сесть, а то упаду, подумал я. По вокзалу сновали люди, со всех сторон слышался стук каблуков, от него у меня зашумело в голове. Самому было странно, как это я еще удерживаюсь на ногах. Пока выбрался на улицу, несколько раз наталкивался на каких-то мужчин. Парня среди них не было.

Когда пришел в себя, оказалось, что я сижу на скамейке перед вокзалом. Долго я там просидел, тупо глядя перед собой. Площадь на глазах принимала свой всегдашний вид. Канатное ограждение сняли, тент свернули, школьники из оркестра уехали на микроавтобусе, полицейские машины тоже одна за другой потянулись с площади. «Блейзеры», раскрыв зонтики, бодро зашагали к автостоянке. Движение транспорта по проспекту и площади возобновилось, заработал светофор, у вокзала вновь стали останавливаться автобусы и такси.

На арке из веток криптомерии еще висело полотнище с какой-то надписью, но иероглифы размыло дождем, и прочитать их было уже не-

возможно. Я провожал взглядом всех, кто проходил мимо, но делал это чисто машинально. Даже если видел, как кто-то шагает под дождем без зонтика, не вскакивал и не бросался ему навстречу. Гроза не стихала.

Снова вспомнился пес, и ни о чем другом я думать уже не мог. Вдруг возникла твердая уверенность, что он вернулся на виллу, поел и теперь ждет меня, устроившись на своем обычном месте в углу террасы.

На стоянке перед супермаркетом по-прежнему была только одна машина. Пока не кончится гроза, покупателей магазин может не ждать. Не помню, как я дошел сюда. Меня шатало словно после жестокой пьянки. Идти я еще как-то мог, но дома и улицы так и плясали перед глазами. Машина на стоянке тоже покачивалась, как на волнах. Зонтик у меня оставался один — второй я забыл на скамейке.

И тут я увидел, что в машине кто-то есть. Через залитое дождем стекло было не видно лица, но на переднем сиденье явственно вырисовывался силуэт. Я огляделся по сторонам — не следят ли за мной — и приблизился. Глубоко вздохнув, рывком открыл дверцу. В машине, откинувшись назад, сидел парень. Его костюм вымок до нитки. Глаза широко раскрыты, но живой человек так не смотрит. На белой рубашке расплывается алое пятно, у ног — лужа крови. В правом кулаке парня зажат обрезок велосипедной покрышки. Клинка не видно — он по рукоятку вошел в тело.

ИФТИХАР АРИФ

Перевод с урду НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Более сорока лет прошло с тех пор, как на политической карте Южной Азии одновременно появилось два новых государства: Республика Индия и Исламская Республика Пакистан. Но последствия раздела «жемчужины Британской короны», прошедшего ножом по живому, ощутимы и поныне в судьбах литературы двух стран. В этой новой ситуации в наиболее трудном положении оказалась литература на языке урду, который был провозглашен государственным языком Пакистана, но остался родным для шестидесяти миллионов граждан Индии.

Литература урду, ведущая свой отсчет с XIII—XIV веков, формировалась по канонам персоязычной классики, принесенной в Индию мусульманскими завоевателями. Ее основные поэтические жанры: газель, касыда, рубаи, маснави, марсия — заимствованы у персов.

Прошло несколько десятилетий после раздела, и урду, одно название которого звучит экзотично и воинственно («орда!») для западного слуха, выплеснулся на улицы больших европейских и североамериканских городов, несомый тысячами эмигрантов с Индийского субконтинента.

Большинство индо-пакистанцев, обосновавшихся на Западе, не являются в полном смысле слова политическими беженцами или изгнанниками (хотя немало и тех, кто покинул Пакистан, спасаясь от военной диктатуры). Поэзия урду, традиционными мотивами которой являются «бездомность», «разлука», «скитания на чужбине», возвела эту новую эмиграцию в высокий ранг духовного изгнанничества, вынужденного и трагического отдаления от родины. Эта тема с большей или меньшей остротой звучит в творчестве многих поэтов-эмигрантов, начиная с классика поэзии урду Фаиза Ахмада Фаиза (1911—1984). Двойственность восприятия Запада, ставшего одновременно мечтой и проклятием для переселенцев, очень точно отразил Сальман Рушди в своих сакраментальных «Сатанинских стихах».

В 1983 году в фантасмагорический город, описанный Рушди, в «Лондон видимый, незримый», прибыл из Карачи начинающий поэт Ифтихар Ариф. В судьбе его, как в сколке, отразилась участь поколения индийцев, переживших раздел. Ариф родился в 1943 году в индийском городе Лакхнау, цитадели мусульманской культуры и крупнейшем центре литературы урду. Закончив Лакхнауский университет с дипломом социолога, он в 1965 году переехал в Пакистан, где быстро сделал карьеру на радио, а затем и на телевидении. К концу 1970-х Ариф — модная телезвезда, автор и ведущий популярной программы «Испытание» (нечто вроде нашего «Телевизионного знакомства»).

В 1983 году в жизни Арифа произошло два чрезвычайных события: вышел первый сборник его стихов «Расколотое солнце», а сам автор — в разгаре славы — оставил Пакистан и перебрался в Лондон, где возглавил международный «Центр урду».

Успех Арифа на поприще поэзии оказался столь же стремительным, что и в сфере масс медиа. В 1984 году «Расколотому солнцу» как лучшей книге года присудила премию Гильдия писателей Пакистана, и в течение всего четырех лет сборник

© Iftikhar Arif, 1983, 1989

был трижды переиздан в Карачи, Дели и Лондоне. Когда в 1989 году вышел сборник избранного «Запасной игрок» в переводах на английский, с творчеством поэта познакомился и западный читатель. Обычно критика отводит Арифу место рядом с Ахмадом Фаразом, Кишвар Нахид, Парвин Шакир и другими относительно молодыми поэтами, возросшими на уроках Фаиза Ахмада Фаиза. Ариф был особенно близок Фаизу в последние годы его жизни и многому научился у него как поэт. В свою очередь Фаиз написал предисловие к первому изданию «Расколотого солнца», где прозорливо предсказал новичку успех и признание.

Вслед за Фаизом Ариф разрабатывает два основных направления поэзии урду. Первое, классическое, имеет центром традиционную любовную газель (которая, строго говоря, перестала быть таковой еще в конце прошлого века, в эпоху литературной реформы). Второе направление — «новая поэзия», назм, представляющая собой разные стихотворные формы без канонических тем, размеров и строфики. Если поэзия — душа субконтинентальной культуры, то газель — душа этой души. Газель полисемантична, и ее прочтение возможно в нескольких параллельных смысловых планах. Ключевой образ газели — «возлюбленная» — означает и земной объект страсти, и Бога, и родину, может означать даже жестокого диктатора. В подтексте всякая традиционная газель является мистической, а современная — и политизированной. Носитель традиции, безусловно, улавливает все смысловые ряды газели разом, но в переводе неизбежно на первый план выступает какой-то один аспект.

Используя многозначность газели, Ариф создает стихотворный цикл, где сквозь извечное «экзистенциальное» скитальчество и бездомность лирического героя проступают реальные тяготы эмиграции, чувство утраты родных корней и одиночество: в «переиначенном мире и любят иначе». Крылатой фразой в литературной среде субконтинентальной диаспоры стала строка-вопрос из другой газели Арифа: «Кто мы и что есть наше изгнанье?» — ибо сливкам эмиграции, тем, кого Ариф вместе с самим собой причисляет к «пленникам сытого существования», не чужды угрызения совести за относительно безбедную жизнь на Западе.

Творческий метод Арифа, как и всякого пишущего стихи на урду, напоминает принцип «ступания в след», сформулированный Томасом Манном. Любое явление или событие современности возводится к своему легендарному или историческому прототипу, культурному прецеденту, поэтическому мотиву. Для Арифа такой константой является закон и предание ислама, и в первую очередь история мученической гибели внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна, в Кербеле в 680 году. Имам Хусейн, выступивший с небольшим отрядом против армии халифа, после испытаний в пустыне пал в неравной битве. Мусульмане почитают Хусейна мучеником и ежегодно в память о нем отмечают дни траура. Любая неравная борьба за справедливость, всякое обреченное геройство души отождествляются в поэзии Арифа с этой трагедией, отзвуки которой слышны в стихах «Все одинаково», «Вопрос», «Заявление» и многих других назмах и газелях поэта.

Славное наследие отцов давит грузом ответственности на плечи поэта. Но «голос пролитой крови» героев заглушают прозаические шумы сегодняшнего мира, суета на «перекрестке желаний». Это универсальное противоречие между идеалами прошлого и реальной жизнью Ариф ощущает как личную драму, звучащую в его поэзии постоянной темой вины.

В отличие от многих своих сверстников, Ариф не примкнул к «бунтующему поколению» поэтов, в 70-е годы вышедшему на литературную авансцену в Индии и Пакистане. По природе он из тех, кто избирает путь стоического терпения, и потому в отношениях с пакистанскими властями предпочел молчаливое несотрудничество. Недаром в его поэтическом словаре слова «тишина» и «безмолвие» стали символами протестующего достоинства.

Большинство поэтов урду на Западе, и Ариф в их числе, верят, что когда-нибудь вернутся домой навсегда. Они вернутся, когда в Индии прекратятся межобщинные распри и мусульмане перестанут быть людьми второго сорта; когда стабилизируется политическое положение в Пакистане и придет конец власти военных и мулл, одним словом, когда кончится «година страха». А пока они ждут, как ждет «запасной игрок» из одноименного стихотворения Ифтихара Арифа, и их ожидание рождает печальную и прекрасную поэзию.

АННА СУВОРОВА

Газель

В переиначенном мире и любят иначе,
И одержимый страстями страдает иначе.

Хоть бы светильника искра в ночи не угасла!
О перекресток, где ветры бушуют иначе!

Ныне поэты слагают по-новому оды:
Те же слова, но построены строфы иначе.

Равенства Книгу сегодня я снова читаю:
Сноски звучат по сравнению с текстом иначе.

Нас повели к вожделенным шатрам процветанья,
Но по дороге кривой — не дойти, мол, иначе.

Каждый с чужой головой на плечах щеголяет,
Люди, как видно, и веруют ныне иначе.

Зеркало долго шлифует прилежный зеркальщик,
Но отраженное солнце сияет иначе.

Газель

И снова в пустыне нас жажда сожгла,
И снова кувшин расколола стрела...

Кровавая сеча начнется с зарей,
Беги же, пока не рассеялась мгла.

Светильник, Надежда и Книга — мой клад,
А прочего ценность ничтожно мала.

Злодеи отрезали нас от реки,
Но рок покарает приспешников зла.

Азан[1] возвещает, что пробил наш час —
Над мраком заря распростерла крыла.

Все гибнет, но мученик новый придет,
И будут святыми святого дела.

На берег он ступит, проплыв семь морей,
Чтоб благость Аллаха на нас снизошла.

Газель

Любовь в наше время едва ли нужна,
Нам только бы выжить — забота одна.

Меняется ветер ночной повсеместно —
Светильник подальше держи от окна.

Правдивость поэта сейчас бесполезна —
Меж ним и читателем встала стена.

[1] В исламе призыв на молитву.

Откуда стрела прилетит — неизвестно,
В укрытье любовь затаиться должна.

Сейчас под сомнением верность и честность,
И в спутники нам лишь тревога дана.

Порою безвестному скажет безвестный,
Что чашу скитаний испил он до дна.

И я ненадежен, и я не железный,
Пекусь о себе лишь — моя ль в том вина?

Запасной игрок

В приятный денек погожий
Зрителей множество
Стекается на стадион,
Болельщики лезут из кожи вон,
За свои команды болея,
За фаворитов болея.
А я наблюдаю тишком
За запасным игроком.
Наблюдаемый мной запасной...
Явление странное — запасной!
Игра раскручивается пружиной,
Шум нарастает неудержимо,
Страсти — лавиной неудержимой!
А запасной в стороне ждет,
А запасной в тишине ждет,
Когда его час пробьет.
Если на поле что-то произойдет,
Звездный час для него придет,
И хлопками озвучится этот час,
И свистками озвучится этот час,
И с прочими игроками
Он игру поведет,
Когда его час пробьет.
Но вряд ли что-нибудь произойдет...
Говорят, на пожизненный срок
Связан с игрой игрок,
Но жизни не вечен срок,
И неразрывную связь
Обрывает последний свисток.
А запасной только ждет и ждет,
Запасной ожиданьем живет,
Но вдруг наступает криз,
И сердце, уставшее ждать,
Разбивается вдрызг.

И ты, Ифтихар Ариф,
Запасной игрок,
И тебе ожиданье не впрок.
Сердце твое ожиданьем живет,
Звездного часа ждет,
Который, быть может, пробьет,
Если что-нибудь произойдет.

Пойми, Ифтихар Ариф,
Ожиданье — для сердца риск.
Сердце твое
Вот-вот разобьется вдрызг.

Все одинаково

На берегах Евфрата или иной реки
Все полки одинаковы,
Все клинки одинаковы.
На поле боя с реки наплывающий свет,
Растоптанный конницей умирающий свет,
Горящих палаток устрашающий свет.
Картины сраженья везде одинаковы.
А потом тишина барабанный гром пожирает,
Тишина все звуки в себя вбирает.
Тишина — слово жалобы, голос протеста,
Ее речь не нова, это — древняя-древняя песня,
Ибо терпенье во все времена одинаково.
На берегах Евфрата или иной реки
Все полки одинаковы...

Диалог

Кто, завернувшись в прозрачный ветер, с пламенем затеял игру?
Кто он, если бы знать...
Кто, меняя одежды столетий, со временем затеял игру?
Кто он, если бы знать...
Кто, свету расставив сети, с отраженьем затеял игру?
Кто он, если бы знать...
Нет никого!
Нигде, никого!
Это наивная выдумка оптимистов, приманка —
Чтобы всех вопрошающих держать на крючке.
Но кто же метит солнцем волну, и облако ввысь швыряет,
И выжимает из облака белизну, и солнце в жемчужине повторяет?
Тот, Кто камню — пламень, пламени — цвет и цвету свет даровал,
Тот, Кто праху — голос, голосу — слово и слову жизнь даровал.
Нет никого!
Нигде, никого!
Но все же — кто он, если бы знать...

Вопрос

Славя чести и совести свет негасимый,
Мои предки читали
Истинной веры символ.
На досках плах, на тюремных камнях, на бранных полях
Кровью написаны их деянья.
Эта кровь — человеческой чести залог,
Эта кровь — негасимого света пролог.
Пленник сытого существованья,
Перекресток желаний ощупываю босыми ногами
И мусолю вопрос:
Почему во мне, в потомке героев,
До сих пор не вскипела кровь?

Печальному вечеру

Мы — счастья лишенные,
Странные люди, верой живущие...
В ту ночь, когда до́лжно не спать,
Засыпаем — всему вопреки.
Имя, что надо забвенью предать,
Повторяем — всему вопреки.
В игре, что нельзя проиграть,
Ставку теряем — всему вопреки.
Мы — счастья лишенные,
Странные люди, верой живущие!
Долги нам не выплачены до сих пор.
Кровавые слезы не выплаканы до сих пор.
Чудо из мутной воды не выплыло до сих пор.
В душе угасает пламя.
Лучших лучников перестреляли.
Когда же над крепостью мрака
Солнце поднимет знамя?
Когда же явится Он, ожидаемый нами?
Мы — счастья лишенные,
Чуда ждущие,
Верой живущие...

Заявление

Быть может, я трус, но из племени, чьи сыновья
Предпочитали бесчестью смерть.
Я знал, что наши шатры превратятся в костры
И толпа запляшет на пепелище.
Я знал, что убитых мой род в свидетели призовет
И толпа все и всех оплюет и освищет.
И в пустыню покоя я удалился,
В скорлупе неучастия уединился.
Но голос пролитой крови во мне зазвучал —
Пожертвовать домом настал мой черед,
Пожертвовать жизнью настал мой черед.
Быть может, я трус, но славен мой род...

Ночь в пустыне

В пустыне, вотчине смерти,
Колючим песком
Меня ослепили
Дерзкие смерчи.

Где караван надежды?
Затерян след каравана
В песчаных барханах.
О пилигримах
Никто и не вспомнит ныне.

Все тайное стало явным,
В пламени яром
Гибнет шатер молитвы.
Верность сгорела дотла.

Ибо тот, кто привязан к жизни, не развяжет узла.
Он ничего не видит,
Он ни о чем не просит —
Привязанный к жизни не развяжет узла.

ОПДОС ХАКСЛИ

Гений и богиня

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского и комментарии В. БАБКОВА

— Вся беда литературы в том,— сказал Джон Риверс,— что в ней слишком много смысла. В реальной жизни никакого смысла нет.

— Так-таки нет? — спросил я.

— Разве что с точки зрения Бога,— поправился он.— А с нашей — никакого. В книгах есть связность, в книгах есть стиль. Реальность не обладает ни тем, ни другим. По сути дела, жизнь — это цепочка дурацких событий, а каждое дурацкое событие — это одновременно Тэрбер* и Микеланджело, одновременно Мики Спиллейн* и Фома Кемпийский*. Характерная черта реальности — присущее ей несоответствие.— И когда я спросил: «Чему?» — он махнул широкой коричневой дланью в сторону книжных полок.— Лучшим образцам Мысли и Слова,— с шутливой торжественностью провозгласил он. И продолжал: — Странная штука, но ближе всего к действительности оказываются как раз те книги, в которых, по общепринятому мнению, меньше всего правды.— Он подался вперед и тронул корешок потрепанного томика «Братьев Карамазовых».— Тут так мало смысла, что это близко к реальности. Чего не скажешь ни об одном из традиционных типов литературы. О литературе по физике и химии. Об исторической литературе. О философской...— Его обвиняющий перст перемещался от Дирака* к Тойнби*, от Сорокина* к Карнапу*.— Не скажешь даже о биографической литературе. Вот последнее достижение в этом жанре.

Он взял с ближнего столика книгу в гладкой голубой суперобложке и, подняв вверх, показал мне.

— «Жизнь Генри Маартенса»,— прочел я с равнодушием, с каким обычно встречаешь уже приевшиеся имена знаменитостей. Потом я припомнил, что для Джона Риверса это имя значит нечто большее, для него это не просто знаменитость.— Ты же был его учеником, верно?

Риверс молча кивнул.

— И это официальная биография?

— Официальная литературная версия,— уточнил он.— Незабвенный портрет ученого из многосерийной телетягомотины, знакомый тип: слабоумный ребенок с гигантским интеллектом; страдающий гений, который отчаянно сражается с непреодолимыми препятствиями; одинокий мыслитель и в то же время нежнейший семьянин; рассеянный душка-профессор, вечно витающий в облаках, но, в общем, ужасно славный. По-настоящему же, как это ни печально, дело обстояло отнюдь не так просто.

— Ты хочешь сказать, что книга неточна?

— Да нет, все, что тут написано, вроде бы правда. Но ведь это же все вздор — это не имеет отношения к действительности. И, возможно,—

---

* Здесь и далее звездочкой отмечены места, поясняемые в комментариях.

добавил он,— возможно, так и следует писать. Возможно, истинная действительность всегда слишком неблагородна, чтобы ее запечатлевать, слишком бессмысленна или слишком страшна, чтобы ее не олитературивать. И тем не менее это раздражает, если хочешь узнать правду: оскорбительно, когда тебя дурят этакой слащавой картинкой.

— И ты собираешься описать все по-настоящему? — предположил я.

— Для широкой публики? Упаси боже!

— Хотя бы для меня. В частной беседе.

— В частной беседе,— повторил он.— Собственно, почему бы и нет? — Он пожал плечами и улыбнулся.— Отчего бы и не устроить маленькую оргию воспоминаний в честь одного из твоих редких визитов.

— Можно подумать, ты говоришь о каком-нибудь вредном дурмане.

— А это и есть дурман,— ответил он.— В воспоминанья уходят с головой, как в джин или амиталат натрия.

— Ты забываешь,— сказал я,— что я писатель, а Музы — дочери Памяти.

— А Бог,— живо добавил он,— братом им не приходится. Бог ведь не сын Памяти; Он дитя Непосредственного Восприятия. Нельзя искренне поклоняться духовному иначе, чем «теперь». Из барахтанья в прошлом может получиться неплохая литература. Но мудрости не будет и помину. Обретенное Время есть Утраченный Рай, а Утраченное Время — Рай Обретенный *. Что было, то прошло. Раз уж ты хочешь жить моментом, как он есть, тебе придется умереть для всех остальных моментов. Это главное, чему я выучился у Элен.

Имя девушки вызвало у меня в памяти бледное юное лицо, обрамленное колоколом темных, словно у египтянки, волос,— а еще огромные золотые колонны Баальбека *, и за ними голубое небо и снега Ливанского хребта. О ту пору я работал археологом, а моим шефом был отец Элен. Как раз в Баальбеке я сделал ей предложение и получил отказ.

— А если б она выбрала меня,— промолвил я,— мне тоже пришлось бы этому выучиться?

— Элен имела обыкновение делать, а не читать проповеди,— ответил Риверс.— У нее трудно было не научиться.

— А как же насчет моего писательства, как насчет тех самых дочерей Памяти?

— Можно отыскать способ с толком использовать оба подхода.

— Компромисс?

— Синтез, третью позицию, объединяющую две других. Собственно говоря, нельзя ведь использовать с толком один метод, если по ходу дела не научишься пользоваться вторым. Элен умудрялась брать от жизни все даже на пороге смерти.

Баальбек в моем воображении уступил место университету в Беркли, и вместо бесшумно раскачивающегося колокола темных волос появились седые локоны, вместо девичьего лица я увидел тонкие увядшие черты пожилой женщины. Наверное, сообразил я, она заболела уже тогда.

— Я был в Афинах, когда она умерла,— вслух произнес я.

— Помню.— И он продолжал: — Жаль, что тебя не случилось рядом. Ради нее — ты был ей очень по душе. Разумеется, и ради *тебя* тоже. Умирание — это искусство, и нам в наши годы не мешало бы ему научиться. Полезно понаблюдать за тем, кто его постиг. Элен постигла искусство умирать, ибо постигла искусство жить — жить теперь и здесь, к вящей славе Божьей. А это необходимо влечет за собой и ежесекундное умирание собственного жалкого, маленького «я». Живя, как следует жить, Элен ежедневно помаленьку умирала. Когда подошел срок окончательного расчета, практически все было уже выплачено. Между прочим,— заметил Риверс немного погодя,— нынешней весной я был весьма близок к окончательному расчету. Собственно, если бы не пенициллин, меня бы здесь не было. Пневмония, подружка стариков. Нынче тебя воскрешают, так что можешь жить дальше и лелеять свой артерио-

склероз или, к примеру, рак простаты. Поэтому, как видишь, я существую посмертно. Все, кроме меня, умерли, а мне случайно досталось немного лишку. Если я примусь рассказывать о тех событиях, это будет смахивать на историю о привидениях из уст другого привидения. А впрочем, сегодня ведь канун Рождества, так что история о привидениях как раз кстати. И потом, ты мой старый приятель, и даже если ты состряпаешь из этого повестушку, что тут особенного?

Его крупное морщинистое лицо осветилось ласковой иронией.

— Если тебе это неприятно — не буду,— заверил я.

На сей раз он рассмеялся открыто.

— И великие обеты в огне страстей сгорают, как солома *,— процитировал он.— Скорей я доверю своих дочек Казанове, чем свои тайны романисту. Пламя литературных соблазнов еще жарче, чем сексуальных. И клятвы литераторов сгорают еще легче, чем супружеские или монашеские.

Я попытался было возразить, но он не стал слушать.

— Пожелай я сохранить это в тайне,— произнес он,— я бы просто ничего тебе не рассказал. Но когда ты все-таки опубликуешь мою историю, не забудь, пожалуйста, сделать обычное примечание. Мол, всякое сходство персонажей с живыми или почившими — чистое совпадение. Чистейшее! А теперь вернемся к Маартенсам. Где-то у меня был портрет.— Он тяжело поднялся с кресла, добрел до стола и выдвинул ящик.— Все мы вместе: Генри, Кэти, ребята и я. Вот чудеса,— заметил он, поворошив бумаги в ящике,— нашелся именно там, где следует.

Он подал мне выцветший увеличенный фотоснимок. На нем были изображены перед деревянным летним домиком трое взрослых: маленький, сухощавый человек, седовласый и крючконосый, молодой гигант в рубашке без пиджака, а между ними — смеющаяся блондинка, широкоплечая и полногрудая, прекрасная валькирия, облаченная в неподходящий наряд — длинную узкую юбку. У их ног сидели двое детей, мальчуган лет девяти-десяти и его старшая сестра с косичками, лет тринадцати.

— Какой он пожилой на вид! — было моим первым замечанием.— Годится своим детям в дедушки.

— И при этом в пятьдесят шесть все еще такой неумеха, что Кэти нянчилась с ним, как с младенцем.

— Довольно сложная кровосмесительная комбинация.

— Но так все и было,— заверил Риверс.— У них получился настоящий симбиоз. Он жил за ее счет. И она охотно дарила ему эту возможность — она была воплощенным материнством.

Я снова взглянул на фотографию.

— Какая очаровательная смесь стилей! Маартенс — чистая готика. Его жена — вагнеровская героиня. Дети — прямо из сочинений миссис Моулзворт *. А ты — ты...— Я всмотрелся в жесткое квадратное лицо по другую сторону камина, потом опять в снимок.— Я и забыл, какой ты тогда был красавчик. Римская копия Праксителя.

— Разве я не дотягиваю до оригинала? — огорчился он.

Я покачал головой.

— Взгляни на нос,— сказал я.— Взгляни на лепку челюсти. Это не Афины; это Геркуланум. Но, к счастью, девушек не интересует история искусств. Для любых практических амурных целей ты был парень что надо, настоящий греческий бог.

Риверс состроил кислую мину.

— С виду я, может, и годился на эту роль,— произнес он.— Но если ты думаешь, что я мог сыграть ее...— Он покачал головой.— У меня не было ни Леды, ни Дафны, ни Европы. Вспомни, в ту пору я являл собою плачевный результат неверного воспитания. Сын лютеранского священника, а с двенадцати лет — единственное утешение овдовевшей матушки. Да-да, единственное, несмотря на то, что она считала себя ревностной христианкой. Малыш Джонни занял и первое, и второе, и третье

места; Бог очутился в аутсайдерах. И, разумеется, у единственного утешения не осталось иного выбора, кроме как быть образцовым сыном, первым учеником, неизменным лидером школьных состязаний и продираться сквозь колледж и дальнейшую учебу без единой свободной минутки, которую удалось бы посвятить чему-нибудь более трогательному, нежели футбол или клуб хорового пения, более одухотворяющему, чем еженедельная проповедь преподобного Уигмена.

— Но разве девушки позволяли тебе не замечать их? Это с таким-то лицом? — Я показал на фотографию атлета в кудряшках.

Риверс помолчал, затем ответил другим вопросом:

— А *твоя* матушка когда-нибудь говорила тебе, что самый чудесный свадебный подарок, какой юноша может преподнести своей суженой,— это его девственность?

— К счастью, нет.

— Так-то; а моя говорила. Причем опустившись на колени, в процессе внеочередной молитвы. Внеочередные молитвы — это был ее конек,— в скобках заметил он.— Тут она затыкала за пояс даже отца. Еще легче скользила речь, еще натуральнее звучал нарочито витиеватый слог. Она могла обсуждать наши денежные дела или укорять меня за нежелание есть пудинг из тапиоки в оборотах, дословно воспроизводящих Послание к Евреям *. Как языковой феномен, это было удивительно. К сожалению, я не мог рассматривать ее речи с такой точки зрения. Ведь этот торжественный спектакль разыгрывала моя мать. Все, что она говорила пред Богом, следовало воспринимать с сакраментальной серьезностью. Особенно когда это касалось Великого Таинства. Хочешь верь, хочешь нет, но в двадцать восемь лет я еще берег для будущей невесты свой свадебный подарочек.

Воцарилось молчание.

— Бедняга Джон,— наконец произнес я.

Он покачал головой.

— Верней сказать — бедная моя матушка. У нее все было так чудесно разложено по полочкам. Сначала инструктор в том же университете, потом ассистент профессора, потом профессор. Выходило, что мне вовсе нет нужды покидать родной очаг. А по достижении сорока лет она замышляла женить меня на какой-нибудь прелестной юной лютеранке, которая возлюбит ее, словно родную мать. Кабы не милость Божья, Джон Риверс проделал бы этот путь паинькой. Но милость Божья была недалече — она же, как выяснилось, и возмездие. В одно прекрасное утро, через несколько недель после покорения мною степени доктора философии, я получил письмо от Генри Маартенса. Тогда он жил в Сент-Луисе и работал над атомом. Нужен еще один помощник в исследованиях, получил обо мне хороший отзыв от моего профессора, может предложить лишь смехотворно малое жалованье — но мне-то что за горе? Для начинающего физика это была роскошная перспектива. Но для бедной матушки это означало полный крах. Искренне, горячо несчастная вдова поведала обо всем Богу. И, вечная ей за это хвала, Бог разрешил отпустить меня.

Минули десять дней, и я вышел из такси у порога дома Маартенсов. Помню, я стоял там в холодном поту, пытаясь собрать все свое мужество и позвонить. Точно напроказивший школьник, которого вызвал сам Директор. Первый восторг, с каким я встретил свою невероятную удачу, уже давным-давно испарился, и все последние дни дома, а затем и томительные часы дороги были заняты исключительно мыслями о моей несостоятельности. Сколько времени понадобится человеку вроде Генри Маартенса, чтобы раскусить такого, как я? Неделя? День? Да не больше часу! Он станет презирать меня; я превращусь в посмешище для всей лаборатории. И вне лаборатории тоже будет ничуть не лучше. А может, и хуже. Маартенсы предложили мне погостить у них, пока я не устроюсь отдельно. Какая необычайная любезность! И вместе с тем какая дьявольская жестокость! В строгой и изысканной атмосфере этого

дома я не премину обнаружить свою истинную суть — я, робкий и ограниченный, безнадежный провинциал. Однако Директор ожидал меня. Я стиснул зубы и нажал кнопку. Дверь открыла цветная прислуга той древней разновидности, что встречается в старомодных пьесах. Знаешь, из тех, которые родились еще до отмены рабства, да так и не бросили свою мисс Белинду. Сюжет избитый, но этот персонаж внушал симпатию, и хотя Бьюла частенько переигрывала, ее мало было назвать сокровищем; вскоре я обнаружил, что она движется прямиком к святости. Я объяснил, зачем пожаловал, а она тем временем оглядела меня. Наверное, мой вид оказался удовлетворительным, ибо она тут же приняла меня как давно пропавшего члена семьи, этакого блудного сына, только что от корыта с рожками *. «Сейчас я приготовлю вам сандвич и добрую чашку кофе,— твердо сказала она и добавила: — У нас все дома». Потом открыла другую дверь и впихнула меня внутрь. Я напрягся в ожидании встречи с Директором и культурной атаки. Но увидь я подобную сцену лет через пятнадцать, я решил бы, что это пародия братьев Маркс в минорном ключе. Я очутился в большой неприбранной гостиной. На кушетке, с расстегнутым воротничком, лежал седой человек, явно умирающий — ибо он был мертвенно-бледен и дыхание вырывалось из его груди со свистом и хрипом. Совсем рядом с ним, в кресле-качалке,— левая рука у него на лбу, в правой томик Уильяма Джемса * «Плюралистическая вселенная»,— спокойно читала самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. На полу устроились двое детей: рыжеволосый мальчишка с игрушечным заводным поездом и девица лет четырнадцати с длинными загорелыми ногами — она лежала на животе и писала стихи (я заметил строфы) красным карандашом. Все так глубоко ушли в свои занятия — игру или сочинительство, чтение или умирание,— что по меньшей мере полминуты мое присутствие в комнате оставалось абсолютно незамеченным. Я кашлянул — безрезультатно; снова кашлянул. Мальчишка поднял голову, вежливо, но безо всякого интереса улыбнулся мне и опять занялся поездом. Я подождал еще десять секунд; потом в отчаянии шагнул вперед. Поперек дороги лежала поэтесса. Я переступил через нее. «Извините»,— пробормотал я. Она осталась безучастна; но та, что читала Уильяма Джемса, услыхала меня и подняла взор. Поверх «Плюралистической вселенной» на меня глянули ярко-синие глаза. «Вы насчет газовой плиты?» — спросила она. Лицо ее лучилось такой красотой, что я замешкался с ответом. Мне удалось лишь покачать головой. «Чушь! — сказал мальчуган.— У газовщика усы».— «Я Риверс»,— промямлил я наконец. «Риверс? — неопределенно переспросила она.— Риверс? Ах, Риверс! — На нее внезапно нашло озарение.— Я так рада...» Но не успела она закончить, как умирающий раскрыл безумные глаза, издал странный боевой клич на вдохе и, вскочив, ринулся к распахнутому окну. «Смотри под ноги! — закричал мальчишка.— *Под ноги!*» Раздался треск. «О Господи!» — добавил он со сдержанным отчаянием. Великолепный Центральный вокзал лежал в руинах, рассыпавшись на составные части. «Господи! — повторил мальчик; а когда сестра заметила ему, что нечего божиться, пригрозил: — Я сейчас по правде выругаюсь! Я скажу...» Губы его зашевелились в немом проклятии.

Тем временем от окна донесся жуткий хрип, словно кого-то медленно удавливали.

«Извините»,— сказала красавица. Она встала, отложила книгу и поспешила на помощь. Раздался металлический стук. Подолом юбки она смахнула семафор. Малыш испустил разъяренный вопль. «Ты, бестолочь,— завизжал он.— Ты... слониха несчастная!»

«Слоны,— нравоучительно заметила поэтесса,— всегда глядят себе под ноги.— Затем она повертела головой и в первый раз обнаружила мое присутствие.— Они о вас совсем забыли,— с усталым, презрительным превосходством пояснила она.— Так уж тут водится».

Рядом с окном все еще продолжалось медленное удушение. Согнутый пополам, точно от удара в пах, седой человечек боролся за глоток воздуха — но, если верить собственным глазам и ушам, борьба была безнадежной. Около него стояла богиня, похлопывала по спине и приговаривала что-то утешительное. Я страшно перепугался. Ужаснее этого зрелища я в жизни не видел. Кто-то потянул меня снизу за штаны. Я обернулся — на меня смотрела поэтесса. У нее было узкое сосредоточенное личико и чересчур большие, широко расставленные серые глаза. «*Таится,*— сказала она.— Мне нужно три рифмы к слову *«таится»*. У меня есть *лица* — это куда ни шло, и еще у меня есть *молиться* — это просто потрясающе. Может, *зарница?* — Она покачала головой; затем, хмурясь, поглядела на свой листок и прочла вслух: — *И что-то мрачное таится в душе моей, где не блеснет зарница.* Не очень-то мне нравится, а вам?» Я был вынужден признать, что тоже не очень. «Однако именно это я и хочу сказать»,— продолжала она. Меня осенило: «А может, *гробница?*» Лицо ее просветлело от радости. Ну конечно, конечно! До чего же она бестолковая! Красный карандаш застрочил с сумасшедшей скоростью. *«И что-то мрачное таится,*— торжествующе продекламировала она,— *в глуби души моей, как в каменной гробнице»*. Видимо, я не выразил особенного восторга, поскольку она сразу спросила, не будет ли, на мой вкус, удачнее: *в ледяной гробнице.* Не успел я ответить, как раздался очередной хрип удавленника, погромче. Я поглядел в сторону окна, затем — снова на поэтессу. «Мы ничем не можем помочь?» — прошептал я. Девчушка покачала головой. «Я смотрела в Британской энциклопедии,— отозвалась она.— Там написано, что астма еще никому не укорачивала жизни.— И затем, видя мое неослабевающее беспокойство, пожала узенькими, костлявыми плечиками и сказала: — К этому вообще-то привыкаешь».

Риверс усмехнулся сам себе, смакуя воспоминание.

— К этому вообще-то привыкаешь,— повторил он.— В четырех словах заключены пятьдесят процентов всех Утешений Философии *. А остальные пятьдесят процентов можно выразить шестью: «Брат, всяк помрет, как смерть придет». Или, по своему усмотрению, сделать из них семь: «Брат, всяк *не* помрет, как смерть придет».

Он встал и принялся подкладывать в огонь дрова.

— Ну вот, так я и познакомился с семьей Маартенсов,— промолвил он, положив очередное дубовое поленце на кучу тлеющих углей.— Вообще-то я привык ко всему довольно скоро. Даже к астме. Удивительно, как легко люди привыкают к чужой астме. После двух-трех случаев я реагировал на приступы Генри с тем же спокойствием, что и прочие. То он помирает от удушья, а то, глядь, уже совсем свеженький и трещит без умолку о квантовой механике. И эти спектакли продолжались до восьмидесяти семи лет. А я вот, скажем, буду считать, что мне повезло,— добавил он, в последний раз ткнув полено,— если дотяну до шестидесяти семи. Я был здоровяк, понимаешь. Про таких говорят: «Силен, как бык». И в жизни ни разу не чихнул, а потом бац — схлопотал атеросклероз, фьюить — отказали почки! А былинки, ветром колеблемые *, вроде бедняги Генри, живут себе да живут, жалуясь на плохое здоровье, пока им не стукнет сотня. И ведь не просто жалуются — действительно страдают. Астма, дерматит, полный набор неполадок в животе, немыслимая утомляемость, неописуемые депрессии. У него в кабинете стоял шкафчик и в лаборатории другой такой же, битком набитые пузырьками с гомеопатическими средствами, и он никогда не высовывал носу из дома, не прихватив с собой рус токс, и карбо вег, и брионию, и кали фос *. Скептически настроенные коллеги высмеивали его за любовь к лекарствам, столь чудовищно разбавленным, что в каждой пилюле едва ли осталось больше одной-единственной молекулы целительного вещества.

Но Генри нелегко было сбить с панталыку. Чтобы отстоять гомеопатию, он придумал целую теорию нематериальных полей — полей чи-

стой энергии, полей отдельно от тел. В те времена это звучало нелепо. Однако не забывай, Генри-то был гений. И теперь его нелепые рассуждения начинают обретать смысл. Еще несколько лет — и они станут самоочевидными.

— Что интересует лично меня,— сказал я,— так это неполадки в животе. Помогали ему шарики или нет?

Риверс пожал плечами.

— Восемьдесят семь — почтенный возраст,— ответил он, садясь на свое место.

— Но прожил бы он столько же лет без пилюль?

— Это типичный образец бессмысленного вопроса,— произнес Риверс.— Нам не дано воскресить Генри Маартенса и заставить его заново прожить собственную жизнь без гомеопатии. Поэтому мы никогда не узнаем, есть ли связь между его самолечением и долгожительством. А раз нельзя дать обоснованный ответ, то в вопросе нет никакого смысла. Оттого-то,— добавил он,— и не существует науки истории — ведь никто не может проверить свои гипотезы. Откуда следует абсолютная бессмысленность любых книжек по сему предмету. Но мы-таки читаем эту чепуху. А как иначе найти способ выбраться из хаоса голых фактов? Разумеется, этот путь плох; тут и спорить нечего. Однако лучше уж пойти плохим путем, чем заблудиться вовсе.

— Не очень-то утешительный вывод,— отважился заметить я.

— А лучше ничего не придумаешь — во всяком случае, на нынешнем этапе.— Риверс на мгновение замолк.— О чем бишь я? — продолжал он другим тоном.— Итак, я скоро привык к астме Генри, привык ко всем ним, ко всей их жизни. До того привык, что через месяц поисков жилья, когда мне наконец подвернулась дешевая и не слишком противная квартирка, они не пожелали меня отпускать. «Вы к нам приехали,— сказала Кэти,— у нас и оставайтесь». Старушка Бьюла поддержала ее. Тимми тоже; да и Рут, поворчав, присоединилась к ним, хотя ее возраст и характер отнюдь не способствовали проявлению покладистости в какой бы то ни было форме. Даже великий человек спустился на миг из своих заоблачных высей и замолвил за меня словечко. Это решило дело. Я стал жить у них на законных основаниях, превратился в почетного члена семьи Маартенсов.— Риверс ненадолго умолк, потом заговорил вновь: — Я был очень счастлив, и меня даже начало мучить неприятное ощущение, будто здесь что-то неладно. И весьма скоро я сообразил, что Счастливая жизнь у Маартенсов означала измену родному очагу. Это значило, что в течение всей жизни с матерью я не испытывал ничего, кроме скованности и хронического чувства вины. А теперь, став членом языческого семейства, я нашел не только счастье, но и добро; совершенно неожиданно я даже обрел религиозное чувство, Я впервые понял, что означают все эти слова в Посланиях. Скажем, что такое *благодать* — я был полон ею под завязку. *Обновление духа* — я испытывал его постоянно, тогда как единственное, что я чувствовал в пору своей жизни с матушкой,—это мертвящая древность Писания. Или вот Первое к Коринфянам, тринадцать! * Как насчет веры, надежды, любви? Не хочу хвастаться, но они у меня были. В первую очередь вера. Искупляющая вера во вселенную и в того, кто трудился со мною рядом. А что до иной веры — до ее простой, лютеранской разновидности, какую моя бедная матушка так долго лелеяла во мне, словно невинность, гордясь тем, что сохранила ее незапятнанной среди всех соблазнов юношества...— Он пожал плечами.— Нет ничего проще нуля; а я вдруг обнаружил, что моя простая вера в продолжение последних десяти лет именно нулю и равнялась. В Сент-Луисе я обрел истинное чувство — настоящую веру в настоящее благо и одновременно надежду, переходящую в твердую убежденность, что все и всегда будет прекрасно. А вместе с верой и надеждой ко мне пришла и любовь. Как можно было питать симпатию к человеку вроде Генри — существу столь не от мира сего, что он едва замечал тебя, и такому эгоисту, что он и не желал никого замечать?

К подобному типу нельзя испытывать нежность — но я испытывал! Он нравился мне не только по понятным причинам — благодаря своей гениальности, благодаря тому, что работать с ним значило чувствовать, как умнеешь и прозреваешь не по дням, а по часам. Он нравился мне даже вне лаборатории, и именно из-за тех черт, благодаря которым смахивал на какое-то редкостное чудо-юдо. В ту пору любовь так переполняла меня, что я влюбился бы в крокодила, в осьминога. Вот мы читаем всякую социологическую чушь, всю эту заумную ахинею разных политологов,— Риверс презрительно и сердито похлопал по корешкам увесистых томов, выстроившихся на седьмой полке.— А ведь есть только одно решение, и выражается оно словом из шести букв, таким скабрезным, что даже маркиз де Сад употреблял его с осторожностью.— Он раздельно проговорил: — Л-Ю-Б-О-В-Ь *. А ежели предпочитаешь пристойную расплывчатость мудреных языков: Agape, Caritas, Mahakaruna *. Тогда я действительно понял, что это такое. Впервые в жизни — да-да, впервые. Только это и омрачало слегка мое неземное блаженство. Ибо если я впервые понял, что значит любить, как же отнестись к прошлым временам, когда мне только казалось, что это я понимаю, как быть с шестнадцатью годами, проведенными в роли единственного мамочкиного утешения?

В наступившей тишине я попытался припомнить миссис Риверс, которая вместе с малышом Джонни иногда приезжала к нам на ферму провести воскресный вечер — лет этак пятьдесят назад. Мне вспомнилось черное одеяние, бледный профиль, словно на камее, какую носила тетя Эстер, улыбка, чья расчетливая ласковость плохо сочеталась с холодным оценивающим взглядом. К портрету прибавилась память о леденящем чувстве страха. «Ну-ка, поцелуй как следует миссис Риверс». Я подчинился, но с какой жуткой неохотой! Из глубин прошлого одиноким пузырьком всплыла фраза, оброненная когда-то тетей Эстер. «Бедная крошка,— сказала тетя,— он прямо-таки преклоняется перед своей мамочкой». Преклоняться-то он преклонялся. Да только любил ли?

— Есть такое словечко — омораливанье? — вдруг спросил Риверс.

Я покачал головой.

— Ну так должно быть,— настаивал он.— Потому что именно к этому средству я прибегал в своих письмах домой. Я излагал события; но я постоянно омораливал их. Откровение превращалось у меня в нечто тусклое, обыкновенное, высоконравственное. Почему я остался у Маартенсов? Из чувства долга. Оттого что доктор М. не умеет водить машину, к тому же я могу пособить по мелочам. Оттого что детишкам не повезло с учителями — двое их наставников никуда не годятся,— а я могу кое-чему подучить их. Оттого что миссис М. была так добра, что я почел себя просто *обязанным* остаться и хоть чуть-чуть облегчить ее тяжкую долю. Разумеется, я хотел бы жить отдельно; но разве годится ставить свои личные прихоти выше их нужд? А поскольку вопрос этот был обращен к моей матери, ответ, конечно, подразумевался однозначный. Какое лицемерие, какое нагромождение лжи! Но услышать истину было для нее так же непереносимо, как для меня — облечь ее в слова. Ибо вся правда состояла в том, что я никогда не знал счастья, никогда не любил, никогда так легко и бескорыстно не относился к окружающим, пока не покинул родной очаг и не поселился с этими амаликитянами *.

Риверс вздохнул и покачал головой.

— Бедная матушка,— произнес он.— Наверное, мне следовало быть с ней поласковее. Но как бы ласков я ни был, это не могло изменить сути: того, что она любила меня любовью собственницы, и того, что я не хотел быть ничьей собственностью; того, что она осталась в одиночестве и потеряла все, и того, что у меня появились новые друзья; того, что она была приверженкой гордого стоицизма, хотя ошибочно считала

себя христианкой, и того, что я превратился в законченного язычника и, стоило мне забыть ее — а это случалось моментально, лишь только я отправлял в воскресенье еженедельную весточку,— как я становился счастливейшим человеком. Да-да, счастливейшим! В ту пору моя жизнь напоминала эклогу, пересыпанную лирическими строчками. Поэзия была повсюду. Вез ли я Генри на стареньком «максвелле» в лабораторию; подстригал ли лужайку; тащил ли Кэти под дождем всякую всячину из бакалейной лавки — меня окружала настоящая поэзия. Она была со мной и тогда, когда мы с Тимми ходили к станции глазеть на паровозы. И тогда, когда по весне я сопровождал Рут в поисках гусениц. К гусеницам у нее был профессиональный интерес,— пояснил он, увидев мое удивление.— Одна из сторон гробового синдрома. В реальной жизни гусеницы были ближе всего к Эдгару Аллану Пю.

— К Эдгару Аллану По?

— «Ведь эта трагедия Жизнью зовется,— продекламировал он,— и Червь-победитель — той драмы герой» *. В мае и июне вся округа прямо кишела Червями-победителями.

— В наше время,— подумал я вслух,— это был бы не По. Теперь она читала бы Спиллейна или какие-нибудь суперсадистские книжонки.

Он кивнул в знак согласия.

— Все что угодно, самое дрянное, лишь бы там хватало смерти. Смерть,— повторил он,— особенно жестокая, особенно вариант с разлагающимися трупами — для детей один из предметов жадного интереса. Тяга к ней почти так же велика, как тяга к куклам, или конфетам, или забавам с половыми органами. Смерть нужна детям, чтобы испытать особый, отталкивающе-восхитительный трепет. Нет, это не совсем верно. Она, как и все прочее, нужна им для того, чтобы придать особую форму трепету, который в них уже имеется. Помнишь, какими острыми были в детстве твои ощущения, как глубоко ты умел чувствовать? Что за восторг — малина со сливками, что за ужас — пучеглазая рыба, ну а касторка — сущий ад! А какая это мука, когда приходится вставать и отвечать перед всем классом! Какое невыразимое счастье сидеть рядом с кучером, вдыхать запах лошадиного пота и кожи; дорога уходит в бесконечность белой лентой, и кукурузные поля сменяются капустой, а когда проезжаешь мимо, кочны ее медленно распахиваются и складываются, словно огромные веера. В детстве ты полон насыщенным раствором чувства, ты носишь в себе смесь всех переживаний — но в непроявленном виде, в состоянии неопределенности. Иногда причиной кристаллизации служат внешние факторы, иногда — твоя собственная фантазия. Тебе хочется добиться какого-нибудь особенно волнующего ощущения, и ты упорно трудишься сам над собой, пока не добудешь его — ярко-розовый кристалл удовольствия или, к примеру, зеленый с кровавыми потеками ком страха; ведь страх — такое же волнующее переживанье, как и прочие, страх — это смешанное с опаской наслаждение. В двенадцать лет я охотно пугал себя ужасами смерти, адом из великопостных проповедей моего невезучего батюшки. А насколько сильнее могла запугать себя Рут! С одной стороны — сильней запугать, с другой — испытать гораздо более острый восторг. Мне кажется, таковы все девочки. Раствор чувства у них более концентрированный, чем наш, и они умеют скорее добывать бóльшие и лучшие кристаллы самых разнообразных сортов. Не стоит и говорить, что тогда я ничего не смыслил в девочках-подростках. Но общенье с Рут послужило богатой школой — даже чересчур богатой, как выяснилось впоследствии; однако до этого мы еще доберемся. В общем, она помаленьку обучала меня тому, что должен знать о девочках каждый молодой человек. Она хорошо подготовила меня к будущему, ведь мне привелось стать отцом трех дочерей.

Риверс отпил немного виски с содовой, поставил стакан и некоторое время в молчании посасывал трубочку.

— Один уик-энд был особенно информативным,— наконец сказал он, улыбаясь воспоминанию.— Это случилось в первую весну моей жиз-

ни с Маартенсами. Мы поехали в их домишко за городом, милях в десяти к западу от Сент-Луиса. После ужина, субботним вечером, мы с Рут отправились смотреть на звезды. За домиком был небольшой холм. Поднимаешься туда — и перед тобой распахивается небо от края до края. Целых сто восемьдесят градусов добротной неизъяснимой тайны. Там бы просто сидеть молча. Но в те дни я еще мнил своим долгом развивать собеседника. Поэтому вместо того, чтобы дать ей спокойно полюбоваться Юпитером и Млечным путем, я принялся сыпать давно надоевшими фактами и цифрами: тут тебе и расстояние в километрах до ближайшей неподвижной звезды, и диаметр галактики, и последнее сообщение о спиралевидных туманностях из Маунт-Вилсона *. Рут слушала, но это едва ли способствовало ее развитию; наоборот, она как бы впала в метафизическую панику. Такие пространства, такие сроки, такая уйма недосягаемых миров, скрытых за другими далекими мирами! А мы-то, перед лицом вечности и бесконечности, забиваем себе головы разговорами и домашними хлопотами, стараемся куда-то поспеть вовремя, выбираем нужного цвета ленты для волос и зубрим алгебру с латинской грамматикой! Потом в рощице за холмом раздался крик совы, и метафизический испуг сменился натуральным, однако с мистическим оттенком; ведь холодок в животе вызвало то обстоятельство, что совы считаются недобрыми птицами, приносящими несчастье, вестницами смерти. Конечно, она понимала, что все это чепуха; но как здорово прикинуться, что это правда, и вести себя соответственно! Я было начал высмеивать ее; но Рут не желала расставаться с испугом и решительно принялась обосновывать и оправдывать свои страхи. «В прошлом году у одной девочки из нашего класса умерла бабушка,— сказала она.— И как раз той ночью в саду у них кричала сова. Прямо посреди Сент-Луиса, где в жизни не слыхали сов». Как бы подтверждая ее слова, опять раздалось далекое уханье. Девчушка вздрогнула и взяла меня за руку. Мы начали спускаться с холма в сторону рощи. «Я бы умерла со страху, если бы пошла одна,— сказала Рут. А потом, чуть погодя: — Вы читали «Падение дома Ашеров»*?» Ясно было, что она хочет рассказать мне эту историю; поэтому я ответил, что не читал. Она стала рассказывать: «Это про брата и сестру по фамилии Ашер, и они жили в таком замке, а перед ним был черный, мрачный пруд, а стенки все в плесени, а брата зовут Родерик, и у него такое больное воображение, что он может сочинять стихи не задумываясь, и он смуглый и привлекательный, и у него очень большие глаза и тонкий еврейский нос, точь-в-точь как у сестры — они близнецы, а ее зовут леди Магдалина, и они оба очень больны такой загадочной нервной болезнью, а у нее бывают приступы каталепсии...» И так далее, пока мы спускались по мураве холма под звездным небом,— отрывки из По, сдобренные жаргоном школьников двадцатых годов. И вот мы выбрались на дорогу, которая вела к темной стене леса. Тем временем бедняжка Магдалина умерла, а юный мистер Ашер слонялся среди гобеленов и плесени в начальной стадии помешательства. И немудрено! «Разве не говорил я, что мои чувства изощрены? — интригующим шепотом вопросила Рут.— Теперь говорю вам: я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их много, много дней тому назад». Тьма вокруг нас стала гуще, и вдруг кроны деревьев сомкнулись над нами, и мы очутились под двойным покровом лесной ночи. То тут, то там в рваных прорехах листвы у нас над головой брезжила тьма посветлее, поголубее, а вставшие по обе стороны тропы стёны кое-где зияли таинственными провалами, в которых что-то смутно серело и отблескивало призрачным серебром. А как тянуло здесь мокрой гнилью! Как зябко льнула к щекам холодная сырость! Словно фантазии По обернулись зловещей явью. Похоже было, что мы вступили под своды фамильного склепа Ашеров. «И вдруг,— рассказывала Рут,— вдруг раздался такой металлический лязг, точно на каменный пол уронили щит, но вроде как приглушенный, будто бы он донесся далеко из-под земли, потому что, понимаете, под домом был огромен-

ный подвал, где хоронили всех из этого рода. А минутой позже она уже стояла в дверях — высокая, закутанная в саван фигура леди Магдалины Ашер. И на ее белых одеждах была кровь, потому что она целую неделю пыталась выбраться из гроба, потому что ее, сами понимаете, похоронили заживо. Живыми ведь часто хоронят,— пояснила Рут.— Из-за этого и советуют написать в завещании: не хороните меня, пока не прижжете мне подошвы докрасна раскаленным железом. Если я не очнусь, тогда порядок, можете начинать хоронить. А с леди Магдалиной так не сделали, а у нее был просто каталептический припадок, и очнулась она уже в гробу. А Родерик слышал ее все эти дни, но почему-то никому про это не сказал. И вот она пришла, вся белая и в крови, и стоит шатается на пороге, а потом она издала ужасный крик и рухнула к нему в объятия, и он тоже закричал, и...» Но тут поблизости, в кустах раздался громкий треск. Прямо на тропе перед нами вырос во тьме огромный черный силуэт. Рут отчаянно завопила, словно Магдалина и Родерик, вместе взятые. Вцепилась мне в руку и спрятала лицо у меня на плече. Призрак фыркнул. Рут взвизгнула снова. В ответ опять раздалось фырканье, затем удаляющийся стук копыт. «Лошадка заплутала»,— сказал я. Но колени у нее подкосились, и если бы я не поддержал ее и не опустил потихоньку на землю, она бы упала. Наступила долгая тишина. «Может, хватит сидеть во прахе? * — пошутил я.— Давай пойдем дальше».— «А что бы вы сделали, если бы это правда было привидение?» — наконец спросила она. «Я бы удрал и не возвращался, пока все не кончится». «Что значит — кончится?» — спросила она. «Ну ты же знаешь, что бывает с теми, кто увидит привидение,— ответил я.— Они или умирают на месте от страха, или седеют как лунь и сходят с ума». Но она не рассмеялась, как я думал, а обозвала меня чудовищем и ударилась в слезы. Слишком драгоценен был темный сгусток, выпавший в осадок из ее чувственного настоя под влиянием лошади, По и собственной фантазии, чтобы так легко с ним расстаться. Знаешь огромные леденцы на палочке, которые дети лижут целый день напролет? Таким был и ее испуг — забава на целый день; и она намеревалась взять от него все, лизать и лизать, пока не доберется в конце до самого сладкого. Мне понадобилось битых полчаса, чтобы поднять ее на ноги и привести в чувство. Когда мы пришли домой, ей уже давно пора было спать, и она отправилась прямиком в свою комнату. Я боялся, что ее замучат кошмары. Ничего подобного. Спала без задних ног, а утром спустилась к завтраку веселая, как жаворонок. Однако этот жаворонок не забыл По и по-прежнему интересовался червяками. После завтрака мы с нею выбрались на охоту за гусеницами и нашли нечто действительно потрясающее — большую личинку бражника, зеленую, в белых пятнышках, с рогом на конце. Рут ткнула ее палочкой, и бедная тварь в приступе бессильной злобы и страха выгнулась сначала в одну сторону, затем в другую. «Он корчится! корчится! — восторженно, нараспев продекламировала Рут,— мерзкою пастью испуганных гаеров алчно грызет, и ангелы плачут, и червь искаженный багряную кровь ненасытно сосет» *. Но теперь кристалл страха был не больше камушка на двадцатидолларовом кольце, какие дарят невестам в день помолвки. Картины смерти и разложения, которые она смаковала прошлой ночью ради их собственной горечи, превратились сегодня всего-навсего в приправу, и пряный аромат этой приправы мешался с вкусом жизни, лишь слегка дурманя девчушке голову. «Мерзкая пасть,— повторила она и снова ткнула зеленого червяка палочкой,— мерзкая пасть...» И в приливе восторга запела изо всей мочи: «Если б ты была единственной на свете...» Между прочим,— прибавил Риверс,— знаменательно, что всякая крупная резня в качестве побочного эффекта сопровождается этой гнусной песенкой. Ее придумали в первую мировую войну; вспомнили во время второй мировой и распевали с перерывами, пока шла бойня в Корее. Прилив сентиментальности совпадает с расцветом макиавеллистской политики силы и разгулом жестокости. Стоит ли быть за это благодарным? Или это долж-

но лишь повергать в отчаянье, когда думаешь о человечестве? Ей-богу, не знаю — а ты?

Я покачал головой.

— Ну так вот,— продолжал рассказывать он,— Рут запела «Если б ты была единственной на свете», потом, вместо следующей строчки: «А я был бы мерзкая пасть»,— затем оборвала песню и внезапным прыжком попыталась поймать Грампуса — кокер-спаниеля, но он увернулся и со всех ног помчался через луг, а Рут в азарте преследовала его по пятам. Я пошел за ними не торопясь и нагнал у небольшого холмика: Рут взобралась на него, а Грампус тяжело дышал у ее ног. Дул ветер, она стояла лицом к нему, словно статуэтка Победы Самофракийской: волосы сдуло назад, маленькое зарумянившееся личико обнажилось, короткую юбчонку трепало, как знамя, а блузка под порывами ветра плотно облегала спереди худенькое тельце, еще не оформившееся, совсем мальчишечье. Глаза у нее были закрыты, губы беззвучно шевелились, точно в молитве или заклинании. Когда я подошел, пес повернул голову и завилял обрубком хвоста; но Рут так глубоко погрузилась в транс, что не слыхала моих шагов. Потревожить ее было бы кощунством; поэтому я остановился чуть поодаль и тихо присел на траву. Вскоре я увидел, как губы ее разомкнулись в блаженной улыбке, а лицо словно засияло внутренним светом. Вдруг это выражение пропало; она тихо вскрикнула, открыла глаза и испуганно, ошеломленно огляделась кругом. «Джон! — радостно окликнула она, увидев меня, потом подбежала и опустилась рядом на колени.— Как хорошо, что вы здесь,— сказала она.— И Грампушка... Я уж думала...— Она замолкла и коснулась указательным пальцем кончика носа, губ, подбородка.— У меня все на месте?» — спросила она. «На месте,— подтвердил я.— Может, даже слишком». Она засмеялась, и то был скорее смех облегчения, нежели радости. «Меня чуть не унесло»,— призналась она. «Куда?» — спросил я. «Не знаю,— она покачала головой.— Этот ветрюга. Дует и дует. Все у меня из головы выдул — и вас, и Грампуса, и всех остальных, всех домашних, все школьные дела и все-все, что я знала, о чем думала ~~когда~~-нибудь. Все выдул, ничегошеньки не осталось — только ветер и ощущение, что живу. И оно тоже потихоньку улетучивалось, как и остальное. Дай я ему волю, этому и конца не было бы. Я бы полетела над горами и над океаном, наверное, прямо в одну из тех черных дыр между звездами, на которые мы смотрели вчера вечером.— Она содрогнулась.— Как вы думаете, я могла умереть? — спросила она.— Или впасть в летаргию, и решили бы, что я мертвая, а потом я бы проснулась в гробу». Мысли ее опять были заняты Эдгаром Алланом По. На следующий день она показала мне очередные жалкие вирши, в коих все вечерние ужасы и утренние восторги свелись к набившим оскомину гробницам и зарницам, ее любимому набору. Какая пропасть между *впечатлением* и *запечатлением!* Такова наша жалкая доля — чувствовать подобно Шекспиру, а писать о своих чувствах (конечно, если тебе не выпадет один шанс на миллион — *быть* Шекспиром), словно агенты по продаже автомобилей, или желторотые юнцы, или школьные учителя. Мы вроде алхимиков наоборот — одним прикосновеньем превращаем золото в свинец; касаемся чистой лирики своих переживаний, и она превращается в словесный мусор, в труху.

— Может, ты напрасно так идеализируешь наши переживания? — спросил я.— Разве это непременно чистое золото и чистая поэзия?

— Внутри золото,— подтвердил Риверс.— Поэзия по сути своей. Но, разумеется, если как следует погрязнуть в трухе и мусоре, который вываливают на нас глашатаи общественного мнения, станешь с самого начала исподволь загаживать свои впечатления; станешь пересоздавать мир в свете собственных понятий — а твои понятия, конечно же, суть чьи-нибудь еще; так что мир, в котором ты живешь, сведется к Наименьшим Общим Знаменателям твоей культурной среды. Но первичная поэзия никогда не исчезает. Никогда,— уверенно заключил он.

— Даже в старости?

— Даже и в старости. Конечно, если не потеряешь уменья возвращать утраченную чистоту.

— Что ж, удается тебе это, позволь узнать?

— Хочешь верь, хочешь нет,— ответил Риверс,— но порой удается. Или, быть может, вернее сказать, что порой это на меня находит. Например, вчера, когда я играл со своим внуком. Всякую минуту — превращенье свинца в золото, напыщенной менторской трухи в поэзию, такую же поэзию, какой была вся моя жизнь у Маартенсов. Каждое ее мгновенье.

— И в лаборатории тоже?

— Это были как раз одни из лучших мгновений,— ответил он мне.— Мгновенья за письменным столом, мгновенья, когда я возился с экспериментальными установками, мгновенья споров и дискуссий. Все это была идиллическая поэзия чистой воды, словно у Феокрита или Вергилия. Четверка молодых докторов философии в роли начинающих пастушков и Генри — умудренный опытом патриарх; обучая юнцов тонкостям своего дела, он рассыпал перлы мудрости, прял бесконечную пряжу историй о новом пантеоне теоретической физики. Он ударял по струнам лиры и заводил сказ о превращении косной Массы в божественную Энергию. Он воспевал безнадежную любовь Электрона к своему Ядру. Под наигрыш его дудочки мы узнавали о Квантах и постигали смутные намеки на тайны Неопределенности. Да, это была идиллия. Вспомни, ведь в те годы можно было работать физиком и не чувствовать за собой вины; в те годы ученые еще могли верить, что трудятся к вящей славе Господней. А теперь не удается прибегнуть даже к утешительному самообману. Тебе платит Военно-морской флот, за тобой следит ФБР. Они ни на минуту не дают забыть, что от тебя требуется. Ad majorem Dei gloriam? [1]* Как бы не так! Ad majorem hominis degradationem [2] — вот во имя чего ты работаешь. Но в двадцать первом году было еще далеко до адских машин. В двадцать первом мы еще были горсткой невинных простачков в духе Феокрита и наслаждались упоительным нектаром чистого научного поиска. А когда приходил конец радостям труда, я вез Генри домой на «максвелле», и там меня ожидали радости другого рода. Иногда это был Тимми, который размышлял над правилом тройки *. Иногда Рут, которая просто не могла поверить, что квадрат гипотенузы *всегда* равен сумме квадратов катетов. В данном случае пускай, тут она готова была согласиться. Но почему *в каждом?* Они шли за помощью к отцу. Однако Генри так долго вращался в сферах Высшей Математики, что забыл, как решать школьные задачки; а Евклид интересовал его лишь постольку, поскольку его геометрия служила классическим примером системы, имеющей в основе порочный круг. После недолгих путаных объяснений великий человек утомлялся и потихоньку покидал нас, предоставляя мне разбираться с Тимминой задачей методом чуть попроще, чем векторный анализ, разрешать сомнения Рут путем, не столь явно подрывающим веру в рациональность мира, как теории Гильберта или Пуанкаре. А потом, за ужином, была шумная радость детской болтовни — ребята рассказывали матери о том, что нынче случилось в школе; кощунственная радость наблюдать, как Кэти вклинивается в монолог об общей теории относительности, чтобы попенять Генри, опять позабывшему забрать из прачечной свои фланелевые кальсоны; плантаторская радость выслушивать комментарии Бьюлы или эпическая радость внимать ее подробным, натуралистическим описаниям забоя свиней в былые времена. А еще позже, когда дети ложились спать, а Генри уединялся наверху, в своем кабинете, меня ожидала главная радость — этой радостью были вечера с Кэти.

Риверс откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза.

---

[1] К вящей славе Господней *(лат.)*.

[2] К вящей деградации человеческой *(лат.)*.

— У меня незавидная зрительная память,— после краткой паузы произнес он.— Но обои, это уж точно, были розовые с коричневатым оттенком. А абажур наверняка красный. Да, он непременно должен был быть красным, потому что лицо ее так тепло светилось, когда она штопала у лампы наши носки или пришивала детям пуговицы. Красный отблеск падал ей на лицо, но не на руки. Руки работали на ярком, незатененном свету. Какие сильные руки! — добавил он, улыбаясь воспоминанию.— Какие умелые руки! Это тебе не вялые лилейные придатки благородных девиц! Настоящие руки, которые чудесно управлялись с отверткой; руки, которые умели починить любую вещь; руки, которые могли сделать хороший массаж, а если надо, то и отшлепать; руки, которые не имели себе равных в изготовлении домашнего печенья и не брезговали опорожнить помойное ведро. И вся она была под стать своим рукам. Ее тело — это было крепкое тело замужней женщины. Женщины с лицом цветущей девушки-селянки. Нет, не совсем так. У нее было лицо богини в облике цветущей девушки-селянки. Возможно, Деметры. Нет, Деметра слишком печальна. И Афродита не годится: в женственности Кэти не было ничего подавляющего или рокового, ничего вызывающе-сексуального. Если уж тут замешалась богиня, скорее всего, это Гера. Гера в образе деревенской пастушки — но пастушки с головой, пастушки с колледжем за плечами.— Риверс открыл глаза и вновь поднес ко рту трубку. Он все еще улыбался.— Я помню кое-какие ее замечания о книгах, которые я читывал вслух вечерами. Например, о Г. Дж. Уэллсе. Он напоминал ей рисовые поля в ее родной Калифорнии. Акры и акры сверкающей воды, но глубина нигде не больше двух дюймов. Или все эти леди и джентльмены из романов Генри Джеймса; она гадала, как им удавалось заставить себя сходить в уборную. И Д. Г. Лоуренс. До чего любила она его ранние книги! Всем ученым надо пройти специальные курсы по Лоуренсу, чтобы завершить образование. Как-то раз она сказала это на званом обеде одному ректору. Он был весьма знаменитый химик; и не знаю уж, post hoc или propter hoc [1] *, но жена его прямо-таки источала всеми порами концентрированную уксусную кислоту. Замечания Кэти далеко не всегда вызывали восторг.— Риверс издал короткий смешок.— А порою мы обходились без книжек: просто болтали,— продолжал он.— Кэти рассказывала мне о своем детстве в Сан-Франциско. О балах и вечеринках, где она перебывала, выйдя в свет. О трех юношах, влюбленных в нее без памяти,— один богаче другого и, если это возможно, каждый глупее предыдущего. В девятнадцать лет она была помолвлена с самым богатым и самым безмозглым. Купили приданое, начали приходить подарки к свадьбе. И тут в университет Беркли приехал по приглашению Генри Маартенс. Она попала на его лекцию о философии науки, а после лекции — на званый вечер, устроенный в его честь. Их познакомили. У него был орлиный нос, светлые, как у сиамского кота, глаза; он походил на сошедшего с портрета Паскаля, а его смех — на грохот тонны угля, когда ее вываливают в железный желоб. А то, что увидел он, почти превосходит воображение. В пору нашего знакомства Кэти исполнилось тридцать шесть, и она напоминала Геру. Девятнадцатилетней она, верно, сочетала в себе красоту Гебы, трех граций и всех Дианиных нимф, вместе взятых. А Генри, вспомни-ка, только что развелся с первой женой. Бедняжка! Она просто не нашла в себе сил справиться со всеми навязанными ей ролями: утолять страсть ненасытного супруга, ведать делами рассеянного чудака, быть секретаршей гения и утробой, плацентой для поддержания жизнедеятельности некоего психологического эмбриона. После двух абортов и нервного расстройства она собрала вещички и уехала к матери. Генри был выбит из колеи во всех своих амплуа — эмбриона, гения, чудака и любострастника — и искал женщину, способную выжить в симбиозе, где ей пришлось бы стать исключительно дающей стороной, а ему самому —

[1] После этого или вследствие этого *(лат.)*.

по-детски жадно и эгоистично берущей. Поиски шли уже чуть ли не целый год. Генри потихоньку отчаивался. И вдруг, точно по воле судьбы, появилась Кэти. Это была любовь с первого взгляда. Он загнал ее в угол и, позабыв обо всех остальных, завел с ней беседу. Не стоит и пояснять, что ему даже не пришло в голову, будто у нее могут быть собственные интересы и проблемы, он и не пытался заставить девушку разговориться. Он просто набросился на нее и выложил то, что в данный момент занимало его мысли. Это оказались последние достижения в области логики. Кэти, разумеется, не поняла ни слова; но его гениальность была столь очевидна, все это было до того поразительно, что прямо на месте, прежде чем вечер кончился, она подбила мать пригласить его на обед. Он пришел, завершил начатый накануне монолог и, поскольку миссис Хэнбери и прочие гости играли в бридж, углубился с Кэти в проблемы семиотики. Три дня спустя Одюбоновское общество * устроило пикничок, и они вдвоем уединились от остальной компании в каком-то овраге. И, наконец, однажды вечером отправились на «Травиату». Рам-там-там-ТАМ-ти-там,— Риверс напел тему прелюдии к третьему акту.— Тут уж не устоишь. Еще никому не удавалось. В кэбе, по дороге домой, он поцеловал ее весьма пылко и в то же время тактично, со знанием дела, к чему она была совершенно не готова после семиотики и прочих чудачеств. Теперь уже не осталось сомнений, что миляга Рэндольф помолвлен с нею по ошибке. Ну и переполох поднялся, когда она объявила, что намерена стать миссис Генри Маартенс! Какой-то полоумный профессор; за душой одно только жалованье, да к тому же разведенный, а по возрасту в отцы ей годится. Но все их возражения были абсолютно бесполезны. Их перетягивало единственное обстоятельство — то, что Генри принадлежал к другому виду, и именно этот вид, а не Рэндольфов — homo sapiens, а не homo moronicus [1],— теперь представлял для нее интерес. Через три недели после землетрясения они поженились. Жалела ли она когда-нибудь о своем миллионере? Это о Рэндольфе-то? Ответом на сей удивительно нелепый вопрос был искренний смех. Но вот его лошади, добавила она, вытирая слезы, лошади — дело другое. У него были арабские скакуны, а быки на ранчо — чистокровные херефорды, а за домом, там же, на ранчо — большой пруд, где плавали всевозможнейшие, божественной красоты утки и гуси. Самое плохое в участи жены бедного профессора, живущего в большом городе,— это полная невозможность улизнуть от людей. Конечно, среди них много прекрасных личностей, умниц. Но душе мало одних людей, ей нужны лошади, нужны поросята и водоплавающие. Рэндольф обеспечил бы ее любым зверьем, какого душа пожелает; однако непременным довеском был бы он сам. Она пожертвовала животными и выбрала гения — гения со всеми его недостатками. И, честно говоря, признала она со смехом (она говорила об этом отстраненно, с юмором), честно говоря, недостатков хватало. В своем роде, хотя и по совершенно иным причинам, Генри обнаруживал не меньшую тупость, чем сам Рэндольф. Круглый идиот там, где дело касается человеческих отношений, первостатейный осел в практической жизни. Но какой оригинальный осел, какой вдохновенный идиот! Генри мог быть абсолютно невыносимым; но это всегда окупалось. Всегда! И, возможно, добавила она в качестве комплимента, возможно, когда я женюсь, моя жена найдет основания сказать то же самое. Невыносим, но стоит того.

— А мне почудилось, ты говорил, что в ней не было подчеркнутой сексуальности,— заметил я.

— Правильно,— ответил он.— Ты думаешь, она закидывала крючок с наживкой из лести? Нет. Она просто констатировала факт. У меня имелись свои достоинства, но я тоже был невыносим. Двадцать лет, в течение которых мне забивали голову мертвыми знаниями, и жизнь с матушкой превратили меня в настоящее чудовище.— Загибая пальцы

---

[1] Человек слабоумный *(лат.)*.

на левой руке, он перечислил свои отрицательные черты.— Я был напичканный теориями простофиля; я был здоровый парень, не способный даже девчонке подмигнуть; я был занудой и втайне завидовал людям, чьего поведения не одобрял. И все-таки, несмотря ни на что, со мной можно было ладить. Я никогда ни на кого не держал зла.

— Ну, тут-то, сдается мне, об этом и речи не шло. Влюблен в нее был, наверное? — спросил я.

Наступило краткое молчание; затем Риверс спокойно кивнул.

— Ужасно,— сказал он.

— Но ты же не умел подмигивать.

— А это тебе не девчонка,— ответил он.— Это была жена Генри Маартенса. Какие уж тут подмигиванья. К тому же я состоял почетным членом семьи Маартенсов, и это превращало ее в мою почетную мать. Да не только в моральных принципах дело. У меня просто не возникало охоты подмигивать. Моя любовь была метафизической, едва ли не святой: так Данте любил Беатриче, так Петрарка любил Лауру. Правда, с небольшой разницей. В моем случае наблюдалась полная искренность. Я *жил* идеализмом. Никаких незаконнорожденных петрарчат. Никакой миссис Алигьери и никаких потаскушек вроде тех, к кому вынужден был прибегать Данте. Страсть сочеталась у меня с целомудрием — и то и другое в невероятной степени. Страсть и целомудрие,— повторил он и покачал головой.— К шестидесяти годам успеваешь позабыть, что это значит. Теперь я понимаю только слово, пришедшее им на смену,— равнодушие. Io sono Beatrice [1],— процитировал он.— Все суета, кроме Елены. Что ж? В преклонном возрасте тоже есть о чем поразмыслить.

Риверс притих; и вдруг, словно подтверждая его слова, в тишине отчетливо раздалось тиканье часов на каминной полке да потрескиванье дров, по которым пробегали языки пламени.

— Разве может человек всерьез верить в свою неизменную индивидуальность? — снова заговорил он.— В логике А равно А. Но в жизни — извините. Между мною нынешним и мною прежним громадное различие. Вот я вспоминаю Джона Риверса, влюбленного в Кэти. И вижу будто куколок на сцене, словно смотрю «Ромео и Джульетту» в перевернутый бинокль. Даже не так: словно смотрю в перевернутый бинокль на призраки Ромео и Джульетты. И Ромео, когда-то носивший имя Джона Риверса, был влюблен и чувствовал в себе, наверное, десятикратный прилив энергии и жизненных сил. А мир вокруг него — этот чудесно преображенный мир!

Я помню, как он любовался природой; все цвета были, несомненно, более яркими, очертанья предметов складывались в неописуемо прекрасные узоры. Я помню, как он глядел по сторонам на улице, и Сент-Луис, хочешь верь, хочешь нет, был самым славным городком на свете. Люди, дома, деревья, «форды» модели Т, псы у фонарных столбов — все было полно смысла. Какого, спросишь ты? Да своего собственного. Это была реальность, а не скопище символов. Гёте совершенно не прав. Alles Vergängliche ist ein Gleichnis? [2] Отнюдь нет! Каждая преходящая мелочь в каждый момент запечатлевает себя в вечности именно таковою. Смысл ее заключен в ее собственном бытии, а бытие это (что яснее ясного любому влюбленному) как раз и является Бытием с самой-пресамой Большой Буквы. За что ты любишь любимую? За то, что она *есть*. Собственно говоря, так ведь определяет себя Бог: Я есмь Сущий*. Женщина есть сущая. И доля ее сущности переливается через край, преображая вселенную. Тогда предметы и события — уже не просто представители классов, они обретают уникальность; это уже не иллюстрации к абстрактным именам, а конкретные вещи. Затем твоя любовь проходит, и вселенная с явственно различимым издевательским скрипом возвращается в прежнее бессмысленное состояние. Нельзя ли удержать ее

---

[1] Я — Беатриче *(итал.)*.

[2] Все преходящее подобно *(нем.)*.

от этого? Может быть. Наверное, тут нужна любовь к Богу. Однако,— добавил Риверс,— это уже из другой оперы. Возьмись мы толковать об этом, все наши респектабельные друзья станут издеваться над нами, а то и упекут в психушку. Так что давай-ка лучше вернемся обратно, прочь от этой опасной перспективы. Обратно к Кэти, обратно к тем последним незабвенным...

Он оборвал речь.

— Ты ничего не слышишь?

Теперь и я отчетливо различил какие-то звуки. Это был приглушенный расстоянием и сдерживаемый героическими усилиями плач ребенка.

Риверс поднялся, сунул трубку в карман, подошел к двери и открыл ее.

— Бимбо? — вопросительно окликнул он, а потом пробормотал себе под нос: — Как же он, чудачина, выбрался из своей кроватки?

В ответ послышались более громкие рыдания.

Джон вышел в прихожую, и мгновенье спустя раздались его тяжелые шаги на лестнице.

— Бимбо,— услышал я,— дружище Бимбо! Решил изловить Санта Клауса с поличным — так, что ли?

Плач взметнулся до трагически высокой ноты. Я встал и отправился наверх следом за хозяином. Риверс сидел на последней ступеньке, обняв гигантскими ручищами, высовывающимися из грубых шерстяных рукавов, крохотную фигурку в голубой пижаме.

— Это же дед,— повторял он.— Смешной старый дед. Бимбо с дедом друзья, верно? — Рыдания понемногу утихали.— А почему Бимбо проснулся? — спросил Риверс.— Почему вылез из кроватки?

— Собака,— произнес малыш и, вспомнив свой сон, заплакал опять.— Большая собака.

— Собаки — они смешные,— уверил его Риверс.— Собаки такие глупые, что ничего не могут сказать, кроме гав-гав. Подумай, сколько всего может сказать Бимбо. Мама. Пи-пи. Папа. Киска. Собаки не такие умные. Ничего не умеют. Только гав-гав.— Он залаял ищейкой.— Или тяв-тяв.— На сей раз это был комнатный шпиц.— Или вау-у-у! — Он взвыл забавно и жалобно. Малыш неуверенно, вперемешку со всхлипами засмеялся.— Вот и ладушки,— сказал Риверс.— Бимбо знай себе смеется над этими глупыми собаками. Только увидит какую-нибудь, только услышит ее дурацкое гавканье, и ну смеяться, ну заливаться! — Тут ребенок рассмеялся уже от души.— А теперь,— сказал Риверс,— Бимбо с дедом пойдут на прогулку.— По-прежнему держа ребенка в объятиях, он встал и побрел по коридору.— Здесь живет дед,— сказал он, раскрывая первую дверь.— Боюсь, что у меня мало интересного.— Следующая дверь была приоткрыта; он вошел внутрь.— А тут живут папа и мама. А вот шкаф, и в нем вся мамина одежда. Хорошо пахнет, правда? — Он громко потянул носом. Малыш последовал его примеру.— «Le Shocking de Schiaparelli»,— продолжал Риверс.— Или «Femme»? * Все равно, цель одна; секс, секс и секс — вот на чем держится мир, и, как мне ни жаль, бедняга Бимбо, очень скоро тебе предстоит убедиться в этом самому.— Он нежно потерся щекой о светлые шелковистые волосики мальчугана, затем подошел к большому, в полный рост, зеркалу на двери ванной.— Взгляни-ка на нас,— позвал он меня.— Нет, ты только глянь!

Я приблизился и стал рядом. Мы отражались в зеркале — двое согбенных, поникших стариков, а на руках у одного из них — маленькое, божественно-прекрасное дитя.

— Подумать только,— сказал Риверс,— подумать только, что когда-то все мы были такими. Сначала ты — кусок протоплазмы, годный лишь на то, чтобы поглощать и перерабатывать пищу. Потом из тебя получается вот такое существо. Почти сверхъестественно чистое и прекрасное.— Он снова прижался щекой к детской головке.— Дальше наступает противная пора прыщей и обретения половой зрелости. Потом, после двадцатилетнего рубежа, на пару лет становишься Праксителем.

Но у Праксителя вскоре появляется брюшко, начинают редеть волосы, и последующие сорок лет деградации постепенно превращают венец творенья в ту или иную разновидность человека-гориллы. Ты, например,— горилла субтильная. Я — красномордая. А бывает еще разновидность гориллы под названьем «преуспевающий бизнесмен» — ее представители похожи на детскую задницу со вставными зубами. А уж гориллы-самки, жалкие старухи с нарумяненными щеками и орхидеей на груди... Нет, давай не будем о них говорить, даже думать не будем.

Малыш зевнул под наши рассужденья, потом отвернулся, устроился головой на плече деда вместо подушки и смежил глаза.

— Наверное, его уже можно укладывать в кроватку,— прошептал Риверс и направился к двери.

— Очень часто,— проговорил он несколько минут спустя, когда мы уже смотрели сверху вниз на это маленькое личико, благодаря сну принявшее выражение неземной безмятежности,— очень часто мне бывает страшно жаль их. Они не ведают, что их ждет. Семьдесят лет подвохов и предательств, ловушек и обмана.

— И еще удовольствий,— вставил я.— Удовольствий, иногда переходящих в экстаз.

— Ну да,— согласился Риверс, отходя от кроватки.— Они-то и заманивают в ловушки.— Он потушил свет, мягко прикрыл дверь и стал спускаться за мной по лестнице.— Целый набор удовольствий. Секс, еда, сила, комфорт, власть, жестокость — вот их источники. Но в наживке всегда есть крючок; а не то, соблазнившись ею, ненароком дергаешь за веревочку, и на тебя падают кирпичи, выливается ведерко птичьего клея или что там еще припасет для тебя космический шутник.— Мы вновь заняли свои места по обе стороны камина в библиотеке.— Какие ловушки уготованы беззащитному, маленькому прекрасному созданию, спящему наверху в кроватке? Ужасно тяжело думать об этом. Единственным утешеньем может служить неведение до происшедшего и забвение — или, на худой конец, равнодушие — после. Любая сцена на балконе становится уделом карликов из другого мира! И венчает все, разумеется, смерть. А пока есть смерть, есть надежда *.— Он снова наполнил наши бокалы и раскурил трубку.— Где я остановился?

— На седьмом небе,— ответил я,— у миссис Маартенс.

— На седьмом небе,— повторил Риверс. И мгновенье спустя заговорил вновь: — Это продолжалось пятнадцать месяцев. С декабря до второй весны, если не считать десятинедельного перерыва, когда все семейство ездило в Мэн. Эти десять недель каникул, проведенных на родине, несмотря на привычную обстановку, на старания бедной матушки, превратились для меня вместо отдыха в пытку изгнанника. И я скучал не только по Кэти. Мне недоставало всех их: Бьюлы на кухне, Тимми с его поездами на полу, Рут и ее нелепых стихов, Генри с его астмой, с его лабораторией и удивительными монологами обо всем на свете. Каким блаженством было вернуться в этот рай в сентябре! Осенний Эдем, когда кружились листья, небо еще синело, золотые лучи солнца сменялись серебряными. Потом Эдем зимний, Эдем зажженных фонарей и дождя за окном, голых деревьев, вычерченных иероглифами на фоне заката. А потом наступила вторая весна, и пришла телеграмма из Чикаго. Заболела мать Кэти. Нефрит — причем до сульфамидов, до пенициллина оставались уже считанные дни. Кэти мигом собралась и как раз поспела к следующему поезду. Двое детей — трое, считая Генри,— остались на нашем с Бьюлой попечении. С Тимми у нас не было абсолютно никаких хлопот. Но прочие, скажу я тебе, с лихвой компенсировали его благоразумие. Поэтесса перестала есть пудинг на завтрак, не утруждала себя причесыванием, игнорировала домашние задания. Нобелевский лауреат поздно вставал по утрам, проваливал лекции, никуда не успевал вовремя. Были и другие выходки, посерьезнее. Рут расколошматила свинью-копилку и просадила годовые сбережения на набор

косметики и флакон дешевых духов. На следующий день после отъезда Кэти видом и запахом она напоминала Вавилонскую блудницу *.

— Это в честь Червя-победителя?

— С червями было покончено,— ответил он.— По устарел, подобно песенкам «Взгляни туда» или «Оркестрик Александера». Она зачитывалась Суинберном, она только что открыла стихи Оскара Уайльда. Мир переменился, да и сама она стала другой — другой поэтессой с полностью обновленным лексиконом... Сладость греха; яшмовые коготки; биенье алых жил; соблазны и цветы порока; ну, и уста, разумеется,— уста, впившиеся в уста, жестокие укусы, пока пена на губах не обретет вкуса крови,— короче, вся эта юношеская безвкусица поздневикторианского бунта *. А в случае с Рут новая лексика сопровождалась новыми обстоятельствами. Она уже не была мальчуганом в юбке и с косичками; это была расцветающая женщина, которая обходилась с наметившейся у нее грудью так осторожно, точно ей доверили двух чрезвычайно редких, но весьма опасных и требующих бережного обращения зверьков. Можно было заметить, что они являлись источником гордости, смешанной со стыдом, приятных переживаний, а значит, и растущего чувства вины. До чего все-таки груб наш язык! Если умалчиваешь о физиологической стороне эмоций, грешишь против фактов. А если говоришь о ней, это выглядит как желанье прикинуться пошляком или циником. Страсть или тяга мотылька к звезде, нежность, или восхищение, или романтическое обожание — любовь всегда сопровождается какими-то процессами в нервных окончаниях, коже, слизистой оболочке, железах и пещеристой ткани. Те, кто умалчивает об этом,— лжецы. К тем, кто не молчит, приклеивают ярлык развратника. Тут, конечно, сказывается несовершенство нашей жизненной философии; а наша жизненная философия есть неизбежный результат свойств языка, абстрактно разделяющего то, что в реальности всегда нераздельно. Он разделяет и вместе с тем оценивает. Одна из абстракций «хороша», а другая «плоха». *Не судите, да не судимы будете.* Но природа языка такова, что не судить мы не можем. Иной набор слов — вот что нам нужно. Слов, которые смогут отразить естественную цельность явлений. Духовно-слизистый, к примеру, или дерматолюбовь. А чем плохо, скажем, сосцетическое? Или нутромудрость? Если, конечно, лишить их скабрезной невразумительности научных терминов и перевести в ранг каждодневно употребляемых в разговоре, а то и в лирической поэзии. Как сложно, не имея этих несуществующих слов, описать даже то, что происходило с Рут, хотя это так просто и понятно! Лучшее, что здесь можно придумать,— это барахтаться в метафорах. Есть насыщенный раствор чувств, и причина его кристаллизации может возникнуть как внутри, так и вовне. Слова и события падают в эту психофизическую болтушку, и в ней образуются сгустки эмоций и переживаний, зовущие к действию. Потом развиваются железы, что приводит к появлению тех самых очаровательных маленьких зверьков, которыми ребенок так гордится и которые так стесняют его. Раствор чувств обогащен новым типом ощущений, они проникают от сосков, через кожу и нервные окончания в душу, в подсознательное, в сверхсознательное, в область духа. И эти новые очаги душевного напряжения личности как бы сообщают раствору чувства движение, заставляют его течь в определенном направлении — к абсолютно неизведанной, полной загадок сфере любви. Волею случая в этот текущий к любви поток чувства попадают разные центры кристаллизации — слова, события, пример других людей, собственные фантазии и картины из прошлого,— тут замешаны все бесчисленные изобретения, при помощи коих парки ткут нить неповторимой человеческой судьбы. Рут не повезло — она сменила По на Элджернона и Оскара, «Червя-победителя» — на «Долорес» * и «Саломею» *. Сия новая литература вкупе с параллельно произошедшими физиологическими изменениями, точно неумолимый рок, заставила бедное дитя залепить рот губной помадой и выполоскать комби-

нации в дешевых духах с поддельным запахом фиалки. Но это еще цветочки.

— Что, впереди была поддельная амбра?

— Куда хуже — поддельная любовь. Она втемяшила себе в голову, будто страстно, по-суинберновски влюблена; и в кого же — в меня!

— Она что, не могла выбрать кого-нибудь помоложе?

— Пробовала,— ответил Риверс,— да не вышло. Мне поведала эту историю Бьюла, которой она доверилась. Короткий и трагический рассказ о пламенной любви пятнадцатилетней девочки к непобедимому юному футболисту и гордости школы, герою семнадцати лет. Она-то выбрала помоложе; но, к несчастью, в эту пору жизни два года представляют собой почти непреодолимую пропасть. Юного героя интересовали только достигшие той же степени зрелости — восемнадцатилетние, семнадцатилетние, на худой конец — хорошо развитые шестнадцатилетние. Маленькой худенькой пятнадцатилетней девчонке вроде Рут рассчитывать было не на что. Она оказалась в положении викторианской девицы низкого происхождения, безнадежно сохнущей по герцогу. Долгое время юный герой вообще не замечал ее; а когда она все-таки заставила себя заметить, он воспринял это как забаву, а кончил грубостью. Вот тогда-то она и начала уверять себя, что влюблена в меня.

— Но если семнадцатилетний оказался недосягаемо возмужалым, почему она переключилась на двадцативосьмилетнего? Почему не на шестнадцатилетнего?

— Тому было несколько причин. Ее отвергли публично, и выбери она вместо футболиста какого-нибудь прыщавого мальчишку, подруги в глаза выражали бы ей сочувствие, а за глаза смеялись бы над нею. Поэтому другой школьник на роль возлюбленного не годился. Но у нее не было знакомых молодых людей, кроме ребят из школы и меня. Выбора не оставалось. Коли уж ей приспичило влюбиться — к этому подталкивали произошедшие в ней физиологические изменения, а ее новый словарь превратил любовь прямо-таки в категорический императив *,— то объектом должен был стать я. Собственно говоря, началось это еще за несколько недель до отъезда Кэти в Чикаго. Я подметил кое-какие предварительные симптомы — она краснела, погружалась в молчание, неожиданно и без причины выходила из комнаты посреди разговора, ревниво мрачнела, если ей чудилось, что я предпочитаю общаться не с ней, а с матерью. А еще были, конечно, любовные стихи, которые она упорно продолжала мне показывать, несмотря на взаимную неловкость. Розы и слезы. Ласки и маски. Страданья и желанья. Грудь, жуть, прильнуть, вздохнуть. Пока я читал, она напряженно следила за мною, и это не было обычным беспокойством новичка-стихоплета, ожидающего трезвой критики; это был влажный, выразительный, затуманенный взор преданного спаниеля, Магдалины на картине времен Контрреформации, жертвы, с готовностью распростершейся у ног своего синебородого властелина. Это страшно действовало мне на нервы, и я иногда подумывал, не лучше ли будет всем нам, если я открою Кэти, что происходит. Но в таком случае, размышлял я, если мои подозрения необоснованны, я окажусь в дурацком положении; если же они верны, у бедняжки Рут могут быть неприятности. Лучше уж помалкивать и ждать, пока ее глупое увлечение пройдет само собой. Лучше продолжать делать вид, будто литературные опусы не имеют ничего общего с действительностью и чувствами автора. Так все и развивалось — подспудно, словно движение Сопротивления, словно Пятая колонна,— пока не уехала мать. Возвращаясь с вокзала домой, я тревожно думал, что же случится теперь, когда исчез сдерживающий фактор — присутствие Кэти. Ответ был получен на следующее утро — нарумяненные щеки, губы цвета переспелой клубники и эти духи, этот аромат дешевого притона!

— И соответствующее поведение?

— Я, конечно, ожидал этого. Но, как ни странно, на первых порах ничего не произошло. По-видимому, Рут не спешила *разыгрывать* новую

роль; ей достаточно было лишь *наблюдать* себя в этой роли. Она довольствовалась приметами и внешними свидетельствами высокой страсти. Надушив нижнее белье, любуясь в зеркале нещадно изуродованным личиком, она ощущала себя новой Лолой Монтес *, не стремясь шевельнуть и пальцем, чтобы подтвердить свои притязания на этот образ. А образ этот демонстрировало ей не только зеркало, тут замешалось и общественное мнение: изумленные, завистливые и язвительные сверстники, скандализованные учителя. Их взгляды и замечания служили опорой ее собственным фантазиям. Чудо стало известно не ей одной; другие люди тоже признали, что она превратилась в grande amoureuse, femme fatale [1] Все это было так ново, волнующе и захватывающе, что до поры, благодарение небу, обо мне почти забыли. Кроме того, я нанес ей непростительную обиду, отнесясь к ее последнему перевоплощению без должной серьезности. Это произошло в самый первый день наступившей свободы. Я спустился вниз и застиг Рут и Бьюлу за жарким спором. «Такая симпатичная девочка,— выговаривала ей старушка.— Постыдилась бы!» Симпатичная девочка попробовала привлечь меня на свою сторону: «Вы-то не считаете, что мама будет против моей косметики, правда?» Бьюла не дала мне ответить. «Я тебе скажу, что сделает твоя мать,— уверенно и с безжалостной прямотой сказала она,— как увидит это безобразие, так сядет на диван, возьмет тебя в охапку, спустит штаны и всыплет по первое число». Рут оглядела ее с холодным и высокомерным презрением и заметила: «Я не к тебе обращаюсь». Потом повернулась ко мне: «А что скажете вы, Джон? — Клубничные губы изогнулись в попытке изобразить обворожительную улыбку, пылкий взор стал еще более многообещающим.— Что скажете *вы?»* Только ради самозащиты я ответил ей честно. «Боюсь, что Бьюла права,— сказал я.— По первое число». Улыбка увяла, глаза потемнели и сузились, под алой краской на щеках проступил натуральный сердитый румянец. «Ну, тогда вы просто гадкий»,— выпалила она. «Гадкий! — откликнулась Бьюла.— Это кто ж это гадкий, скажите на милость!» Рут нахмурилась и закусила губу, делая вид, что не замечает ее. «Сколько лет было Джульетте?» — спросила она, предвкушая свое торжество. «Годом меньше, чем тебе»,— ответил я. Лицо ее расцвело насмешливой улыбкой. «Только Джульетта,— продолжал я,— не ходила в школу. Ни уроков, ни домашних заданий. Никаких забот, кроме мыслей о Ромео да о косметике — если она ею пользовалась, хотя это весьма сомнительно. А у тебя есть алгебра, есть латынь и французские неправильные глаголы. Тебе дана неоценимая возможность в один прекрасный день стать культурной молодой женщиной». Наступила долгая тишина. Потом она сказала: «Я вас ненавижу». Это был вопль разъяренной Саломеи, Долорес, впавшей в праведное негодование, ибо ее по ошибке приняли за пигалицу из средней школы. Потекли слезы. Смешиваясь с черной накипью туши для ресниц, они прокладывали себе путь сквозь аллювиальные наслоения румян и пудры. «Свинья вы,— рыдала она,— свинья!» Она утерла глаза; потом, заметив на платке жуткую мешанину, вскрикнула от ужаса и кинулась наверх. Через пять минут, спокойная и без всякой косметики, она уже направлялась в школу. Это-то и послужило одной из причин,— объяснил Риверс,— благодаря которым наша grande amoureuse обращала так мало внимания на предмет своей страсти, почему в первые две недели после своего появленья на свет femme fatale больше предпочитала заниматься собою, нежели тем несчастным, кому сценарист этого спектакля отвел роль жертвы. Она устроила мне проверку и нашла меня, к сожалению, абсолютно недостойным сей ответственной роли. В ту пору ей показалось лучше разыгрывать пьесу одной. Так что по меньшей мере до конца текущей четверти я получил передышку. Но тем временем наступила черная полоса у моего нобелевского лауреата.

Через три дня самостоятельной жизни Генри улизнул на вечеринку

---

[1] Знаменитая любовница, роковая женщина *(франц.)*.

к одной музыковедше, отличавшейся богемными вкусами. В умении пить былинки, ветром колеблемые, не могут сравниться с настоящими джентльменами. Дабы достичь приличной степени опьянения, Генри вполне хватало чая и обыкновенной беседы. Мартини делал его маньяком, затем он внезапно погружался в депрессию, после чего неизбежно следовала рвота. Он, разумеется, помнил это, но его ребяческая натура требовала утверждения своей независимости. Кэти иногда разрешала ему выпить хереса. Ладно же, он ей покажет: пусть знает, что настоящие мужчины в грош не ставят этот дурацкий сухой закон. Без кота мышам раздолье. И они (такова уж любопытная извращенность человеческой натуры) тут же затевают игры, одновременно и скучные, и опасные; игры, в которых проиграть кажется унижением, а решительная победа заставляет искренне пожалеть о своей удаче. Генри принял приглашение музыковедши, и, разумеется, случилось то, что должно было случиться. На середине второго бокала он уже веселил всех присутствующих. По осушении третьего держал музыковедшу за руку и говорил ей, что он несчастнейший человек на свете. А едва начав четвертый, был вынужден сломя голову мчаться в ванную. Но этим дело не кончилось; по дороге домой — он настоял, что пойдет пешком,— Генри умудрился потерять портфель. В нем были три первые главы его новой книги «От Буля * к Витгенштейну *». Даже теперь, поколенье спустя, она остается лучшим введением в современную логику. Маленький шедевр! И она вышла бы, возможно, еще лучше, если бы он не напился и не потерял три главы в их первоначальном варианте. Я сожалел о потере, но приветствовал ее отрезвляющее действие на беднягу Генри. Несколько дней после этого он был прямо шелковый, вел себя почти так же благоразумно, как малыш Тимми. Я уж думал, конец моим заботам, тем более что, судя по сообщениям из Чикаго, Кэти должна была скоро вернуться домой. Силы ее матери, видимо, иссякали. Иссякали так быстро, что однажды утром, по пути в лабораторию, Генри попросил меня заехать к галантерейщику: он хотел купить себе черный галстук для похорон. Затем электрическим шоком грянуло известие о чуде. В последний миг, не упав-таки духом, Кэти пригласила другого врача — молодого человека, только что из заведения Джонса Хопкинса *, блестящего, неутомимого, владеющего всеми медицинскими новинками. Он применил иной метод лечения, он боролся со смертью всю ночь, весь день и всю следующую ночь. И битва была выиграна; пациентка, стоявшая на краю гибели, вновь вернулась к жизни. В письме Кэти ликовала, и я, конечно же, разделял ее ликование. Старая Бьюла хлопотала по дому, громко восхваляя Господа, и даже дети ненадолго отвлеклись от своих занятий и проблем, от своих сексуальных и железнодорожных фантазий, и примкнули к общей радости. Счастливы были все, кроме Генри. Разумеется, он прикидывался счастливым; но сумрачное лицо (он никогда не умел скрывать свои истинные чувства) выдавало его. Он рассчитывал, что смерть миссис Хэнбери вернет ему его секретаршу и сожительницу, мать и возлюбленную в одном лице. И вот — неожиданно и совершенно некстати (другого слова не подберешь) — в дело встревает этот молодой хлюст от Джонса Хопкинса со своим дурацким чудом. И человек, которому полагалось тихо-мирно угаснуть, теперь, противу всех правил, находится вне опасности; но, конечно, еще слишком слаб, чтобы оставить его без поддержки. Кэти придется побыть в Чикаго до тех пор, пока больная немного не окрепнет. Одному Богу известно, когда к Генри вернется единственное существо, от которого он зависел целиком и полностью — зависело его здоровье, его здравомыслие, сама его жизнь. Несбывшаяся надежда послужила виновницей нескольких приступов астмы. Но тут, словно вмешалась судьба, мы получили сообщение об избрании его членом-корреспондентом одного французского института. Чрезвычайно лестно! Это вылечило его моментально, но ненадолго. Минула неделя, и с каждым следующим днем его чувство утраты перерождалось в настоящие страдания, похожие на муки отлу-

ченного от иглы наркомана. Эти муки находили разрядку в диком, неоправданном негодовании. Подлая старая ведьма! (В действительности мать Кэти была двумя месяцами младше его.) Гнусная симулянтка! Ведь само собой разумеется, хворь у нее не настоящая — кабы хворала по-настоящему, так давно б уж померла. Она только прикидывается. Из чистой злобы и эгоизма. Хочет удержать дочь при себе, а заодно (она всегда ненавидела его, старая ведьма!) помешать ей находиться там, где велит долг,— при своем муже. Я кое-что рассказал ему о нефрите и заставил перечитать письма Кэти. Этого хватило на день-два, а затем пришли обнадеживающие известия. Больная так скоро поправлялась, что еще несколько дней — и ее без опаски можно будет оставить на попечение сиделки и горничной. Эта радость превратила Генри чуть ли не в нормального отца — таким я наблюдал его впервые. Вместо того чтобы после обеда скрыться у себя в кабинете, он затеял игры с детьми. Вместо разговоров о своих собственных идеях он попытался развлечь их плохими каламбурами и загадками. «Что делал слон, когда пришел Наполеон?» Разумеется, ел травку, потому что пришел на поле. Тимми был в восторге, и даже Рут удостоила нас улыбки. Минули еще три дня, и наступило воскресенье. Вечером мы играли в безик, а потом в дурачка. Пробило девять. Последний кон — и дети ушли наверх. Минут десять спустя они уже улеглись и позвали нас пожелать им спокойной ночи. Сначала мы заглянули к Тимми. «А эту знаешь? — спросил Генри.— Из какой рыбы получится итальянский город, если прочесть наоборот?» Ответ был, понятно, «налим», но Тимми едва ли слыхал о Милане и не выразил особенного восхищения. Мы потушили свет и отправились в соседнюю комнату. Рут взяла с собой в постель плюшевого медвежонка, который заменял ей и ребеночка, и сказочного принца. Она надела светло-голубую пижаму и тщательно накрасилась. Ее учитель объявил протест против румян и духов на уроках, но увещевания оказались напрасными, и тогда директор категорически запретил косметику. Поэтессе пришлось довольствоваться малым — раскрашенной и надушенной отходить ко сну. В комнате разило фиалками, а на подушке, по обе стороны от маленького личика, виднелись следы губной помады и туши. Однако Генри был не такой человек, чтобы замечать подобные пустяки. «Какое растение,— промолвил он, подходя к кровати,— или, точней, какая ягода вырастет, если закопать портрет своего бывшего возлюбленного?» — «Возлюбленного?» — повторила дочь. Она глянула на меня, покраснела и отвела взор. Затем выдавила смешок и сердитым, презрительным тоном ответила, что не знает. «Брусника,— торжествующе провозгласил отец; но она не поняла, и ему пришлось объяснить: — Бр-р! усни-ка. Ты что, не понимаешь, в чем соль? Это портрет возлюбленного — бывшего возлюбленного, а у тебя новый ухажер. И что же ты делаешь? Бросаешь старого».— «А почему «бр-р»?» — спросила Рут. Генри прочел ей краткую содержательную лекцию об употреблении междометий. «Бр-р» выражает отвращение, «фи» — брезгливость, «чур меня» — испуг. «Но никто никогда так не говорит»,— возразила Рут. «Зато раньше говорили»,— довольно кисло парировал Генри. Из глубины дома, со стороны хозяйской спальни, послышался телефонный звонок. Лицо его прояснилось. «Кажется, это Чикаго,— сказал он, наклоняясь к Рут и целуя ее на сон грядущий.— А еще мне кажется,— добавил он, спеша к двери,— что мама вернется завтра. Завтра!» — повторил он и исчез. «Вот будет замечательно,— истово воскликнул я,— если он угадал!» Рут кивнула и промолвила «да» таким тоном, словно сказала «нет». На ее узком накрашенном личике вдруг отразилось серьезное беспокойство. Без сомнения, она вспомнила, что пророчила ей Бьюла по возвращении матери; увидела и даже ощутила, как Долорес-Саломею, уложенную на большое материнское колено, награждают звонкими материнскими шлепками, невзирая на то, что она годом старше Джульетты. «Так я пошел»,— наконец произнес я. Рут взяла меня за руку и удержала. «Еще чуточку»,— взмолилась она, и с этими словами облик ее переменился. Мучи-

тельное беспокойство уступило место робкой улыбке обожания; губы раздвинулись, глаза раскрылись шире и заблестели. Словно она внезапно вспомнила, кто я такой — ее раб и безжалостный синебородый повелитель, то самое существо, на котором держится ее двойная роль роковой соблазнительницы и покорной жертвы. А завтра, если мать и впрямь вернется домой, будет уже поздно; представленье окончится, театр закроют по приказу полиции. Значит, теперь или никогда. Она сжала мне руку. «Я вам нравлюсь, Джон?» — неслышно прошептала она. «Конечно!» — ответил я звонким, жизнерадостным голосом профессионального затейника. «Больше, чем мама?» — допытывалась она. Я изобразил добродушное нетерпение. «Что за дурацкий вопрос! — сказал я.— Твоя мама нравится мне, как нравятся взрослые. А ты нравишься...» — «Как нравятся дети,— расстроенно заключила она.— Словно это имеет значение!» — «А разве нет?» — «Не в таких вещах». И когда я спросил, в каких «таких вещах», она сжала мою руку и сказала: «Когда человек нравится»,— подарив мне очередной многозначительный взгляд. Наступила неловкая пауза. «Ну, я пошел»,— наконец сказал я и вспомнил присказку, которая всегда чрезвычайно веселила Тимми. «Спи спокойно,— добавил я, высвобождая руку,— да гляди, блох в перине не буди». Шутка прозвучала в тишине так, будто грохнулась чугунная чушка. Она продолжала смотреть на меня без улыбки, напряженно-томным взором, который показался бы мне смешным, если б я не был напуган до полусмерти. «Так вы пожелаете мне спокойной ночи по-настоящему?» — спросила она. Я наклонился, чтобы запечатлеть у нее на лбу ритуальный поцелуй, и вдруг руки ее обвились вокруг моей шеи, и вышло, что уже не я целую ребенка, а ребенок целует меня — сначала в правую скулу, потом, с более явным намерением, ближе к уголку рта. «Рут!» — выпалил было я, но, не дав мне продолжить, она с какой-то неловкой решимостью поцеловала меня снова, на сей раз прямо в губы. Я вырвался из ее рук. «Зачем ты это сделала?» — испуганно и сердито спросил я. Она покраснела и, взглянув на меня, блестя огромными глазами, шепнула: «Я тебя люблю», потом отвернулась и зарылась лицом в подушку рядом с плюшевым медвежонком. «Так,— сурово сказал я.— Сегодня я в последний раз пришел пожелать тебе спокойной ночи»,— и повернулся уходить. Кровать скрипнула, босые ноги застучали по полу, и только я прикоснулся к двери, как Рут нагнала меня и схватила за руку. «Простите меня, Джон,— сбивчиво бормотала она.— Простите. Я сделаю все, что вы скажете. Все-все...» Глаза у нее теперь были совершенно как у спаниеля, в них не осталось ничего зазывного. Я велел ей лечь в постель и сказал, что, может, и сжалюсь над нею, если она будет очень хорошей девочкой. Иначе... С этой неопределенной угрозой я покинул ее. Сначала я зашел к себе и смыл с лица губную помаду, а потом направился дальше по коридору и по лестнице, в библиотеку. Едва миновав подъем, я чуть не столкнулся с Генри — он вышел из своих апартаментов. «Что новенького?» — начал я. Но тут увидал его лицо и ужаснулся. Пять минут назад он весело сыпал загадками. Теперь это был дряхлый старик, бледный, как смерть, однако лишенный посмертной безмятежности, ибо глаза его и страдальческие складки у губ выражали глубочайшую муку. «Что-нибудь неладно?» — испуганно спросил я. «Звонила Кэти,— наконец промолвил он безжизненным тоном.— Она не приедет». Я спросил, не хуже ли старой леди. «Это только предлог»,— горько ответил он, потом повернулся и пошел туда, откуда минуту назад вышел. Полный сочувствия, я двинулся следом. Помню, там был небольшой коридорчик, кончался он дверью в ванную, а дверь налево вела в спальню хозяев. Прежде я никогда не заглядывал сюда и теперь прямо остолбенел, оказавшись лицом к лицу с удивительной кроватью Маартенсов. Это была кровать старого американского типа с пологом на четырех столбиках и таких гигантских размеров, что невольно напомнила мне об убийствах президентов и национальных похоронах. Разумеется, у Генри она вызывала несколько иные ассо-

циации. Сей катафалк был его брачным ложем. Рядом с этим символом и ареной его супружеского счастья стоял телефон, только что приговоривший Генри к очередной полосе одиночества. Нет, супружество не совсем верное слово,— вскользь заметил Риверс.— Оно относится к связи двух полноценных личностей на равных правах. Но Кэти не была для Генри личностью; она служила ему пищей, являлась жизненно важным органом его собственного тела. В ее отсутствие он походил на корову без выгона, на больного желтухой, который изо всех сил пытается прожить без печени. Это была агония. «Может, приляжете?» — сказал я, бессознательно принимая льстиво-убедительный тон, каким говорят с больными. И сделал жест в сторону кровати. Последовала реакция, подобная ответу на нечаянный чих, когда взбираешься в горах по свежевыпавшему снегу,— лавина. И какая лавина! В ней и духу не было снежной девственной белизны — на меня обрушился жаркий, зловонный поток нечистот. Он ослепил, ошеломил, захлестнул меня. До сих пор пребывавший дурачком в раю запоздалой и абсолютно непростительной невинности, я слушал в ужасе, глубоко потрясенный. «Все ясно,— повторял он.— Все ясно как день». Ясно, что Кэти не вернулась домой оттого, что она не хочет возвращаться домой. Ясно, что она нашла себе другого мужчину. И ясно, что этот другой — новый врач. Ведь, как всем известно, врачи — хорошие любовники. Они знают физиологию, прекрасно разбираются в работе вегетативной нервной системы.

Мой ужас сменился негодованием. Как он смеет говорить такое о моей Кэти, об этой удивительной женщине, чистой и совершенной, подстать моему неземному чувству к ней? «Вы что, действительно предполагаете...» — заикнулся я. Но Генри ничего не предполагал. Он категорически утверждал. Кэти изменяла ему с молодым хлыщом от Джонса Хопкинса.

Я сказал ему, что он сошел с ума, а он ответил, что я ничего не смыслю в сексе. Это, разумеется, была горькая правда. Я попытался сменить тему. При чем тут секс — речь идет о нефрите, о матери, которой нужна дочерняя забота. Однако Генри не слушал. Единственное, чего он теперь жаждал,— это растравлять себя. А если ты спросишь, отчего ему понадобилось себя растравлять, я могу ответить только одно: оттого, что он уже страдал. Он был слабейшим, более зависимым членом симбиотического союза, который (как ему мерещилось) только что жестоко разрушили. Это напоминало хирургическую операцию без наркоза. Вернись Кэти, и муки тотчас же прекратились бы, душевная рана мгновенно исчезла. Но Кэти не возвращалась. Поэтому (замечательная логика!) Генри испытывал потребность причинить себе как можно больше дополнительных страданий. А самый простой способ достигнуть этого — облечь свое несчастье в терзающие душу слова. Говорить и говорить, разумеется, не со мной, ни даже в мой адрес; только с самим собой (что существенно, если хочешь помучиться) в моем присутствии. Отведенная мне роль не была даже ролью эпизодического персонажа вроде вестника или наперсницы. Нет, я служил безымянным, почти безликим придатком, чьей задачей было обеспечить герою повод для высказывания мыслей вслух; к тому же простым торчанием на месте я придавал звучащему монологу чудовищность, откровенную непристойность, которых не было бы, останься солист в одиночестве. Поток нечистот самопроизвольно ширился. От измены жены Генри перешел к ее выбору (самое гнусное обвинение) молодого партнера. Молодого, а значит, более сильного, более неутомимого в любовных утехах. (Это в придачу к тому, что он как врач знал физиологию и вегетативную нервную систему.) Личность, профессионал, прирожденный целитель — все исчезло; естественно, то же самое произошло и с Кэти. От них осталась лишь пара сексуальных фантомов, бешено упивающихся друг другом посреди вселенской пустоты. Я начал смутно осознавать, что раз Генри так представляет себе отношения Кэти и ее любовника, то и его собственные отношения с нею рисуются ему похожим образом. Я уже называл

Генри былинкой, ветром колеблемой; а такие былинки всегда склонны к пылкости, в чем ты и сам наверняка неоднократно имел случай убедиться. Они пылки до безумия. Нет, не так. Безумие ослепляет. А люди вроде Генри в любви никогда не теряют головы. Разум не покидает их, как бы далеко они ни зашли,— и благодаря этому они получают полную возможность упиваться сознанием взаимной отчужденности себя и партнера. И действительно, не считая лаборатории и библиотеки, это было единственное, что Генри считал достойным внимания. Многие живут в мире, напоминающем французский café au lait [1] — пятьдесят процентов снятого молока и пятьдесят бурды из цикория, половина психофизической реальности и половина общеупотребительного словесного мусора. Мир Генри был устроен на манер хайбола*. Он представлял собой смесь полупинты шипучих философских и научных идей и маленькой, с наперсток, дозы непосредственного житейского опыта, в основном сексуального. Былинки, ветром колеблемые, как правило, люди необщительные. Они слишком заняты своими идеями, своими переживаниями и своими психосоматическими болячками, чтобы сохранить способность интересоваться другими людьми — даже собственными детьми и женами. Они находятся в хроническом состоянии глубочайшего добровольного неведения, ничего ни о ком не знают, зато у них заранее готово мнение обо всем на свете. Взять хотя бы вопрос, как воспитывать детей. Генри с апломбом рассуждал об этом. Он читал Пиаже*, он читал Дьюи*, он читал Монтессори*, он читал психоаналитиков. Все это было рассортировано и разложено по полочкам у него в мозгу, словно в картотеке,— только руку протяни. Но если требовалось сделать что-нибудь для Рут и Тимми, он или оказывался абсолютно беспомощным, или, чаще всего, просто исчезал со сцены. Потому что, конечно же, они докучали ему. Все дети ему докучали. Это относилось и к подавляющему большинству взрослых. А как же иначе? Мыслительные способности были у них в зачаточном состоянии, читали они полную чепуху. Что они могли продемонстрировать? Только свои сантименты да свою мораль, только мудрость по случаю, а как правило — плачевное ее отсутствие. Словом, только свою человеческую природу. Но как раз этой-то штукой, человеческой природой, бедняга Генри был органически не способен заинтересоваться. Между царствами квантовой механики и гносеологии на одном конце спектра и сексом да болью на другом лежала пустынная область, которую населяли одни призраки. И среди этих призраков семьдесят пять процентов относились к нему самому. Потому что собственная человеческая природа тоже оставалась для него тайной за семью печатями. Его идеи и его ощущения — о них-то он знал все. Но каков сам человек, у которого возникают эти идеи, который переживает эти ощущения? И каковы связи этого человека с теми вещами и людьми, которые его окружают? Какими, наконец, должны быть эти связи? Сомневаюсь, что Генри когда-нибудь приходило в голову поразмыслить на подобные темы. Во всяком случае, в тот раз не пришло. Его монолог не был мучительными метаньями супруга между любовью и подозрениями. Тогда он был бы чисто человеческим откликом на чисто человеческую ситуацию — и как таковой никогда не прозвучал бы в присутствии столь неопытного и бестолкового слушателя, совершенно не способного сказать в ободрение что-нибудь путное, каким тридцать лет назад был юный Джон Риверс. Нет, реакция Генри оказалась явно недочеловеческой, и одною из подтверждающих это черт служил тот самый факт — верх чудовищности и неразумия,— что его речь произносилась в присутствии человека, которого не назовешь ни близким другом, ни мудрым советчиком, а всего только ошарашенным молодым недотепой с исключительно благочестивым прошлым и парой восприимчивых, хотя и готовых сгореть со стыда ушей. Ах, эти бедные уши! В них без передышки вливалась богато аргументированная наукообразная грязь.

---

[1] Кофе с молоком *(франц.)*.

Бертон * и Хевлок Эллис *, Крафт-Эбинг * и несравненные Плосс и Бартельс — все они, вместе с Пиаже и Джоном Дьюи, хранились на своих местах в картотеке, созданной Генри у себя в мозгу, и цитировались с мельчайшими подробностями. Но в этой области, как теперь выяснилось, Генри вовсе не устраивала роль кабинетного ученого. Он следовал научным рекомендациям в личной жизни, он систематически обращал теорию в практику. До чего же трудно вспомнить силу прежних табу, глубокую тайну, окутывавшую отношения полов,— ведь сейчас мы спокойно обсуждаем оргазм за тарелкой супа, а садистские сексуальные приемы — за вазочкой мороженого! Что касается меня, то все, о чем говорил Генри,— техника любовного акта, антропология брака, статистика сексуального удовлетворения — казалось мне откровеньем из бездны. Это были вещи, о которых порядочные люди не заикались, даже, как я наивно полагал, и не подозревали; вещи, которые годились для обсуждений и могли найти отклик только в борделях, на оргиях богачей, на Монмартре, в китайском или французском квартале. И вдруг я выслушиваю эти ужасные речи от человека, ценимого мною выше всех остальных, от человека, не знающего себе равных по интеллекту и научной эрудиции. И он связывал эти ужасы с именем женщины, которую я любил, как Данте любил Беатриче, перед которой преклонялся, как Петрарка перед Лаурой. Словно очевиднейшую вещь на свете, он утверждал, что у Беатриче ненасытные аппетиты, что Лаура нарушила брачный обет ради физических ощущений, которые легко мог вызвать у нее любой здоровый мерзавец с достаточным знанием вегетативной нервной системы. Даже не обвиняй он Кэти в неверности, его слова устрашили бы меня, ибо подразумевали, что эти ужасные вещи случаются не только благодаря измене, но и в обычной супружеской жизни. Вряд ли ты мне поверишь,— со смешком добавил Риверс,— но я говорю сущую правду. До рассказа Генри я не имел представления о том, что происходит между мужьями и женами. Вернее, представление-то у меня было, да только, как это ни грустно, ошибочное. Я считал, что, в отличие от подонков общества, порядочные люди сходятся лишь для того, чтобы зачать ребенка — раз в жизни, как сложилось у моих родителей, или дважды, как у Маартенсов. И вот передо мной, на краю своего катафалка, сидел Генри и говорил без остановки. Ясным языком гения, с ребяческой бестактной раскованностью говорил о непонятных и, на мой взгляд, страшно непристойных вещах, которые происходили под этим траурным пологом. А Кэти, моя Кэти, была его соучастницей — не жертвой, как я вначале безуспешно пытался убедить себя, а соучастницей, действующей с готовностью и даже с энтузиазмом. Ведь именно этот энтузиазм и дал ему повод подозревать ее. Потому что раз ее чувственность так откровенно проявлялась здесь, на домашнем катафалке, то еще откровеннее она должна была проявиться на Севере, в Чикаго, в альянсе с молодым врачом. И вдруг, к неописуемому моему смущению, Генри закрыл лицо руками и зарыдал.

Наступило молчание.

— А ты что? — спросил я.

— А что я мог предпринять? — пожал плечами он.— Ничего, кроме робких попыток утешить его неопределенным бормотаньем и советами лечь в постель. Завтра, мол, он поймет, что произошла огромная ошибка. Затем, якобы с целью принести ему горячего молока, я улизнул на кухню. Бьюла расположилась в кресле-качалке и читала какую-то книжонку о Втором пришествии. Я сказал ей, что доктор Маартенс плохо себя чувствует. Она выслушала, важно кивнула, словно ожидала этого, потом прикрыла глаза и долго шептала про себя молитвы — шевелились только ее губы. После чего вздохнула и промолвила: «Незанятый, выметенный и убранный» *. Такой ей был голос. И хотя в отношении человека, который мог бы заткнуть за пояс полдюжины обыкновенных умников, это звучало довольно странно, стоило чуть подумать, и слова эти показались бы как нельзя более точной характеристикой бедняги

Генри. Незанятый, потому что в нем не было Бога; выметенный, так что внутри не осталось ни соринки обыкновенного мужества; и, словно рождественская елка, убранный блестящими суждениями. Да и семь других духов *, похуже тупости и сентиментальности, тоже нашли себе там прибежище. Но тем временем вскипело молоко. Я наполнил термос и понес его наверх. Когда я ступил в спальню, мне на миг померещилось, что Генри удрал. Потом за катафалком раздались какие-то звуки. Генри стоял там, в закутке между окном и драпированной спинкой кровати, перед распахнутой дверцей маленького сейфа, вделанного в стену,— обычно эту дверцу прикрывал поясной портрет Кэти в свадебном наряде. «Вот и молоко поспело»,— фальшиво-жизнерадостно начал я. Но тут увидел, что предметом, который он извлек из потайного шкафчика, был револьвер. Сердце мое дало перебой. Я вдруг вспомнил, что на Чикаго есть полночный поезд. В моем воображении замелькали шапки послезавтрашних газет: «ЗНАМЕНИТЫЙ УЧЕНЫЙ УБИВАЕТ ЖЕНУ И СЕБЯ». Или: «НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ СОВЕРШИЛ ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО». Или даже: «МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ ПОГИБАЕТ В ПЛАМЕННЫХ ОБЪЯТИЯХ ЛЮБОВНИКА». Я поставил термос и, внутренне приготовясь, если понадобится, нокаутировать Генри слева в челюсть или коротким резким ударом в солнечное сплетение, пошел к нему. «Будьте любезны, доктор Маартенс»,— почтительно произнес я. Он отдал револьвер без борьбы, лишь слегка, бессознательно попытавшись удержать его. Спустя пять секунд оружие уже было надежно спрятано у меня в кармане. «Я только посмотреть,— тихим, бесцветным голосом сказал он. А потом, чуть помолчав, добавил: — Так чудно́ думать об этом». А когда я спросил, о чем, он ответил: «О смерти». И это был гениальный вклад великого человека в сокровищницу человеческой мудрости. Смерть — чудна́я штука, если подумать. Потому-то он никогда о ней и не думал — разве что в подобных случаях, когда страдания толкали его на поиски повода к еще большим страданиям. Убийство? Самоубийство? Эти мысли и в голову ему не приходили. Чего он искал в орудиях смерти — так это дополнительной муки, болезненного напоминания в разгар прочих страданий, что когда-нибудь потом, еще очень и очень нескоро, ему тоже придется умереть.

«Может быть, уберем это обратно?» — спросил я. Он кивнул. На маленьком столике рядом с кроватью лежало все, что он выгреб из сейфа, ища револьвер. Я принялся водворять вещи на место: шкатулку с драгоценностями Кэти, полдюжины коробочек с медалями, полученными великим человеком от разных ученых обществ, несколько набитых бумагами конвертов. И наконец, книги: все шесть томов «Психологии секса», «Фелицию» Андре де Нерсья * и брюссельский анонимный труд с иллюстрациями, озаглавленный: «Пансион мисс Флогги». «Ну вот, порядок»,— сказал я как мог весело и спокойно, запер сейф и вернул ему ключи. Потом поднял портрет и опять повесил его на крючок. Кто бы догадался, что за этим изображением мадонны в белом атласном платье с лилиями, в уборе из флёрдоранжа — ее удивительная красота сохранилась на портрете, несмотря на бездарность художника,— скрывается такая странная коллекция: «Мисс Флогги» и пачки ценных бумаг, «Фелиция» и золотые кругляшки, коими одаривает своих гениев не слишком благодарное общество?

Спустя полчаса я покинул его и отправился к себе в комнату — с каким невероятным облегчением, с каким блаженным чувством вырвавшись наконец из этого гнетущего кошмара! Но я не обрел покоя даже в собственной комнате. Первым, что бросилось мне в глаза, как только я зажег свет, был конверт, пришпиленный к подушке. Я вскрыл его и извлек пару розовых листочков. Это были любовные стихи от Рут. На сей раз рифмуя нежность и безнадежность, отвергнутая сообщала, что признанье счастья ей не принесло, лишь что-то там такое навлекло, и тень меж ней и милым пролегла. Для одного вечера это оказалось уж чересчур: гений прячет в сейфе порнографию; Беатриче по-

бывала в ученицах у мисс Флогги; а невинное дитя красится почем зря, бомбардирует молодых людей страстной чепухой и, если ее не остановит запертая дверь, того и гляди попытается перенести свои пыланья и метанья из плохих виршей в еще более скверную действительность.

На следующее утро я проспал и, сойдя вниз к завтраку, застал детей, почти покончивших с овсянкой. «Мама пока задерживается»,— сообщил я. Тимми искренне огорчился; но у Рут так вспыхнули глаза, что формально высказанное сожаление не могло скрыть ее радость. Я был сердит и оттого жесток. Достал из кармана ее стихи и положил на скатерть рядом с пончиком. «Чушь собачья»,— безжалостно сказал я. Потом, не взглянув на нее, вышел из комнаты и снова поднялся наверх поглядеть, как дела у Генри. В девять тридцать он должен был читать лекцию и мог опоздать, не разбуди я его вовремя. Однако в ответ на мой стук изнутри раздался слабый голос больного. Я вошел. На катафалк словно уже водрузили мертвеца. Я измерил ему температуру. Оказалось за сто один *. Ну что тут поделаешь? Я побежал вниз, на кухню, посоветоваться с Бьюлой. Старушка вздохнула и покачала головой. «Вот увидите,— сказала она.— Он заставит ее вернуться домой». И она поведала мне историю, случившуюся два года назад, когда Кэти отправилась во Францию посетить могилу убитого на войне брата. Не минуло и месяца со дня ее отъезда, как Генри заболел — и заболел так серьезно, что пришлось вызывать Кэти обратно телеграммой. Когда девятью днями позже Кэти вернулась в Сент-Луис, он уже еле дышал. Она вошла к нему в комнату, положила ладонь ему на лоб. «Истинно вам говорю,— выразительно изрекла Бьюла,— это было точь-в-точь воскрешение Лазаря *. Стоял ведь одной ногой в могиле, а тут — вжик! — разом обратно к жизни, точно на лифте. Через три дня он уже уплетал жареного цыпленка и тараторил без умолку. И теперь будет то же самое. Он заставит ее приехать домой, даже с риском ради этого отправиться на тот свет». И правда,— добавил Риверс,— он чуть было туда не отправился.

— Так болезнь оказалась настоящей? Разве он не ломал комедию?

— Как будто эти вещи противоречат друг другу! Разумеется, он ломал комедию, но это получалось у него так здорово, что он чуть не умер от пневмонии. Однако в ту пору я мало что смыслил в подобных штуках. У Бьюлы точка зрения была гораздо ближе к научной. Мною безоговорочно владел предрассудок, будто болезни вызываются микробами; она же верила в психосоматическую медицину. Итак, я позвонил врачу и опять направился в столовую. Дети закончили завтрак и ушли. С этого утра я не видал их добрых две недели: вечером, когда я вернулся из лаборатории, выяснилось, что Бьюла по совету врача собрала их и отправила погостить к приятелю-соседу. Меня избавили от стихов, от необходимости держать дверь на запоре. Это было огромное облегчение. Я позвонил Кэти вечером в понедельник, а потом — во вторник, сообщив, что нам пришлось нанять сиделку и поставить кислородную палатку. На следующий день Генри стало хуже; но звонок в Чикаго принес те же вести и о несчастной миссис Хэнбери. «Не могу я ее бросить,— в отчаянии твердила Кэти.— Не могу!» Для Генри, рассчитывавшего на ее возвращение, это оказалось едва ли не смертельным ударом. За два часа температура подскочила на целый градус, началась горячка. «Кому-то из них не жить — или ему, или миссис Хэнбери»,— сказала Бьюла и ушла к себе испросить указание свыше. Она получила его минут через двадцать пять. Миссис Хэнбери все равно умрет, а Генри выздоровеет, если вернется Кэти. Стало быть, ей необходимо вернуться. Врач убедил ее окончательно. «Не хочу вас пугать,— сказал он в тот вечер по телефону,— но...» Это решило дело. «Приеду завтра вечером»,— ответила она. Генри, похоже, добился-таки своего — правда, едва не хватив лишку.

Врач ушел. Сиделка осталась дежурить на ночь. Я отправился к себе. «Завтра приедет Кэти,— мысленно повторял я.— Завтра приедет

Кэти». Но какая — моя или Генри, Беатриче или любимая ученица мисс Флогги? Что же, гадал я, теперь все изменится? Разве можно после того потока нечистот сохранить свои чувства к ней? Эти вопросы мучили меня всю ночь и весь следующий день. Они преследовали меня и тогда, когда я после долгого ожидания услышал подъезжающее к дому такси. Моя Кэти или его? Ужасное предчувствие нахлынуло на меня и сковало по рукам и ногам. Я долго не мог заставить себя стронуться с места и выйти ей навстречу. Когда я наконец отворил наружную дверь, багаж уже стоял на ступеньках, а Кэти расплачивалась с шофером. Она повернула голову. Какой бледной показалась она мне в свете уличного фонаря, как похудела и устала! Но как же была прекрасна! Прекрасна, как никогда,— но прекрасна по-новому, так что у меня просто сердце разрывалось; и я почувствовал, что люблю ее с пылом, в котором тают последние следы грязных подозрений, сменяясь жалостью и неистовой тягой к самопожертвованию, отчаянным стремлением помочь и защитить, жизнь положить за нее. А как же монолог Генри и другая Кэти? Как же «мисс Флогги», и «Фелиция», и «Психология секса»? Мое жарко бьющееся сердце отвергло это как бессмыслицу или по крайней мере как нечто абсолютно постороннее.

Едва мы вошли в прихожую, из кухни выбежала Бьюла. Кэти обвила руками старушкину шею; долгих полминуты стояли они так в безмолвном объятии. Потом Бьюла чуть подалась назад и испытующе глянула на хозяйку в упор. И восторг на ее заплаканном лице постепенно сменился глубокой озабоченностью. «Да вы на себя не похожи,— воскликнула она.— Одна тень осталась. Вы уже почти как он». Кэти попробовала было отшутиться. Устала немножко, вот и вся беда. Но старушка убежденно покачала головой. «Это сила,— сказала она.— Сила вышла из вас. Как из возлюбленного Господа нашего, когда за него стали цепляться страждущие» *.— «Чепуха»,— ответила Кэти. Однако Бьюла говорила правду. Силы и впрямь покинули Кэти. Три недели у одра матери высосали из нее жизнь. Она была опустошена, от нее осталась только оболочка, одушевленная чистой волей. Но на одной воле далеко не уедешь. Воля не может переварить за тебя пищу или сбить тебе температуру — а уж другому-то и подавно. «Подождите до завтра,— взмолилась Бьюла, когда Кэти объявила о своем намерении сразу же отправиться к больному.— Вам надо поспать. Сейчас, в таком состоянии, вы ничем не сможете ему помочь».— «А в прошлый раз помогла»,— возразила Кэти. «Тогда было совсем по-другому,— настаивала старушка.— Тогда в вас была сила; вы не походили на тень».— «Да ну тебя с твоей тенью!» — чуть раздраженно произнесла Кэти; повернувшись, она отправилась вверх по лестнице. Я пошел следом.

Генри под кислородной палаткой не то спал, не то лежал без сознания. Его щеки и подбородок покрылись седой щетиной, нос на исхудавшем лице казался карикатурно огромным. Мы смотрели на него, и тут он медленно поднял веки. Кэти наклонилась над прозрачным окошком палатки и позвала его по имени. Он никак не отреагировал, в бледно-голубых глазах не отразилось даже намека на то, что он узнал или хотя бы заметил ее. «Генри,— повторила она,— Генри! Это я. Я приехала». Блуждающий взор остановился, и мигом позже в его глазах мелькнул слабый проблеск узнавания — но лишь мелькнул. Взгляд снова ушел в сторону, губы зашевелились; он опять вернулся к своим бредовым видениям. Чудо сорвалось; Лазарь по-прежнему лежал пластом. Наступила долгая тишина. Наконец Кэти уронила, тяжело, безнадежно: «Пойду-ка я лучше спать».

— А чудо? — спросил я.— Удалось ей совершить его на следующее утро?

— Как? В ней не осталось ни сил, ни жизни — одна воля да тревога. Еще вопрос, что хуже: самому страдать от тяжкого недуга или наблюдать, как тяжело страдает тот, кого ты любишь. Тут необходимо начать с определения слова «ты». Я говорю: ты тяжело болен. Но разве

речь и впрямь о *тебе?* Разве не идет она, по сути, о совершенно новой, ограниченной личности, которую создали жар и токсины? Личности без интеллектуальных запросов, без социальных обязанностей, без материальных интересов. А ведь любящая нянька остается собою, со всеми воспоминаниями о прежнем счастье, всеми страхами перед будущим, всеми тревожными думами о мире, который находится вне комнаты больного, вне этих четырех стен. И еще, насчет смерти. Как ты относишься к перспективе смерти? Если ты по-настоящему болен, то как бы отчаянно ты ни боролся за жизнь, неизбежно придешь к состоянию, когда какая-то часть тебя будет вовсе не прочь умереть. Все что угодно, только не эти муки, только не этот неописуемо унизительный, бесконечный кошмар перевоплощения в комок страдающей плоти! «Свобода или смерть». Но в данном случае это одно и то же. Свобода есть смерть есть обретение счастья — но, разумеется, лишь для больного, а отнюдь не для той, что любит его и ухаживает за ним. Она не имеет права на такую роскошь, как смерть, не может покориться и благодаря этому выйти из тюрьмы, куда заточена вместе с больным. Ее дело сражаться, даже если абсолютно ясно, что бой проигран; надеяться, даже если повод есть только к отчаянью; молиться, даже если Бог явно отвернулся от нее, даже если она наверняка знает, что Его нет. Ее может одолевать тоска и дурные предчувствия — но действовать она должна так, словно исполнена радостной и искренней уверенности в успехе. Она может потерять мужество, но должна по-прежнему поддерживать его в больном. Да к тому же у нее столько забот и хлопот, что это превышает физические возможности. И никаких передышек; она все время должна быть рядом, все время под рукой, все время давать и давать — пусть даже давать ей уже нечего, пусть даже она окончательно разорена. Да, разорена,— повторил он.— Что и произошло с Кэти. Разорилась дотла, но обстоятельства и собственная воля вынуждали ее растрачиваться дальше. И что уж совсем худо, траты эти ни к чему не приводили. Генри не выздоравливал, разве что не умирал. А она долгими, непрестанными усилиями спасти ему жизнь убивала себя. Шли дни — три дня, четыре, уже не помню сколько. А потом наступил день, которого я никогда не забуду. Двадцать третье апреля тысяча девятьсот двадцать второго года.

— День рожденья Шекспира.

— И мой тоже.

— Разве?

— Не в физическом смысле,— пояснил Риверс.— Тот в октябре. Нет, день моего духовного рождения. День моего превращения из слабоумного переростка в нечто более похожее на нормальное человеческое существо. Мне сдается,— добавил он,— что мы заслужили еще по капельке виски.

Он налил стаканы.

— Двадцать третье апреля,— повторил он.— Сколько потрясений пришлось на этот день! Накануне Генри плохо провел ночь, и ему стало заметно хуже. А около полудня из Чикаго позвонила сестра Кэти — сказать, что конец близок. Вечером мне нужно было прочесть доклад в одном из местных научных обществ. Домой я вернулся к одиннадцати и застал только сиделку. Она объяснила мне, что Кэти у себя в комнате, пытается заснуть хоть ненадолго. Помочь я все равно ничем не мог и тоже отправился спать.

Часа два спустя я очнулся от прикосновения — кто-то ощупью пробрался к моей кровати. В комнате стояла кромешная тьма; но я тут же уловил тонкий аромат фиалок, говорящий о незримом присутствии женщины. Я сел. «Миссис Маартенс?» (Я так и звал ее — «миссис Маартенс».) В воздухе витало гнетущее предчувствие. «Доктору Маартенсу хуже?» — встревоженно спросил я. Сразу ответа не последовало — только скрипнули пружины: это она присела на краешек кровати. По лицу моему скользнула бахрома испанской шали, накинутой на ее плечи, меня овеяло благоуханием. Внезапно я с ужасом заметил, что думаю о рас-

сказах Генри. Беатриче страдает от неутолимого желания, Лаура побывала в ученицах у мисс Флогги. Какое святотатство, какая страшная мерзость! Меня захлестнуло стыдом, но стыд тут же сменился глубочайшим раскаянием и самоуничижением: нарушив долгую тишину, Кэти ровным, невыразительным голосом сообщила мне, что снова звонили из Чикаго — ее мать умерла. Я пробормотал что-то в утешение. Опять раздался ровный голос. «Я пробовала заснуть,— сказала она,— не получается. Слишком устала». Послышался безнадежный, тяжелый вздох, и вновь наступила тишина.

«Вы никогда не видели, как люди умирают?» — наконец прозвучал опять бесстрастный голос. Но на военной службе мне не пришлось попасть во Францию, а когда умирал отец, я жил у бабки по матери. К двадцати восьми годам я знал о смерти так же мало, как и о другом могучем прорыве природной стихии в вербализованный мир, живого опыта в царство наших суждений и условностей — об акте любви. «Самое страшное — это разрыв с миром,— слышал я ее голос.— Сидишь, беспомощная, и видишь, как рвутся связи, одна за другой. Связь с людьми, связь с окружающими предметами, связь с языком. Они перестают замечать свет, перестают ощущать тепло, разучиваются дышать воздухом. И последней начинает слабеть связь с собственным телом. В конце концов человек повисает на одной только ниточке — и эта ниточка с каждой минутой делается все тоньше, тоньше». Голос сорвался; по тому, как глухо прозвучали последние слова, я понял, что Кэти закрыла лицо руками. «Одиночество,— прошептала она,— полное одиночество». Что умирающие, что живущие — каждый из них всегда одинок. В темноте раздался тихий всхлип, потом она судорожно, непроизвольно вздрогнула, вскрикнула чужим голосом. Она рыдала. Я любил ее, она жестоко страдала. И тем не менее все, что пришло мне на ум,— это сказать: «Не плачьте».— Риверс пожал плечами.— Если не веришь в Бога и загробную жизнь — а я, сын священника, конечно, не верил, разве только в переносном смысле,— что еще ты можешь сказать, столкнувшись со смертью? А в этом конкретном случае дело весьма осложнялось побочным щекотливым обстоятельством: я не мог решить, как называть Кэти. Ее горе и моя жалость к ней делали невозможным обращение «миссис Маартенс», но, с другой стороны, назвать ее по имени было бы бесцеремонно: так мог поступить лишь негодяй с целью воспользоваться несчастьем, памятуя о «мисс Флогги» и вылитых Генри помоях. «Не плачьте»,— все повторял я и, не отваживаясь назвать ее по имени и тем проявить свою нежность, положил робкую ладонь ей на плечо и неуклюже по нему похлопал. «Простите,— сказала она. И потом, сбивчиво: — Обещаю, что завтра возьму себя в руки.— И после очередного приступа рыданий: — С тех пор, как вышла замуж, я еще ни разу не плакала». Весь смысл этой последней фразы прояснился у меня в мозгу много позже. Женщина, которая позволяет себе плакать, никак не годилась бы в жены бедняге Генри. Его вечные недуги ни на миг не давали Кэти расслабиться. Но даже самая несокрушимая стойкость имеет предел. В ту ночь Кэти дошла до последней черты. Она потерпела полный крах — но в каком-то смысле могла быть благодарна этому краху. Все обернулось против нее. Однако в качестве компенсации ей была дарована передышка от ответственности, ей было дозволено — пусть лишь на несколько кратких минут — обрести в плаче столь редкое для нее блаженство. «Не плачьте»,— твердил я. Но на самом деле ей хотелось выплакаться, ей это было необходимо. Уж не говоря о том, что она имела на это полное право. Смерть окружала ее со всех сторон: она поразила ее мать; она угрожала вот-вот поразить ее мужа, а еще через сколько-то лет и ее самое, а еще через сколько-то и ее детей. Все они шли к одному и тому же — к постепенному разрыву связей с миром, к медленному, неуклонному перетиранию поддерживающих нитей и, наконец, к последнему падению — в полном одиночестве — в пустоту.

Где-то далеко, над крышами домов, часы пробили три четверти.

Этот звон был рукотворным довеском к оскорблению космического масштаба — символом непрестанного бега времени, напоминаньем о неизбежном конце. «Не плачьте»,— взмолился я и, забыв обо всем, кроме сострадания, переместил руку с ближнего плеча на дальнее и привлек ее поближе. Дрожа и рыдая, она прижалась ко мне. Пробили часы, безвозвратно утекало время, и даже живые совсем, совсем одиноки. Единственным отличием от усопшей в Чикаго, от умирающего в другом конце дома нам служило то, что мы могли быть одинокими в компании, могли сблизить два своих одиночества и притвориться, будто они слились в некую общность. Но тогда подобные мысли у меня, разумеется, не возникали. Тогда во мне не осталось места ни для чего, кроме любви и жалости да еще очень практического беспокойства о здоровье этой богини, которая вдруг превратилась в плачущего ребенка, моей обожаемой Беатриче, которая дрожала точно так же, как дрожат маленькие щенята,— я чувствовал это, бережно обнимая ее за плечи. Она закрыла лицо руками; я дотронулся до них, они были холодны как камень. И голые ноги холодны как лед. «Да вы совсем замерзли!» — почти негодующе воскликнул я. А затем, радуясь, что наконец-то появилась возможность претворить свою жалость в полезные действия, скомандовал: «Вы должны укрыться одеялом. Немедленно». Я представил себе, как заботливо укутываю ее, потом пододвигаю стул и, точно родная мать, тихо бодрствую, пока она отходит ко сну. Но только я попробовал выбраться из кровати, как она прильнула ко мне, она не желала меня отпускать. Я хотел было освободиться, принялся было протестовать: «Миссис Маартенс!» Но это напоминало стремление вырваться из рук тонущего ребенка, попытку одновременно и негуманную, и нереальную. К тому же она промерзла до костей, и ее била дрожь, которую она не могла унять. Я сделал единственное, что мне оставалось.

— То есть тоже лег под одеяло?

— Под одеяло,— повторил он.— И там меня обняли за шею две холодные голые руки, ко мне приникло дрожащее тело, сотрясаемое рыданьями.

Риверс отхлебнул виски и, откинувшись в кресле, долгое время молча курил.

— Правда,— наконец промолвил он,— вся правда и ничего, кроме правды. Все свидетели дают одну и ту же клятву и повествуют об одних и тех же событиях. Результат — пятьдесят семь литературных версий. Какая из них ближе к правде? Стендаль или Мередит*? Анатоль Франс или Д. Г. Лоуренс? «И потайные струи наших душ сольются в сиянье страсти золотóм»* или «Сексуальное поведение женщины»?

— А ты — знаешь ответ?

Он покачал головой.

— Может быть, тут нам пригодится геометрия. Опишем это событие в трехмерной системе координат.— Мундштуком трубки Риверс начертил перед собой в воздухе две линии под прямым углом друг к другу, потом провел из точки пересечения вертикаль, так что рука его с трубкой поднялась выше головы.— Пусть одной из этих осей будет Кэти, другой — Джон Риверс тридцать лет тому назад, а третьей — Джон Риверс нынешний, то бишь я сам. Итак, что мы можем сказать о ночи двадцать третьего апреля тысяча девятьсот двадцать второго года, поместив ее в эту систему отсчета? Разумеется, не всю правду. Но уж во всяком случае, гораздо больше правды, чем позволил бы нам любой отдельно взятый подход. Начнем с оси Кэти.— Он снова провел ее, и дым из трубки на миг обозначил перед ним эту расплывчатую линию.— Ось прирожденной язычницы, силою обстоятельств попавшей в такой переплет, что легко выбраться из него смог бы разве лишь ортодоксальный христианин или буддист. Ось женщины, для которой этот мир всегда был счастливым домом и которая оказалась вдруг на краю бездны, лицом к лицу со страшной черной пустотой, стремящейся поглотить ее тело и душу. Бедняжка! Она чувствовала себя покинутой — не Богом (ибо

монотеизм был органически чужд ей), но богами — всеми богами, от домашних малюток, ларов и пенатов *, до могущественных олимпийцев. Они покинули ее и забрали с собой все. Ей нужно было опять найти своих богов. Ей нужно было вновь стать частью природного, а потому божественного порядка вещей. Ей нужно было восстановить свои связи с жизнью — жизнью в ее простейших, наиболее недвусмысленных проявлениях, таких, как физические контакты с людьми, как ощущенье животного тепла, как сильное чувство, как голод и утоление голода. Речь шла о самосохранении. И это еще не все,— добавил Риверс.— Она плакала, горюя о матери, которая только что умерла, горюя о муже, который мог умереть завтра. А ведь между сильными переживаниями есть нечто общее. Злость чрезвычайно легко трансформируется в сексуальную агрессивность, а печаль, создайте ей только подходящие условия, почти незаметно выливается в самую восхитительную чувственность. После чего, конечно, приходит ниспосланный Им благословенный сон. Если человек понес тяжкую утрату, любовь заменяет ему снотворное или путешествие на Гавайи. Никто ведь не осудит вдову или сироту, буде они воспользуются этими невинными средствами, чтобы смягчить боль. Так стоит ли порицать их, если ради сохранения жизни или здоровья они прибегнут к другому, более простому методу?

— Я-то не порицаю,— уверил его я.— Но у многих иная точка зрения.

— Тридцать лет назад ее разделял и я.— Он провел трубкой вверх и вниз по воображаемой вертикали.— Ось занудного двадцативосьмилетнего девственника, ось лютеранского воспитанника и маменькиного сынка, ось идеалиста в духе Петрарки. На *этой* позиции мне не оставалось ничего иного, кроме как называть себя подлым соблазнителем, а Кэти... Вслух и вымолвить-то страшно. А вот Кэти, как истая богиня, считала все случившееся совершенно естественным, а стало быть, не видела тут ничего аморального. А если поглядеть отсюда,— и он изобразил ось нынешнего Джона Риверса,— я скажу, что оба мы были наполовину правы и оттого целиком заблуждались: она — стоя по ту сторону добра и зла на своей олимпийской позиции (а ведь олимпийцы были всего-навсего кучкой сверхъестественных животных, наделенных чудотворными способностями), а я — вообще не выходя за рамки добра и зла, по уши увязнув в слишком человеческих понятиях греха и социальных условностей. Правду сказать, ей следовало бы спуститься до моего уровня, а потом пойти еще дальше, по другую сторону; а мне следовало бы подняться на ее уровень и, не удовлетворившись этим, продолжать путь вперед, чтобы встретиться с нею там, где и вправду оказываешься вне рамок добра и зла, но не как сверхъестественное животное, а как преображенный человек. Достигни мы того уровня, вели бы мы себя иначе или нет? На это невозможно ответить. Да и не могли мы тогда его достигнуть. Она была богиней, временно попавшей в полосу несчастий и благодаря чувственности вновь нашедшей дорогу на утраченный Олимп. Я терзался, совершив грех тем более ужасный, что его сопровождало неимоверное наслаждение. Попеременно, а то и одновременно я бывал двумя разными людьми: новичком в любви, которому выпала огромная удача сойтись с женщиной и раскованной, и по-матерински нежной, необычайно ласковой и необычайно чувственной, и мучимым совестью страдальцем, который сгорал со стыда, превратившись, по прежним канонам, в раба худших своих страстей, и был шокирован, буквально оскорблен (ибо имел равную тягу как к покаянию, так и к осуждению) той свободой, с какой его Беатриче принимала внутреннюю прелесть этих контактов, его Лаура обнаруживала искушенность в любовной науке — и, что еще ужаснее, обнаруживала ее на мрачном фоне ухода людей из жизни. Миссис Хэнбери умерла, умирал Генри. По всем правилам ей следовало облечься в траур, а мне — предлагать утешаться философией. Но действительность, эта грубая, не знающая правил действительность...— На миг наступило молчанье.— Карлики,— задумчиво про-

молвил потом он, вглядываясь сквозь прикрытые веки в далекое прошлое.— Карлики из другого мира. Собственно, они и тогда не принадлежали к моему миру. Той ночью, двадцать третьего апреля, мы были в Мире Ином, она и я, на небесах беззвучной тьмы, где царили обнаженность, касанья и слияние. И что за откровения, что за пятидесятницы * изведал я на этих небесах! Ее нежданные ласки нисходили ко мне, словно ангелы, словно святые голуби *. И как нерешительно, как запоздало я отвечал на них! Губы мои едва отваживались шевельнуться, руки сковывал страх согрешить против моих представлений — вернее, представлений моей матушки — о том, какой полагается быть порядочной женщине, о том, каковы, собственно, и есть все порядочные женщины,— но, несмотря на это (что столь же отпугивало, сколь и пленяло), робкие мои прегрешения против идеала вознаграждались такими чудесными откликами, такой безграничной ответной нежностью, какой я не мог и вообразить. Однако над этим ночным Иным Миром возвышался враждебный ему посюсторонний — мир, в котором Джон Риверс двадцать второго года мыслил и чувствовал дневной порою; мир, где такие вещи были явным преступлением, где ученик обманывал наставника, а жена — мужа, мир, откуда наше ночное небо представлялось наимерзейшей скверной, а нисходящие ангелы — просто-напросто проявлениями похоти на фоне супружеской измены. Похоть и измена,— повторил Риверс с коротким смешком.— Как это старомодно звучит! Нынче мы предпочитаем говорить о порывах, необходимости, внебрачных связях. Хорошо это? Или плохо? Или все равно, что так называть, что иначе? Может быть, лет через пятьдесят Бимбо удастся найти ответ. А пока остается лишь констатировать факт, что на языковом уровне мораль есть всего-навсего регулярное повторение бранных слов. *Низко, мерзко, гадко* — вот языковые основы этики; и эти самые слова терзали меня часами, когда я лежал, глядя на спящую Кэти. Сон — тоже ведь Мир Иной. Еще более иной, чем царство прикосновений. От любви ко сну, от иного — к еще более иному. Это-то еще более иное и делает сон возлюбленной едва ли не священным. Беспомощная святость — вот что восторгает людей в младенце Христе; а тогда это наполняло меня огромной, невыразимой нежностью. Но тем не менее все это было низко, мерзко, гадко. Ужасный монотонный рефрен! Словно дятлы долбили меня чугунными клювами. Низко, мерзко, гадко... Но в тишине между двумя приступами этой долбежки я слышал тихое дыханье Кэти; и она была моей милой, погруженной в сон и беспомощной, и оттого священной в том Ином Мире, где любая брань и даже любые славословия были совершенно неуместны и лишены смысла. Что не мешало проклятым дятлам вновь набрасываться на меня с прежней жестокостью.

А потом, противу всех правил сочинительства и изящной словесности, меня, должно быть, одолел сон. Ибо вдруг обнаружилось, что уже светает, в окрестных садах щебечут птахи, а Кэти стоит рядом с кроватью и накидывает на плечи свою бахромчатую шаль. Какую-то долю секунды я не мог сообразить, откуда тут взялась миссис Маартенс. Потом вспомнил все — откровенья во тьме, неописуемые Иные Миры. Но сейчас было утро, и мы опять очутились в этом мире, и мне снова следовало звать ее миссис Маартенс. Миссис Маартенс, чья мать только что умерла, чей муж вот-вот умрет. Низко, мерзко, гадко! Как мне теперь осмелиться хоть однажды взглянуть ей в лицо? Но тут она повернулась и взглянула мне в лицо сама. Я едва успел заметить зарождающуюся на ее губах знакомую улыбку — ясную, открытую,— как мной овладел приступ стыда и смущенья, заставивший меня отвернуться. «Я надеялась, что ты не проснешься»,— прошептала она и, нагнувшись, поцеловала меня в лоб, словно ребенка. Я хотел сказать ей, что, несмотря на эту ночь, я преклоняюсь перед нею по-прежнему; что любовь моя столь же велика, сколь и раскаянье; что моя благодарность за происшедшее так же бесконечно глубока, как и решимость никогда больше не поступать подобным образом. Но слова не шли с уст; я онемел. Молчала и Кэти,

хотя совсем по другой причине. Если она не сказала ничего насчет случившегося, то лишь потому, что отнесла случившееся к разряду вещей, о которых лучше не говорить. «Уже седьмой час,— вот и все, что промолвила она, выпрямившись.— Мне надо пойти сменить эту бедняжку, сиделку Копперс». Потом повернулась, бесшумно отворила дверь и так же бесшумно прикрыла ее за собой. Я остался один, на растерзанье своим дятлам. Низко, мерзко, гадко; гадко, мерзко, низко... Когда зазвонил колокольчик к завтраку, я уже принял решение. Чтобы не жить во лжи, чтобы не порочить свой идеал, я должен уехать — навсегда.

В холле, по дороге в столовую, я налетел на Бьюлу. Она несла поднос с яичницей и беконом и напевала «Все твари, что под небом рождены»; при виде меня она расцвела лучезарной улыбкой и произнесла: «Возблагодарите Господа!» Я менее, чем когда-либо, был настроен благодарить Его. «Скоро мы узрим чудо»,— продолжала она. А на мой вопрос, откуда она это взяла, Бьюла ответила, что сию минуту видела в комнате у больного миссис Маартенс, и миссис Маартенс вновь стала прежней. Из тени превратилась в ту, какой была раньше. Сила вернулась к ней, а это значит, что доктор Маартенс скоро пойдет на поправку. «Вот она — благодать Божья,— сказала Бьюла.— Я молилась о ней день и ночь: „Боже Святый, осени миссис Маартенс Своей благодатью. Верни ей силу, чтобы доктор Маартенс выздоровел“. И вот это случилось — случилось!» — И, словно в подтверждение ее словам, на лестнице позади нас раздался шорох. Мы обернулись. Это была Кэти. Она надела черное платье. Благодаря любви и сну лицо ее разгладилось, а телодвиженья, вчера такие вялые, стоившие ей такого мучительного труда, были теперь столь же легки и плавны, столь же полны жизни, как до болезни матери. Она снова стала богиней — и траур не затмил ее чела, она блистала даже в печали и скорби. Богиня спустилась по лесенке, пожелала нам доброго утра и спросила, передала ли мне Бьюла печальное известие. На миг мне подумалось, что с Генри худо. «Это про доктора?..» — начал я. Она прервала меня. Нет, печальное известие о ее матери. И вдруг я сообразил, что в чужих глазах не должен знать о трагическом звонке из Чикаго. Кровь бросилась мне в лицо, и я отвернулся в страшном смятении. Ложь уже началась, и разве не погряз я в ней! Грустно, но спокойно богиня продолжала рассказывать о полуночном телефонном разговоре, о рыданиях сестры на другом конце провода, о последних мгновеньях затянувшейся агонии. Бьюла шумно вздохнула, сказала, что на все Божья воля и что она всегда так думала, потом сменила тему. «А как доктор Маартенс?» — спросила она. Мерили ему температуру? Кэти кивнула: мерили, и она явно упала. «Я же говорила! — торжествующе заметила мне старушка.— Это благодать Божья, так и знайте. Господь вернул ей силу». Мы пошли в столовую, сели и принялись за еду. Как припоминаю, с большим аппетитом. И еще я припоминаю, что этот аппетит произвел на меня весьма удручающее впечатление.— Риверс усмехнулся.— Как трудно не сделаться манихейцем*! Духовное выше телесного. Смерть — явление духовное, и на ее фоне яичница с беконом выглядит пошло, а любовь кажется откровенным надругательством. И однако же, вполне очевидно, что яичницей с беконом может обернуться Божья благодать, что любовь может послужить средством божественного вмешательства в дела смертных.

— Ты рассуждаешь, точно Бьюла,— возразил я.

— Потому что об этом по-другому не скажешь. Изнутри вдруг прорывается какая-то чудесная мощь, нечто явно значительнее тебя самого; прежде безразличные или просто неблагоприятные для тебя обстоятельства и события мгновенно, безо всякой причины оборачиваются твоим спасеньем — таковы факты. С ними сталкиваешься, их переживаешь. Но только примешься это описывать, как замечаешь, что говоришь языком верующего. Благодать, Соизволение, Наитие, Провидение — слова слишком громкие, они заранее дают ответ на любой вопрос. Но бывают случаи, когда без них не обойтись. Как с Кэти, например. По возвраще-

нии из Чикаго ее силы иссякли. Иссякли совершенно, так что она ничем не могла помочь Генри и ей была в тягость собственная жизнь. Другая на ее месте принялась бы молиться о ниспослании ей новых сил, и молитва могла возыметь действие — бывает ведь и такое. Абсурд, конечно, что и говорить,— однако же бывает. Да только не с людьми типа Кэти. Кэти и молиться-то не привыкла. Сверхъестественной была для нее Природа; божественное не являлось ни духовным, ни чисто человеческим; оно существовало в рощах, и солнечных лучах, и животных, оно жило в цветах, в кисломолочном запахе младенцев, в тепле и уюте свернувшихся калачиком детей, оно жило, конечно, и в поцелуях, в ночных откровениях любви, в более спокойном, но оттого не менее великолепном ощущении собственного здоровья. Она походила на женщину-Антея — непобедимая, пока стоит на земле, богиня, покуда сохраняет внутреннюю связь с высшей Богиней-матерью вне ее. Три недели ухода за умирающей разрушили эту связь. Ее восстановление и было благодатью, а случилось это в апрельскую ночь, двадцать третьего числа. Один час любви, пять-шесть часов в еще более ином мире, во сне,— и пустота заполнилась, тень заново обрела плоть и кровь. Она снова ожила — то есть не она, конечно: в ней ожило Неизвестное,— повторил он.— На одном краю спектра это чистый дух, Свободное Сияние Пустоты; на другом — это инстинкт, это здоровье, это безупречное функционирование организма, который не станет давать сбоев, если ему не мешать; а где-то посередине между двумя крайностями лежит то, что святой Павел называл «Христом»,— божественное, перешедшее в человеческое. Благодать духовная, благодать животная, благодать человеческая суть три проявления одной и той же всеобъемлющей тайны; по-настоящему нам должны быть доступны они все. Практически же мы изолируем себя от благодати вообще, а если и отворяем двери, то лишь для одной из ее форм. Чего, разумеется, недостаточно. Но лучше уж иметь треть пирога, чем сидеть вовсе без хлеба. Утро двадцать третьего апреля продемонстрировало это как нельзя более наглядно. Лишенная животной благодати, Кэти напоминала бесплотный призрак. Вновь обретя ее, она опять стала великолепным воплощением в одном лице Геры, Деметры и Афродиты, да еще с Эскулапом и Лурдским гротом * в придачу — потому что чудо определенно готово было свершиться. После трех дней на краю могилы Генри почуял в жене новую силу и пошел на поправку. Лазарь воскресал на глазах.

— В конечном счете, благодаря тебе!

— В конечном счете, благодаря мне,— повторил он.

— Le Cocu Miraculé [1]. Какой сюжет для французского фарса!

— Не лучше всякого другого. Эдип, или, к примеру, Лир, или даже Иисус, Ганди — история любого из них может послужить темой для умопомрительнейшего фарса. Стоит лишь описать героев со стороны, не проявляя к ним симпатии и пользуясь сочным, но не поэтическим языком. В действительности фарс существует лишь для зрителей, для участников же — никогда. То, что происходит *с ними,*— это либо трагедия, либо сложная и более или менее мучительная психологическая драма. Для меня, скажем, фарс чудесного исцеления рогоносца стал затянувшейся мукой нарушенной верности, конфликта любви и долга, борьбы с соблазнами, неизменно заканчивавшейся позорной капитуляцией, стыдливого упоения страстно отвергаемыми радостями, принятия благих решений, о которых я вскоре забывал, потом вспоминал снова и вновь отметал прочь в порыве неудержимого желания.

— Ты ведь, кажется, собирался уехать.

— Собирался, но это было до того, как я увидел на лестнице мою возрожденную богиню. Богиню в трауре. Эти свидетельства скорби поддерживали во мне сочувствие, религиозное обожание, рисовали чистый образ возлюбленной, достойной духовного преклонения. Но за

---

[1] Исцеленный рогоносец *(франц.)*.

черной розой на лифе подымалась грациозная шея; обрамленное завитками медового цвета лицо сияло неземной прелестью. Как там у Блейка?

Всяких женщин красит то же,
В чем блудниц очарованье —
Приметы утоленного желанья *.

Но приметы утоленного желанья неизбежно будят его вновь, обещают новое его утоление. Господи, как неистово я желал ее! И как глубоко раскаивался, как страстно презирал себя с высот своего идеализма! Вернувшись из лаборатории, я решил поговорить с ней начистоту. Но она оборвала меня. Разговоры были не ко времени и не к месту. Могла войти Бьюла или сиделка Копперс. Лучше уж вечером, чтобы не рисковать. Вечером она и впрямь пришла ко мне в комнату. В полутьме, в облаке исходящего от нее аромата я попытался высказать ей все мысли, какие мне не удалось высказать утром: что я люблю ее, но это нельзя; что никогда я не был так счастлив и в то же время так глубоко несчастен; что я буду вспоминать случившееся всю жизнь с самой пылкой благодарностью и что завтра я уложу чемоданы и уеду, и никогда, никогда больше ее не увижу. На этом месте мой голос дрогнул, и неожиданно для себя я зарыдал. На сей раз настала очередь Кэти сказать: «Не плачьте», предложить утешение в виде руки на плече, а потом и объятий; результат, естественно, воспоследовал тот же, что и предыдущей ночью. И даже более того: откровения были еще ослепительней, ко мне нисходили уже не простые ангелы, но Престолы, Господства, Власти *; а на следующее утро (нечего и говорить, что чемоданы я так и не уложил) наступило раскаянье под стать восторгам, дятлы мои рассвирепели в соответствующей степени.

— Ну, Кэти, я думаю, они не трогали.

— Она категорически отказывалась говорить на эту тему,— ответил Риверс.

— Но уж ты-то, наверное, не преминул?

— Рта не закрывал. Но в разговоре должны участвовать двое. Как только я пытался выложить то, что накипело у меня на сердце и не выходило из головы, она либо меняла тему, либо с легким смешком, снисходительно похлопав меня по руке, мягко, но решительно пресекала мои излияния. Я спрашиваю себя, не лучше ли было бы, если б мы сыграли в открытую: назвали вещи их собственными неблагозвучными именами и преподнесли друг другу на серебряной тарелочке свои трепещущие кишочки? Может, и лучше. А может, и нет. Правда раскрепощает; но, с другой стороны, не дразни собаку, так она и не укусит; или, раз собака не кусает, к чему ее дразнить? Никогда не следует забывать, что самые свирепые войны люди затевали не по материальным причинам; это были войны из-за чепухи, из-за болтовни красноречивых идеалистов,— короче говоря, религиозные войны. Откуда берется святая вода? Из святого колодца. А святая война? Из святой простоты — такая война есть триумф примитивной жестокости, результат одержимости неосмысленными символами.

«Что вы читаете, мой господин?» — «Слова, слова, слова» *. А что стоит за словами? Ответ: трупы, миллионы трупов. Отсюда мораль — держи язык за зубами; а коли уж придется раскрыть рот, никогда не принимай сказанное чересчур всерьез. И Кэти надежно держала за зубами *наши* языки. Она обладала природной мудростью, заставляющей ее воздерживаться от произнесения непечатных слов (и a fortiori [1] неудобоваримых научных терминов), молчаливо принимая как должное ежедневные и еженощные непечатные действия, которые этими словами описываются. В тишине действие есть действие есть действие. Будучи

[1] Тем более *(лат.)*.

описано и обсуждено, оно превращается в этическую проблему, в casus belli [1], в источник неврозов. Заговори Кэти — и где бы мы очутились, скажи на милость? В безнадежно запутанном лабиринте угрызений совести и самобичеваний. Конечно, и до этого находятся охотники. А есть и те, кто ненавидит подобные вещи, но в силу раскаянья чувствует себя обязанным страдать. Кэти (благослови ее Боже!) не была ни методисткой, ни мазохисткой. Она была богиней, а молчание богинь — чистое золото. Это тебе не какая-нибудь липовая позолоченная побрякушка. Чистое, двадцатичетырехкаратное молчание* без всяких примесей. Жительницы Олимпа держат язык за зубами не из разумной осмотрительности, а просто потому, что говорить-то не о чем. Все богини слеплены из одного теста. У них не бывает внутреннего разлада. А вот жизнь людей вроде тебя и меня — это один сплошной спор. Желанья по одну сторону, дятлы — по другую. И ни секунды настоящей тишины. Чего мне в ту пору очень недоставало, так это порции сладкозвучных оправданий происходящего для нейтрализации всех этих мерзко-низко-гадко. Но от Кэти нечего было ждать. Утешительные или непристойные, разговоры не имели для нее никакого смысла. Смысл заключался в непосредственном контакте с животворящими мирами любви и сна. Смысл был в очередном приятии благодати. Смысл, наконец, был и во вновь обретенной ею способности помогать Генри. Чтобы оценить пирог, нужно его отведать, а не рассуждать о рецептах. Удовольствия принимались и дарились, силы росли, Лазарь восстал из мертвых — словом, на вкус пирог оказался весьма неплох. Так бери ломоть потолще да не болтай с набитым ртом — это дурная манера, и к тому же мешает смаковать амброзию. Но для меня такой совет был слишком хорош, чтобы я мог ему последовать. С нею-то я не говорил, она не позволяла. Зато постоянно говорил сам с собой — говорил и говорил, покуда амброзия не превращалась в полынь или не приобретала отвратительного душка запретных наслаждений, осознанного и добровольно творимого греха. Однако чудо вершилось своим чередом. Неуклонно, быстро, без единого рецидива болезнь отступала от Генри.

— Тебе от этого не становилось легче жить? — спросил я.

Риверс кивнул:

— С одной стороны, да. Я ведь, разумеется, понимал — даже тогда, даже в том состоянии идиотской невинности,— что являюсь косвенным виновником происшедшего чуда. Я предал наставника; но, не предай я его, он, возможно, был бы уже мертв. Я совершил зло; но его результатом оказалось благо. Это отчасти меня оправдывало. Но, с другой стороны, каким ужасным представлялось то, что обретенная Кэти благодать и жизнь ее мужа зависят от столь низкого по своей сути предмета, от такой ужасной мерзости и гадости, как человеческие тела и их сексуальное удовлетворение! Против этого восставал весь мой идеализм. И тем не менее факт был налицо.

— А Генри? — спросил я.— Знал он что-нибудь или хотя бы догадывался, чему обязан своим исцелением?

— Он не знал ничего,— уверенно сказал Риверс.— Он знал даже меньше, чем ничего. В том расположении духа, в каком находился Генри, вырвавшись из могилы, подозрения были немыслимы. «Риверс,— сказал он мне как-то раз, уже настолько оправившись, что я мог приходить и читать ему,— я хочу поговорить с вами. Насчет Кэти,— добавил он после короткой паузы. Сердце мое замерло. Наступил миг, которого я боялся.— Помните тот вечер перед моей болезнью? — продолжал он.— Мне изменил здравый рассудок. Я нагородил кучу такого, чего не следовало говорить, уйму несправедливостей, например, про Кэти и того врача от Джонса Хопкинса». Но, как он теперь выяснил, врач от Джонса Хопкинса был инвалид. Да если б его в детстве и не разбил паралич, Кэти совершенно не способна даже подумать ни о чем

---

[1] Повод к войне *(лат.)*.

таком. И дрожащим от волнения голосом он продолжал расписывать мне, какая Кэти замечательная, как он невероятно счастлив, что нашел и заполучил такую славную, такую красивую, такую разумную и в то же время такую чуткую, такую стойкую, верную и преданную жену. Без нее он сошел бы с ума, выдохся, ничего не достиг. А теперь она спасла ему жизнь, и его мучает мысль, что он сгоряча наговорил про нее столько гадостей и глупостей. Так пусть же я постараюсь забыть их или вспоминать только как бредовые речи больного! Конечно, то, что тайна осталась нераскрытой, было большим облегчением; однако в некоторых отношениях это оказалось даже к худшему — к худшему, ибо при виде такой доверчивости, такого глубочайшего неведения я устыдился самого себя — и не только себя, но и Кэти. Мы были парой ловкачей, обманывающих простофилю — простофилю, который благодаря чувствительности, делающей ему честь, выглядел еще более легковерным, чем ему положено от природы.

В тот вечер я-таки выложил кое-что из накипевшего. Сначала она попыталась заткнуть мне рот поцелуями. Когда я оттолкнул ее, она рассердилась и пригрозила, что уйдет к себе. Я набрался мужества и кощунственно удержал ее силой. «Тебе придется выслушать»,— сказал я ей, пытающейся вырваться. И, удерживая ее на расстоянии вытянутой руки, словно опасное животное, я излил свои душевные муки. Кэти выслушала; потом, когда речь была кончена, рассмеялась. Без всякого сарказма, не желая меня уязвить, а просто из глубин своей солнечной божественной безмятежности. «Ты этого не вынесешь,— поддразнила она.— Ты у нас слишком благородный для обманов! Да ты бы хоть раз подумал о чем-нибудь, кроме своей драгоценной личности! Подумай для разнообразия обо мне, о Генри! Больной гений и бедная женщина, чья забота — стараться сохранить этому гению жизнь и какое-никакое здоровье. Его гигантский, сумасшедший интеллект против моих инстинктов, его нечеловеческое отрицание жизни против кипения жизни во мне. Мою долю не назовешь легкой, мне приходилось использовать любое средство, подвернувшееся под руку. И теперь я должна слушать, как ты несешь самую противную чушь из репертуара воскресной школы и осмеливаешься говорить мне — это мне-то! — что не можешь терпеть лжи — прямо Джордж Вашингтон и вишневое деревце *. Ты меня утомляешь. Я лучше посплю». Она зевнула и перевернулась на другой бок, ко мне спиной — спиной,— добавил Риверс, усмехнувшись себе под нос,— которая была чрезвычайно красноречива (стоило только приняться изучать ее, точно книгу для слепых, кончиками пальцев), спиной Афродиты и Каллипиги *. Вот таким, друг мой,— таким был единственный ответ Кэти, хоть сколько-то похожий на объяснения или извинения. После него я ни капли не поумнел. Скорее даже поглупел, ибо ее слова побудили меня задать себе множество вопросов, до ответа на которые она никогда бы не снизошла. Например, полагает ли она такие вещи неизбежными — по крайней мере в условиях ее супружества? Да, собственно говоря, случались ли они прежде? А если так, то когда, как часто, с кем?

— Удалось тебе это выяснить? — спросил я.

Риверс покачал головой.

— Я так и не продвинулся дальше догадок и игры воображения — но, Боже мой, до чего яркой была эта игра! Ее мне, разумеется, оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя несчастным, как никогда. Несчастным и одновременно еще неистовее влюбленным. Почему это, когда подозреваешь любимую женщину в том, что она крутит любовь с кем-то другим, ощущаешь такой прилив желания? Я любил Кэти до безумия. Теперь же я перешел предел безумия, я любил ее отчаянно и неутолимо, любил мстительно, если ты понимаешь, что это значит. Вскоре Кэти и сама это почувствовала. «Ты так на меня смотрел,— пожаловалась она два дня спустя,— словно нашел бифштекс на необитаемом острове. Не надо этого делать. Заметят. К тому же я не бифштекс,

я нормальный человек, нежареный. Да и вообще, Генри уже почти выздоровел, а завтра возвращаются домой дети. Все должно опять пойти по-старому. Нам надо быть благоразумными». Быть благоразумными... Я обещал — назавтра. А пока — долой свет! — пока была эта мстительная любовь, эта страсть, которая даже в безумии утоленья сохраняла примесь обреченности. Часы шли, и утро наступило своим чередом — первые лучи за занавеской, птички в саду, мука последнего объятия, повторные клятвы быть благоразумными. И как твердо я держал слово! После завтрака я отправился к Генри и прочел ему статью Резерфорда из последнего номера «Нейчур». А когда Кэти вернулась с рынка, я называл ее «миссис Маартенс» и прикладывал все старанья к тому, чтобы выглядеть таким же лучезарно-безмятежным, как и она. Для меня это, разумеется, было лицемерием. Тогда как для нее — всего лишь проявлением ее олимпийской природы. Незадолго до ленча прикатил кеб с детьми и их пожитками. Кэти и прежде была всевидящей матерью; но ее способность все видеть обычно умерялась добродушной терпимостью к детским недостаткам. На сей же раз, по неизвестной причине, вышло иначе. Может быть, ей ударило в голову чудо воскресения Генри, наделившее ее не только сознанием своей силы, но и охотой использовать эту силу еще на чем-нибудь. Может быть, она была к тому же слегка опьянена собственным мгновенным возрождением, переходом от долгих недель кошмара к обретенью животной благодати с помощью любовных утех. Короче, какою бы ни была причина, каковы бы ни были смягчающие обстоятельства, факт остается фактом: именно в тот день Кэти оказалась чересчур уж всевидящей. Она любила своих детей, и их возвращение ее обрадовало, однако, едва увидев их, она ощутила жажду критиковать, замечать непорядок, подавлять своей материнской властью. Через две минуты после встречи она отругала Тимми за грязные уши; через три заставила Рут признаться, что у нее запор; а через четыре, исходя из того обстоятельства, что дочь не дает разбирать свои вещи, догадалась о наличии какой-то постыдной тайны. И вот, по веленью Кэти, Бьюла раскрыла чемоданчик, и на свет божий выплыла эта маленькая постыдная тайна: коробка с косметикой и наполовину пустой флакон фиалковых духов. Кэти и в лучшие времена выразила бы неодобрение — но выразила бы его сочувственно, с понимающим смешком. На сей же раз она отчитала дочь громко и язвительно. А сначала вышвырнула косметический набор в мусорное ведро, собственноручно, с гримасой крайнего отвращения, опорожнила флакончик над унитазом и спустила воду. Когда мы наконец уселись за стол, поэтесса, красная и с распухшими от слез глазами, ненавидела всех и вся: мать за то, что она унизила ее, Бьюлу за то, что сбылось ее пророчество, несчастную миссис Хэнбери за то, что она умерла и, следовательно, не нуждалась более в услугах Кэти, Генри за то, что он выздоровел и таким образом способствовал их неудачному возвращению домой, а меня за то, что я вел себя с нею как с ребенком, обозвал чушью ее любовные стихи и — что еще непростительнее — явно предпочитал ее обществу общество матери.

— Она что-нибудь подозревала? — спросил я.

— Наверное, она подозревала все подряд,— ответил Риверс.

— А я думал, вы были благоразумны.

— Мы-то да. Но Рут и прежде ревновала меня к матери. А тут мать обидела ее, к тому же теперь она представляла себе — конечно, чисто теоретически, зато в самой красочной и преувеличенной форме,— что происходит между мужчиной и женщиной, которые испытывают взаимную симпатию. Биенье пламенных сердец; уст искусанных лобзанья. И так далее. Даже если бы между мной и Кэти ничего не произошло, она думала бы иначе и ненавидела бы нас соответственно, питала бы к нам новую, более глубокую ненависть. В прошлом она не умела ненавидеть дольше, чем один-два дня. На сей раз вышло по-другому. Эта ненависть оказалась неумолимой. Целые дни напролет она не разговаривала с на-

ми, сидела за столом в мрачном молчании, полная презренья и неизреченных сарказмов. Бедняжка Рут! Долорес-Саломея была, разумеется, фантазией, но фантазией, которая стояла на твердой почве зарождающейся зрелости. Оскорбив эту фантазию, Кэти и я, оба на свой лад, оскорбили нечто реальное, некую живую составляющую личности девочки. Она вернулась домой с духами и косметикой, со своими новоиспеченными женскими прелестями и своим новоиспеченным словарем, со взглядами Элджернона и настроениями Оскара,— вернулась домой, полная смутных ожиданий чего-то волшебного, смутных предчувствий чего-то зловещего; и что же на нее обрушилось? Горькая обида: ее посчитали неразумным ребенком, кем она, по сути, пока и была. Тяжкое оскорбление: ее не принимали всерьез. Сокрушительное унижение: человек, которого она избрала своей жертвой и своим Синей Бородой, отверг ее ради другой женщины — да еще, как на грех, ее собственной матери. Так стоит ли удивляться, что все мои попытки вывести ее из угрюмого расположения духа при помощи шуточек и подлизываний потерпели неудачу? «Оставь ее в покое,— посоветовала Кэти.— Пусть дуется, пока не надоест». Но дни шли, а Рут и не думала менять гнев на милость. Наоборот, она точно упивалась самыми горькими муками уязвленной гордости и ревнивых подозрений. А потом, через неделю после приезда детей, случилось происшествие, обратившее ее хроническую скорбь в самую неприкрытую, самую резкую враждебность.

Генри уже настолько оправился, что подолгу сидел, бродил по своей комнате. Спустя несколько дней должно было наступить окончательное выздоровление. «Поезжайте-ка с ним на пару неделек за город»,— посоветовал врач. Но отчасти из-за ненастной ранней весны, отчасти из-за поездки Кэти в Чикаго загородный дом, где мы проводили уик-энды, не отпирали с самого Рождества. Прежде чем ехать туда жить, нужно было проветрить там комнаты, навести порядок, пополнить запасы еды. «Поедем туда завтра и все устроим»,— как-то поутру, за завтраком предложила мне Кэти. Внезапно, будто вспугнутый суслик из норки, Рут вынырнула со дна своего зловещего молчания. Завтра, сердито пробормотала она, ей надо в школу. Вот и славно, ответила Кэти, как раз поэтому завтра самый подходящий день для уборки дачи. Ленивые поэтессы не будут слоняться там и путаться под ногами. «Но я *должна* поехать»,— настаивала Рут с какой-то ярой подспудной решимостью. «Должна? — отозвалась Кэти.— Это почему ж ты *должна?*» Рут взглянула на мать, потом опустила глаза. «Потому что...— начала было она, потом передумала и оборвала фразу.— Потому что я хочу»,— неуклюже закончила она. Кэти засмеялась и посоветовала ей не валять дурака. «Выезжаем рано,— опять обратилась она ко мне,— и берем с собой прогулочную корзинку». Девочка сильно побледнела, попыталась продолжать завтрак, но кусок не лез ей в горло; она пробормотала извинение, не дождавшись ответа, сорвалась с места и убежала из комнаты. Днем я столкнулся с ней снова, лицо ее походило на маску — безжизненное, но угрожающее, полное затаенной враждебности.

Я услышал, как в прихожей со скрипом отворилась, а потом хлопнула входная дверь. Вслед за тем снаружи раздались шаги и негромкие голоса. Риверс прервал рассказ и взглянул на часы.

— Всего десять минут двенадцатого,— сказал он и покачал головой. Потом, тоном выше, окликнул: — Молли! Это ты?

В дверях показалось распахнутое норковое манто, накинутое на алое вечернее платье, квадратный вырез которого обнажал украшенную жемчугом гладкую белую кожу. Над этим нарядом я увидел юное лицо — его можно было бы назвать прекрасным, если б на нем не лежало столь безысходно мрачное выражение.

— Хорошо провели вечер? — спросил Риверс.

— Отвратительно,— сказала женщина.— Потому и пришли так рано. Правда, Фред? — добавила она, адресуясь к темноволосому молодому человеку, вступившему в комнату вслед за ней. Молодой человек

ответил ей холодным неприязненным взором и отвернулся.— Правда? — повторила она, повысив голос, в котором прозвучала едва ли не страдальческая нотка.

На обращенном в сторону лице появилась чуть заметная улыбка, темноволосый пожал широкими плечами, но промолчал.

Риверс повернулся ко мне.

— Ты ведь видел мою крошку Молли, верно?

— Когда она была вот такого росточка.

— А это,— он повел рукой по направлению к ее спутнику,— мой зять, Фред Шонесси.

Я сказал, что очень рад познакомиться; но молодой человек даже не взглянул на меня. Наступило молчанье.

Молли провела по глазам усыпанной драгоценностями рукой.

— Голова раскалывается,— пробормотала она.— Пойду-ка прилягу.

Она направилась было прочь; затем придержала шаг и, очевидно, превозмогая себя гигантским усилием, сказала:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— хором ответили мы. Но она уже ушла. Без единого слова, точно выслеживающий дичь охотник, молодой человек повернулся и двинулся за ней следом. Риверс глубоко вздохнул.

— Они дошли уже до той черты,— промолвил он,— когда секс кажется весьма скучным, если это не завершение ссоры. Вот тебе, пожалуйста, удел малыша Бимбо. Жизнь с разведенной матерью, меняющей любовников и мужей до тех пор, пока ей хватает привлекательности. Или с родителями, которым следовало бы развестись, но они не могут расстаться, ибо питают тайное пристрастие к тому, чтобы мучиться и причинять мучения. И в обоих случаях я ничем не могу помочь. Что бы ни стряслось, ребенку придется пройти через ад. Может быть, он выйдет оттуда, став более сильным и закаленным. А может, его это вконец раздавит. Кто знает? Уж наверное, не эта компания! — Черенком трубки он указал на длинную полку, занятую последователями Фрейда и Юнга.— Литература по психологии! Ее приятно читать; пожалуй, она даже весьма поучительна. Но многое ли она объясняет? Все, кроме самого главного, все, кроме двух вещей, которые в конечном счете и формируют наш жизненный путь: Предопределения и Благодати. Взгляни на Молли, к примеру. Ее мать умела любить, не стремясь завладеть предметом любви. У ее отца хватило смекалки хотя бы на то, чтобы пытаться последовать примеру жены. Две ее сестры росли счастливыми детьми и стали неплохими женами и матерями. У нас в доме не бывало ни скандалов, ни хронических противостояний, ни взрывов. По всем правилам науки психологии Молли полагалось вырасти абсолютно здоровой и уравновешенной. На самом же деле...— Он не закончил фразы.— А потом, существует ведь и другая разновидность Предопределения. Не внутреннее Предопределение, касающееся характера и темперамента, а Предопределение случая — эта его разновидность уже поджидала меня, и Рут, и Кэти. На то, что случилось, нелегко смотреть даже в перевернутый бинокль.

Наступила тишина, которую я не решился нарушить.

— Ну-с,— наконец проговорил он,— давай снова вернемся к Рут, вернемся к вечеру того дня перед поездкой. Я пришел из лаборатории домой, в гостиной сидела Рут и читала. Она даже не взглянула на меня, и я, напустив на себя самый развеселый вид, сказал: «Салют, детка!». Она посмотрела на меня долгим, холодным, зловеще равнодушным взором, потом опять занялась книгой. На сей раз я решил подкатиться по литературной части. «Написала что-нибудь новенькое?» — спросил я. «Да, написала»,— с ударением произнесла она, и на лице у нее появилась улыбочка, еще более зловещая, чем прежнее равнодушие. «Поглядеть можно?» К моему великому удивлению, она сказала «да». Поэма еще не закончена, но к утру все будет готово. Я совсем позабыл об этом обещании; однако наутро, уходя в школу, Рут действительно вручила

мне один из своих лиловых конвертов. «Вот она,— сказала Рут.— Надеюсь, вам понравится». И, оделив меня очередной ядовитой улыбочкой, поспешила вдогонку за Тимми. Я был слишком занят, чтобы прочесть стихи немедленно, а посему сунул конверт в карман и опять отправился грузить машину. Постельные принадлежности, кухонную утварь, керосин — все это добро я свалил внутрь. Полчаса спустя мы тронулись в путь. Бьюла с крылечка крикнула что-то на прощание, Генри махал рукой из окошка второго этажа. Кэти помахала в ответ и послала им воздушный поцелуй. «Я нынче словно Джон Гилпин,— счастливо сказала она, когда мы вырулили со двора,— могу шутя любую трудность одолеть» *.

Стояла лирическая пора, какая бывает в начале мая; выдалось прямо-таки шекспировское утро. Ночью прошел дождь, а теперь деревья кланялись свежему ветерку; молодые листочки блестели в солнечных лучах, точно драгоценные; гигантские мраморные облака на горизонте точно вырвались из грез Микеланджело в момент наивысшего взлета его сверхчеловеческой мощи. А еще кругом были цветы. Цветы в пригородных садах, цветы в лесу и дальше, на полях; и каждый цветок нес в себе осознанную прелесть любимого лица и аромат его походил на тайную весточку из Иного Мира; в воображении я ощущал пальцами гладкость его лепестков, точно прохладный шелк и живую упругость человеческой кожи. Само собой разумеется, мы все еще были благоразумны. Но мир вокруг вдыхал дурман собственного совершенства, пьянел от избытка жизни. Мы переделали все дела, мы покончили со своим прогулочным ленчем, мы устроились в шезлонгах на солнышке и закурили по сигарете. Но солнце чересчур припекало, и мы решили завершить отдых в доме; а потом, конечно, случилось то, что должно было случиться... Случилось, как я заметил между двумя экстатическими приливами, на глазах у портрета Генри Маартенса почти в полный рост, выполненного и преподнесенного ему правлением некоей крупной электрической фирмы, преуспевшей благодаря его профессиональному совету, и столь чудовищного в своем фотографическом реализме, что его пришлось сослать в пустующую спальню загородного дома. Это был один из тех портретов, что не сводят с тебя глаз, как Старший Брат в оруэлловском «1984». Я повернул голову и увидел его, в светлой визитке, величественно взирающего на нас,— персонификацию общественного мнения, запечатленный символ и отражение моей собственной терзающейся плоти. А рядом с портретом стоял викторианский шкаф с зеркальными дверцами, где отражалось дерево за окном, а из того, что находилось внутри,— часть кровати с двумя телами в солнечных зайчиках и движущейся тени дубовых листьев. «Прости их, ибо не ведают, что творят». Но здесь, благодаря портрету и зеркалу, невозможно было прикидываться наивными. И думы о том, что мы совершили, сделались еще более тревожными полчаса спустя, когда, надевая куртку, я услыхал шорох плотной бумаги в боковом кармане и вспомнил про лиловый конверт Рут. Стихи, написанные строфами по четыре строки, на сей раз оказались повествованием, вроде баллады, о двух прелюбодеях, верной жене и ее совратителе, представших перед Богом на Страшном суде. Стоя там в тяжкой, обвиняющей тишине, эти двое чувствуют, как невидимые руки снимают с них все облачения, покров за покровом, пока они, наконец, не остаются абсолютно голыми; ибо их возрожденные тела прозрачны. Легкие и печень, мочевой пузырь и кишки, каждый орган со своим специфическим содержимым — все, все проступает отталкивающе ясно. И вдруг они обнаруживают, что они не одни, что стоят на сцене, в огнях рампы, перед миллионами зрителей, ярус за ярусом; кого-то рвет от отвращенья, а кто-то издевается, обвиняет, взывает к отмщению, требует кнутов и каленого железа. В этих стихах как будто сквозила раннехристианская исступленность, тем более устрашающая, что Рут выросла совершенно вне круга этих зловещих представлений. Страшный суд, геенна, вечные муки — верить в них ее никак не учили. Она лишь

использовала эти понятия в собственных целях, дабы выразить свои чувства по отношению к матери и ко мне. Перво-наперво ревность; ревность и отвергнутая любовь; оскорбленная гордость, жестокое возмущение. И для возмущения нужно было найти уважительную причину, а злость представить праведным негодованием. Она подозревала между нами самое худшее, поэтому питала к нам самые ненавистнические чувства. И подозрения эти так захватили ее, что очень скоро перестали быть просто догадками; она *поверила* в нашу греховность. А когда появилось это убеждение, ребенок в ней почувствовал себя обиженным, а женщина преисполнилась еще более горькой, мстительной ревности, чем прежде. Ощущая, как в груди холодеет от страха, нахлынувшего перед лицом непредсказуемого будущего, я дочитал стихи до конца, еще раз перечел их, потом повернулся лицом к Кэти — она сидела у зеркала, за туалетным столиком, закалывала волосы, улыбаясь в ответ на лучезарную улыбку своего божественного отражения, и напевала «Dove sono i bei momenti Di dolcezza e di piacer?»[1] из «Свадьбы Фигаро». Меня всегда восхищала эта ее неземная безмятежность, это олимпийское je m'en foutisme[2]. Но теперь я взбеленился. Она не имела права не разделять со мной чувства, вызванные стихами Рут. «Хочешь знать,— сказал я,— почему наша крошка Рут так себя ведет? Хочешь знать, что она вообще о нас думает?» И, подойдя, протянул ей два листочка фиолетовой бумаги, на которых Рут написала свою балладу. Кэти принялась читать. Наблюдая за ее лицом, я заметил, как первоначальное выражение добродушного сарказма (ибо стихотворные опыты Рут служили в семье обычным поводом для шуток) уступило место глубокой сосредоточенности. Потом на лбу между глаз пролегла вертикальная морщинка. Кэти хмурилась все больше, а перевернув страницу, прикусила губу. Богиня-таки оказалась уязвимой... Я поквитался с нею; но что толку было радоваться, когда это привело лишь к тому, что вместо одного напуганного кролика в силке очутились два. А к выпутыванию из силков такого рода Кэти была абсолютно не приспособлена. Слишком неприятных ситуаций она просто-напросто не замечала, шла напролом, словно бы их и не существовало. И в конце концов, если она не замечала их достаточно долго и достаточно искренне, они и впрямь прекращали свое существование. Обиженные ею прощали ее, потому что она была так прекрасна и так мила с ними; те, что страдали от избытка желчи или чинили помехи другим, поддавались ее заразительному, божественному душевному равновесию и тут же забывали свои беды и пакостные умыслы. А когда сохранить видимость искреннего неведения не удавалось, она пускала в ход другой прием: без оглядки шла на любой риск; была беззаботно бестактна; совершала чудовищные поступки со всей возможной невинностью и простодушием; откровенно говорила о самых скользких предметах с самой неотразимой улыбкой. Однако в этом случае ни один из способов не годился. Если она промолчит, Рут и дальше станет гнуть свою линию. А если пойдет на риск и выложит все напрямик, одному Богу известно, как поведет себя потрясенная девочка. А между тем следовало подумать и о Генри, и о ее собственном будущем в роли единственной и, по нашему общему убеждению, абсолютно незаменимой опоры для недужного гения и его детей. Рут имела возможность — и, быть может, уже сейчас находилась в соответствующем настроении — разрушить все здание их совместной жизни только ради того, чтобы досадить матери. И женщина с характером богини, но лишенная божественного всемогущества, ничего не могла с этим поделать. Однако кое-что мог сделать я сам, и пока мы обсуждали ситуацию,— напомню тебе, впервые с тех пор, как у нас появилась тема для обсуждения! — это кое-что прояснялось для нас все больше и больше. Мне нуж-

---

[1] Ах, куда же ты закатилось, / Солнце светлой былой любви? *(итал., перевод П. И. Чайковского).*

[2] Наплевать *(франц.).*

но было сделать то, что я намеревался сделать после первой же апокалипсической ночи — удрать.

Сначала Кэти и слышать об этом не желала, и мне пришлось спорить с ней всю дорогу домой — спорить против собственной воли, лишая себя своего счастья. Наконец я ее убедил. Из ловушки был один-единственный выход.

Когда мы приехали, Рут уставилась на нас, точно отыскивающий улики детектив. Потом спросила, как мне понравились ее стихи. Я сказал — и это была сущая правда,— что ей еще не удавалось сочинить ничего лучшего. Она была польщена, но приложила все усилия к тому, чтобы это скрыть. Она почти сразу стерла с лица едва вспыхнувшую улыбку и чрезвычайно многозначительно поинтересовалась, что я думаю о предмете повествования. Я был готов к такому вопросу и отвечал, снисходительно усмехаясь. Это напомнило мне, сказал я, великопостные проповеди моего славного добряка-батюшки. Затем глянул на часы, пробормотал что-то насчет срочной работы и ушел, оставив ее, судя по лицу, неудовлетворенной. Полагаю, она предвкушала сцену, в которой ей отводилась роль холодного и неумолимого судии, а я, преступник, должен был всячески изворачиваться или пасть ниц с признанием. Но вместо этого преступник только посмеялся, а судию походя и совсем некстати уподобили болтливому священнику. Эту схватку я выиграл; однако война бушевала по-прежнему и, что было яснее ясного, могла закончиться только моим поражением.

Два дня спустя наступила пятница и, как всегда по пятницам, почтальон принес мне письмецо от матери, а Бьюла, накрывая стол к завтраку, положила его на видное место рядом с моей кофейной чашкой, ибо весьма уважала материнские и сыновние чувства. Я вскрыл его, прочел, посерьезнел, перечел снова, затем погрузился в невеселое молчание. Кэти поняла намек и тревожно спросила, нет ли в письме дурных вестей. На что я, разумеется, ответил утвердительно: есть, мол, основания для беспокойства. Здоровье моей матушки... Предлог был обеспечен. Всё порешили тем же вечером. Официально, как глава лаборатории, Генри предоставлял мне двухнедельный отпуск. Я отправляюсь десятичасовым в воскресенье, а накануне, в субботу, мы все сопроводим выздоравливающего за город и устроим там прощальный пикник.

Одной машины на всех не хватало; поэтому Кэти с детьми отправились первыми на семейном «оверленде». Генри и Бьюлу с пожитками я повез следом на «максвелле». Остальные намного опередили нас; ибо, стоило нам отъехать от дома на полмили, как Генри, по обыкновению, вспомнил, что забыл прихватить какую-то совершенно необходимую книгу, и нам пришлось возвращаться и искать ее. Спустя десять минут мы вновь были в пути. В пути, который вел нас прямиком к встрече с Предопределением.

Риверс допил из стакана виски и выбил трубку.

— Даже в перевернутый бинокль, даже из другой вселенной, где живут совсем другие люди...— Он покачал головой.— Нет, есть вещи просто непереносимые.— Наступила пауза.— Ладно, говорить, так до конца,— сказал он погодя.— Мили две не доезжая до места был перекресток, где мы сворачивали налево. Дорога шла по лесу, и сквозь густую листву было не разобрать, что делается за поворотом. Когда мы туда подъехали, я сбавил скорость, дал гудок и на самом тихом ходу повернул. И вдруг увидел в канаве у обочины «оверленд», перевернутый вверх колесами, а рядом — большой грузовик с исковерканным радиатором. А между двумя машинами стоял на коленях молодой человек в голубом комбинезоне — он склонился над отчаянно кричащим ребенком. Поодаль, в десяти или пятнадцати футах от них, лежали две кучи, похожие на груды старого тряпья, на мусор — мусор, заляпанный кровью.

Вновь наступило молчание.

— Они погибли? — наконец спросил я.

— Кэти умерла через несколько минут после нашего появления, а Рут — в карете «скорой помощи», по дороге в больницу. Тимми выжил для худшей смерти на Окинаве; он отделался несколькими порезами и парой сломанных ребер. По его рассказу, он сидел сзади, Кэти вела автомобиль, а Рут сидела впереди, рядом с ней. У них вышел спор, Рут там из-за чего-то бесилась — он не знал из-за чего, потому что не слушал; он размышлял, как электрифицировать свой заводной поезд, да и вообще он никогда не обращал внимания на слова сестры, если та начинала беситься. Если на нее обращать внимание, от этого только хуже будет. Но мать *обратила* — он слышал, как она сказала: «Ты не понимаешь, что говоришь,— а потом: — Я запрещаю тебе говорить такие вещи». А потом они повернули, и ехали слишком быстро, и она не дала гудок, и этот огромный грузовик врезался им прямо в борт. Так что, как видишь,— заключил Риверс,— тут сыграли свою роль обе разновидности Предопределения. Предопределение случая и в то же время Предопределение двух характеров, темпераментов Рут и Кэти: темперамента оскорбленного ребенка, бывшего вместе с тем и ревнивой женщиной, и темперамента богини, припертой обстоятельствами к стенке и вдруг обнаружившей, что на самом-то деле она всего-навсего человеческое существо и ее олимпийский характер может сослужить ей плохую службу. И это открытие так потрясло ее, что она потеряла осторожность, оказалась не в силах справиться с событиями, которым суждено было привести ее к гибели — к гибели (но это, конечно, произошло уже ради *моей* пользы, это явилось моментом *моего* психологического Предопределения) вкупе с самыми жестокими физическими увечьями: глаз выбит осколком стекла, нос, губы и подбородок снесены почти напрочь и смешались с дорожной щебенкой в одно кровавое месиво. И еще ей раздавило правую руку, а сквозь чулок виднелись зазубренные края сломанной берцовой кости. Это снилось мне почти каждую ночь. Кэти спиной ко мне: она лежит на кровати в загородном доме или стоит у окна в моей комнате, набросив шаль на плечи. Потом оборачивается и глядит на меня, а лица нет, одна сплошная кровавая рана, и я просыпаюсь с криком. До того дошло, что по вечерам боялся ложиться.

Слушая его, я припомнил двадцать четвертый год и молодого Джона Риверса, которого, к своему великому удивлению, повстречал тогда в Американском университете Бейрута — он преподавал там физику.

— У тебя был ужасно больной вид,— сказал я.

Он кивнул.

— Слишком мало сна и слишком много воспоминаний,— сказал он.— Я так боялся сойти с ума, что взамен чуть не наложил на себя руки. Но тут, как раз вовремя, Предопределение опять вмешалось в мою жизнь, принеся с собой спасительную Благодать в той единственной форме, которая только и могла благотворно повлиять на меня. Я встретил Элен.

— На той же вечеринке, что и я. Помнишь?

— Честно говоря, нет. На том вечере я не запомнил никого, кроме Элен. Спасенный утопающий запоминает лишь своего спасителя, а не зевак на берегу.

— Теперь-то мне ясно, почему у меня не было ни малейших шансов! — сказал я.— О ту пору я с легкой досадой списал все на то, что женщины, даже самые лучшие, даже такие редкостные создания, как Элен, предпочитают художественной утонченности красивую внешность, предпочитают мускулы с мозгами (а мне пришлось-таки признать, что толика мозгов у тебя есть!) мозгам с примесью изысканного je ne sais quoi [1] — что было тогда *моей* отличительной особенностью. Сейчас-то я понимаю, в чем состояла твоя неотразимая привлекательность. Ты был несчастен.

---

[1] Нечто невыразимое (*франц.*).

Он кивнул в знак согласия, и наступила долгая тишина. Часы пробили двенадцать.

— Поздравляю с Рождеством,— промолвил я и, допив виски, поднялся уходить.— Ты не рассказал мне, что́ после катастрофы сталось с беднягой Генри.

— Первым делом, понятно, рецидив,— начал он.— Но не слишком опасный. Ведь на сей раз нечего было добиваться, балансируя на краю могилы. Так что обошлось пустяком. Сестра Кэти приехала на похороны и осталась ухаживать за ним. Она напоминала карикатуру на Кэти. Толстая, краснощекая, крикливая. Не богиня в обличье крестьянки, а буфетчица, которая строит из себя богиню. Она была вдовой. Четыре месяца спустя Генри женился на ней. К тому времени я уже уехал в Бейрут; так что мне не привелось наблюдать их супружеское счастье. Однако, судя по отзывам, его было в достатке. Правда, бедняжка так и не смогла сбросить лишний вес. Умерла в тридцать пятом. Генри сразу откопал себе рыжую молодуху, некую Алисию. Алисия любила, чтоб ею восхищались за тридцативосьмидюймовый бюст, но еще больше — за двухсотдюймовый интеллект. «Что вы думаете о Шредингере?» * — спрашивали его; но отвечала Алисия. Она оставалась с ним до самого конца.

— Когда ты видел его в последний раз? — спросил я.

— Всего за несколько месяцев до смерти. Ему стукнуло восемьдесят семь, но энергия кипела в нем по-прежнему; он и тогда был под завязку полон тем, что его биограф с удовольствием называет «неиссякаемым блеском интеллектуальной мощи». Мне он напоминал механическую обезьяну, у которой перекрутили завод. Механические рассуждения, механические жесты, механические гримасы и ужимки. А разговоры, разговоры! Какие безупречные магнитофонные записи старых анекдотов о Планке *, Резерфорде и Дж. Дж. Томсоне! * Его знаменитых монологов о Логическом Позитивизме и Кибернетике! Воспоминаний о чудесных военных годах, когда он работал над атомной бомбой! Жизнерадостных апокалипсических пророчеств о еще более совершенных и эффективных адских машинах будущего! Можно было поклясться, что говорит живое человеческое существо. Но, слушая, ты потихоньку начинал понимать, что дома никого нет. Пленки прокручивались автоматически, это был vox et praeterea nihil [1] — голос Генри Маартенса в отсутствие его самого.

— А разве это не то, что ты советовал? — спросил я.— Ежесекундное умирание.

— Но Генри не умер. Вот в чем вся штука. Он просто оставил заведенный механизм, а сам куда-то сгинул.

— Куда же?

— Бог знает. Наверное, отыскал в собственном подсознании какой-нибудь тайничок на младенческом уровне. Снаружи, всем на удивленье, была эта изумительная заводная обезьяна, этот неиссякаемый блеск интеллектуальной мощи. А внутри смутно угадывалось крохотное жалкое существо, которое еще нуждалось в лести и подбадривании, в сексе и некоем заменителе материнской утробы — ему-то и суждено было услыхать траурную музыку у смертного одра Генри. И вот это-то существо неистово цеплялось за жизнь и пребывало не подготовленным к решающему мигу никаким предварительным умиранием — абсолютно неподготовленным. Ну, а теперь этот решающий миг миновал, и то, что осталось от бедняги Генри, возможно, слоняется нынче, бормоча и похныкивая, по улицам Лос-Аламоса или околачивается у постели своей овдовевшей жены и ее нового мужа. И, конечно же, никто не обращает внимания, всем чихать. Вполне разумно. Что было, то быльем поросло. Ну вот, тебе пора уходить.— Он поднялся, взял меня под руку и проводил в прихожую.— Осторожнее за рулем,— посоветовал он, отворяя входную дверь.— Мы с тобой в христианской стране, а сегодня день рожденья Спасителя. Вряд ли тебе попадется по дороге хоть один трезвый.

[1] Голос и больше ничего *(лат.)*.

Комментарии

Джеймс Гровер Тэрбер (1894—1961) — американский писатель и художник-карикатурист.

Микки Спиллейн (род. в 1918 г.)— американский писатель, автор жестоких детективных романов.

Фома Кемпийский (1380—1471) — монах из ордена августинцев, автор знаменитого сочинения «Подражание Христу».

Поль Дирак (1902—1984) — английский физик, один из создателей квантовой механики.

Арнольд Джозеф Тойнби (1889—1975) — английский историк и социолог.

Питирим Сорокин (1889—1968) — социолог.

Рудольф Карнап (1891—1970) — австрийский философ и логик, ведущий представитель логического позитивизма и философии науки.

«Утраченный рай», «Обретенный рай» — поэмы Дж. Мильтона (1608—1674).

«В поисках утраченного времени» — название цикла романов Марселя Пруста (1871—1922); «Обретенное время» — последний из романов этого цикла.

В городе *Баальбеке* (Ливан) находятся развалины древнего (с XVIII в. до н. э.) Гелиополя, позднейшей римской колонии Юлии-Августы-Феликс.

И великие обеты...— Шекспир, «Буря», акт IV, сц. 1 (перевод Мих. Донского).

Мэри Луиза Моулзворт (1839—1921) — шотландская писательница, известная в основном как автор книг для детей и юношества.

Послание к Евреям — одно из новозаветных Посланий св. апостола Павла.

...только что от корыта с рожками — ср. в притче о блудном сыне: «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему» (Евангелие от Луки. 15. 16); рожки — стручки рожкового дерева.

Уильям Джемс (1842—1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма.

Имеется в виду *«Утешение философией»* — трактат римского философа и государственного деятеля Боэция (ок. 480—524), написанный им в тюрьме перед казнью.

Былинки, ветром колеблемые — ср. Евангелие от Матфея, 11, 7.

Рус токс, карбо вег, бриония, кали фос — названия гомеопатических средств.

Первое к Коринфянам, тринадцать (Послание апостола Павла) — «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (13, 13).

...словом из шести букв...— в оригинале каламбур: эвфемизм four-letter words означает нецензурные слова; в слове love тоже четыре буквы.

Agape, Caritas, Mahakaruna (греч., лат., санскр.) — синонимы, обозначающие духовную любовь.

Амаликитяне — библейский народ, живший к югу от Ханаана, враждебный евреям и истребленный ими; здесь — неверные.

Риверс цитирует стихотворение *Эдгара Аллана По (1809—1849)* «Червь-победитель» («The Conqueror Worm»); в тексте использован перевод К. Бальмонта.

Маунт-Вилсон — в США, около г. Пасадены, находится Маунт-Вилсоновская астрономическая обсерватория, исследующая физику Солнца, звезд и внегалактических объектов.

«Падение дома Ашеров» — рассказ Э. По. Рут пересказывает его, иногда воспроизводя дословно целые фразы.

Может, хватит сидеть во прахе? — ср. Книга Иова, 7, 21: «...ибо, вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и меня нет».

Он корчится! корчится!..— Рут не совсем точно цитирует строки из «Червя-победителя».

Ad majorem Dei gloriam — девиз иезуитов, оправдывающий преступления, творимые во имя Божье.

Правило тройки — математическое правило, согласно которому произведение средних членов пропорции равно произведению крайних ее членов; используется для нахождения четвертого, неизвестного члена пропорции, когда заданы три остальных.

...post hoc или propter hoc — имеется в виду латинская формула post hoc, ergo propter hoc (после этого — значит, вследствие этого), применявшаяся в схоластических прениях для обозначения неправильного вывода из случайной последовательности событий.

Одюбоновское общество — ученое общество, названное в честь американского орнитолога Дж. Дж. Одюбона (1785—1851).

Я — Беатриче — ср. Данте, «Чистилище», XXX, 73 («Взгляни смелей! Да, да, я Беатриче»).

Я есмь Сущий — ответ Бога Моисею (Исход, 3, 14).

«Le Shocking de Schiaparelli», «Femme» — марки французских духов.

Пока есть смерть, есть надежда — перефразировка латинского изречения «Dum spiro, spero» («Пока дышу, надеюсь»).

Вавилонская блудница — образ из Откровения Иоанна Богослова (17, 4—5).

Поздневикторианский бунт — новые художественные течения конца XIX в.

«Долорес» — стихотворение Э. Суинберна.

«Саломея» — драма О. Уайльда.

Категорический императив — центральное философское понятие в этике И. Канта, безусловное общеобязательное правило поведения.

Лола Монтес (сценический псевдоним Марии Гилберт, 1818—1861) — авантюристка и «испанская» танцовщица, стяжавшая международную известность благодаря связи с баварским королем Людвигом I.

Джордж Буль (1815—1864) — английский математик и логик, один из основоположников математической логики.

Людвиг Витгенштейн (1889—1951) — австрийский (с 1929 г. в Великобритании) философ и логик.

Джонс Хопкинс (1795—1873) — американский финансист и филантроп, основатель бесплатной больницы и университета в Балтиморе, названных его именем.

Хайбол — алкогольный напиток с содовой и льдом в высоком бокале.

Жан Пиаже (1896—1980) — швейцарский психолог.

Джон Дьюи (1859—1952) — американский философ, один из ведущих представителей прагматизма.

Мария Монтессори (1870—1952) — итальянский педагог. Разрабатывала методы развития органов чувств у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сторонница свободного воспитания.

Роберт Бертон (1577—1640) — английский философ-моралист, автор трактата «Анатомия меланхолии», где обсуждаются также и любовные переживания.

Хевлок Эллис (1859—1939) — английский ученый и писатель, автор шеститомного труда «Исследование психологии секса».

Барон Рихард фон Крафт-Эбинг (1840—1902) — немецкий психиатр, автор труда «Сексуальная психопатия».

Незанятый, выметенный и убранный... семь других духов — одна из притч Иисуса гласит: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит *его* незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там» (Евангелие от Матфея, 12, 43—45; Евангелие от Луки, 11, 24—26).

Андре Робер де Нерсья (1739—1800) — французский писатель и поэт, автор скабрезных, порнографических сочинений.

101 градус по Фаренгейту равен примерно 38,3° С.

Воскрешение Лазаря — чудо, совершенное Иисусом Христом: воскрешение человека через четыре дня после смерти (Евангелие от Иоанна, 11).

Сила вышла из вас. Как из возлюбленного Господа нашего... — ср. Евангелие от Марка, 5, 30: «В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?» — и далее; тот же эпизод излагается в Евангелии от Луки, 8.

Джордж Мередит (1828—1909) — английский писатель.

И потайные струи наших душ сольются... — строка из поэмы английского поэта-романтика П. Б. Шелли (1792—1822) «Эпипсихидион».

Лары и пенаты — в римской мифологии покровители семьи и домашнего очага.

Пятидесятница — христианский праздник, отмечающий сошествие Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после вознесения Христа (см. Деяния святых Апостолов, 2).

Святые голуби — крещение Христа и эпизод последующего явления Святого Духа в обличье голубя описаны в Евангелиях: от Матфея, 3, 13—17; от Марка, 1, 9—11; от Луки, 3, 21—22; от Иоанна, 1, 32—34.

Манихейцы — последователи религиозного учения, основанного в III в. Мани (по преданию, проповедовал в Персии, Средней Азии, Индии). В основе манихейства — дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных и равноправных принципов бытия. Телесное и вещественное манихейцы относили к царству тьмы.

Лурдский грот — грот во французском городе Лурде, где находится источник целебной святой воды.

Всяких женщин красит то же... — Уильям Блейк, стихи из записной книжки (1793 г., № 41). Риверс цитирует стихи недословно.

Престолы, Господства, Власти — по учению христианского богослова Псевдо-Дионисия Ареопагита («О небесной иерархии»), третий, четвертый и шестой из девяти «чинов ангельских»; ангелы в узком смысле слова — младший, девятый чин. Эта же иерархия приводится в «Божественной комедии» Данте («Рай», XXVIII).

«Что вы читаете, мой господин?» — «Слова, слова, слова» — разговор Полония и Гамлета («Гамлет», акт II, сц. 2).

Двадцатичетырехкаратное молчание — карат здесь мера содержания золота в сплавах, $^1/_{24}$ массы сплава. Чистое золото соответствует 24 каратам.

Джордж Вашингтон и вишневое деревце — намек на историю из детства Вашингтона: когда ему подарили новый топорик, он срубил им вишневое деревце и сам признался в этом проступке.

Каллипига (греч.) — «прекраснозадая».

...могу шутя любую трудность одолеть — строка из баллады о Джоне Гилпине, герое юмористической баллады английского поэта Уильяма Каупера (1731—1800).

Эрвин Шредингер (1887—1961) — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.

Макс Планк (1858—1947) — немецкий физик.

Джозеф Джон Томсон (1856—1940) — английский физик.

АНТОНИО ТАБУККИ

Новеллы

Перевод с итальянского НАТАЛИИ СТАВРОВСКОЙ

Синема

1

Станция была почти пуста. Маленькая станция в селении на побережье моря; рядом с деревянными скамейками — пальмы и агавы. У ближнего ее конца за кованой решеткой начиналась дорога к жилым домам, у дальнего же — каменная лестница, спускавшаяся к пляжу.

Из стеклянной будки с пультом управления появился начальник станции — толстенький усатый человек — и под навесом прошел к путям. Закурив, с сомнением оглядел затянутое облаками небо. Выставил ладонь из-под навеса — узнать, не начался ли дождь, повернулся кругом и с озабоченным видом сунул руки в карманы. Двое рабочих, дожидавшиеся поезда на скамье под вывеской с названием местечка, коротко ему махнули: он в ответ кивнул. На другой скамье сидела пожилая женщина в черном с перевязанным бечевкой чемоданчиком. Начальник глянул вправо-влево на пути, зазвенел звонок, что означало: поезд приближается, и он вернулся в будку.

Тут из-за кованой решетки появилась девушка. На ней было платье в горошек, туфли с ремешком вокруг лодыжки и голубая вязаная кофта. Девушка шла быстро — похоже, чтобы согреться, светлые густые волосы колыхались под платком. В руках она держала матерчатый чемоданчик и плетеную сумочку из соломки. Один рабочий, провожая ее взглядом, локтем подтолкнул своего рассеянного приятеля. Равнодушно глядя в землю, девушка прошла в зал ожидания и затворила за собою дверь. Зал был пуст. В углу стояла большая чугунная плита, и девушка направилась к ней в надежде, что плита горячая. Пощупала ее разочарованно и положила сверху вещи. Села на скамейку, вздрогнув, закрыла лицо руками. Так просидела она долго, видно, плакала. Девушка красивая — мягкие черты лица, тоненькие щиколотки. Потом она сняла платок, встряхнула головой, приводя в порядок волосы. Окинула ищущим взглядом стены. Там были развешаны полные угроз инструкции оккупационных сил местным жителям и фотографии объявленных вне закона. Девушка в растерянности огляделась, потом переставила сумку на пол у ног, точно для пущей сохранности. Поежилась, подняла воротник. Она все время что-то теребила, видно было, как она волнуется.

Дверь распахнулась, и вошел мужчина. Высокий, худой, в светлом плаще, стянутом поясом, и надвинутой на лоб фетровой шляпе. Девушка вскочила и вскрикнула, едва не захлебнувшись:

— Эдди!

Мужчина приложил к губам палец и двинулся ей навстречу. Улыбаясь, обнял ее. Девушка прижалась головой к его груди.

— О, Эдди! — прошептала она, наконец отрываясь.— Эдди!

Мужчина заставил ее сесть, сам подошел к дверям и украдкой выглянул наружу. Потом уселся рядом с ней и вынул из кармана несколько сложенных листков.

— Вручишь английскому майору,— сказал он,— сейчас я расскажу, как это будет.

Девушка взяла листки и сунула за вырез платья. Вид был у нее испуганный, глаза полны слез.

— А ты? — спросила она.

Он досадливо махнул рукой. Послышался стук колес, и за дверными стеклами замелькали товарные вагоны. Мужчина нахлобучил шляпу и прикрылся развернутой газетой.

— Пойди взгляни.

Девушка подошла к двери и бросила наружу быстрый, внимательный взгляд.

— Товарный, сели два рабочих — те, что ждали на скамейке.

— А немцы есть там?

— Нет.

Начальник станции дал свисток, и поезд отошел. Девушка вновь подошла к мужчине и взяла его за руки.

— А ты? — повторила она.

Мужчина свернул газету и сунул ее в карман.

— Сейчас не время думать обо мне,— ответил он.— Перескажи-ка мне подробно расписание ваших гастролей.

— Завтра будем в Ницце, выступаем там три дня. В субботу и воскресенье — в Марселе, потом по дню в Монпелье и Нарбонне,— в общем, все побережье.

— Он будет в Марселе в воскресенье,— сказал мужчина.— После спектакля к тебе в уборную потянутся почитатели. Принимай их по одному. Многие придут с цветами, в том числе наверняка немецкие шпионы, но будут там и наши люди. В любом случае записку читай при том, кто принесет ее, потому что я не представляю, как выглядит тот человек, которому ты должна передать сведения.

Девушка внимательно слушала. Мужчина умолк, потом закурил.

– Среди записок должна быть и такая: «Fleurs pour une fleur» [1]. Тому, кто принесет этот букет, отдашь документы, это и будет майор.

Под навесом снова зазвенел звонок, и девушка взглянула на часы.

— Поезд будет здесь с минуты на минуту, и... Эдди, я прошу тебя...

Мужчина не дал ей закончить.

— Расскажи-ка лучше о спектакле, в воскресенье попытаюсь его себе вообразить.

— Участвуют все наши девушки,— безучастно произнесла она,— каждая изображает какую-нибудь актрису — современную или прежних времен, вот и все.

— А называется как? — с улыбкой спросил он.

— «Синема́-синема́».

— Неплохо.

— Это просто ужас,— убежденно ответила она,— хореография Саверио — представь себе, и я танцую в платье, на которое все время наступаю, а изображаю я Франческу Бертини.

— Осторожнее,— заметил он шутливо,— выдающиеся трагические актрисы падать не должны.

Девушка опять закрыла лицо руками и заплакала. Сейчас, в слезах, она была особенно хороша.

— Поедем вместе, Эдди, ну, прошу тебя, поедем,— прошептала она,

---

[1] Цветы — цветку *(франц.). (Здесь и далее прим. перев.)*

Мужчина нежно вытер ей слезы, но голос его посуровел — похоже, он боролся с сильным искушением.

— Эльза, перестань,— сказал он,— ты ведь все понимаешь.

Потом шутливым тоном добавил:

— По-твоему, в каком я должен был бы ехать виде — в балетной пачке и светлом парике?

Звонок под навесом умолк. Вдали стал слышен стук колес. Мужчина поднялся, сунул руки в карманы.

— Я провожу тебя на перрон.

Девушка решительно покачала головой:

— Не надо, это опасно.

— Все равно пойду.

— Прошу тебя!

— И вот еще что,— сказал он уже на ходу,— майор, я слышал,— донжуан, так что поменьше ему улыбайся.

Девушка взглянула на него с мольбой.

— О, Эдди! — воскликнула она полным муки голосом и протянула ему губы.

Мужчина мгновение помедлил — как будто был смущен, как будто не решался ее поцеловать. Потом почти что по-отечески чмокнул в щеку.

— Стоп! — крикнула хлопушка.— Стоп, камера!

— Не то! — загремел в мегафоне голос режиссера.— Конец придется переснять.

Режиссер, молодой бородач с длинным шарфом на шее, слез с подвижного сиденья операторской тележки и пошел им навстречу.

— Не пойдет,— пропыхтел он недовольно,— поцелуй тут нужен пылкий, как в старой той картине.— Показывая, он левой рукой обнял актрису — так, что та поневоле откинулась назад.— Наклоняетесь над ней и целуете со всей страстью,— объяснил он актеру. А остальным крикнул:

— Перерыв!

2

Съемочная группа заполнила станционное кафе, все сгрудились у стойки. Она, немного растерявшись, остановилась у дверей, а он исчез в толпе, но вскоре вынырнул, с трудом удерживая две чашки кофе с молоком, и указал кивком на выход. За павильончиком кафе обнаружился увитый виноградом грязноватый дворик, служивший как бы подсобным помещением для бара. Там стояли пустые ящики из-под бутылок и отслужившие свое перекошенные стулья. На них они расположились, превратив один из стульев в столик.

— Ну вот, уже конец,— проговорил он.

— И почему он так хотел снимать финал последним? — произнесла она в ответ.

Он покачал головой.

— Режиссер у нас новомодный,— он выделил последнее слово,— ни дать ни взять — питомец «Кайе дю синема» [1]. Осторожнее, не обожгись.

— Все равно, не понимаю я его,— заметила она.

— А что, в Америке они другие?

— Я считаю, да,— ответила она уверенно,— менее самонадеянные, не такие... интеллектуальные.

— Все-таки он — мастер.

— Во всяком случае, в былые времена так не делалось,— ответила она.

Они немного помолчали, отхлебывая кофе. Было одиннадцать утра, сквозь высаженные вдоль ограды дворика кусты бирючины посверкивало море. Через облачную пелену проглядывало солнце, погода вроде бы на-

[1] Французский журнал, в котором в качестве кинокритиков начинали будущие режиссеры — представители «новой волны».

лаживалась. Листья винограда были огненного цвета, на гравии плясали солнечные пятна.

— Осень — чудо,— проговорил он, глядя на виноградную кровлю. Затем добавил, как бы про себя: — «В былые времена». Так странно это слышать от тебя.

Она молчала, обхватив колени, подтянув их к груди. Сидела с отрешенным видом, будто лишь сейчас задумалась над смыслом своих слов.

— Почему ты согласился? — наконец произнесла она.

— А ты?

— Сама не знаю, но я первая спросила.

— Мне показалось...— ответил он,— ну, в общем... чтобы снова пережить... не могу точнее это выразить. А ты?

— И я, пожалуй, точно не могу.

На огибающей кафе аллейке показался режиссер. Вид у него был развеселый, в руке он держал кружку пива.

— Вот они где, наши «звезды»! — воскликнул он и развалился в одном из кособоких креслиц, с довольным видом переводя дух.

— Только, пожалуйста, увольте нас от разговоров о преимуществах «прямого кино»,— попросила она,— вы уже прочли нам достаточно лекций на эту тему.

Режиссер ни капли не обиделся и принялся непринужденно болтать. Говорил о фильме — о смысле новой версии, о том, зачем он столько лет спустя пригласил тех же актеров и почему в своем «римэйке» заострял черты оригинала. Он изрекал все это не впервые,— судя по тому, что слушали его без интереса,— но с явным удовольствием, похоже, больше для себя. Допив кружку, режиссер поднялся.

— Вот только надо, чтобы дождь пошел,— сказал он удаляясь,— просто грех снимать финал с насосами.— И, уже заворачивая за угол, уточнил: — Продолжим через полчаса.

Она взглянула вопросительно на спутника и, пожав плечами, покачала головой.

— В последней сцене дождь идет,— напомнил он,— я остаюсь там под дождем.

Она со смехом положила ему руку на плечо в знак того, что и сама прекрасно это знает.

— Этот фильм еще идет в Америке?

Выражение лица у него было слегка растерянное.

— Режиссер ведь нам его прокручивал одиннадцать раз! — засмеялась она еще громче.— Ну, в Америке его показывают иногда в киноклубах.

— Здесь тоже,— сказал он.

И вдруг спросил:

— А майор как поживает?

Она взглянула на него недоуменно.

— Говард,— пояснил он.— Я просил тебя поменьше ему улыбаться, но ты, конечно, не послушалась, хотя сцена эта не вошла потом в картину.— На мгновение он задумался.— Так я и не понял, почему ты согласилась стать его женой.

— Сама не знаю,— как-то по-ребячески ответила она,— по молодости лет.— Лицо ее смягчилось — видно, недоверие прошло и ей больше не хотелось говорить неправду.

— Чтобы досадить тебе — во-первых,— произнесла она спокойно,— хоть я, наверно, и сама не понимала этого. Ну, и потом, хотела побывать в Америке.

— Так что же? Говори? — спросил он.

— Мы вскоре разошлись: он не был создан для меня, я — для кино.

— Ты вообще исчезла с горизонта, почему ты больше не снималась?

— Таким, как я,— кто в первый раз успешно снялся по случайности, потому что лучше всех показал себя на пробах,— карьеру сделать нелегко. В Америке актеры очень профессиональны, а я вот раз снялась в одной части телесериала — и завалила роль: меня заставили играть богачку — желчную, завистливую, разве это на меня похоже?

— Я бы не сказал, ты выглядишь счастливой. Счастлива?

Она улыбнулась:

— Да нет. Однако у меня есть многое.

— К примеру?

— К примеру, дочь. Чудесная девчонка, на третьем курсе университета, мы с ней друг друга очень любим.

Он посмотрел на нее с недоверием.

— Уже больше двух десятков лет прошло,— заметила она,— почти целая жизнь.

— Ты по-прежнему необычайно хороша.

— Это грим, я вся в морщинах. Без пяти минут бабушка.

Они надолго замолчали. Из кафе доносились голоса, включили музыкальный автомат. Казалось, мужчина вот-вот заговорит, но он смотрел в землю, будто не находя слов.

— Расскажи, как у тебя сложилась жизнь, весь фильм хотел спросить и не решался.

— Конечно,— с готовностью согласилась она,— мне тоже хочется услышать, как все складывалось у тебя.

Тут из-за угла появилась синьорина Ферраретти — ассистентка режиссера, бесцеремонная дурнушка — тощенькая, круглые очки, на затылке хвостик.

— Синьора, пора гримироваться,— крикнула она.— Через десять минут уже съемка!

3

Звонок под навесом умолк. Вдали послышался перестук колес. Мужчина поднялся и сунул руки в карманы.

— Я провожу тебя на перрон.

Девушка решительно покачала головой:

— Не надо, это опасно.

— Все равно пойду.

— Прошу тебя!

— И вот еще что,— сказал он уже на ходу,— майор, я слышал,— донжуан, так что поменьше ему улыбайся.

Девушка взглянула на него с мольбой.

— О, Эдди! — воскликнула она полным муки голосом и протянула ему губы.

Он обхватил ее за талию — и поневоле она откинулась назад. Напряженно глядя ей в глаза, медленно приблизил губы к ее губам и страстно поцеловал. Поцелуй был крепкий и долгий, вокруг одобрительно зашушукались, кто-то даже присвистнул.

— Стоп! — крикнула хлопушка.— Сняли!

— Обед,— в мегафон объявил режиссер,— продолжим в четыре.

Члены группы стали разбредаться кто куда. Многие направились в кафе, другие подошли к фургончикам, стоявшим на площадке перед станцией. Мужчина снял плащ, повесил на руку. Они вышли последними на пустой перрон и двинулись в сторону набережной. Пучок солнечных лучей озарял ряд розовых домов, море было светло-голубое, почти прозрачное. На одном балконе появилась женщина, держа под мышкой таз, и принялась развешивать белье. Тщательно прикрепила пару детских штанишек и маечки. Потянула за веревку — и одежки заскользили по блоку, по натянутой между домами проволоке, развеваясь как флажки. Теперь они шли мимо образованной арками галереи, где были выстроены

лотки, накрытые клеенкой, некоторые — с синим якорем и надписью: «Дары моря».

— Здесь когда-то находилась пиццерия,— заметил он,— помню как сейчас, называлась «У Пецци».

Женщина молча опустила глаза.

— Неужели ты забыла,— сказал он,— там была вывеска «Пицца навынос», я сказал тебе: «Давай-ка вынесем кусочек пиццы от Пецци», а ты засмеялась.

Они спустились по короткой лестнице, миновали переулок с аркой, соединявшей два окна. Шаги их по блестящей булыжной мостовой звучали коротко и звонко, как бывает на морозе, и от этого казалось: уже зима. Однако веял теплый ветерок, доносился аромат смолосеменника. Магазинчики на набережной были все закрыты, в кафе рядом со столами, перевернутыми кверху ножками, стояли сложенные друг на друга стулья.

— Прошла пора,— заметила женщина.

Он взглянул украдкой на нее — нет ли тут намека,— но решил оставить эту тему.

— Вон там открытый ресторан,— он указал кивком,— что скажешь?

Ресторанчик назывался «Устрица» — свайная постройка из дерева и стекла на линии прибоя, поблизости от голубых купален. На волнах качались две привязанные к сваям лодки. Часть окон была зашторена циновками, а на столах средь бела дня горели лампы. Посетители — немногословные супруги-немцы средних лет, два юных интеллектуала, блондинка с собакой — последние отдыхающие. Они сели за угловой столик, подальше от остальных. Официант, должно быть, их узнал, так как поспешил к ним со смущенным видом, стараясь выглядеть радушным. Заказали камбалу на пару́ и шампанское, глядя, как ветер гонит облака и горизонт меняет краски. Сейчас граница между морем и небом стала ярко-синей, а высокий мыс, замыкающий залив,— зеленовато-серебристым, точно глыба льда.

— Невероятно,— помолчав, произнесла она,— целый фильм за двадцать дней — абсурд, некоторые сцены снимали вообще без дублей.

— Методы авангарда,— с улыбкой ответил он,—этакая лжекинонравда. Слишком дорого сейчас снимать кино, вот поэтому, бывает, фильмы делают и так.— Он принялся скатывать хлебные шарики и выкладывать их в ряд перед тарелкой.— Тоже мне, Ангелопулос,— пробормотал он со смешком,— хочет сделать, как в «Комедиантах»,— зрелище внутри зрелища и чтобы мы играли самих себя. Ну, ладно — песни той поры и планы-эпизоды, но чем же он заменит миф и трагедию?

Официант принес шампанское, открыл бутылку. Она подняла бокал, словно собиралась произнести тост.

— Мелодрамой,— ответила она,— он их заменит мелодрамой.— Выпила маленькими глотками шампанское и открыто улыбнулась.— Он поэтому и заставлял нас все утрировать. Мы ведь практически изобразили карикатуру на самих себя.

Он тоже поднял свой бокал.

— Тогда — за мелодраму! — произнес он.— Ведь и такие великаны, как Софокл, Шекспир, Расин,— это все, по сути дела́, мелодрама, и я все эти годы ничем иным не занимался.

— Расскажи о себе,— попросила она.

— Тебе в самом деле интересно?

— Конечно.

— У меня в Провансе ферма, иногда мне удается там пожить. Природа красивая, люди душевные, мне хорошо там, лошадей я люблю.— Он снова принялся за хлебные катышки, уже образовавшие вокруг бокала два кольца,— перекладывал их, будто бы раскладывал пасьянс.

— Я не это имела в виду,— сказала она.

Он подозвал официанта и заказал еще шампанского.

— Преподаю в Академии драматического искусства,— добавил, помолчав,— моя жизнь — Креонт, Макбет, Генрих VIII.— Он виновато улыбнулся.— Специализируюсь на извергах.

Она смотрела на него внимательно, с сосредоточенным, напряженным лицом, как будто чего-то тревожно ждала.

— А кино? — спросила она.

— Пять лет назад снялся в детективе, играл американца, частного агента,— всего три сцены, а потом меня убили в лифте. Но в заглавных титрах значилось: а также с участием...— и мое имя во весь экран.

— Ты — миф,— убежденно сказала она.

— Остаток,— поправил он.— Я — этот вот окурок, гляди.— И он сделал суровое, отчаянное лицо, окутав себя дымом сигареты, висевшей на нижней губе.

— Не строй из себя Эдди,— засмеялась она.

— Но я на самом деле Эдди,— сказал он тихо, сделав вид, что надвигает на лоб воображаемую шляпу. Наполнил вновь бокалы, поднял их.

— Выпьем за кино.

— Если так пойдет и дальше, то на площадку мы заявимся навеселе, *Эдди,*— лукаво выделяя имя, заметила она.

Театральным жестом сняв воображаемую шляпу, он поднес ее к сердцу.

— Ну что ж, так будет еще мелодраматичней.

На десерт заказали мороженое с горячим шоколадом. Торжествующий официант принес блюдо с мороженым и соусник с дымящимся шоколадом. Подавая на стол, он робко, но не без кокетства спросил, не окажут ли они ему честь поставить автографы на меню, и, получив согласие, расплылся в радостной улыбке.

Мороженое было в форме большущего цветка, в центре венчика ярко краснели вишни. Он подхватил одну пальцами и положил в рот.

— Послушай,— предложил он,— давай-ка мы финал изменим.

Она взглянула несколько недоуменно, возможно, просто пожелала услышать подтверждение тех слов, смысл которых прекрасно поняла.

— Не уезжай,— попросил он,— останься со мной.

Она будто бы в смущении склонила голову к тарелке.

— Ну, пожалуйста,— произнесла она,— прошу тебя...

— Ты говоришь, как в фильме,— заметил он,— те же самые слова.

— Мы здесь не в фильме,— ответила она почти обиженно,— довольно представляться, перегибаешь палку.

Он махнул рукой, как будто в самом деле собирался закончить этот разговор.

— Но я люблю тебя,— сказал он еле слышно.

На этот раз шутливый тон взяла она.

— Конечно,— согласилась она снисходительно,— в кино.

— Это все равно,— ответил он,— все — кино.

— Что — все?

— Все.— Он протянул руку через стол и сжал ее ладонь.— Прокрутим-ка обратно пленку и вернемся к самому началу.

Она смотрела на него, будто боясь ответить. Не отдернула руки, которую он ласково погладил, ответила тем же сама.

— Ты забыл название картины,— попыталась она сострить.— «Возврата нет».

Сияющий официант спешил к ним, размахивая бланками меню.

4

— Ты с ума сошел! — смеясь воскликнула она, но все же последовала за ним,— они же будут просто вне себя.

Он за руку втащил ее на пристань и прибавил шаг.

— Ну и пускай,— ответил он,— пусть нахал этот немного подождет, ожидание вдохновению способствует.

На катере было в лучшем случае с десяток пассажиров, рассевшихся на скамьях внутри и на железных стульях на корме. Все — местные; судя по одежде и по тому, с какой непринужденностью они себя вели, видно, что они давно освоились с этим видом транспорта. Три занятые беседой женщины держали пластиковые пакеты с названием универмага — явно приезжали за покупками из деревенек, расположенных на берегу залива. Кондуктор, компостировавший билеты, одет в голубые брюки и белую рубашку с фирменной эмблемой на кармане. Мужчина у него спросил, сколько времени займет плавание в оба конца. Молодой парень, обводя залив широким жестом, перечислил те деревни, где катер пристает. У кондуктора были светлые усики, говорил он с ярко выраженным местным акцентом.

— Примерно полтора часа,— ответил он,— но если времени у вас немного, от первой деревеньки, едва мы пришвартуемся, отчалит встречный катер, который будет здесь через сорок минут.— Он указал на первую деревню на правом берегу залива — гроздь освещенных солнцем светлых домиков.

Она, похоже, не могла никак решиться и, мучимая опасениями, боролась с соблазном.

— Они же будут просто вне себя,— сказала она снова,— они хотят сегодня кончить съемки.

Он пожал плечами и беспечно махнул рукой.

— Ну, не сегодня кончим — завтра, оплата ведь аккордная, вот пусть и добавят лишний день.

— Завтра я должна лететь в Нью-Йорк,— ответила она,— все уже расписано, и дочка ждет.

— Синьора, пожалуйста, решайте,— учтиво попросил кондуктор,— нам пора отбывать.

Катер дал гудок, второй, и матрос, стоявший на причале, стал отвязывать канат. Кондуктор вынул книжечку и протянул им два билета.

— На носу вам будет удобней,— посоветовал он,— там ветерок, зато не так качает.

Железные стулья были свободны, но они облокотились о невысокие перильца, чтобы полюбоваться пейзажем. Катер быстро отчалил и двинулся полным ходом. Городок мгновенно отдалился и стал весь виден как на ладони: оказалось, что старые дома расположены в неожиданно логичном и полном особого очарования порядке.

— Земля выглядит красивей с моря,— заметила она. Рукой она придерживала волосы, растрепанные ветром, на скулах проступил румянец.

— Ты — самая красивая,— ответил он,— на море, на земле — везде.

Засмеявшись, она стала рыться в сумке — возможно, в поисках платка, чтобы повязать им волосы.

— А ты весьма галантен, раньше таким не был.

— Раньше я был глупым, глупым и инфантильным.

— А по-моему, ты инфантильнее сейчас,— заметила она,— прости, но я и правда так считаю.

— Нет,— отозвался он,— ты ошибаешься, я просто постарел.— Он бросил на нее озабоченный взгляд.— Только не говори, что я старый.

— Нет, ты не старый,— успокоила она,— но дело ведь не только в этом.

Она вынула из сумочки черепаховый портсигар, достала сигарету. Сложив ладони домиком, он заслонил спичку от ветра. Небо теперь было ярко-голубое, хотя от горизонта поднималась темная завеса и море стало темно-синим. Первая прибрежная деревня быстро приближалась. Уже четко вырисовывалась розовая колокольня с белым куполом, похожим на безе. Стая голубей взлетела с крыш и, описав широкую дугу, повернула к морю.

— Там, наверно, жизнь прекрасна и проста,— заметил он.

Она с улыбкой кивнула.

— Возможно потому, что это чужая жизнь.

Хорошо был виден встречный пароходик, стоявший в крошечном порту,— старенький, похожий на буксир. При виде катера он — точно в знак приветствия — дал три гудка. На пристани стояли несколько человек — должно быть, собирались сесть на катер. Малышка в желтом, держась за мамину руку, без устали подпрыгивала, как пичужка.

— Вот чего бы я хотел,— сказал некстати он.— Жить чужой жизнью.— По ее глазам он понял, что выразился неясно, и поправился: — Счастливой жизнью, не похожей на нашу,— сказал он,— такой, какую мы себе вообразили, глядя на ту деревеньку.— Он взял ее за руки, повернул к себе и долго, не произнося ни слова, смотрел ей пристально в глаза.

Она мягко высвободилась и быстро его поцеловала.

— Эдди,— проговорила она нежно,— милый Эдди! — Взяв его под руку, потянула к подготовленным для спуска сходням.— Ты большой актер,— сказала она,— настоящий, большой актер.— Она была весела и полна жизни.

— Но я и вправду это чувствую,— запротестовал он, послушно двигаясь к выходу.

— Конечно, вправду,— отозвалась она.— Как и бывает с настоящими актерами.

5

Поезд резко остановился, заскрежетав колесами и выпуская клубы пара. В одном купе окошко опустилось, и выглянули пять девичьих головок. Среди девушек были крашеные блондинки, с локонами по плечам и кудряшками на лбу. Все они весело защебетали: «Эльза! Эльза!». Ярко-рыжая девица с зеленым бантом в волосах, крикнув: «Вот она!»,— свесилась в окошко, делая широкие приветственные жесты. Эльза поспешила к девушкам, коснулась радостно протянутых ей навстречу рук.

— Коринна,— глядя на рыжеволосую, воскликнула она,— что ты сделала с собой?!

— Так нравится Саверио,— Коринна рассмеялась, подмигнув, и кивнула в сторону купе.— Ну, скорее поднимайся, или так и будешь там стоять? — добавила она пронзительным голосом и вскрикнула: — Ой, девочки, Рудольф Валентино!

Высунувшись из окошка, все девушки принялись махать тому, кого увидела Коринна. Эдди был вынужден выйти из-за стенда с расписанием на перрон; с невозмутимым видом он сделал несколько шагов вперед, надвинув шляпу на глаза. В этот самый миг в ворота на дальнем конце станции вошли двое немецких солдат и направились к будке начальника. Через несколько секунд тот вышел с красным флажком и проворно, отчего его грузноватая фигура казалась еще нескладнее, зашагал к локомотиву. Солдаты встали у кабины машиниста — им, похоже, поручили что-то охранять. Девушки молчали и озабоченно следили за происходящим. Поставив на землю чемоданчик, Эльза растерянно смотрела на Эдди. Знаком он велел ей идти дальше, а сам уселся на скамейку под рекламой побережья, достал газету из кармана и развернул ее перед собой.

Коринна, кажется, все поняла.

— Ну так, милая моя,— крикнула она,— будешь ты садиться или нет? — Она игриво помахала глядевшим на нее солдатам, одарив их ослепительной улыбкой. Тем временем начальник станции уже двигался обратно, держа под мышкой свернутый флажок, и Коринна у него осведомилась, что происходит.

— Попробуй разбери,— толстяк пожал плечами,— придется, видно, подождать еще минут пятнадцать, а почему — не знаю, так приказано.

— А-а, ну тогда мы можем выйти поразмяться, правда, девочки? — пропищала радостно Коринна и вмиг оказалась внизу, а за ней и осталь-

ные.— Ты поднимайся,— шепнула она Эльзе, поравнявшись с ней,— уж мы сумеем их отвлечь.

Девушки, направившись в противоположную от Эдди сторону, прошли мимо солдат.

— А что, на этой станции буфета нет? — оглядываясь, громко произнесла Коринна. Она великолепно привлекала к себе внимание, нарочито виляя бедрами и раскачивая сумочкой на длинной ручке. На ней было очень узкое цветастое платье и босоножки на пробковой подошве.— Море! — воскликнула она.— Девочки, какое море, ну не чудо ли! — Театрально прислонилась к первому фонарю и, сделав гримаску, словно ребенок, поднесла руку к губам.— Будь у меня купальник, не посмотрела бы, что осень! — Она тряхнула головой, и водопад рыжих локонов заструился по плечам. Обомлевшие солдаты не сводили с нее глаз. И тут Коринну осенило. Возможно, она придумала это, увидев фонарь, а может быть, просто хотела во что бы то ни стало найти выход. Опустив верх платья, так, что обнажились плечи, она спиной прижалась к фонарю, продолжая раскачивать сумочку на ремне, потом, раскинув руки, обратилась к воображаемой публике, заговорщицки подмигивая всему, что ее окружало.— Эту песенку поет весь мир,— крикнула она,— даже наши враги! — Повернувшись к другим девушкам, Коринна хлопнула в ладоши. То был наверняка один из номеров спектакля, так как те выстроились в ряд и принялись маршировать на месте, отдавая честь. Держась рукою за фонарный столб, Коринна грациозными шажками описала оборот вокруг него. Юбка, развеваясь, оголила ее ноги.— Vor der Kaserne, vor dem grossen Tor, stand eine Laterne, und steht sie noch davor... so wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst, Lili Marleen, wie einst, Lili Marleen [1].

Девушки захлопали, один солдат присвистнул. Шутливо поклонившись, Коринна направилась к фонтанчику у ограды. Внимательно глядя вниз, на дорогу, пальцем смочила виски, потом с другими девушками двинулась к вагону.— Миленькие, auf Wiedersehen [2], стоя на подножке, крикнула она солдатам,— мы отправляемся в турне!

Эльза в коридоре обняла ее.

— Коринна, ты просто ангел,— сказала она, целуя подругу.

— Да ладно,— вздохнув, ответила Коринна и расплакалась как маленькая.

Солдаты, подойдя к вагону, рассматривали девушек и перекидывались с ними короткими фразами, один из них немного знал по-итальянски. Раздался шум мотора, и из ворот у дальнего конца станции показался черный автомобиль; он проехал через весь перрон и остановился в голове состава, у первого вагона. Девушки высунулись посмотреть, что происходит, но пути немного изгибались, и разглядеть как следует было непросто. Эдди продолжал сидеть, укрывшись за газетой.

— Что там такое, девочки? — с притворным равнодушием, раскладывая вещи в сеточке, спросила Эльза.

— Да ничего,— отозвалась одна из девушек,— какая-то, должно быть, важная персона, но в гражданском, сел в первый вагон.

— Один? — спросила Эльза.

— Да вроде бы,— сказала девушка,— солдаты стоят по стойке «смирно», в вагон не входят.

Эльза высунулась посмотреть. Военные, стоявшие у паровоза, сделав разворот кругом, зашагали по дороге, что вела в городок. Подошел начальник станции, волоча флажок и глядя на свои ботинки.

— Поехали,— глубокомысленно проговорил он с видом человека, кое о чем осведомленного, и махнул флажком. Паровоз дал гудок. Девушки вновь заняли свои места в купе. Осталась у окошка только Эльза.

---

[1] Около казармы у больших ворот, где фонарь качается уж который год, будем мы там друг друга ждать, под этим фонарем стоять, как встарь, Лили Марлен, как встарь, Лили Марлен *(нем.)*.

[2] До свидания *(нем.)*.

Волосы ее были зачесаны назад, глаза блестели. Тут Эдди встал и подошел к окну.

— До свидания, Эдди,— прошептала Эльза и протянула ему руку.

— Еще встретимся в каком-нибудь фильме? — спросил он.

— Что он несет? — воскликнул сзади режиссер.— Что он понес такое?!

— Остановить? — спросила хлопушка.

— Не стоит,— ответил режиссер,— все равно мы его дублируем.— И крикнул в мегафон: — Ну, пошли, поезд отходит, прибавьте шаг, идите за вагоном и держите ее за руку!

Поезд тронулся, и Эдди послушно заспешил следом все быстрей — пока мог поспевать, но когда набравший скорость поезд изогнулся, готовясь перейти на стрелке на другой путь, он развернулся, сделал несколько шагов вперед, закурил и медленно пошел на камеру. Режиссер жестами задавал ритм его шагам, как будто вел его на невидимых нитях.

— Пожалуйста, пусть у меня случится инфаркт,— произнес он с умоляющим видом.

— Что-что? — воскликнул режиссер.

— Инфаркт,— повторил Эдди,— здесь, на этой скамейке. Я обесси-ленно — вот так, смотрите — сяду на скамью и возьмусь за грудь, как доктор Живаго. Давайте я умру.

Хлопушка глядела на режиссера, ожидая указаний съемку прекратить. Тот, однако, жестом показал, что он все это вырежет, и распорядился продолжать.

— Какой инфаркт,— ответил он,— с таким-то лицом! Ну, шляпу ниже, вот, как у Эдди, одумайтесь, чтоб не пришлось переснимать.— Режиссер дал рабочим знак включить насосы.— Ну, давайте,— подзадорил он,— дождь начинается,— вы — Эдди, я прошу вас, Эдди, а не сентиментальный влюбленный... Руки в карманы, расправьте плечи, ну вот, отлично, идете в нашу сторону... сигарету свесьте вниз... прекрасно... глядите в землю.

Он обернулся к оператору и крикнул:

— Камера пошла назад, снимаем с отъезда, камера, назад!

Any where out of the world [1]

Как получается все так, а не иначе? От чего зависит ход событий? От пустяка. Начаться может с пустяка, с фразы, растворившейся в огромном этом мире, полном фраз, предметов, лиц, в таком большущем городе с площадями и метро, людьми, спешащими с работы, трамваями, машинами и парками, с тихою рекой, по которой на закате скользят бесшумно к устью корабли, туда, где город разрастается в невысокое белесое предместье — кособокое, с глазницами огромных, пересохших луж между домами, со скудной зеленью и маленькими грязными кафе, закусочными, посетители которых подкрепляются, глядя на огни морского побережья или сидя за железными столиками — чуть заржавленными, постукивающими по тротуару, где лица у официантов утомленные, а куртки — белизны сомнительной. Иногда я там брожу по вечерам, добравшись на трамвае, что сползает вниз по Авениде, потом нижним улочкам с одноэтажными домами и, выехав на набережную, начинает черепашьи гонки с буксирами, скользящими за парапетом на расстоянии протянутой руки. Там уцелели деревянные телефонные кабины, случается, из них кто-нибудь звонит — старая женщина, явно знававшая лучшие дни, железнодорожник или моряк, и я думаю: а с кем они, интересно, говорят? Далее трамвай совершает круг по площади, где находится Музей морского флота; на этом пятачке стоят три вековые пальмы и

---

[1] Куда угодно, лишь бы прочь из этого мира *(англ.)* — название стихотворения в прозе Шарля Бодлера из сборника «Парижская хандра» (1869).

скамьи, вытесанные из камня, а иной раз дети бедняков предаются доступным им забавам, как в годы моего детства,— прыгают через веревочку, играют в классики. Тут я выхожу и дальше продолжаю путь пешком, держа руки в карманах, почему-то сильно бьется сердце — может быть, тому причиной незатейливая музыка, доносящаяся из того кафе, там у них, должно быть, старый граммофон, всегда заводят фа-минорный вальс или фадо на губной гармошке, иду и думаю: вот я здесь, и никто меня не знает, я один из множества таких же незнакомцев, я здесь, как мог быть где-нибудь еще, ничто не изменилось бы, это и мучительно, и дарит ощущение свободы — прекрасной и ненужной,— как любовь, которую отвергли. Думаю: никто не знает, ни о чем никто здесь не подозревает, меня никто не сможет обвинить, я здесь свободен, при желании могу вообразить, будто ничего и не случилось. Смотрюсь в витрину. Что, разве виноватое лицо? Поправляю галстук, приглаживаю волосы. Выгляжу неплохо, разве что немного утомлен, ну, грустноват, поглядеть со стороны — человек, имеющий свою судьбу, но ничего особенного, жизнь как жизнь, было и хорошее, и скверное, и все, конечно, на лице оставило свой след. Но ничего такого не заметно. И это тоже дарит ощущение свободы — прекрасной и ненужной, как бывает, когда ты долго что-то замышлял и наконец осуществил. Ну, а теперь-то что же делать? Да ничего, не надо ничего. Сядь за столик этого кафе, ноги вытяни, пожалуйста, апельсиновый с мякотью и немного миндаля, благодарю, открой газету, купленную просто так, до новостей тебе нет дела, в соревнованиях на кубок чемпионов «Спортинг» сыграл вничью с мадридским «Реалом», омары дорожают, правительственный кризис вроде бы предотвращен, мэр подписал проект развития города, предполагающий создание в историческом центре пешеходной зоны, между такой-то и такой-то улицами будут установлены цветы в вазонах, и район этот превратится в этакий оазис для любителей прогулок и для покупателей, на севере страны городской автобус врезался в магазинчик на углу из-за того, что шоферу стало плохо, и он сразу же скончался — не от удара, а от инфаркта, о прочих жертвах не сообщено, пострадал значительно — фактически разрушен — только магазин по продаже бонбоньерок и атрибутов бракосочетаний и причастий. Рассеянно проглядываешь ты коммерческие объявления, без особенного интереса — в Институте лингвистики платят прилично и распорядок удобный, в день каких-то пять часов, к тому же в двух шагах от дома, остальное время принадлежит тебе— гуляй, читай и сам пиши, тебе всегда ведь это нравилось, а то пойди в кино, ты ведь питаешь слабость к фильмам пятидесятых годов; или репетиторством займись, как некоторые коллеги, хоть и хлопотно возиться с маленькими шалопаями из приличных семей, это окупается. Ну, как знать, посмотрим... Пищевое предприятие ищет представителя с отличным знанием французского и английского, в центре, абонентский ящик № 199. Швейцарская фармацевтическая фирма открывает в городе свой филиал, владение немецким в совершенстве, желателен диплом химика. Агентство по торговым операциям между Европой и Латинской Америкой, требуется знание английского и испанского, предпочтителен опыт в бухгалтерском деле. Судоходная компания, линия Гонконг — Макао, присмотр за товарами в пути и их сдача, частые поездки. Кино. А что, ты завтра не работаешь, и можно лечь попозже. Хоть и на полуночный сеанс. Перекусить сначала в устье, в гавани Санта-Мария — одними раками в кисло-сладком соусе и рисом по-кантонски, так-так, фестиваль лент Джона Форда, здорово, можно снова посмотреть «The Horse Soldiers» [1] — хоть он, правда, скучноватый, «Рио-Гранде», «A jellow Ribbon» [2]. Или вот французская ретроспектива: затянутые интеллектуальные сцены с шарфом, премудрости Дюрас [3] — нет, это отпадает. Показывают где-то «Касабланку», в «Альфе», впервые слышу, небось у черта

[1] «Кавалеристы» *(англ.)*.
[2] «Желтая лента» *(англ.)*.
[3] Маргерит Дюрас (род. в 1914 г.) — французская писательница.

на куличках, улицу не знаю. А все-таки что стала делать Ингрид Бергман после того, как прилетела в Лиссабон и на экране появился титр «The End»[1]? Следует придумать продолжение этой истории, написал один знакомый журналист — мой ровесник, черноусый, с живыми глазами, к тому же пишет превосходные рассказы. Все-таки, наверно, ты устал. Должно быть, подскочила влажность. Приходит порой с Атлантики густой туман, забивает поры и ноги — деревянные. Еще один апельсиновый с мякотью и несколько орешков миндаля. В пассаже «Капитол» представляют новый выпуск Дюка Джордана, запись года шестьдесят четвертого, ты прекрасно помнишь этот диск, «Sultry Eve»[2] и «Kiss of Spain»[3], шестьдесят четвертый год. Париж, бутерброды и собачий холод, ваша встреча — впереди, в туманном будущем. Теперь объявления личные, самое интересное: люди разоблачаются, стыдливо прикрываясь эвфемизмами. Ах, эта жалкая завеса слов! Вдова строгих правил ищет прочной дружбы. Три особых объявления, подписанных загадочными инициалами. Пенсионер, страдающий от одиночества. Непременное агентство счастливых встреч: почему вы в поисках родной души до сих пор не обратились к нам за помощью? И вдруг сердце у тебя начинает колотиться все быстрее, тум-тум-тум, бьется — как не выскочит, наверно, слышно за другими столиками, все расплывается вокруг, тонет в поглощающей любые звуки мгле, все сошло на нет — огни, шумы и голоса, будто неестественная, всеобъемлющая тишина парализовала мир, ты всматриваешься во фразу, читаешь ее снова и чувствуешь во рту какой-то странный привкус, ты думаешь: быть этого не может, ужасающее совпадение, но, взвесив слово «ужасающее», поправляешься в уме; нет, просто совпадение, случайность, ничтожная случайность, коих в этом мире миллиарды, нечто заурядное. Но почему — с тобой? И почему же здесь, говоришь ты себе, за этим вот столом, вот в этом самом месте, в этой вот газете? Не может быть, думаешь ты, фраза эта затесалась ненароком, частица давнего набора уцелела под грудой других набранных строчек, и невнимательный типограф, вытащив ее нечаянно, поставил среди прочих объявлений — вот что приходит тебе в голову, а дальше следуют догадки того нелепей, ты думаешь: мне дали старую газету, я ошибочно купил газету, вышедшую четырьмя годами раньше, которая лежала у киоскера под прилавком, провалялась там четыре года, заметил он мою рассеянность и решил подсунуть старую газету, глупое пустячное мошенничество, и для беспокойства оснований нет. А если ты так долго возишься с газетой, пожелав проверить дату, повинен в этом ветер с моря, он треплет листы, мешает их сложить как следует, а ты не нервничаешь, ты спокоен абсолютно, ну-ка, успокойся. Газета — за сегодня, нынешнего дня, сего года по григорианскому календарю, сегодня вышла, и сегодня ты ее читаешь. Any where out of the world. Ты перечитываешь фразу раз в десятый, это не просто объявление, это пароль, напечатанный в рубрике объявлений вечерней газеты, не указаны ни почтовый ящик, ни адрес, ни имя, ни компания, ни школа — ничего. Только — Any where out of the world. Но больше ничего тебе не надо, поскольку фраза, как река, несущая обломки в половодье, тащит за собой слова-осколки, и память твоя расставляет их так четко и спокойно, что у тебя внутри все холодеет: «Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-lá croît qu'il guérirait à côté de la fenêtre»[4]. «Ваш сок, синьор, к сожалению, нет больше миндаля, может быть, кедровые орешки?» Ты делаешь неопределенный жест, который может означать и «да», и «нет», лишь бы не мешали, так как ты теперь глядишь на

---

[1] Конец *(англ.)*.
[2] «Знойная Ева» *(англ.)*.
[3] «Испанский поцелуй» *(англ.)*.
[4] Эта жизнь — больница, где каждый больной жаждет лечь на другую койку. Один бы предпочел страдать у печки, другой же верит, будто исцелится у окна *(франц.)*.

побережье, опять огни перед глазами, просветление в памяти, возвращающиеся слова тоже вспыхивают у тебя в мозгу, почти воочию ты видишь, как они сверкают, будто маячки в ночи, кажется — далекие, а сами — рядышком, подать рукой: «Il me semble que je serais toujours bien lá où je ne suis pas, et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme»[1]. Зажав стакан двумя руками, ты понемногу отпиваешь. Ты производишь впечатление спокойного и несколько мечтательного человека, глядящего, как и другие посетители, во тьму и на воду, газету ты свернул и положил на столик — аккуратно, с великой тщательностью, какая бы пристала пенсионеру, взявшему газету почитать, ну, скажем, у знакомого цирюльника, ты рассеянно скользишь по ней глазами — обычная газета за сегодня с устаревшими известиями, так как день прошел, и кто-то где-то делает уже другие газеты с новостями, каковые несколько часов спустя обесценят эти новости, воплощенные в словах, но тебе эта газета сообщает весть уж слишком старую и совершенно новую, новизна ее тебя тревожит, пожелай ты хоть в малой степени, она могла бы потрясти тебя, но ты не допускаешь этого, не можешь допустить, хранишь спокойствие. И только тут ты обращаешь внимание на дату: 22 сентября. Совпадение, думаешь ты опять. Но с чем? Подобных совпадений не бывает, это ведь уже второе, сначала фраза, а теперь и дата, одна и та же дата. И неудержимо, будто храня в твоей памяти свой собственный голос,— так прилипчивая детская считалка, канув в прошлое, казалось, навсегда тебя оставила в покое, но на самом деле не исчезла, просто притаилась в самом сокровенном закоулке,— оживает ритм тех страниц, рисунок фраз, они просачиваются по капле, тук-тук-тук, они стучатся изнутри в породу, собираются в поток, он гудит, он ищет выхода и ударяет вдруг ключом, вырывается, тебя окатывает, он не холодный, но ты весь дрожишь, этот хлещущий фонтан сбивает тебя с ног, влечет в пучину, сопротивляться бесполезно, струя сильна, стремительна, неудержима, она возносится подземными тоннелями, она неистовствует и несет тебя с собой. «Dis-moi mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne? Il doit y faire chaud, et tu t'y regaillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau; on dit qu'elle est bâtie en marbre... Voilà un paysage selon ton goût; un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir»[2]. И ты идешь по городу из мрамора, медленно проходишь мимо зданий восемнадцатого века, эти своды видели колониальную торговлю, парусники, суматоху, видели, как отплывали корабли в рассветном мареве, гулко раздаются в тишине твои шаги, вот к колонне привалился старый нищий, пройдя через аркаду, ты оказываешься на площади, противоположный край которой лижут мутные речные воды, от пристани отходят к другому берегу освещенные катера, увозят на исходе вечера последних торопливых пассажиров, и скоро в ночном безмолвии останутся одни любители поздних променадов, рассеянные полуночники, не находящие покоя души, которые прогуливают свои бессонные тела, беседуя сами с собой. Разговариваешь сам с собой и ты — сначала молча, а потом открыто, отчетливо произнося слова, как будто ты диктуешь, будто река их зафиксирует и будет ревностно хранить в своем архиве, на дне, где камешки, песок и затонувшие обломки, и произносишь ты: «вина». Ты это делаешь впервые — должно быть, раньше не хватало смелости, а слово ведь простое, однозначное, оно отчетливо звучит во тьме, и, кажется, все умещается в том облачке, которое на миг возникло во влажном воздухе у рта. Ты выходишь на пустынную площадь, где высится внушительный монумент: всадник гонит своего коня навстречу ночи. Вина.

---

[1] Мне кажется, блаженство там, где меня нет, и перемена места — один из тех вопросов, которые я беспрестанно обсуждаю со своей душой *(франц.)*.

[2] Душа моя, закоченевшая бедняжка, не хотела бы ты поселиться в Лиссабоне? Должно быть, там тепло, и ты бы ожила, как ящерица. Этот город расположен у воды, говорят, он весь из мрамора... Вот пейзаж, который должен быть тебе по вкусу — сотканный из света, камня и воды, их отражающей! *(франц.)*

Присев на цоколь, ты закуриваешь, в кармане — сложенная газета, одно присутствие которой тебя немного раздражает, как булавка, колющая шею, или насекомое. Невероятно, ведь никто не знает, что я здесь, я затерялся среди миллионов лиц, не может это быть обращено ко мне, это просто фраза, ведомая многим, и другой знаток Бодлера ею подает кому-то тайный знак. На миг тобой овладевает удивительное ощущение: будто возможно повторение жизни, ее дублет, будто колесо фортуны, двигаясь по свету, может наугад накладывать одинаковые отпечатки на бытие людей с разными глазами, разными руками, разными натурами, людей, которые живут на разных улицах, в разных домах, и вот другой мужчина говорит сейчас другой из женщин в другой какой-то спальне: «Une chambre qui ressemble à une rêverie» [1]. И тебе видится освещенное окно комнаты, похожей на видение, ты можешь подойти к вспотевшим стеклам и сквозь старенькое кружево гардин заглянуть внутрь, в эту комнату со старинной мебелью и выгоревшими обоями в тюльпанах, в постели мужчина и женщина, позы их и скомканные простыни свидетельствуют о недавней близости, он гладит ее волосы и произносит: «Laisse-moi respirer longtemps l'odeur de tes cheveux» [2]. Тут раздается бой часов, уже поздно, говорит она, мне пора идти. Но ты ей отвечаешь: китайцы узнают, который час, по кошачьим глазам, еще не время, Изабель, еще все впереди, мне предстоит еще склонить тебя к истинной измене, но виноват буду не я, поверь, повинны обстоятельства, кто знает, отчего все происходит, так или иначе, впереди еще тот миг, когда ты, уступив, изменишь, но и тогда будет повинна твоя совесть, а не ты, он же о моем предательстве никогда и не узнает — появится в газете тайная коротенькая фраза, известная лишь нам с тобой, Any where out of the world, сигнал, и тогда-то все произойдет. Однако все уже произошло, но тот мужчина в комнате пока не знает и говорит: да, поздно, ты иди, а после выйду я. Ты выходишь, ты опять на площади, какая-то искательница приключений тормозит и коротко сигналит фарами, ты отрицательно качаешь головой и снова думаешь: быть не может, это просто совпаденье судеб. Но ты чувствуешь, что дело обстоит иначе, тебя бьет дрожь, внутри все холодеет, и это как бы подтверждает, что ты прав, соборные куранты отбивают то же время, что и часы в той комнате четырьмя годами раньше, ты думаешь: все повторяется, а может быть, мне просто холодно и голодно, надо бы перекусить. Идет трамвай, но ехать неохота. Лучше тебе пройтись по круто уходящей от реки вверх, к замку, улице, там, рядом,— смеющиеся иностранные туристы, несколько автобусов из «Ситирамы» и индийский ресторанчик, где ты часто ешь balchao из кур, хозяин ресторанчика — без умолку болтающий индус из Гоа, он, пожалуй, многовато пьет, но соус к рису у него отменный, и бывает вино со специями. У окна закусывают две веселые американские парочки, висящие над столиками лампы с матерчатыми абажурами в красно-белую клетку выглядят приветливо и в то же время по-домашнему, пол не блещет чистотой, под столиками кое-где бумажные салфетки, синьор Колва сегодня вечером не слишком говорлив, вид у него усталый, наверно, было слишком много посетителей. Может быть, balchao для вас чрезмерно острый, предполагает он, я принесу вам холодного пива. Неизменно обходителен, но не угодлив. Будто вспомнив что-то вдруг, он хлопает себя по лбу, как бы прося прощения и каясь в собственной забывчивости, семенит к стойке и с улыбкой возвращается. Ваша газета, говорит он, и подает ее тебе. Ты чувствуешь, что побледнел, и покрываешься холодным потом, ты щупаешь пиджак, твоя газета, сложенная вчетверо, лежит в кармане, до этого ты положил ее туда и чувствуешь ее толщину. Ты смотришь на газету, протянутую синьором Колвой, но не берешь ее, и, вероятно, твое лицо выражает только удивление — не ужас, цепочкой муравьев теперь ползущий у тебя от щиколоток к пупку.

---

[1] Эта комната похожа на видение *(франц.)*.

[2] Позволь мне долго-долго вдыхать запах твоих волос *(франц.)*.

Безусловно, принесли ее для вас, заверяет он, из всех моих клиентов вы один ее читаете. Да? — умудряешься ответить ты с пугающим тебя спокойствием, а кто принес? Не могу сказать вам, доктор, утром сын нашел ее под дверью — обернутой, но он, бесстыдник, вытащил, результаты матчей посмотреть, вы знаете, что «Спортинг» сыграл вничью с «Реалом»? Согласитесь, на самом деле результат не так уж плох, жаль, по телевизору не показали, «Спортинг», говорят, вообще бы победил, да вот штанга верхняя, ну, и судья, конечно, от судейства в подобных случаях зависит очень многое, хоть у «Реала» поле идеальное, болельщики — джентльмены, а вполне ли он уверен, что на обертке стояла именно твоя фамилия? Он озирается растерянно по сторонам, ты должен извинить его, молодежь-то нынче невоспитанная, вот в былые времена хлыста боялись, с озабоченным лицом он проворно удаляется из зала, там перед кухней — лестница, ведущая в жилую часть, но ты знаешь: на обертке не было фамилии, и подтверждения ты не получишь по той простой причине, что подтверждения таким вещам не может быть, поскольку они необъяснимы, и ты тогда задумываешься о том, что значит *в самом деле* — требовать в подобных ситуациях каких-то объяснений. Или — объяснений всему тому, что было до сего момента, да-да, всему, попробуем и правда все расставить по местам, итак: она, он, ты и фейерверк уловок, контрударов и обманов, из которых состояла вся эта история. Ты принимаешься распределять моральную ответственность — худшее, что можно сделать, ведь это ни к чему не приведет, ты сам прекрасно знаешь, жизнь не строят, руководствуясь этическими мерками, она складывается — так или иначе. Однако он такого не заслуживал. Разумеется. И она об этом знала. Столь же несомненно. Знал и ты: она знает, что он не заслужил, но тебя это не волновало. Ты-то разве не заслуживал того, чтобы остаться с ней, вы ведь встретились потом, гораздо позже, когда ставок больше не было. Но о каких тут ставках можно говорить? В жизни никто не устанавливает сроков, нет крупье, который, подняв руку, изрекает «ставок больше нет», в жизни все течет, ничто не останавливается, зачем друг друга сторониться, если уж мы встретились, если так выпало в настоящей игре: одни и те же предпочтения — белые домишки с маленькими пальмами или редкая, примитивная растительность, агавы, тамариск и скалы, одни и те же увлечения — Шопеном и незамысловатыми мелодиями, старенькими румбами, «Tengo el corazón maluco» [1], одно и то же настроение — парижская хандра. Прочь отсюда, от хандры, на поиски беломраморного города над водой, давай искать его вдвоем — такой или похожий, все равно где, где-нибудь, за пределами этого мира. Не могу. Можешь, стоит только захотеть. Прошу, не заставляй меня. Я дам знак тебе, я отправляюсь, я уже не здесь, я больше не могу, если захочешь, последуешь за мной, покупай эту газету, через нее я сообщу тебе, где я, тогда все брось, никто этого не узнает. Никто не может этого знать, думаешь ты, глядя, как возникший на пороге синьор Колва разводит с сожалением руками, не важно, синьор Колва, знали это лишь она и ты да блаженной памяти Бодлер. Ты и его вовлек в игру, однако есть такие вещи, с которыми играть нельзя, нельзя заигрывать с лежащей в их основе тайной. Но, кроме вас, не знал никто. В этом ты уверен. Во всяком случае, не он, а даже если б он узнал, теперь уже... Но все «теперь уже», все — в прошлом, и поэтому, когда ты платишь, у тебя трясутся руки, твоя затея не имеет смысла. И все же она не полностью обречена, ты это знаешь, точнее, чувствуешь и собираешься проверить. Ты подходишь к телефону — рядом с умывальником — и, вложив монету, набираешь этот мертвый номер. Номер тоже — в прошлом, телефонная компания не отдала его другому абоненту, он — ничей, цифры посылают сигнал, который принят быть не может, ты знаешь это слишком хорошо, уже четыре года. Ты набираешь медленно и слышишь гудок, еще один, еще, затем — щелчок, однако же ответа нет, ты только

[1] Я злопамятна *(исп.)*.

чувствуешь: там кто-то есть, не слышно и дыхания — никто не дышит, там, на другом конце, некто просто слушает твое молчание. Повесив трубку, ты выходишь, не думая о возвращении домой, ты твердо знаешь: телефон там зазвонит — раз, другой и третий, дождавшись третьего звонка, ты снимешь трубку, приложишь к уху и не услышишь ничего, лишь почувствуешь, что кто-то молча внимает твоему безмолвному присутствию. Ты приближаешься к реке, пристань опустела, катера уже не ходят, вокруг не видно никого. Ты присаживаешься на парапет, грязная вода бурлит — прилив, должно быть, гонит реку вспять, ты знаешь: уже поздно, но не в смысле «час поздний», окружающее тебя время — обширное, торжественное, неизмеримое, как и пространство, застывшее и не отображенное на циферблате — и все же легкое, как вздох, и быстрое, как взгляд.

Острова

1

Напишу, пожалуй, так, подумал он: дорогая Мария-Ассунта, здоровье у меня в порядке, чего желаю и тебе. У нас тут жарко, прямо лето, а у вас погода, видно, не установилась — слышу, объявляют все туман, да еще у вас там от промышленности загрязнение среды, как бы ни было, захочешь приехать в отпуск с Джанандреа — благослови вас Боже, приезжайте, жду. За приглашение тебе спасибо, и Джанандреа тоже, но я решил остаться здесь, пойми, мы с мамой тридцать пять годков тут прожили, сколько времени прошло, пока обвыклись, из деревни-то когда приехали — будто в другой мир попали, будто бы на север, да ведь для нас это и впрямь был север, а теперь уже я к месту привязался, вспомнить есть что, и потом, как матери не стало, я привык один, а случится, по работе заскучаю — занятие найду, в саду я покопаться был всегда не прочь, а то займусь двумя приманными дроздами — все компания, а в городе большом ну что мне делать, вот я и решил: останусь в этих четырех комнатах, как-никак отсюда видно порт, придет охота — сяду на паром, съезжу старых сослуживцев навещу, в брисколу [1] сыграем, паром час-другой — и там на нем я — все равно что дома, ведь тоскует человек по месту, где проводил он жизнь свою, вот так, неделю за неделей, весь свой век.

Он очистил апельсин, выронил корки в воду и, глядя, как они покачиваются на пенной борозде, в синеве тянувшейся за катером, представил, будто бы страница кончилась, и начал он вторую, чтобы сообщить: тоскует он уже сейчас, ну что за чепуха, последний день еще не дослужил, а уж тоскует, да о чем — о жизни, прошедшей тут, на катерке, туда-обратно, ты, может, и не помнишь, Мария-Ассунта, ты кроха была, мама говорила все: да вырастет когда-нибудь девчушка наша или нет? — вставал я рано-рано, зимою затемно, подходил тебя поцеловать и шел на холод, шинелей теплых сроду не давали нам, попоны старые, покрашенные в синий цвет,— вот и мундир. Привыкаешь ведь за столько лет, вот и говорю: ну что мне делать в городе большом, что мне в вашем доме делать в пять утра? В постели я валяться не привык, в пять встаю уж сорок лет, точно у меня внутри будильник. И потом, ведь ты у нас ученая, а от ученья люди становятся другие, даже если выросли в одной семье, да и с твоим супругом о чем нам толковать, я так смотрю на вещи, он — этак, и в этом смысле нам поладить трудно. Вы образованные оба, тот раз, что с матерью мы приезжали, как после ужина пришли друзья к вам, так я за целый вечер слова не сказал, говорить могу я лишь о том, что знаю, с чем в жизни сталкиваться приходилось, а ты меня просила, чтоб насчет работы я молчал. И потом еще такое дело, ты небось подумаешь: какая ерунда, а Джанандреа так и вовсе расхохочется, да только

---

[1] Карточная игра.

я никак не свыкнусь с вашей мебелью, она стеклянная, и я все время натыкаюсь, потому что я ее не вижу. Ты пойми, за столько лет привык к своей, и в пять привык вставать.

Но последнюю страницу он скомкал мысленно — как и писал ее — и бросил в море, и она привиделась ему среди апельсиновых корок.

2

Я послал за вами, чтобы попросить вас снять наручники, проговорил негромко этот человек.

Его рубашка была расстегнута, глаза закрыты, как у спящего. Лицо казалось желтоватым, но, возможно, такой отсвет был в каюте от спущенной на иллюминатор шторки. Сколько ему, тридцать, тридцать пять? Может, не старше Марии-Ассунты, в карцере старятся быстро. Да еще вон какой худющий... Ему вдруг стало любопытно, и он решил спросить. Сняв фуражку, присел на противоположную койку. Человек открыл глаза и на него смотрел. Глаза у человека были голубые, и почему-то это вызвало в нем жалость.— Вам сколько лет? — спросил он. Обычно к заключенным он на «вы» не обращался — не от пренебрежения, просто не мог иначе. А тут — быть может, оттого, что чувствовал себя уже в отставке... Или оттого, что этот был политический, а политические — народ особый. Сев на койке, человек долго молча на него смотрел большими светлыми глазами. Светлые усы, взъерошенные волосы. Молодой, подумал он, моложе, чем на первый взгляд. Я хотел бы написать письмо, и вообще у меня руки затекли. Северный акцент, отметил он, но различать их не умел. Может быть, пьемонтский.— Боитесь, убегу? — Тон стал ироническим.— Успокойтесь, я не убегу, на вас не брошусь, ничего не сделаю. У меня и сил не хватит.— Прижав руку к животу, человек на мгновенье улыбнулся, и на щеках образовались две глубокие борозды.

— И потом,— промолвил человек,— это моя последняя поездка.

Оставшись без наручников, человек принялся шарить в маленьком полотняном мешочке. Достал расческу, ручку, желтую тетрадь.— Если вы не против, я хочу побыть один,— сказал он.— вы мне будете мешать. Буду благодарен, если вы подождете снаружи. Боитесь — можете не отходить от двери, обещаю не доставить вам хлопот.

3

Дело он себе в конце концов найдет. Когда заняться есть чем, не так и одиноко. Но серьезное, чтобы не только удовольствие, но и денежки какие-никакие приносило. Вот, например, шиншиллы. О шиншиллах он — теоретически — знал все. Ему рассказывал один из заключенных, который прежде разводил их. Славные зверушки, только руки следует беречь. Выносливые, приживаются легко, дают потомство и при скудном освещении. Может быть, сгодится и подсобка, если согласятся все соседи. А зачем звонить во все колокола? И к тому же держит ведь жилец со второго этажа в своей подсобке хомяков.

Облокотившись о парапет, он ослабил воротник рубахи. Только девять, а уж вон как припекает. Он понял: будет первый в самом деле жаркий летний день. И ему почудился запах земли, опаленной зноем, и вслед за тем привиделась тропинка среди опунций, пейзаж, позолоченный солнцем, мальчонка, босиком бредущий к дому, близ которого растет лимонное дерево,— картина его детства. Он вынул второй апельсин, стал чистить. Накануне вечером купил кулечек. Страшно дорого еще, да уж решил себя побаловать. Бросив корки в воду, он отчетливо увидел берег. В водной синеве выделялись светлыми полосками течения и следы движения других судов. Он быстро подсчитал в уме. Фургончик ждет на пристани, на сдачу заключенного уйдет минут пятнадцать, и в полдень он будет в казарме — ведь это в двух шагах. Во внутреннем кармане он нащупал увольнительную. Если повезет застать капрала, в час уже освободится. И в полвторого усядется за столик под навесом из вьющихся растений в ресторанчике на том конце порта. Столько лет уж знает про

него, а так ни разу там и не был. Проходя, он неизменно останавливался почитать меню, вывешенное на щите с серебристо-голубой меч-рыбой. В желудке у него слегка ныло, но не от голода. Он не стал припоминать, что ел, так как на ум ему пришли кушанья с той самой вывески. Сегодня там у них качукко [1] и краснобородки; сказал он себе. А на десерт — маседуан [2], нет, лучше вишни. И кофе. А потом попросит дать ему листок бумаги, конверт и примется писать письмо: понимаешь, Мария-Ассунта, когда заняться есть чем, не так и одиноко, только дело надобно серьезное, чтобы не только удовольствие, но и денежки какие-никакие приносило. Вот я и надумал разводить шиншилл — зверушки симпатичные, только руки следует беречь. Выносливые, приживаются легко, дают потомство и при скудном освещении. Но ведь в вашем доме это совершенно невозможно, ты ведь понимаешь и сама, не в Джанандреа дело — его я очень уважаю, хотя на вещи смотрим мы по-разному,— а в недостатке места, тут у меня по крайней мере подсобка есть в полуподвале, не лучший вариант, но если тот, что со второго этажа, в своей подсобке держит хомяков, то почему бы мне не развести шиншилл?

Услышав голос за спиной, он вздрогнул. Господин сержант, арестант вас просит о прибытии.

4

В конвоиры ему дали прыщавого верзилу с длинными, торчавшими из рукавов руками. Тот явно тяготился своим мундиром, но старался выражаться так, как был обучен. Мотивов арестант не уточнил, добавил конвоир.

Конвоиру он сказал, что тот может остаться на палубе, на своем месте, и двинулся по лесенке, которая вела к каютам. Проходя через кают-компанию, увидел капитана, болтавшего у стойки бара с пассажиром. С капитаном они виделись не первый год. Тот его заметил и даже не приветственно, а заговорщицки кивнул: мол, до встречи вечером, во время обратной переправы. Он замедлил шаг — хотел сказать, что вечером они не встретятся: сегодня я последний день на службе и вечером останусь на материке — там у меня дела. Потом решил, что это будет выглядеть смешно. Спустился вниз, к каютам, миновал блестящий длинный коридор, достал из бумажника ключ. Заключенный, стоя у иллюминатора, глядел на море; повернувшись, обратил свой ясный детский взгляд к нему. Письмо отдать я собираюсь вам, проговорил человек. Застенчиво и вместе с тем решительно протянул конверт. Возьмите, вы должны его отправить. Он застегнул рубашку, причесался и уже не выглядел таким измученным. Вы понимаете, о чем вы просите? — сказал он человеку,— ведь знаете прекрасно: я не могу.

Заключенный сел на койку. Взгляд его казался ироническим — возможно, потому, что у него были такие детские глаза. Еще как можете, сказал он, стоит только захотеть. Свой нехитрый скарб он выложил рядком на койку, будто задумал составить инвентарь. Я ведь знаю, что со мной, продолжил человек, направление в больницу лежит у вас в кармане, взгляните, вам известно, что это означает? Что из больницы я уже не выйду, и поездка эта для меня — последняя, понятно? Слово «последняя» он выделил какой-то странной — будто бы шутливой — интонацией. Сделал паузу — похоже, чтобы отдышаться. Снова прижал к животу кулаки — то ли он страдал чудным каким-то тиком, то ли ему было больно. Письмо это — дорогому мне человеку, и я хочу, чтобы оно цензуру миновало, почему — вам объяснять не стану, постарайтесь догадаться, да вы и так уж все прекрасно поняли. Пароходик дал гудок. Этот бодрый, фыркающий звук он неизменно издавал, когда вдали показывался порт.

Он ответил возмущенным тоном, приняв суровый — может быть,

---

[1] Рыбный суп с приправами.

[2] Фруктовое ассорти с сахаром, лимонным соком и ликером.

чрезмерно — вид, но только так и можно было кончить этот разговор. Собирайте вещи, пробурчал скороговоркой, стараясь человеку не смотреть в глаза, прибываем через полчаса, перед самой высадкой я подойду, чтоб водворить наручники. Он так и выразился: водворить.

5

Немногочисленные пассажиры сразу разошлись, пристань опустела. Огромный желтый кран скользил в небесной сини к двум строившимся зданиям со слепыми оконными проемами. Гудок на стройке просигналил перерыв, почти мгновенно отозвался колокол. Полдень. И почему так долго швартовались? Фасады зданий, непрерывной чередой тянувшихся вдоль порта, были красные и желтые, никогда на них не обращал внимания, подумал он и, присев на металлическую тумбу, к которой была прикреплена канатом лодка, стал их разглядывать. Снял фуражку. Стояла настоящая жара. Он медленно двинулся через порт в сторону причала. В дверях бара, как всегда, лежала старая собака, зажав морду между лап; когда он поравнялся с баром, она устало завиляла хвостом. Четверо парней в футболках громко балагурили у музыкального автомата. Мелодия перенесла его на много лет назад. Низкий, хриплый женский голос пел «Рамону». Как странно, что эта песня снова в моде, подумал он. Начиналось лето.

Тот ресторанчик был еще закрыт. Хозяин в белом фартуке возился у дверей, отчищая губкой жалюзи от нанесенных за зиму морской соли и песка. Взглянув в глаза, хозяин ресторанчика его узнал. И улыбнулся так, как улыбаются тому, кого встречают много лет, не питая к нему при этом никаких чувств. Он тоже улыбнулся и побрел дальше. Вдоль заброшенных путей дошел до самого пакгауза. У входа под навесом висел почтовый ящик. Красная краска была местами изъедена ржавчиной. Он прочел на табличке время следующей выемки: в пять. Ему не важно было, куда отправится письмо, но захотелось вдруг узнать, как зовут того, к кому оно придет. Только имя, полученное при крещении. Он старательно прикрыл рукою адрес и подглядел лишь имя. Лиза. Звали ее Лиза. Красивое имя, подумал он. И вдруг задумался: как странно, он знает, как зовут ту, которая письмо это получит, но с нею не знаком, а с тем, кто написал письмо, знаком, но как его зовут, не знает. Он этого не помнил потому, что незачем запоминать имя заключенного, которого следует просто доставить и сдать. Опустив письмо, он повернулся к морю. Солнце жгло, и точки островов у сверкающего горизонта сделались неразличимы. Он почувствовал, что покрывается испариной, и приподнял фуражку, чтобы вытереть лоб. Меня зовут Никóла, произнес он громко. Поблизости никого не было.

КАРЕН БЛИКСЕН

Поэт

НОВЕЛЛА

Перевод с датского Е. СУРИЦ

Имя датской писательницы Карен Бликсен (1885—1962) — широко известно во всем мире, особенно оно любимо и почитаемо в США. Бликсеновской прозой восхищались такие разные и неблизкие ей по манере и стилю художники слова, как Эрнест Хемингуэй, Дж. Д. Сэлинджер, Трумэн Капоте. Факт знаменательный, если учесть, что почти все свои произведения Бликсен писала по-английски и лишь потом уже воссоздавала на родном языке. Опираясь на старую европейскую и датскую — в первую очередь романтическую — традицию, Карен Бликсен стала своего рода посредником между культурой Старого и Нового Света.

Творческое наследие Карен Бликсен невелико по объему — пять сборников новелл и две книги автобиографической прозы о жизни в Африке, на основе которых Сидней Поллак снял свой знаменитый фильм «Из Африки», получивший целых семь «Оскаров»,— но оно весьма объемно по содержанию. В прозе Бликсен силен — и значим — элемент сказочный, фантастический, однако фантазия автора всегда связана с жизненными реалиями, а игра воображения не является самоцелью. Хотя в новеллах Бликсен нет прямых перекличек с фактами ее биографии, писательницу с полным правом относят к тем художникам, о чьих книгах говорят, что они суть продолжение их жизни.

Жизненный путь Карен Бликсен был полон драматических коллизий, но, будучи человеком долга, она стойко переносила удары судьбы и поступала сообразно «логике» своего предназначения. Побудительной силой ее творчества можно назвать ощущение катастрофы, угрожающей не обществу в целом, но самой личности. Отсюда отношение к искусству как средству, способному помочь человеку перенести любые невзгоды.

Человек в этике и эстетике Бликсен должен исполнить предначертанное ему Богом, Бог же выступает здесь как драматург; он разыгрывает свою божественную комедию, роли в которой исполняют люди. И хотя зачастую эта комедия оборачивается для них трагедией, главное — следовать правилам игры, будь то в жизни или в искусстве.

Понятен поэтому интерес Бликсен к взаимосвязи между мечтой и действительностью, причем автор как бы подталкивает персонажей к возможному решению: если обстоятельства мешают человеку реализовать себя в уготованной ему роли, он может попытаться избрать себе иную, но в таком случае всю ответственность принимает на себя.

В новелле «Поэт» эта проблема разрабатывается в рамках любовного треугольника: руки героини добиваются настоящий поэт, творящий стихи, и советник юстиции, вынужденный, за неимением поэтического дара, «творить» жизнь, за что ему и приходится держать жестокий ответ. Таким образом, самым главным «поэтом», как всегда у Бликсен, оказывается Бог, сущность которого дано познать художнику. И, как всегда у Бликсен, самую яркую и трагическую роль играет женщина.

Советский читатель лишь начинает знакомиться с творчеством Карен Бликсен. Недавно в «Библиотеке журнала «Иностранная литература» вышла первая в СССР книжка ее рассказов, в издательстве «Художественная литература» готовится еще одна книга, куда войдут новеллы из сборника, которым Бликсен блистательно дебютировала в 1934 году, в том числе и предлагаемая вниманию читателей журнала новелла «Поэт». Хочется надеяться, что эти и последующие публикации ожидает счастливая судьба.

А. ЧЕКАНСКИЙ

Название датского городка Хиршхольма овеяно прекрасными легендами.

Началось с того, что однажды летним вечером в первой половине XVIII столетия королева София Магдалена — супруга того самого набожного монарха Кристиана VI, который со всем двором ходил в церковь трижды на дню и позакрывал все театры в Копенгагене — после долгой охоты подстрелила оленя на берегу тихого лесного озера. Место это так ей полюбилось, что она приказала выстроить прямо на озере дворец и в честь убитого оленя его назвала Хиршхольмом [1]. Как все тогдашние тевтонские сооружения, вышел он помпезным и вычурным. От дворца к берегам шли прямые, длинные дамбы, и по ним взад-вперед разъезжали золоченые дворцовые кареты, вверх тормашками отражаясь в ясной воде, в точности как отражался некогда затравленный королевскими борзыми олень. А вокруг озера вырос красночерепичный городишко со скромными домами служащих, кабачками, лавчонками, королевскими конюшнями и манежами. Большую часть года он прозябал, но оживал, когда открывалась охота и сюда съезжался двор.

Полвека спустя, когда Данией правил внук Софии Магдалены — король Кристиан VII, один акт любовной трагедии юной его королевы Каролины Матильды разыгрался в Хиршхольме. Розовощекая, полногрудая пятнадцатилетняя принцесса пустилась из Англии по Северному морю, чтобы выйти замуж за вялого, холодного короля, который, хоть был немногим ее старше, уже далеко зашел на пути к своему царственному безумию, вскоре совершенно им овладевшему,— за этого маленького Калигулу, чьи портреты свидетельствуют о душе пустой и одинокой. Пережив несколько лет страха, тоски и скуки, как раз когда король предпочитал забавляться с негром-пажом, английская дева встретила свою судьбу. Она без памяти влюбилась в доктора, выписанного из Германии пользовать хилого маленького наследника новомодным способом холодных омовений. Великая страсть королевы сперва вознесла избранника до высочайших вершин, откуда и засиял он метеором и революционным тираном первой величины, а затем сгубила обоих. Недолгую счастливую пору они провели в Хиршхольме, и Каролина Матильда озадачивала своих датских подданных, охотясь в мужском платье, которое, если судить по портретам, едва ли ей было к лицу. А потом месть негодующей вдовствующей королевы настигла любовников. Доктору отрубили голову за расхищение сокровищ датской короны, а юную королеву сослали в какой-то ганноверский городишко, где она и умерла. Добродетель восторжествовала свирепейшим образом, и самый дворец, прибежище разврата, забросили и в конце концов стерли с лица земли, отчасти потому, что королевское семейство не желало его более видеть, отчасти же потому, говорили, что он сам собой осел уже в озеро. Угас былой блеск, и церковь в классическом стиле начала XIX века водрузили на месте дворца, как крест на могиле. И много лет спустя еще можно было вдруг напасть в богатом крестьянском жилище на резные золоченые мебели в гирляндах и купидонах.

После пронесшейся бури городок долго стоял оторопелый, затихнув, как мышь. Будто не в силах поверить, что такое мыслимо, во всяком случае в его пределах. Может статься, он сохранял в своем сердце верность юной лихой королеве, дарившей его улыбкой. Но когда голову рубят — это не шутка, и стоило ему взглянуть на то место, где прежде стоял дворец, и ему вспоминалось слово о возмездии за грех [2]. Пришли тяжелые времена — война, гибель флота, государственное банкротство, суровая добродетель и строгая экономия. Вольные деньки XVIII столетия невозвратно миновали.

Но еще полвека спустя после трагедии юной королевы и ее премьера Хиршхольм пережил недолгое радостное возрождение.

---

[1] Хирш (Hirsch) — олень *(нем.). (Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Послание к Римлянам, 6, 23: «Ибо возмездие за грех — смерть».

Он не мог вечно каяться в грехах, которым не был причастен и, подобно всему остальному человечеству, не мог без конца исповедовать убеждение, что единственное наше спасение в робкой оглядке. Ибо тому, кого суровая необходимость толкает к благоразумию, приятно вспомнить о беззаботных людях и временах. И, хоть никому не лестно, когда добродетель его матери ставится под сомнение, кто из нас не улыбался над шалостями наших бабушек? Когда мужчины носят бакенбарды, а дамы — широкополые шляпы и шали, грехи напудренных и стянутых корсетами предков уже кажутся романтически привлекательными, будто представленные на подмостках. И поэты стали стекаться из Копенгагена и поселялись в Хиршхольме, чтоб воспевать несчастную королеву и выслеживать по лесам ее летучую юную тень. Липовые аллеи, посаженные самозабвенным духом XVIII века, бродившим меж хиленьких кустиков в надежде на тень и прохладу, какими насладятся грядущие поколения, ныне пышно разрослись. Под их сенью укрывались старые дамы и господа, в детстве видевшие, как в окруженье борзых проносилась по каменному мосту королева, а король элегантной пудреной и перетянутой куклой с пустым лицом проезжал в карете. Они рассказывали о развлечениях двора хорошеньким девушкам, дамам и юношам города, умевшим держать свое сердце в узде.

В это время жили в Хиршхольме два человека, каждый по-своему выделявшиеся среди прочих его обывателей.

Первый из них был, разумеется, заметным лицом в городе, человек не только богатый, почитаемый, но светский и обаятельный. Звали его Матисен, и он был пожалован королем в сан Юстиции Советника. Впоследствии ему поставили бюст при входе в одну из тех липовых длинных аллей, где так любил он гулять.

В то время, то есть в начале тридцатых годов, он был на шестом десятке и мирно благоденствовал в Хиршхольме. Но был он когда-то и молод, живал и в иных местах. Он даже, можно сказать, путешествовал, бывал во Франции, в Германии в те роковые времена, что предшествовали идиллии: в дни Французской революции и наполеоновских войн. Там видел он многое и участвовал во многом таком, что и не снилось обитателям Хиршхольма, и те, кто знавал его в юности, говорили, что он вернулся домой с другими глазами. Прежде они у него были синие, а сейчас стали не то серые, не то зеленые. Если во время странствий он утратил юношеские иллюзии, он не очень по ним горевал, а взамен обзавелся талантом наслаждаться житейскими радостями. Нет лучшего места для убежденного эпикурейца, нежели провинциальный городишко. Юстиции Советник пятнадцать лет вдовел и держал гениальную экономку и погреб, который сделал бы честь кардиналу. В Хиршхольме поговаривали даже, будто иной раз он коротал одинокий вечерок, вышивая по канве. Но пусть бы и так, чего ради, спрашивается, ему, в его положении, было отказывать себе в каком-бы то ни было удовольствии в угоду условностям?

Среди сокровищ, которые вывез Юстиции Советник из своих путешествий, ни одно не ценил он так, как воспоминание о Веймаре. Ибо он жил в Веймаре и два года дышал одним воздухом с Geheimrat'ом[1] Гёте. Видеть великое лицом к лицу не каждому выпадает на долю, и таков уж закон природы, что кое-что врезается в нашу душу сильнее прочего. И воспоминания о блаженном городе и великом поэте до гробовой доски запечатлелись в сердце Юстиции Советника. Вот идеальный был человек — супермен, он даже сказал бы, будь слово уже тогда в ходу,— который сочетал в себе все качества, каким завидует, к каким стремится человечество: поэт, философ, государственный муж, друг и наставник князей, покоритель женщин. Юстиции Советник не раз встречал Гёте на своих утренних прогулках и слышал, как тот беседовал с сопровождавшими его друзьями. Однажды он был даже представлен

[1] Тайным советником *(нем.)*.

великому человеку, встретил олимпийский, но такой человеческий взор, несколькими словами обменялся с божеством. Поэт обсуждал с господином Эккерманом какой-то вопрос, касаемый до скандинавской археологии, и господин Эккерман окликнул юного иностранца. Сам Гёте дружески адресовался к нему и учтиво спросил, не поможет ли он им разъяснениями. Матисен склонился в глубоком поклоне и отвечал:

— Ich bin Eurer Excellenz ehrerbietigster Diener [1].

Юстиции Советник был человек необыкновенный и поползновения имел вовсе не те, что бывают у обыкновенных людей. Он по праву высоко ценил свое положение в Хиршхольме и не имел таких повседневных нужд, какие не мог бы тотчас удовлетворить. Что же до мечты, которую до конца своих дней он лелеял вместе с образом Geheimrat'a — увидеть себя самого в своем более скромном мирке суперменом в миниатюре,— так он ее держал при себе, и она играла обычную роль идеала: роль побудительной, поддерживающей силы. Но был он человек без предрассудков, человек широких взглядов. Разумеется, принадлежа к поколению, воспитанному на вере в рай и ад, он рассчитывал на жизнь вечную, и мысль о бессмертии представлялась ему натуральной. Рай для него был Веймаром — Элизиум, до краев наполненный изяществом, гармонией, блеском. Однако мысль о будущей жизни не представляла для него особой ценности. В случае чего от нее можно было и отказаться. Зато он крепко верил в историю, в историческое бессмертие. Он видел, как история совершалась вокруг, он чувствовал на своей щеке ее дыхание, и для него император, герои революции были куда живее чиновников и торгашей Хиршхольма, предупредительно сторонившихся перед ним на высоком мосту, с которыми он ежедневно в двух словах обсуждал городские новости. На поприще истории в высоком героическом окружении — так желал бы он проводить свои вечные дни.

И вот, то ли из-за глубокого впечатления, какое произвела на него поэзия, столь блистательно представ перед ним в плоти и крови, то ли из-за врожденной склонности, которую, казалось бы, трудно было в нем предположить — да ведь кто что скажет, как подумаешь, до чего же мало знаем мы сердце человеческое! — так или иначе, а именно эта муза из девяти заняла в его жизни определяющее место. Поэзия для него была все. Вне ее не существовало для него истинного идеала, не нужно было и бессмертия. И, стало быть, натурально, что он попробовал свои силы в поэзии. Воротясь из Веймара, он сочинил трагедию на темы древней датской истории, а затем стал писать стихи, вдохновленные романтическим духом Хиршхольма. Но он хорошо разбирался в искусстве и раньше, чем кто-нибудь, понял, что он не поэт. С тех пор для него стало ясно, что поэзия войдет в его жизнь извне, и собственная его роль будет роль мецената. Он полагал себя к этой роли готовым и считал, что в вожделенном бессмертии она ему будет весьма к лицу.

И вот, то, о чем мечтал он, приплыло к нему в руки в виде молодого человека, тоже жителя Хиршхольма, в то время писаря городской управы и — хоть это знали только сам он да Юстиции Советник — великого поэта.

Звали его Андерс Кубе, и был он двадцати четырех лет от роду. Знакомые ничуть не находили его внешность привлекательной, но художник, подыскивающий натурщика для юного ангела на религиозном полотне, непременно выбрал бы его. У него было широкое лицо и синие широко расставленные глаза. Писал он в очках, но когда снимал их и оглядывал мир, взор его был глубок, чист и ясен, как у Адама, когда тот впервые гулял по Эдему, разглядывая зверушек. Со своими странно медленными, неловкими и, однако, милыми движениями, темно-рыжей гривой и крупными руками он почти идеально воплощал тип датского крестьянина, который еще встречался тогда среди музыкантов и дьячков, а ныне вовсе перевелся.

---

[1] Я покорнейший слуга Вашего сиятельства *(нем.)*.

Из двух миров, в которых он обитал, один, доставлявший ему хлеб насущный, был весьма скромен. Он состоял из беленой каморки писаря в городской управе, светелки под крышей за огромной липой, содержавшейся в чистоте усилиями сердобольной квартирной хозяйки, и лесов и лугов Хиршхольма, где блуждал он на досуге. Принимали его и в нескольких добрых честных семействах, где он играл в карты и выслушивал политические прения, а еще у него были друзья среди возчиков, ночевавших на постоялом дворе, и среди угольщиков, возивших свой древесный уголь из обширных эльсинорских лесов в Копенгаген. Дом Юстиции Советника занял в его жизни особое место. Три года тому, впервые явясь в городе, он принес письмо от друга Советника, старого аптекаря Лерке[1], рекомендовавшее его как одаренного и трудолюбивого юношу, и на основании письма получил приглашение ужинать у Юстиции Советника каждую субботу. Ужины эти пошли ему на пользу и подарили много новых впечатлений. Он и не подозревал прежде о таком обильном житейском опыте, о таких изысканных суждениях, какими его потчевали тут. Кажется, Юстиции Советник был с ним откровенен, как ни с кем. Но юнец и не догадывался, какую роль играл он сам в жизни своего покровителя.

Не имел он понятия и о теории, какую развил на его счет Юстиции Советник. А теория сводилась к следующему: юнца надобно держать в эдакой клетке, в ограде, чтобы из него вышел поэт истинный. Возможно, теория эта зиждилась на собственном опыте Советника. Возможно, он подозревал, что растерял на жизненном поприще идеалы и силы, необходимые для поэта. Возможно, он руководился наитием. Во всяком случае, он был глубоко убежден, что обязан блюсти подопечного. Покуда Андерс будет жить у него под крылышком в Хиршхольме, топчась по липовым аллеям и на дороге между своей светелкой и управой, великая заточенная в нем сила будет перерабатываться в поэзию. Но если он поддастся непредсказуемым обольщениям света, он пропал для поэзии и для своего мецената. Того гляди, он втянется в бунт против закона и порядка, которых сам Советник был надежным оплотом, и кончит дни свои на баррикадах. Учитывая, что больше никто не мог бы себе представить юного Кубе на баррикадах, теория Советника доказывала глубокое его проникновение в человеческую природу,— разве что на баррикадах обычно оказывается как раз тот, от кого всего менее этого ждут. Так или иначе, следствием теории было то, что Советник неустанно присматривал за юнцом, как бескорыстный любовник, как могучий и досточтимый Кизлар-Ага не спускает глаз с красавиц сераля, с которыми связывает он большие надежды.

Юстиции Советник со своей стороны знать не знал о том поэтическом ореоле, который окружал его в глазах юного протеже. Причиной была история, рассказанная Андерсу квартирной хозяйкой, едва он приехал в Хиршхольм. Достоверность этой истории весьма сомнительна и звучала она так:

Советник, как уже замечено, был вдов, но прежде чем дойти до этого состояния, ему пришлось многое пережить. Покойная фру Матисен была хорошей партией. Происходила она из Кристианфельда, где основались гернгутеры[2], и была дама в высшей степени набожная и благоразумная. Но однажды летним вечером, за два года до своей кончины, она вдруг помешалась от ужаса перед дьяволом и пыталась убить себя и мужа с помощью ножниц. Юстиции Советник послал за старым доктором, тот испытал все свои средства, но без толку. А коль скоро в округе не было соответственного приюта, ее и поместили в доме садовника во Фреденсборге — другой королевской резиденции невдалеке от Хиршхольма. Садовник и его жена были люди добрые, да и должность свою получили по ходатайству Юстиции Советника. Там и жила она, не приходя в рассудок, но в более счастливом состоянии духа, полагая,

[1] Laerke — по-датски жаворонок.
[2] Протестантская секта, основанная в первой половине XVIII века.

что она умерла, пребывает в раю и ждет своего мужа. Правда, иной раз она выражала опасение, что его не дождется, ибо он великий грешник, но уповала на милость Божию.

Хозяйка Андерса служила в то время горничной у фру Матисен и была единственным лицом вне узкого семейного круга, посвященным во все перипетии происшествия. В тот июльский вечер разразилась гроза, после нее двойная радуга повисла над лугами, и Юстиции Советник, жена его и девушка — дочь одного судейского, советникова старинного друга, отправленная в Хиршхольм лечиться от несчастной любви, решили погулять. Фру Матисен завязывала ленты чепца у себя в комнате и увидела в окно, как девушка сорвала желтую ромашку и укрепила ее в петлице Юстиции Советника. Возможно, для приверженницы гернгутеров была какая-то магия то ли в двойной радуге, то ли в желтой ромашке. Во всяком случае, это наблюдение оказало на фру Матисен действие, какого никто не мог предвидеть.

Два года спустя, в ту же приблизительно пору, Советник получил из Фреденсборга известие, что жене его лучше, она уже не считает, будто она в раю, и, пожалуй, ему стоило бы с ней повидаться. И вот ясным, погожим вечером он приказал заложить бричку, влез в свой щегольской экипаж и сам взялся за вожжи. Потом, поразмыслив, соскочил наземь, отправился в сад, там сорвал желтую ромашку и всадил в петлицу. Встреча супругов произошла не так, как рассчитывали друзья, хоть она целый день ждала его у окошка. Едва она завидела мужа, ею овладело прежнее помешательство, и она так буйствовала, что пришлось прибегнуть к посторонней помощи. С того дня разум ее опять помутился, и она так и не оправилась, ибо через год умерла.

Юный Кубе не склонен был к осуждению и не стал бы ни к чему подходить с нравственной меркой. Роль Советника в этой трагедии его не умиляла и не ужасала. Но в его уме все странным образом разрасталось. Все, на чем останавливалась его мысль, делалось гигантским, как те огромные — их же — тени на тумане, которые встречают в горах путников, как нечто, недоступное чувству и разуму.

И вот Советник стал разрастаться, испаряться, таинственно виясь, как дух из соломонова сосуда, явившийся перед очами бедного багдадского рыбака. И каждую субботу юный поэт ужинал с Джинном.

Остальные вечера он почти все проводил один, и, будучи нищим писарем и от природы бережливый, в чем поощряла его квартирная хозяйка, ужинал он овсяной кашей с молоком, а остатки давал вылизывать своему огромному котищу. Потом он сидел тихонько, глядя на огонь в камине, а летними вечерами — в окно, где в легком молочном тумане зыбились очертания озера. Весь мир доверчиво открывался ему в тишине, разворачивался перед ним в тех формах, какие находил он естественными. В груди юного сына полей билось сердце древних скальдов, чей мир кишел богами и демонами, был полон бездн и вершин, незнаемых на равнинной родине, а шаловливый его ум по примеру старых мистиков населял ее кентаврами, фавнами, наядами, не всегда умевшими вести себя благопристойно. Среди датских крестьян встречаются такие потомки скальдов. Под детским простодушием прячут они безоглядную скоморошью лихость. Часто их не понимают, не уважают, и тогда они с досады усердствуют в шутовстве и нередко кончают пьянством. Покуда Андерс Кубе еще преспокойно строчил стишки на случай или о пчелке над розою, уже просыпалась в нем истинная натура и пробивалась исподволь совсем иная стихия.

Бывало, он уходил вечером и не возвращался до рассвета, и квартирной хозяйке не удавалось выведать, где он пропадал.

В полумиле от Хиршхольма есть небольшое имение, под названием La Liberté — Свобода. Белый милый дом стоит там в окруженье аллей, лугов и рощ. Годами никто в нем не жил. Хозяином именья был тот самый аптекарь, который снабдил Андерса Кубе рекомендательным

письмом. У него была аптека в Копенгагене, и за свою жизнь он скопил немало денег. Шестидесяти лет, наслышась в клубе красочных описаний чужих краев, он так размечтался о дальних странствиях, что отправился в Италию. С самого начала предприятие это окружал романтический ореол. Он еще ярче разгорелся, когда до Дании дошли слухи, что аптекарь стал свидетелем землетрясения в Неаполе и свел знакомство с таинственным земляком, по одним сведениям капитаном торгового флота, по другим — театральным директором, который умер у аптекаря на руках, оставя многочисленное безутешное семейство. Из Неаполя старик извещал друзей, что взял на себя заботы о старшей девице и намеревается ее удочерить, но через две недели сообщил из Генуи, что он на ней женился. «И зачем ему это понадобилось?» — спрашивали друг у друга знакомые дамы. Ему не удалось им это объяснить. Он умер в Гамбурге на возвратном пути, оставя состояние родственникам, а молодой вдове La Liberté и скромный пенсион. К концу зимы 1836 года она приехала в имение и там обосновалась.

Юстиции Советник отправился к ней с визитом, чтоб предложить свои услуги и поглядеть на неапольскую сирену, которая подцепила и, полагал он, уморила его старого приятеля. Он встретил в ней само смирение и готовность во всем следовать его советам. Она оказалась маленькой, тоненькой, но приятно округлой юной особой, похожей на куклу; не на нынешних кукол, воспроизводящих формы младенцев, но на одну из тех кукол прежних дней, которые стремились к недостижимому идеалу красоты вместе с человечеством. Большие глаза были ясны, как стекло, а длинные ресницы и брови так черны, будто их вывели на лице тоненькой кисточкой. Особенно в ней поражала легкость движений. Как у птицы. Она обладала той легкостью, которая, Советник знал, на языке балета зовета ballon — свойство, состоящее не то чтобы в невесомости, но как бы уносящее ввысь и редко встречающееся у тощих танцовщиц, как если бы сама субстанция тела была легче воздуха, и чем больше ее, тем оно летучей. Ее траурные платья и шляпки были элегантней, чем привыкли видеть в Хиршхольме; а быть может, просто поражали нездешностью, оттого что купили их в Гамбурге. Но она была нерасточительна и неприхотлива, и ничего не стала менять в доме, даже ничего не переставила из старых мебелей, так долго прозябавших в забвении тихих комнат. В боскетной стояла у нее большая и ценная музыкальная шкатулка, проделавшая долгий путь из России. Вдова любила гулять по парку, сидела в задумчивости на скамейке, но и парк оставила глухим и заросшим, таким, каким он был много лет. Она, кажется, старалась соблюсти все правила учтивости. Нанесла визиты дамам по соседству, и те ласково принимали молоденькую иностранку, наставляли, как делать рагу, как печь медовые коврижки. Но сама она мало говорила, видно, стеснялась своего легкого акцента в датском. И еще одну особенность отмечал в ней Юстиции Советник. Она очень не любила прикосновений. Никогда не целовалась с другими дамами, как принято в Хиршхольме, и вздрагивала, когда те обнимали ее. Было в кукле кое-что от Психеи. Дамам она понравилась. Она не показалась им опасной соперницей ни по части коврижек, ни в искусстве злословия. Они подозревали, что она чуточку не в себе. Советник с ними соглашался — и не соглашался. Что-то такое тут крылось, чувствовал Советник.

На Пасху Советник и Андерс пошли в хиршхольмскую церковь. Сияло солнце, синевою блестело озеро. Но день был промозглый, с резким восточным ветром, то и дело припускал дождь. Желтые нарциссы, царецвет и большие красные цветы, которые датчане называют «разбитое сердце или сердце лейтенанта», потому что, если раздвинуть лепестки, можно в них разглядеть бутылку шампанского и танцовщицу — только-только распустившиеся в садах, трепало и гнуло дождем и ветром. Крестьянки, явившиеся к причастию в нарядных чепцах, боролись на паперти с тяжелыми юбками.

Как раз когда Советник и его подопечный входили в храм, к нему подкатила хозяйка La Liberté в ландо, запряженном парой крепких гнедых, которые тут же у церковных дверей позволили себе всяческие вольности. Она только что сняла вдовий траур, потому что уж минул год со смерти старика мужа, и была в светло-серой мантилье и голубенькой шляпке. Веселая, как горлица в листве, она вся искрилась, как вальс, наигрываемый на скрипочке под сурдинку.

Советник в это время беседовал с пастором, а потому юный Кубе помог ей выйти из экипажа. Из уважения к вдове своего покровителя он держал шляпу в руке, пока разговаривал с ней. Советник наблюдал с паперти эту сценку, и она на него странно подействовала. Он не мог отвести от них глаз. Оба ужасно робели. В сочетании с медленной, тяжелой грацией движений юнца и с ее удивительной легкостью обоюдное это смущение придавало мимолетной встрече неожиданную значительность, будто она чревата чем-то, чем-то должна разрешиться. Советник и сам не знал, почему эта сценка так растревожила его. Похоже, подумал он, на первые такты романса или на первую главу некоего романтического рассказа под названием «Андерс и Франсина».

Geheimrat Гёте, уж тот бы непременно нашел, что с этим сделать. Советник входил в церковь, крепко задумавшись.

В продолжение службы мысли Советника все возвращались к свежему впечатлению. Оно очень кстати подвернулось, потому что в последнее время юный поэт огорчал Юстиции Советника. Он имел странно отсутствующий вид, а два раза подряд просто физически отсутствовал на субботних ужинах. В нем проглядывало беспокойство, даже, пожалуй, тоска, которой боялся Советник, прекрасно зная, что против нее он бессилен. Из одной беседы с квартирной хозяйкой он заключил, что юный писарь, кажется, пьет лишнее. Юстиции Советник знал, разумеется, что многие великие поэты прошлого были пьяницы, но в данном случае это как-то не вполне вязалось с картиной, на которой самому ему суждена была роль мецената. Если Андерс ударится в пьянство, как водилось, Советник знал, у мальчишки в семействе, он совсем отобьется от рук благодетеля, станет на скрипочке играть по крестьянским свадьбам. Когда в управе хотели повысить писарское жалованье, Советник воспротивился, убежденный, что это не пойдет поэту впрок. Советник искал путей, как бы его повернее обуздать. И тут вдруг сообразил, что всего лучше женить его. Видно, сам Бог посылал эту вдовушку с ее пенсионом и белым домиком в La Liberté. Ну чем не супруга для гения? Глядишь, и окажется еще эдакой Кристианой Вульпиус[1], которая, по сведениям Юстиции Советника, единственная из всех женщин, лежала в объятиях Geheimrat'а всю ночь, ни разу его не спросив о смысле жизни.

Эти смутные соображения тешили Советника.

Из мужской половины справа от прохода он дважды поглядывал на женские скамьи. Молодая вдова сидела очень тихо. Она внимала пастору, а на лице ее витала смутная улыбка. К концу службы, склоняясь в земном поклоне, она взволнованно прижимала платочек к лицу. Советнику очень хотелось знать, слезы или смех прятала она за этим платочком.

После службы старик и молодой вместе отправились в дом Советника. Когда они проходили по каменному арочному мосту, их остегнуло ледяным ливнем. Пришлось раскрыть зонтики и, остановясь на мосту, смотреть на колотящие по воде градины и двух озерных лебедей, сердито пробиравшихся по серым волнам. Оба так задумались, что и не заметили, как долго они там простояли.

Странные образы, вызванные пасхальной проповедью, роились, теснились, громоздились в голове у Андерса, как плавучие облака.

---

[1] Кристиана Вульпиус (1765—1816) — с 1806 г. жена Гёте.

Мария Магдалина, думал он, рано утром в пятницу прибежала к дому Каиафы. Ночью было ей видение о завтрашнем дне: как сделалась тьма по всей земле, и померкло солнце, и завеса храма сверху донизу раздралась надвое, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли[1]. Еще видела она, как Ангел Господень сошел с неба и отвалил камень от двери гроба Иисуса, и сел на этом камне[2]. Она кричит первосвященникам, что они Господа распнут. Она убеждает старейшин, что Христос поистине единородный Сын Божий, Спаситель мира, и то, что замышляют они,— самое страшное преступление во всей истории человечества.

И они держат совет в сумеречной зале дворца, и тусклая лампа озаряет их разноцветные одежды и бородатые, страстнозадумчивые лица. Многие охвачены ужасом и требуют, чтобы узника тотчас отпустили на волю, другие громко пророчествуют в исступленье. Но Каиафа и еще кое-кто из старейшин, тщательно все обсудив, решают довести задуманное до конца. Если и впрямь нет у мира иной надежды на спасение, надобно осуществить замысел Божий, как бы их деяние ни было ужасно.

Мария Магдалина в отчаянии им толкует о грехах мира, слишком хорошо, увы, ей известных, и о святости Христа. И чем больше они ее слушают, тем тверже их решимость.

Каиафа призывает на совет самого сатану. Как первое его воплощение является рыжий Иуда и просит первосвященников принять обратно их тридцать сребреников. Они отклоняют эту просьбу, и тогда Иуда со страшным хохотом им предрекает, какие беды постигнут избранный народ за это серебро, как будут гнать его с места на место и презирать все народы земли. Тут он очень подробно останавливается на ужасах гетто, с каким познакомил своего юного протеже Юстиции Советник во время одного из субботних ужинов на примере Амстердама. И старый первосвященник роняет голову на тяжелый талмуд.

Тут Андерс так увлекся своими фантазиями, что, стоя под зонтиком на мосту, как бы одновременно присутствовал на том бурном совете. Правда, всего лишь скромный писец, он боялся вставить слово, да и не стал бы ничего говорить, если бы не Мария Магдалина. Не без смущения поднялся он с места, но тотчас обрел ту уверенность, которая, в конце концов, и подобает тому, в чьих руках сюжетная нить. «Я позволю себе внести предложение,— сказал он.— Не спросить ли нам у нашего узника, у самого пророка? Он, надо полагать, лучше нас разбирается в этом деле. Доверимся же ему, и как он скажет, так и поступим».

Он сам перепугался, увидев, как все собрание при этих словах в ярости к нему повернулось.

«Только не это! — кричали они.— Это единственное, что людям запрещено! Что угодно, только не это!»

Да, он так перепугался, что поскорее удрал от своих фантазий на мостик, под зонт.

Лицо Юстиции Советника, тоже мелькавшее среди всех возмущенных лиц, было ему как-то ближе. Он обрадовался, увидав его рядом, спокойное и уверенное. Мария же Магдалина в земном поклоне прятала свое лицо.

Дождь перестал. Богомольцы закрыли зонтики и пошли.

Юстиции Советнику, несмотря на его матримониальные планы, пасхальная проповедь тоже дала пищу для размышлений. Он думал над тем, как странно, что святой Петр, единственный, кто знал историю с петухом и мог бы ее замять, дал ей такой широкий ход.

В последние три недели погода стояла теплая, но дождливая. Дух зеленей и земли только и ждал, затаясь, ясного солнечного дня, чтобы

---

[1] Ср. Евангелие от Матфея, 27, 51—52.
[2] Ср. Евангелие от Матфея, 28, 2.

разбушеваться. Купы цветущих слив меловыми тучами плыли над садами. Уже в лесу, под буками ракушечно-розовые анемоны выпускали из острых пальчиков пряный, терпкий запах. Соловьи прямо в тумане под моросью принялись превращать весь мир в одну сплошную свирель.

Однажды в четверг среди мая Советник ужинал и играл в карты в Эльсиноре со своим приятелем, служившим на таможне. Эти ежегодные встречи были у них издавна заведены. Они всегда засиживались допоздна, а от Эльсинора до Хиршхольма три мили. Но Советник не боялся обратной дороги, ведь датские ночи этой порой прозрачны. Он сидел, развалясь в щегольской своей бричке, кутаясь в серый дорожный плащ, и, поклевывая носом, вбирал в себя красоты майской ночи и запах полей и рощ, покуда Крестен, его старый кучер, погонял лошадку. Невдалеке от Хиршхольма что-то порвалось в упряжи. Пришлось остановиться, и Крестен рассудил, что лучше всего помочь беде, если спросить на ближнем дворе веревку. Советник огляделся, и оказалось, что они в трех шагах от Свободы. Опасаясь, как бы Крестен не наделал шуму и не потревожил сон хозяйки, он решил отправиться за веревкой сам. Он знал управляющего, да он же его и пристроил на эту должность, и мог постучаться к нему в окно, никого больше не беспокоя. Поеживаясь от ночного холода, он выпрыгнул из брички и пошел по въездной аллее. Дело было перед рассветом.

Воздух пропитался едким запахом мокрой молодой листвы. Еще стояли лужи на гравии, но ночь была ясная. Он ступал медленно, осторожно, потому что за деревьями и кустами пряталась тьма. Аллея бальзамических тополей отделялась от въезда и вела к риге. Истомный тополиный дух разлетался по утренней свежести.

И вдруг Советник услышал музыку. Он остановился, не веря своим ушам — нет, сомнения быть не могло: музыка. Наигрывали танцевальную мелодию, и доносилась она из дома. Он снова пошел, снова замер. Кому это вздумалось танцевать перед зарей? Он сошел с аллеи и прямо по мокрой траве зашагал к дому. Навстречу ему вставал белый фасад и, неопровержимо желтые, из-под закрытых ставней пробивались на него полосы света. Не иначе, вдова давала в своей боскетной бал.

Мокрая сирень на террасе набрякла нераскрытыми цветами. Темные тяжелые гроздья готовились сюрпризом стать куда светлей, когда распустятся. Тюльпаны осторожно прикрыли красные и белые чашечки от ночного холода. Было очень тихо. Два старинных стиха вспомнились Советнику:

Зефиры легки не колышут
Натуры сонной колыбель.

Был тот самый предрассветный час, когда мир, как бы стесняясь своей пестроты, сбрасывает все краски. Глубокие оттенки ночи словно схлынули, как волны с берега в отлив, а краски дня еще дремлют в пейзаже, глинисто-серые, как на сосуде гончара, покуда не проявятся после обжига. И бескрасочный этот мир полон странных, несбыточных посулов.

Старик, сам серый в сером своем плаще, был почти невидим, даже если б и нашелся тут наблюдатель. И чувство бесконечного одиночества охватило его, будто и впрямь он стал невидимкой. Он боялся дотронуться до ставня, чтоб не наделать шуму. Заложив руки за спину, он приник к окну и заглянул в щелку.

Никогда еще в своей жизни он так не удивлялся.

Длинная боскетная, с тремя выходящими на террасу стеклянными дверями, была окрашена в небесную лазурь, поблекшую от времени. Мебель была скудная, да и та распихана по стенам. Но с потолка посередине свешивалась пышная старинная люстра и пылала всеми свечами до единой. Большая музыкальная шкатулка, завезенная из России, стоя на немых клавикордах, изливала высокие, ясные тона мазурки.

Молодая хозяйка стояла на цыпочках посреди боскетной. На ней была прозрачная балетная туника и балетные туфельки, закрепленные на изящных ножках черными шнурками. Прелестно изогнув над головою руки, замерев, она следила за музыкой, и счастье сияло на ее кукольном лице.

Дождавшись такта, она вдруг ожила. Медленно, медленно подняла она правую ногу, уставя вытянутый носок прямо в Юстиции Советника, выше, выше, будто вот-вот оторвется от пола и взлетит. Потом снова медленно, медленно, опустила и тихонько постучала носочком об пол, как пальчиком по столу.

Зритель за окном затаил дух. Как когда-то, сидя в Венском балете, он чувствовал, что это слишком, так не бывает, такого сделать нельзя. Но это делалось у него на глазах, легко, как бы шутя. Начинаешь сомневаться в падении человека и перестаешь о нем печалиться, когда юная танцовщица вытворяет такие чудеса.

Касаясь пола одним правым носком, она подняла теперь левую ногу, очень медленно, очень высоко, и вот быстрым, вольным жестом распахнула руки и вихрем закружилась в танце. Длилось это минуты две — нет, не мазурка, что-то буйное, бурное, волчок, роза на ветру, пляшущее пламя, игра с законом тяготения, райская потеха. Разыгралась тут и драма: любовь, сладкая невинность, слезы, sursum corda [1],— все было в жесте и музыке. Потом была пауза для ошеломления зрителя, а дальше все начиналось снова, но только еще восхитительней, как бы перейдя в более высокую тональность. В тот миг, когда ящик уже похрипывал, затихая, она глянула прямо в лицо Советнику и рухнула в обворожительно беспомощной позе, как подкошенная, как сломленный цветок.

Советник довольно разбирался в балетном искусстве, чтобы сообразить, что перед ним его высочайший образец. Он довольно разбирался в жизненных усладах, чтобы сообразить, что утреннее это откровение достойно взоров немногих избранных счастливцев. Сердце в нем так и пело от благодарности.

Ее прямой блестящий взгляд напугал его и заставил отпрянуть. Когда он снова заглянул в окно, она уже встала, но была как бы в нерешительности и больше не подходила к шкатулке. В боскетной висело большое зеркало. Осторожно опираясь на него ладонью, она приникла к нему и поцеловала свое серебрящееся отражение. Потом взяла длинный гасильник, одну за другой погасила все свечи в люстре, отворила дверь и ушла.

Несмотря на опасения свои, как бы его тут не застигли, Советник еще несколько минут стоял неподвижно на террасе. Он так был ошеломлен, как если б ненароком, ранним утром мая, застал за одинокой репетицией лесное эхо.

Поворотясь спиною к дому, он подивился тому, какой широкий вид открывался от La Liberté. Прежде он этого не замечал. С этой террасы видно было всю волнистую, готовую зазеленеть округу, даже и за лесом. Вдали полоской серебра сверкал залив, а над заливом вставало солнце.

Он возвращался к бричке в глубокой задумчивости. Детская песенка с бесхитростным напевом бог весть отчего вертелась в голове:

Разве курочки вина,
если умер петушок?
Соловей всему виной
на кусте зеленом.

Он совсем забыл про веревку. Когда Крестен сообщил ему, что обошелся без нее, он промолчал.

---

[1] Латинский возглас священника на католической литургии, которому соответствует старославянское: «Горé имеим сердцá»— то есть обратим сердца ввысь.

Сонливость его как рукой сняло. Всю оставшуюся дорогу он размышлял о том, что ему теперь делать, как заново расставить фигуры на шахматной доске. И в этой связи ему пришли кой-какие соображения, новые и освежающие для того, кто все дни свои корпит над книгами, в кругу законников и эту самую ночь провел за ломбером с тремя эльсинорскими холостяками.

Вдова аптекаря была никакая не Кристиана Вульпиус, это ясно. Тихой пристанью ни для кого стать она не могла. Напротив, она очень могла оторвать от земли молодого человека, которого он ей прочил, и неизвестно еще, куда занесло бы этих двоих из-под его опеки. Он не досадовал на нее, что так основательно промахнулся, он даже был ей признателен — жизнь его редко баловала сюрпризами. Но как славно, что он раскусил ее вовремя, ведь того гляди ему пришлось бы распрощаться с поэтом. Да, теперь, напротив, он знал, что удержит при себе их обоих. На миг он снял шляпу, и резвый, юный ветерок овеял его виски. Он еще не старик. Он даже молод в сравнении с тем, к чему она привыкла. Он человек состоятельный, достойный изысканнейших услад и способный их оценить. Она бы ему танцевала по вечерам, почему бы нет? Это совсем не та супружеская жизнь, которая ему прежде досталась. А поэт останется при них, как его протеже, как друг хозяйки дома.

Чем выше вставало солнце, тем дальше неслись мысли Юстиции Советника. Несчастливая любовь — источник вдохновения, уже многих юношей подвигла она на великое в поэзии. Безнадежная страсть к легконогой супруге благодетеля, глядишь, и обессмертит юнца. Конечно, это будет целая драма и нелегко наблюдать такое в собственном доме. Двое юных существ останутся пред ним чисты, каких бы страданий им это ни стоило и как ни могущественны молодость и страсть. А что, как не останутся?

Юстиции Советник угостился понюшкой из своей табакерки. Тонкий нос его от наслаждения подергивался слегка. Он был почти дома. В свечении тихого утра Хиршхольм казался затонувшим градом. Черепичные крыши громоздились то бледными, то темными коралловыми рифами. Синими тонкими водорослями тянулись дымки из труб. Булочники вынимали из печей свежие хлебы. От утренней прохлады Советника стало снова клонить в сон, но ему было очень приятно. Вспомнилась старая прибаутка, молитва холостяка, как ее называют в народе:

«Боже милостивый, сподоби меня не жениться. А если я женюсь — сохрани меня от рогов. А если не сохранишь, пусть я не узнаю. А если узнаю, пусть мне будет наплевать».

Человек может позволить себе подобные мысли, если в душе у него есть чисто выметенная светелка и он, безусловно, единственный держатель ключа.

На другой вечер Андерс явился ужинать к Советнику, поскольку была суббота. После ужина он читал хозяину поэму. Речь в ней шла о юном крестьянине, который однажды ночью подглядел, как три диких лебедя обернулись тремя девами, и девы купаются в озере. Он крадет у одной из них крылья, которые она сняла и спрятала на берегу перед купаньем, и она становится ему женой. И рожает ему детей. Но вот однажды она находит свои крылья там, где он их припрятал, и снова их надевает. Она взмывает в воздух, парит над домом, кружит шире, шире и, наконец, тает в воздухе.

И как это у него получилось? Как мог он сочинить такое? — думал Советник. В высшей степени странно, он ведь не видел, как она танцует.

А уже опушились леса. Несколько дней кряду серый дождик окутывал землю, как фата — невесту, и вот в одно прекрасное утро леса зазеленели.

Это случается в Дании в мае каждый год, и однако же каждый год, как и тем людям сто лет тому назад, кажется нам небывалым, неслыханным чудом. Все нескончаемые зимние месяцы и в лесу нельзя было укрыться от злых ветров и ледяного взора неба. И вдруг за каких-нибудь несколько дней май возводит купол над нашими головами, дает прибежище, приют каждому сердцу человеческому. Сперва легкая, как шелк, новорожденная листва пушится там и сям, как оперенье, как крылышки, и лес будто примеряет, пробует их, чтобы взлететь. А еще день-другой — и мы бродим под сенью. Всякая отвесная линия кажется либо обрывом, либо воспареньем. Но оловянные буковые стволы не просто стремятся ввысь, в эфир, в бесконечность, к солнцу с весенней зеленеющей земли, они еще возносят и держат огромный прозрачный свод. Свет в лесу не так ясен, как прежде, но не сделался ли он богаче, сильней? Во всяком случае чем-то он заряжен, чреват легкой, сладкой тайной, сверкающей и недоступной для смертного. Вот еще один старый кряжистый дуб, не спешивший оживать, спохватился и пробил лиственный полог. Свежесть, аромат так и сжимают нас в объятьях. Ветви, свесясь с высоты, ласково напутствуют нас, будто еще шажок — и мы вступим в область вечного блаженства.

И все устремляются в лес, в лес! Насладиться небывалым счастьем, оно ведь скоротечно. Скоро снова пожелтеют листы, повиснет тьма. Кто пеший, кто в карете, горожане устремляются в лес, играть и петь среди стволов, пить кофий с булочками на мураве.

Советник тоже гулял по лесу и думал «Domine, non sum dignus»[1]. Юный Андерс складывал то, что надлежало вычитать, в протоколах управы и оставлял до утра несмятую постель, и Франсина вышла погулять из своей Свободы в новенькой соломенной шляпке.

В самую пору весеннего расцвета к Советнику нежданно-негаданно нагрянул его друг, граф Август фон Шиммельман. Несмотря на пятнадцать лет разницы в возрасте, они были друзья истинные, связанные искренней привязанностью и сходством вкусов и суждений. Когда графу было шестнадцать лет, Советник заменил при нем своего покойного друга в роли домашнего учителя, а потом они встречались за границей, в Италии, в Германии, так что могли теперь потолковать о книгах и религиях, о дальних странах и народах. Они давно не видались. Но не по причине взаимного охлаждения, а в результате эволюций молодого графа, покуда тот для себя вырабатывал modus vivendi[2] — занятие, в котором старый друг ничуть ему не мог быть полезен.

Граф Август от природы был склонен к меланхолии. Он бы с радостью сделался бесконечно счастлив, но не имел к этому таланта. В юности он очень мучился. Где-то, где-то, он знал, было великое, дивное счастье, ключ, из которого берет начало все — музыка, цветы, радости дружбы. Он собирал гербарий, изучал музыку, заводил друзей. Он старался наслаждаться и бывал осчастливлен много раз. Но пути, который от всего этого ведет к сути вещей, он так и не обрел. Шли годы, и с ним приключилась беда: все ему сделалось равно безразлично. В последнее же время он научился руководиться новым правилом: находить счастье жизни не в том, в чем сам он его видел, но отраженно, в том, в чем видели его другие.

Перемена эта совершилась в нем тогда, когда вдруг он наследовал огромное состояние. Будь он предоставлен сам себе, он не придал бы этому значения, ибо не знал, что делать с деньгами. Но он не мог не замечать отношения своих знакомых; событие чрезвычайно их взбудоражило; свет решил, что ему выпала неслыханная, блистательная удача. Граф Август от природы был на редкость завистлив. Немало настрадавшись от этого порока, он в состоянии был оценить власть его над сердцами. После той радости, какую испытывает художник, напи-

---

[1] Я не достоин, Господи *(лат.)*.

[2] Образ жизни *(лат.)*.

сав картину, которая самому ему нравится, нет, верно, для него большей радости, как написать картину, которая нравится всем. Вот так же и счастье графа Августа. Постепенно он приноровился жить, так сказать, завистью других и оценивать по принятому курсу собственное счастье. Он не опускался до того, чтобы верить правоте счета; в своей душевной жизни вел он, так сказать, двойную бухгалтерию. На сторонний взгляд на счету его были одни прибытки. Он носил древнее имя, у него было одно из крупнейших в Дании имений, один из удивительнейших замков, красавица-жена, четверо прелестных, прилежных сыновей, старший уже подросток, громадное состояние и высокое положение в свете. Был он необычайно хорош собой, и возраст не портил его, напротив, с годами внешность его только выигрывала. Его называли северным Алкивиадом [1]. Он выглядел здоровее, чем был. Казалось, он из тех, кто умеет получать удовольствие от доброго вина и стараний своего повара и спит по ночам, как младенец. Он же был равнодушен к еде и питью и считал, что страдает бессонницей. Но зависть заблуждавшихся ближних вполне возмещала ему отсутствие этих подлинных благ.

Даже ревность жены и та благодаря новым его воззрениям теперь шла ему впрок. Граф не подавал ей для ревности решительно никакого повода, и даже очень возможно, что из всех женщин, которых он встречал, она больше всех ему нравилась. Но пятнадцать лет супружества и четверо сыновей не излечили ее от недоверия, подозрительности, от слез и долгих сцен, которые нередко завершались обмороком и ужасно как тяготили в молодости графа Августа. Теперь же и ревность ее заняла свое место в системе. Она намекала, указывала, нет, не на то, что дамы из соседних имений и при дворе могут в него влюбиться — ибо они в него влюблялись со всей очевидностью,— но что и сам он способен влюбиться в них — или в одну из них. Он стал зависеть от жениной ревности, и если вдруг бы она сумела себя одолеть, он это бы ощутил, как потерю. Как голый король в андерсеновой сказке, он торжественно шел по жизни, будто во главе бесконечной процессии, имея успех у всех, кроме разве себя самого. Он не питал особенных иллюзий относительно своей системы, но действовала она безотказно, и последние пять лет он был счастливее, чем когда-нибудь.

Юстиции Советник ничем не мог ему помочь, покуда он сооружал свой нравственный мир, как коралловый полип образует мощные известковые отложения. Ибо Юстиции Советник, никому в своей жизни не завидовавший, того гляди и порушил бы всю постройку. Но теперь, когда она была прочно возведена, а граф Август чувствовал себя надежно укрытым и даже мог себе позволить взглянуть на все это с усмешкой, он захотел повидать старого друга. Советник со своей стороны был всегда ему рад, как, верно, Диоген всегда был бы рад Александру. Александр был доволен, объявив, что не будь он Александром, он бы стал Диогеном. Но едва ли великий завоеватель, не вполне еще тогда свободный от мнения света, очень бы обрадовался, ответь ему философ из бочки, что не будь он Диогеном, он бы согласился стать Александром. Потом уже, окончательно укрепившись, он бы, верно, и мог позволить себе роскошь свидеться с мудрецом и потолковать с ним о смысле жизни подробнее. Вот так же и граф Август.

Два друга были — ну в точности Диоген и Александр 1836 года, когда бродили по тропкам, по шелковой ссыпанной с лопнувших почек чешуе. В темных своих одеждах они выступали как две степенные птицы — галки, вороны,— которых прелесть майского вечера выманила снизойти до легкомысленной и крикливой компании прочих пернатых.

Они сели на скамью и беседовали.

— С годами нам открывается,— говорил граф Август,— тот унизительный факт, что как в жизни физической мы зависим от тех, кто

[1] Алкивиад (ок. 450 — ок. 404 до н. э.) — афинский государственный деятель, отличавшийся редкой красотой.

нас ниже — а без моего брадобрея я за неделю превращусь в совершенное ничто с точки зрения социальной, политической и семейной,— так и в мире духовном мы зависим от тех, кто нас глупей. Как вы, может быть, знаете, я давно, отчаявшись в своем таланте, забросил живопись и в области искусства выступаю теперь как собиратель и критик. (И правда, он был тонкий ценитель всякого рода предметов искусства.) И долгие мои занятия научили меня, что нельзя изобразить какой-нибудь определенный предмет — скажем, розу,— так, чтобы я или другой знаток тотчас не заключил бы с известной степенью приближения, в какой период писана роза и в каком месте Европы или Азии. Художник либо хотел дать нам общую, отвлеченную идею розы, либо изобразить именно ту розу, которую он видел, у него и в мыслях не было изображать розу в китайском, персидском, французском духе, в стиле чистого ампира или рококо. Объясни я ему, что он создал нечто подобное; и ведь он не поверит. Он вскинется: «Я нарисовал розу». Но он тут ничего не может поделать. Я, таким образом, настолько выше художника, что могу его мерять меркой, о которой он и понятия не имеет. Но сам я розу написать не умею. Едва ли даже умею я по-настоящему увидеть ее и понять. Разве могу сопоставить розы, писаные в разной манере. Могу сказать: «Дай-ка я нарисую китайскую, голландскую розу, розу в стиле рококо». И никогда не отважусь я написать розу так, как она выглядит. Ведь как выглядит роза?

Он помолчал, глубоко задумавшись, забыв на коленях трость с серебряным набалдашником.

— Так же точно,— продолжал он наконец,— и с общим понятием о добродетели, справедливости и, если угодно, о Боге. Спроси меня кто-нибудь, что же эти понятия значат в действительности, и я отвечу: «Друг мой, вопрос ваш лишен смысла. Иудеи представляют себе Бога так-то, американские ацтеки,— кстати же я недавно прочел о них книжку,— так-то, а янсенисты иначе. Если вы желаете узнать поподробней о различии этих воззрений, я вам тотчас их сообщу, благо убил на их изучение немалое время. Но позвольте, я дам вам совет — не повторяйте вопроса своего в образованном обществе». И в то же время этими моими высшими понятиями я обязан темным, простодушным людям, которые верили в возможность абсолютного познания Бога вообще и притом обманулись. Ведь поставь они себе целью создать свое особенное иудейское, ацтекское, христианское понятие о Боге, от чего бы тогда и отталкивался наблюдатель? Он оказался бы в положении израильтян, которым пришлось делать кирпич без соломы [1]. В самом деле, мой друг, простаки дивно проживут и без нас, а вот нам без них не додуматься до наших высоких понятий.

Он помолчал немного и продолжал:

— Если мы с вами, гуляя поутру, увидим в витрине старьевщика вывеску «Здесь катают белье», и вы, указывая мне на нее, скажете: «Принесу-ка я сюда мое белье», я улыбнусь и отвечу, что вовсе тут белья не катают, а вывеска в витрине выставлена на продажу. Общие воззрения наши в большинстве своем подобны той вывеске и достойны улыбки. Но я не мог бы ни улыбаться, ни чувствовать и выказывать мое превосходство,— да и вывески никакой бы не было,— если бы кто-то когда-то твердо не поверил, что белье можно и нужно катать и, далее, кто-то не был бы убежден, что у него есть такой каток, на котором катают белье.

Советник внимательно слушал. Теперь, когда они с графом гуляли по зеленому лесу, ему вдруг захотелось поделиться с ним своими матримониальными планами, в которые он покуда не посвящал никого, включая Франсину.

— Друг мой,— сказал он.— Позвольте вам заметить, что сам я — блистательный образчик той глупости, о которой вы толкуете. Alter

---

[1] Ср. Исход 5, 7: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича...»

schützt vor Torheit nicht[1]. Под этой почтенной касторовой шляпой все время, покуда я слушал умнейшие рассуждения ваши, билась и трепетала мыслишка, резвая, как вот эти две желтые бабочки,— он указал на них тростью.— Нечто вроде веры, знаете ли, в совершенную добродетель, красоту, даже, если угодно, в Бога. Я не шутя подумываю, не надеть ли мне на себя вериги Гименея, и явись вы в Хиршхольм на три месяца позже, быть может, новоиспеченная фру Матисен принимала бы вас в моем доме.

Граф Август немало удивился, но он так высоко ставил благоразумие друга, что образ обходительной и зрелой красавицы, домовитой, неглупой и с солидным приданым, тотчас представился его мысленному взору. Улыбаясь, он поспешил поздравить Советника.

— Да, но я не знаю еще, согласится ли она,— сказал старик.— Вот что плохо. Ибо она мне во внучки годится и, как я подозреваю, весьма романтическая особа. Она ни оладий не испечет, ни носка заштопать не умеет, и едва ли увлечет ее гегелевская философия. Если я на ней женюсь, мне придется покупать парижские модные журналы, таскать за женою шаль по балам Хиршхольма, изучить язык цветов и тешить ее рассказами о привидениях зимними вечерами.

Графа Августа будто что толкнуло в грудь при этих словах, так живо они ему напомнили прежние времена. Он будто увидел воочию юного Августа Шиммельмана за беседой с наставником у отворенного окна библиотеки в Линденборге. Это была характерная черточка Советника. Стоило вам преспокойно довериться своим королям и тузам, он тотчас их побивал самым мелким козырем, тогда как вы полагали, что все козыри вышли. Таким Советник был с детства. Когда мальчишки осенью играли в лесу, воображая, будто поваленные каштаны — это лошадки, он выносил из дому клетку с белой мышью, живой, и уж потому больше похожей на лошадь. Или когда они хвастались друг перед другом драгоценнейшими своими сокровищами — перочинными ножичками, оловянными солдатиками, рыболовными крючками,— он извлекал из кармана коробок с порохом, который в мгновение ока мог все это пустить на воздух. Он ничуть не принижал приобретений товарищей, нет, он даже их расхваливал с видом знатока,— но в его подчинении был домовой, который выскакивал в нужную минутку и колдовски отменял все ваши сокровища, так что у вас от них оставалась только горечь во рту. Тем, кто не любит домовых, не нравились затеи Советника. Тех же, кто принадлежит к противоположному типу, шахматных игроков, например, они странно притягивали. Вот и сейчас — граф Август, вверясь столь нелегко ему доставшейся логике, важно толковал старому другу о своем нерушимом спокойствии, о своей неуязвимости, и Советник — бац! — и вынимает из кармана яркий кусочек опасности, риска, вертит его меж пальцами, и он сияет и переливается, как алмаз. Младший много слов произнес о житейской мудрости, а старик взял флейту и проиграл на ней три всего нотки, и напомнил, что на свете есть музыка, и есть еще безрассудство, и — ах! — как же заныло сердце у его бывшего ученика.

Советник провожал глазами танцующих бабочек, покуда они не скрылись за стволами.

— Но она легка,— сказал он.— Легка на ноги, как серна в поле[2]. И царь Соломон знал, что говорил: «...грозна, как полки со знаменами»[3].

Граф Август снял шляпу и положил на колени. Тихий майский ветер трепал ему волосы, словно ласковая рука. Совсем как прежде когда-то, кольнула его зависть, легонько, будто желтая бабочка задела сердце крылом. Снова юный Август бродил, размышляя о счастье, о подвигах в прохладно-душистом лесу, под шелковый шелест листвы.

[1] Старость не защищает от глупости *(нем.)*.
[2] Вторая книга Царств, 2, 18.
[3] Книга Песни Песней Соломона, 6, 4.

Трость графа с серебряным набалдашником сама собою выписывала кренделя. Что такое его слава ценителя вин и яств, сладко спящего по ночам, да и что такое даже сами эти блага? — спрашивал он себя, вспоминая слова, слышанные когда-то. «Кому ни разу не пришлось просидеть долгую ночь в слезах на несмятой постели, тот не знает вас, силы небесные». Силы небесные. Давненько он их не вспоминал. Сердце его затрепетало при мысли о том, как может трепетать сердце.

Какая-то фигура показалась на тропе, приблизилась, и Советник узнал своего подопечного. С большим удовольствием представил он его знатному и влиятельному другу и после обмена незначащими замечаниями попросил почитать стихи.

Андерс не знал, что и выбрать. Сердце его той небывалой весной кружило широкими кругами, как кружит вокруг солнца планета. Но ему хотелось угодить величавому и холодному стареющему господину. Он ни на миг не обманулся новым платьем короля и сразу распознал, как дрожит граф Шиммельман, выступая нагишом во главе пышной процессии. Наконец он решил прочесть одну балладу, веселую каплю, перелившуюся через край счастья и муки, которые его наполняли в последнее время. Баллада была о юноше, заснувшем в лесу и сонным взятом в царство эльфов. Эльфы любят его, холят и лелеют. Они изо всех сил бьются, стараясь сделать его счастливым. Лесные чудеса были изображены вдохновенно, и каждая строфа в конце разливалась звенящей, журчащей, как ручей в половодье, удлиненной строкой. Но эльфы не спят никогда, им неведомо, что такое сон. Едва их юного друга, усталого от утех, клонит в дрему, они пугаются: «Он умер, он умер!» и его расталкивают. И, к глубокой их печали, бедняга в конце концов умирает от недосыпу.

Граф Август расхвалил балладу, счел, что для описания царицы эльфов поэт нашел дивные слова. В юнце, подумал он, однако, про себя, так много буйной чувственности, что надо держать ее в узде, чтобы не повредила вкусу.

— Берегитесь же,— сказал он Советнику,— блаженства в царстве эльфов. Для нас, бедных смертных, чем реже радость, тем она ценней. Не говорил ли мудрец: «Только глупый не понимает, насколько половина больше целого»? Если удовольствие длится вечно, мы рискуем либо им наскучить, либо — как предостерегает нас юный друг,— либо умереть.

Тут Советнику пришла в голову счастливая идея. Зеленый этот лес, подумал он, может послужить неплохой декорацией для небольшого театрального эффекта.

— Графу,— улыбаясь сказал он и повернулся к Андерсу,— угодно шутить над маленькой тайной, в которую я его посвятил. Сделаю-ка я и вас моим поверенным, Андерс. Только вы-то уж не смейтесь над старым другом. Я надеюсь в недалеком будущем подарить вам юную покровительницу, которой вы станете читать стихи и которая в красоте наяд ваших, дриад и ундин увидит собственную красоту, как в зеркале.

Как в туманном, серебристом зеркале перед зарею, подумал он.

Молодой человек, стоявший подле двух черных фигур на скамейке, несколько мгновений молчал, как бы в глубокой задумчивости. Потом приподнял перед Советником шляпу.

— Что ж, желаю вам счастья,— сказал он раздельно,— и благодарю, что сообщили. Когда это будет иметь место?

— Ах, я сам не знаю. Когда розы расцветут, Андерс,— отвечал Советник, несколько сбитый с толку прямым вопросом юнца. Почти тотчас Андерс распростился с графом и со своим меценатом и ушел. Граф Шиммельман, изучавший человеческую природу, проводил его взглядом. «Как! — подумал он.— Старый хиршхольмский колдун располагает не только ручным домовым и, кажется, готовой принять его домогательства дриадой, но и юным рабом из рода Азров, что, полюбивши, умирают?» Ему вдруг стало холодно, он ощутил себя обойденным, от-

лученным не только от жизни вообще, но в особенности от заманчивых тайн этого майского вечера. Он поднялся со скамьи. Во время дальнейшей беседы с Советником он пытливо заглядывал ему в лицо и поймал на нем странное, нежно-вдохновенное и решительное выражение. Граф был потомок воинов, и он подумал с улыбкой: Das ist nur die Freude eines Helden den schönen Tod eines Helden zu sehen [1]. Но потом он еще вспомнил эти минуты.

Меж тем у графа Августа был истинный талант, было и подлинное счастье, которым многие бы позавидовали, но он предпочитал о них молчать. Он принимал гашиш, но чуть-чуть, умея не злоупотреблять наслаждением. Где-то в мире, уж верно, были у него собратья по гашишу, которые полжизни бы отдали, если б могли тем у него откупить этот дар.

Бредя подле Советника по лесной тропе, он думал: «Что-то мне нынче привидится? Опиум,— продолжал он свои рассуждения,— грубиян, хватающий нас за шиворот, гашиш — вкрадчивый восточный слуга, нам в угоду окутывающий мир вуалью. И путем упражнений можно научиться самому выбирать, какими узорами заткать эту вуаль». Он побывал уже индийским раджей, охотился на тигров, сидя на слоне, он наслаждался танцем баядер, был он и директором Парижской оперы. был Шамилем, засевшим со своими повстанцами на перевале за головоломными, заснеженными крутизнами Кавказа. Что бы такое вообразить ему нынче? Не вызвать ли из прошлого росистые майские ночи Ингольштадта под пологом кустов? Но если и сто́ит — получится ли, и если получится — стоит ли?

Отужинав в доме у Юстиции Советника, он приказал подать свое щегольское ландо, запряженное парой великолепных английских лошадок, вызывавших всеобщую зависть, и печально отбыл.

На другое утро, когда Юстиции Советник одевался, готовясь отправиться в Свободу с предложением руки и сердца, ему принесли новость, немало его смутившую. Принесла ее экономка вместе с цилиндром, который препоручил он ей извлечь из картонки.

Особа эта по имени Абелона Вайенбрёд, прослужив ему более пятнадцати лет, все оставалась молодой, статной, рыжей, исключительно аккуратной во всех отношениях женщиной. Всю свою жизнь прожила она в Хиршхольме и безукоризненно знала подноготную его обитателей. Что же до нее самой, тут, напротив, была некоторая тайна. Поговаривали, будто пятнадцатилетней девушкой она была заподозрена в сокрытии родов и детоубийстве и насилу избежала кары. Юстиции Советник ставил ее высоко. Он не встречал еще человека, для которого бережливость была бы такой поглощающей страстью, и не только в сфере домоводства. Все, попадавшее в круг ее сознания, она прибере-гала впрок и, насколько замечал Советник, никогда ничего не выбрасывала. Располагай она для изготовления рагу всего лишь крысой, и она вам из крысы состряпает прелестное рагу. Разговаривая с нею, он всегда чувствовал, что каждое слово его, каждый взгляд она берет на заметку и припрятывает, чтоб рано или поздно пустить в ход.

Тем ясным майским утром она ему доложила о поведении юного писаря накануне вечером. Она успела заприходовать молодого человека, как непременную принадлежность хозяйства, и покуда его жаловала.

Андерс принимал участие в попойке на постоялом дворе. Когда вышло все вино, он обещал собутыльникам раздобыть кое-что получше. Располагая, как знал Юстиции Советник, ключами от церкви, ибо должен был исправлять приходские записи, он взял из ризницы четыре бутылки причастного вина и этим-то вином потчевал компанию. Сам он ничуть не был пьян, держался спокойно, как всегда, и предложил, присовокупила Абелона, выпить этого вина за здоровье Советника.

---

[1] Герою только радостно видеть прекрасную смерть героя *(нем.)*.

Слушая Абелону, Советник разглядывал себя в зеркале. Слегка нервничая, что естественно при таком начинании, он решил надеть другой галстук и теперь тщательно его повязывал. Не будет преувеличением сказать, что доклад Абелоны его испугал. По хиршхольмским меркам, то был бунт Люцифера против неба. Интересно знать, в каких выражениях провозглашался тот тост?

Он видел в зеркале стоящую за его спиной Абелону. Что-то в ее позе, скорее, нежели в широком, как всегда, запертом на замок лице, сказало ему, что и она напуганна или очень взволнованна. Тут что-то крылось. Абелона была далеко не сплетница. Свои сведения она предпочитала держать при себе, зная, быть может, для их применения лучший рецепт, а четыре бутылки причастного вина для нее были четыре бутылки вина по риксдалеру каждая — и не более. Раз не хочет она предоставить юнцу спокойно отправиться к черту, быть может, она сама имеет на него виды? Уж не та ли это крыса, которую она намеревается употребить на свое рагу?

Он перевел глаза на собственное лицо и на сей раз встретил проницательный взгляд Советника. Забавно наблюдать в качестве зрителя люциферов бунт против неба. Еще забавней, если можно вставлять ему палки в колеса.

— Милейшая йомфру Абелона,— сказал он с улыбкой.— Хиршхольмским балаболкам будет о чем посудачить. Я сам поручил господину Андерсу извлечь из ризницы это вино. У меня есть основания полагать, что туда ошибкою подмешали рому, который, не будучи произведением виноградной лозы, едва ли, по мнению пастора Авеля, удобен для пресуществления. Господин Андерс позаботится о том, чтобы вино было вовремя возмещено.

После чего он тотчас отправился в Свободу, имея немало поводов для размышлений, и прежде всего, как ни странно, о своей экономке. Только уже свернув в тополиную аллею, он снова обратился мыслями к будущему.

Он не застал молодой хозяйки, и ему пришлось ее дожидаться в боскетной. Франсина поместила на поставце вазу с охапкой жасмина. Душный, горький и сладкий запах наполнял всю прохладную залу. Советник несколько сомневался в том, к лицу ли ему роль жениха, но не в ее ответе. Разумеется, она согласится. Кажется, она всегда делает то, чего от нее ждут. И едва ли, когда он отбудет, уже ее женихом, она станет много раздумывать о предстоящей ей супружеской жизни. Что ему самому еще предстояло у нее поучиться и много чего узнать — это уже дело другое.

Покуда он ждал, ему казалось, что он теперь лучше понял собравшиеся в голубой боскетной предметы. Клавикорды, музыкальная шкатулка, стулья — все пятилось от него и жалось к стенам, словно мебель кукольного домика, вспугнутая появлением взрослого. Неужто теперь конец играм? Он старался их утешить: «...Не нарушить пришел я,— говорил он им,— но исполнить [1]. Лучшие игры еще впереди».

И — будто слова эти успокоили юную мадам Лерке — она выпорхнула к нему в розоватом платье с воланами, в сопровожденье служанки, которая несла чайную скатерть и самовар. После недолгой приятной беседы он приступил к цели своего визита.

Ему всегда казалось, что Франсина спешит поскорее разделаться с тем, что ей предстоит, и рада, когда это ей удается. Он не мог этого объяснить, видя, что спешить ей решительно некуда. Во всяком случае, уж она бы не попалась, подобно доктору Фаусту, воскликнув: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Она поскорей пропускала все мгновения жизни, как пропускает меж пальцев бусинки четок юная послушница. Когда он поведал ей о своей любви и дерзких надеждах, она побледнела и склонила к нему в кресле легкий стан. Ее темные глаза встретили его

---

[1] Ср. Евангелие от Матфея, 5, 17.

взгляд и тотчас скользнули прочь. Она радовалась, когда с этим было покончено. Как он и полагал, она приняла его предложение, и даже с некоторым чувством, по-видимому довольная, что обретает тихую пристань. Советник поцеловал ей руку, и она тотчас обрадовалась, что это позади.

Потом, когда сговоренная чета вместе распивала чай и Франсина председательствовала за величавым самоваром, Советник рассказал ей вчерашнюю историю про Андерса, чтобы ее развлечь. Успех, кажется, превзошел его ожидания. Известие ее поразило. Она будто сквозь землю готова была провалиться, слушая о подобном нечестии. Обретя наконец дар речи, она, без кровинки в лице, спросила, знает ли что-нибудь пастор. Советник в ней не предполагал такого благоговения к святыне. В общем, милая черточка, но, кажется, за ней что-то крылось: страх призраков или даже, может быть, призрак? Он ее успокоил, рассказав, как решил он выручить юного писаря и спасти от последствий его безрассудства. И тогда она осияла его таким нежно-тоскующим взором, что он наполнил всю залу вместе с духом жасмина, и Советник ощутил себя могущественным и благородным.

— Надо бы,— сказал он,— для острастки прижучить юнца. Не мешало бы ему напомнить, что не пристрой я его к месту, он бы сейчас голодал.

При этих словах Франсина опять побледнела.

— А я верю, милая,— продолжал Советник,— что его ждет блистательное поприще. Досадно, право, видеть, как вертопрах, повеса губит будущность великого мужа. И для меня речь идет словно о собственной моей будущности, ведь я привык на него смотреть, как на сына. Но, боюсь, я только его раззадорю, и тогда мне с ним не сладить. Нежная женская рука вернее выведет его на путь истинный. Таким непременно нужен ангел-хранитель, и с вашей стороны было б куда как благородно, ежели бы вы доказали вашему покорному слуге готовность свою и впредь сочувствовать его интересам. Поедемте же со мною в Хиршхольм, любезная Франсина, и вы прочитаете молодому человеку небольшую проповедь.

Итак, было решено, что Франсина отправится вместе с Советником в Хиршхольм, дабы облагоразумить Андерса Кубе. Она тотчас собралась и надела светло-розовую шляпку, под которой ее светлое лицо заняло от солнца нежной алости. Было кое-что не совсем обычное в том, чтоб молодая дама отправлялась куда-то вдвоем с мужчиной — сидевший сзади Крестен был, конечно, не в счет. Прохожие могли догадаться о помолвке. Это льстило Советнику, и он всю дорогу наслаждался. Франсина, сидя с ним рядом, следила за бодрой конской трусцой и мечтала, чтобы все это кончилось.

Советник и его молодая невеста, назначенная на роль ангела-хранителя, рука об руку взобрались по крутой лестнице в светелку Андерса за большой, только что расцветшей липой. Там застали они его сестру, которая была замужем за капитаном в Эльсиноре и приехала навестить брата, со своим сынишкой. Это затрудняло задачу юной фру Лерке, но облегчало ей сердце, и она тотчас почувствовала себя в этом обществе спокойно и непринужденно. Сестра и брат были очень похожи, а когда мальчик поднял на нее взор, сердце у Франсины зашлось, так напомнил ей тех bambino [1], которых видела она в храмах Италии, этот херувим с глазами Андерса, как в райском зеркале отражавшими всю душу молодого поэта.

Франсина переступила порог в кашмировой шали и розовой шляпке как дама-благотворительница. Сейчас она замерла, и темные глаза ее были как у Рахили, когда та говорила Иакову: «...дай мне детей; а если не так, я умираю» [2]. Ей захотелось кинуться на колени, прижать маль-

---

[1] Мальчиков *(итал.)*.
[2] Книга Бытия, 30, 1.

чика к груди, но, боясь, что это будет неуместно, она колебалась, пока не сообразила, что того же результата можно достигнуть, подхватив его на руки. Она поставила его на стул, дала поглядеть в окошко и потрогать ее черные митенки. Мальчик смотрел на нее во все глаза. Никогда он не видывал таких кудрей, и он их перебирал пальчиками. Чтоб угодить ему, она сняла шляпку и выпустила всю темную массу волос. Они упали на ее лицо как тучи. Мальчик захохотал и вцепился в них ручонками. И вот тут-то она прижала его к груди и рассмеялась, глядя на него и чувствуя, как, словно часы, бьется его маленькое сердце. Она заметила, что на них смотрят, кровь бросилась ей в лицо, но она не могла сдержать улыбку.

Советник вступил в беседу с молодой матерью в белом плоеном чепце, которая села на стул подле стола и взяла сынишку к себе на колени, а двое молодых людей остались наедине у окна. Франсина поняла, что пора действовать.

— Господин Андерс,— начала она,— Советник,— она поправилась: — ...мой жених — рассказывал мне с глубоким сожалением, что вы дали ему повод досадовать — сердиться на вас. Это нехорошо. Не надо так поступать. Вы тут в Хиршхольме, верно, не знаете, как много зла и несчастий на свете. Но я умоляю вас, господин Андерс, вперед не совершать поступков, которые приводят человека к погибели.

Хоть адресовалась она к нему с такой торжественностью, на лице ее еще играла забытая улыбка.

Андерс ни слова не слышал из того, что она ему говорила. Благодаря своей редкой способности забывать, которую Советник не всегда одинаково высоко ценил в своем протеже, он и думать забыл о событии, давшем повод для этой нотации. Он нежно улыбался ее улыбающемуся лицу, в точности повторяя ее выражение. Менялось ее лицо — и его лицо тотчас менялось, два юных лица обменивались светом и тенью, как два, одно против другого, повешенных зеркала.

Франсина чувствовала, что дело принимает несколько нежелательный оборот, но не знала, как это исправить.

— Советник,— сказала она,— любит вас, как сына, и если б он вам не помог, вы бы сейчас голодали. Он такой умный. Он лучше вас понимает, как надо себя вести. Вот, смотрите,— сказала она, теребя маленький предмет на длинной золотой цепочке, свисавший с ее шеи. То был коралл в форме рогов, итальянские простолюдины считают такой коралл талисманом.— Мне дала его бабушка. Он хранит от дурного глаза. Но она верила, что он и от оспы спасет, и от собственных черных мыслей. Потому она мне его и дала. Нате, господин Андерс, носите его, и пусть он вам напоминает, что нельзя забываться и во всем надо слушаться Советника.

Андерс взял у нее талисман. Когда руки их соприкоснулись, оба смертельно побледнели.

Со своего места на диване Советник краем глаза видел, как великие силы были пущены в ход у окна. Он видел явственно, что его невеста вручила юному писарю нечто, весьма напоминавшее своим видом пару рогов. Превзошло ли это или обмануло его расчеты, ему оставалось смириться, и тотчас они с Франсиной рука об руку сошли по лестнице к дожидавшемуся экипажу.

В Хиршхольме смотрели бы косо, если бы обрученные — пусть даже жених в годах, а невеста — вдовица,— часто сходились наедине, а потому тем летом вошло в обычай, чтобы Андерс сопровождал Советника в La Liberté в качестве дуэньи. Если погода была хорошая, все трое пили чай на террасе, и Франсина их потчевала милыми итальянскими кушаньями, напоминавшими Советнику иные времена, иные страны. В нежном вечереющем свете, глядя через стол на обоих молодых людей, столь ему дорогих,— хоть они удивились бы, узнав, кто из них ему важнее,— Советник ощущал такое довольство и такое согласие с миром, какого прежде никогда не испытывал. Трудно и вообразить, думал он, более со-

вершенную идиллию. «Вот и я, наконец,— говорил он себе,— побывал в Аркадии».

Иной раз поведение юного пастушка и пастушки его настораживало и напоминало одну вычитанную в книжке историю. История была такая. Группа английских исследователей наткнулась в негритянском поселке, за частоколом, на пленных рабов, которых победители откармливали на убой. Потрясенные, англичане предлагают выкупить их, но жертвы отказываются, считая, что никогда еще не жили они так чудесно. Неужто, думал Советник, эти двое таят план бегства, или они так же покорны судьбе, как те черные невольники? И в то и в другое было трудно поверить.

И тем не менее он с этой своей историей был недалек от истины, вернее, узнай он истину, она бы ему показалась даже более удивительной.

Для Андерса дело облегчалось тем, что он принял решение покончить с собой в день свадьбы Франсины. Он принял его, едва услышал о ее помолвке с Советником, и оно было неотменимо для него, как сама смерть. Мысль расстаться с жизнью, даже лишить себя жизни такого рода людей мало пугает. Жизнь им не кажется — да и редко бывает для них — таким уж заманчивым даром, и самоубийство им представляется естественным выходом.

Судьба не баловала Андерса. Он с юности чувствовал — как часто бывает с ему подобными,— что слеплен из иного теста, чем прочие люди, из некоего вещества, которое его делает для них невидимым. Они не могли его увидеть, если б и захотели. Сперва он немного грустил, потом уж смеялся над своим одиночеством, потом оно стало его тяготить. Но когда он встретил Франсину, она его увидела. Без малейшего усилия ее ясные глаза охватили его всего. С небытием было тотчас покончено, оно было забыто. Он многого ждал от своего превращения. Но раз она выйдет за Советника и навеки отведет от Андерса взор — что же, придется и ему отправиться одиноко своею дорогой. То, что обычно люди зовут смертью, было не так огромно и важно для него, как снова отверженность и невидимость,— да и не так больно.

Вообще не склонный распространяться о своих планах на будущее, он считал, что и теперешние его намерения ни до кого не касаются, кроме него самого. А потому и старался ничем их не выдать. Ведь догадайся о них Советник, он не только бы им воспрепятствовал, но и очень расстроился. Не всякому лестно сидеть за чайным столом с тем, кто через неделю сделается утопленником. Франсина, верно, тоже бы опечалилась. Не будучи благородным рыцарем, но обладая тонкой душой, Андерс никоим образом не хотел их огорчать. Он подумывал даже, не занять ли ему лодку в Рунгстеде у знакомого рыбака и перевернуться как бы случайно. Лодкой он править умел, так что предприятие было ему под силу. Надо сказать, что тем летом он, удивительно для себя самого, думал про этого человека, Андерса Кубе, со стороны, как об одном из своих героев. Иной раз с легким чувством вины и смущенья, но чаще — как благодетель, ибо стремился избавить его от напасти. Так или иначе, он поглядывал из-за своего частокола тем же безмятежным взором, как откармливаемые для людоедов невольники.

Кроме своей судьбы, вовсе для него не имевшей первостатейной важности, он вынашивал и поэму, лебединую песнь, которую намеревался закончить, покуда не разделался с жизнью. О лесах и лугах писал он уж раньше. Назначив море последним своим прибежищем, он к нему и направил все свои мысли. Наяды и тритоны плескались в волнах его последних стихов. Облаками наплывали киты. Дельфины, лебеди, рыбы резвились в кипенье и звоне прибоя, а ветры играли на тромбонах и флейтах то соло, то сливаясь в оркестр. Свобода, какой насладятся люди, избавясь от страха смерти, дышала в каждом слоге, и хоть поэма была не богата действием, она сверкала и переливалась бесконечной сменой ритмов и картин. Он ее читал по частям Франсине после чаепитий в La Liberté.

Что до Франсины, она привыкла жить не задумываясь, со дня на день. Она не наблюдала часов и в сущности едва ли умела различать между временем и вечностью. То была одна из черточек, давших повод дамам Хиршхольма отнести ее к разряду нищих духом. Никогда еще не была она так счастлива и полагала, кажется, что полное неведение о том, сколько оно продлится, есть непременная принадлежность счастья. Во всем остальном мысли ее следовали за мыслями Андерса. Она читала его сочинение, и коль скоро действие там разворачивалось на море, она и платья для приданого все заказала в тонах морской и небесной лазури и выглядела в них совершенно как ангел небесный, по мнению обоих мужчин.

В течение лета, узнав свою суженую поближе и составя себе некоторое представление о ее повадках и помыслах, Советник нередко дивился совершенному ее пренебрежению к истине. Он и сам был не прочь несколько преображать жизнь, так что отчасти мог и понять ее и даже замечал в ее подходе к явлениям известное сходство с собственным. Но он и не предполагал, что можно проводить этот принцип так прямолинейно, не оглядываясь ни направо, ни налево. Тут она ему давала сто очков вперед, и он мысленно снимал перед нею шляпу. По зрелом размышлении он понял, что это некий особый Code de femme [1], практическое руководство, послужившее уже несчетным поколениям. Женщинам, думал он, так часто воздвигают неодолимые препоны на их пути к счастью. Извинительно и, собственно, даже похвально, если они ломятся к нему, объявляя желательное действительным и действительное идеальным. Эта тактика долгие годы себя оправдывала как незаменимое средство в их житейском хозяйстве. Каждой опытной женщине ясно, что без него концов с концами не сведешь. И раз Советнику предстояла роль ее мужа, юная невеста и объявляла его добрым, умным, благородным. Он не обольщался на свой счет; под тем же соусом подавался, верно, и покойный аптекарь Лерке. Таким манером букеты и подарки его были всегда изумительны, именно то, о чем она мечтала, и проповеди пастора Авеля в Хиршхольме оказывались всегда в высшей степени трогательны и поучительны, и погода всегда выдавалась дивная, если он ее вывозил погулять. Единственное исключение из общего правила составляли платья и шляпки. Но причина была та, что, обладая истинным талантом в искусстве одеваться, тут она могла пользоваться мерилом, каким не отваживалась мерить жизнь, подруг и мужчин, и устремлялась к идеалу. Сама ли она нашла прибежище в этой древней и темной женской религии, по собственной склонности либо в нужде? Или была посвящена в нее какой-то мудрой жрицей — этого не знал Советник. Лишь немногие женщины, думал он, очень, очень немногие, могут познать любовь, семейные радости и успех иначе, как пользуясь этой системой. Чем-то она напоминала новое платье графа Шиммельмана, но, изобретенная женским умом, не нуждалась в мужской логике и выкладках — не философия, но теология, повареная книга, модный журнал — сущее колдовство.

Так некогда, знал он из книг, лили колдуньи детей из воска, девять месяцев вынашивали под платьем и потом нарекали в полночный час именами живых людей. И с тех пор восковое дитя выступало вместо тезки. Способ, в сущности, был годен и для белой магии и в руках доброй волшебницы мог принести немало добра. А ну как разнообразия ради молодая колдунья понесет и девять месяцев будет вынашивать под сердцем живое дитя? Но лучше про такое не думать.

Советник заметил, как поглощен его протеже новым сочинением, и выказал к нему интерес. Андерс, не видя причины, отчего бы старому другу не познакомиться с последним его творением, стал его читать по частям. Поэма произвела на Советника неотразимое впечатление, он испытывал до идолопоклонства доходивший восторг. Ему казалось что и сам он переносится в иное пространство, иное время и купается в синем

---

[1] Женский кодекс *(франц.)*.

небесном эфире, в неведомой доселе гармонии. Он полагал, что это начало великих свершений. Он подробно разбирал поэму с автором и даже ему сделал ряд замечаний, так что кой-какие мысли и наблюдения Советника отзывались в ее строках долгим, раскатистым эхом. Да, тем летом жениховство Советника претворялось на все лады в многообразии рифм и ритмов, так сказать, по доверенности. Забавное, но премилое положение, которому ничто не мешало длиться до самой свадьбы. В те незакатные дни и недели все трое, пусть они всего-навсего пили чай в зеленом саду La Liberté, плавали в бескрайней лазури райского сада.

За два дня до свадьбы Советник получил в подарок от одного немецкого друга новый роман «Валли сомневающаяся», сочинение молодого поэта Гуцкова [1], наделавшее тогда в Германии много шума и вызвавшее возмущение и кривотолки.

Надо напомнить, что речь там идет о взаимной любви Валли и Цезаря, но в брак они вступить не могут, ибо Валли нареченная сардинского посла. И вот Цезарь ее просит, чтобы в знак духовного их бракосочетания она утром в самый день свадьбы показалась ему нагая, во всем сиянии своей красоты. Есть старинная немецкая поэма, где Сигуне таким же образом предстает перед Чионатуландером.

Роман так увлек Советника, что он его прихватил с собой, отправясь вечером в La Liberté, и продолжал читать, сидя под липой, покуда молодые люди отправились смотреть на ручного лисенка, которого Франсина держала на цепи в собачьей конуре. Советник рассудил, что на предстоящей неделе у него едва ли выдастся время для чтенья романа, и лучше с ним покончить сегодня же.

Он читал:

«Слева пред ним выступала из солнечной дымки картина пленительная: Сигуне, обнажающая себя более целомудренно, нежели прикрывает свою наготу Медицейская Венера. Она стоит растерянная, ослепленная безумием любви, потребовавшей от нее этой милости. У нее не осталось воли — лишь стыд, невинность и преданность. Красные розы неуместны для этого зрелища. Лишь высокоствольная белая лилия окаймляет лилейное тело, как символ чистоты. Немая секунда — вздох,— и это все. Кощунство, но кощунство, внушенное невинностью и чистейшим самоотречением...»

Советник закрыл книгу, и откинувшись в кресле, словно для того, чтобы поглядеть в небо, он закрыл глаза. Плыл под ветвями зеленый, золотой свет, медовый липовый дух, жужжали несчетные пчелы.

Да, прелесть, думал он. Прелесть что такое, и пусть его ярится почтенный профессор Менцель [2]. Тут была давняя его мечта о возвращении золотого века, о вечной прекрасной невинности. И пусть критики твердят, что ничего подобного не существует в природе. Какая разница? Новый вид цветка и всегда выводится в парниках фантазии.

До него долетали голоса Франсины и Андерса, но он не различал, о чем они говорили.

От конуры они прошли в огород за домом — нарвать салата, горошка и молодой морковки к ужину. Часть низкого огорода уже тонула в тени старых разлапых берез, отграничивавших его от полей. Сквозь проем между стволов они видели, как по клеверному полю две крестьянки брели доить коров в золотых лучах заката. На головах они несли высокие подойники и длинными-длинными синими тенями перечерчивали клеверное поле.

Франсина советовалась с Андерсом насчет лисенка.

— Вот если его выпустить осенью,— говорила она,— сможет ли он сам себе добывать пропитание?

— Я бы его выпустил на вашем месте, мадам Франсина,— отвечал

---

[1] Карл Гуцков (1811—1878) — немецкий писатель, публицист, общественный деятель. Названный роман (изд. в 1835 г.) посвящен проблеме эмансипации плоти.

[2] Вольфганг Менцель (1798—1873) — немецкий писатель и критик.

Андерс,— да ведь он слишком привык к вашему курятнику и ночью найдет туда дорогу.

Ему представился одинокий голодный лис — призрак милого пушистого товарища их летних игр, студеной лунной ночью крадущийся к Свободе.

— Ну, так вы придете и снова его для меня поймаете,— сказала Франсина.

— Но меня уж тут не будет,— ответил он, не подумавши.

— Ах ты, господи,— сказала она.— Какой же это высокий долг и в какие такие дальние страны призывает вас прочь от нас, господин Андерс?

— Мне нужно уехать. Непременно нужно,— выговорил он наконец.

Франсина не стала спорить. Быть может, она достаточно знала, что такое необходимость — владычица людей и богов? Но только спустя мгновение она глянула на Андерса таким глубоким, таким проникающим взглядом, будто всю душу свою вложила в него.

— Но если вас тут не будет,— сказала она,— тут будет...— она немного подумала: — Тут будет так холодно!

Андерс очень хорошо ее понимал. Огромная волна жалости подхватила его, несла к ее ногам. В самом деле — ей будет холодно, и сердце его рвалось между печалью о том, что она замерзнет, и печалью, что сам он тем временем так уж застынет, что не сможет ее обогреть.

— Так что же я буду делать? — спросила она.

Она тихо стояла перед ним. Правда, она была одета, и руки ее покойно лежали на складках платья, но, впрочем, во всем она совершенно воспроизводила ту позу Венеры Медицейской, о которой как раз читал сейчас Советник. Глядя на нее, Андерс вспомнил, что раньше мысленно сравнивал ее с дитятей, ни за что не желавшим расстаться с любимой куклой, и эта кукла был он сам. Теперь же он увидел в ней куклу, боявшуюся потерять свое дитя, дитя, которое будет с ней играть, одевать и раздевать ее, млея от восторга. Бедная, бедная кукла, сирая и ничья повсюду, кроме как в его руках.

— Господин Андерс,— проговорила она.— Тогда, сразу после Пасхи, когда мы так часто видались с вами в доме у Советника и на прогулке в Рунгстед,— вы помните? — вы уверяли меня, и не раз, что за счастье почтете оставаться здесь, другом моим — на всю жизнь.

Он молчал. Те дни после Пасхи — о них было больно думать, о них нельзя было говорить.

— Неужто вы такой неверный друг? — сказала она.

— Знаете, мадам Франсина,— сказал он,— а ведь я позавчера ночью видел вас во сне.

Она улыбнулась и приготовилась внимательно слушать.

— Мне снилось,— продолжал он,— что мы с вами вместе бредем по морскому берегу и дует сильный ветер. И вы говорите: «Так будет вечно». А я отвечаю, что это всего лишь сон. «Ах, нет, не надо так думать,— сказали вы мне тогда.— Вот если я сниму мою новую шляпку и закину в море — поверите вы, что это не сон?» И вы развязываете ленты шляпки и кидаете ее в море, и волны уносят ее прочь. А я все думаю, что это сон. «Ах, ничего-то вы не понимаете,— сказали вы мне тогда,— но уж если я сниму свою шелковую шаль и закину ее подальше, тогда вы поверите, что это явь!» И вы сбрасываете с плеч свою шелковую шаль, и ветер подхватывает ее и уносит, а я все никак не могу поверить, что это не сон. «А если я отсеку себе левую руку,— говорите вы,— тогда вы поверите?» В кармане юбки у вас были ножницы. Вы подняли левую руку, подняли, как белую розу, и срезали ее ножницами, и тут...— он умолк, очень бледный.— И тут я проснулся,— сказал он.

Она стояла все так же недвижно. Истово веря в сны, она живо воображала, как бредет с ним вдоль берега, покуда он рассказывал. Но сейчас она собрала все свое оружие, все силы, зная, что, если она его потеряет, она погибла. Разумеется, она бы отсекла ради него левую руку,

если б он пожелал, но куда лучше было этой руке лежать у него под головою и чтобы правая его обнимала. Свое омытое закатом тело она ощущала легким и сильным, как молодая березка, стан — гибким, как ветвь, а груди двумя гладкими круглыми яйцами покоились в душистом гнездышке платья. Горящий взгляд ее так глубоко утонул в его взгляде, а он так ушел взглядом в ее глаза, что мощный рычаг бы понадобился, чтобы их разъять.

Она чуть приподняла ту, нижнюю венерину руку и протянула к нему — медленно, как тяжесть. Он протянул свою руку и коснулся ее пальцев. То был в точности жест Микеланджелова Творца, божественной властью животворящий юного Адама. Такие вот копии высоких образцов классических были явлены в тот вечер на огороде Свободы.

Они услышали, как Советник завозился в кресле и отложил книгу, устремляя взор к липе. Медленно, не сказавши ни слова, Франсина повернулась и пошла к нему по террасе, и Андерс поплелся за нею, неся в корзине салат и горошек.

Советник сидел, заложив книгу пальцем на недочитанной странице.

— Ах, друг мой! — воскликнул он, завидя Франсину.— Должен признаться, я тут протащил одного литературного санкюлота в сей приют мирных муз. В Германии юный автор уж засажен за решетку. Все как положено. Наказывай плоть, и да воспарит свободный дух. С тех пор как университетский профессор конфисковал сочинителя, мы вправе наслаждаться его творением. Я несколько легкомысленно изъясняюсь, мои милые,— продолжал он,— но в столь дивный вечер моралист явил бы жалкое зрелище. В сущности, заинтересовала меня лишь одна забавная деталь, пустяк, собственно. Мне показалось, что, живописуя место свидания неразумных влюбленных, Гуцков в точности воспроизвел ваш милый храм дружбы в этой буковой роще Свободы.

С этими словами он поднялся и отправился пить чай рука об руку с невестой, оставя раскрытую книгу на кресле под липой.

В день накануне свадьбы Советник не ездил к невесте. Таков в Дании обычай. Невесте дается этот день, чтобы спокойно поразмыслить о прошлом и будущем, и встречается она с женихом только уж в церкви.

К тому же у Советника была бездна дел, надо было привести в порядок кой-какие бумаги, отдать распоряжения подчиненным, дабы не мрачить самое начало медового месяца столь прозаическими материями. Но он послал к Франсине юного писаря с огромным букетом роз. Был дивный летний день.

Вечером после заката Андерс взял ружье и отправился пострелять уток. Советник, словно сожигаемый греховным мечтанием юный жених, тоже не мог усидеть в комнатах и пустился в дальнюю прогулку. Он пошел полями в сторону Свободы, чтобы невидимо для света побыть вблизи своей суженой.

Летнее ночное небо было чудно светло и невинно лазорево, как лепесток барвинка. Большие серебряные облака клубились над горизонтом, и деревья к ним тянулись темными строгими кронами. Высокие, темные травы зелено сияли, как драгоценности. Все краски дня, не померкнув, изменились, будто обнаружив новую свою ипостась, будто весь мир цвета перешел из мажора в минор. Тишина и немота ночи были полны значения и трепета, и казалось, вот-вот вселенная выдаст свое тайная тайных.

Советник поднял взгляд и удивился, обнаружа в вышине полную луну. От сияющего диска перебрасывался узкий золотой мост через седую пучину неба, и как бы огромный косяк мелкой рыбешки играл на поверхности, но очень слабо светила эта луна, будто светящейся летней ночи и не надо было ее света.

Убедясь, однако, что луна стоит в небе, Советник стал различать и прозрачные пруды тени, пролитые ею под деревьями, и желобки темноты вдоль дороги по краю высоких росистых трав.

Вдруг Советник обнаружил, что давно уж стоит неподвижно, глядя на луну. Она была далеко, он знал, но ничего не было между ним и ею, кроме тонкого, прозрачного воздуха, который, говорили ему, чем выше, тем делается разряженней. Как же случилось, что он так и не сложил стихов в честь луны? Ему многое хотелось сказать ей. Она такая белая и круглая, а он всегда любил все белое и круглое.

Тут ему показалось, что и луна хочет многое ему сказать. Даже больше, чем он ей,— по крайней мере она выразительней на то намекала. Стар — да, он стар. Но она — она еще старее. И вовсе это неплохо — быть старым, думал он,— и видишь все явственней, и удовольствия из всего более извлекаешь, чем в юности. Мало выдержать вино, чтобы насладиться букетом,— для этого надобно еще и старое нёбо.

Но, быть может, луна старалась его остеречь? Он вспомнил детскую сказочку про вора, который украл жирную овцу и пожирает ее при лунном свете. Насмешливо протягивает он к луне лакомый кусок и кричит:

Эй, луна!
Голодна?
Хочешь угоститься?

А луна в ответ:

Ну-ка, вор!
Вот — топор!
Тебе не укрыться.

И тут откуда ни возьмись летит на вора добела раскаленный топор и выжигает клеймо у него на щеке. Верно, сказочку эту пятьдесят лет назад рассказывала ему няня. Все было в этой ночи. Жизнь — да и смерть. И memento mori [1]. Ну-ка, ты там, вон она — смерть, так говорила луна. И значит, надо внять предостережению?

Или это обетование? Не дано ли ему отрешиться от старого бренного своего «я», дабы, подобно Эндимиону, в награду за всю жизненную маяту обрести вечный сон, сладкий, как сама эта ночь? [2] И мир поставит ему памятник здесь, на лугах Свободы...

Но что за странные, однако, мечтания? Мокрый, тяжелый медвяный клевер стегал его по ногам. Было удивительное ощущение, будто он парит над землею. Где-то там, среди клевера, лежали, может быть, стояли коровы. Он не видел их в лунном свете, но чуял их милый, теплый запах.

Ему вспомнилось кое-что, происшедшее больше сорока лет назад. Петер Матисен, тихий, задумчивый подросток, жил тогда у дяди, пастора в Мольсе, и тут же, в доме, готовили к конфирмации девочку, дочку соседнего помещика. Дядя был человек начитанный, умел рассуждать обо всем — о Боге, любви, бессмертии — и увлекался новейшей поэзией романтической. Вечерами в пасторской усадьбе читали стихи, и коль скоро звали девочку Нанной, дяде и пришла счастливая мысль поручить детям читать по ролям трагедию «Смерть Бальдера», обращая друг к другу огненные слова Бальдера и Нанны [3]. Сдвинув очки на лоб, сложив на животе руки, пастор слушал их, упоенный тем же бесстыдством невинности, какое старых дев побуждает растить гиацинты в высоких стаканах и разглядывать корни. Он не замечал, как дети то вспыхивали, то смертельно бледнели от звуков собственного голоса. Когда пришла пора спать, мальчик не в силах был лечь в постель. С пылающей головой, задыхаясь, бродил он по двору, среди служб, ища, чем бы утешиться, и набрел на хлев. Луна стояла высоко, но туманна была весенняя ночь. Прислонясь к стене хлева, он чувствовал себя одиноким, и не просто одино-

---

[1] Помни о смерти *(лат.)*.

[2] В греческой мифологии Эндимион — пастух, которого влюбленная в него богиня луны Селена погружает в вечный сон, дабы беспрепятственно наслаждаться его красотой. По другой версии, он получил от Зевса дар вечной юности и долгого, блаженного сна.

[3] Бальдер — в скандинавской мифологии сын Одина, Нанна — его жена. Смерти Бальдера посвящено не одно произведение в мировой литературе.

ким, его будто бросили, предали, будто на него расставили силки. И он стал думать о мирных, безмятежных коровах. Была одна белая корова, Белянка, которую дети особенно любили. Он понадеялся на ее тепло. И, стоя подле ровно жующего животного, он в самом деле успокоился и решил остаться тут на ночь. Но не успел он улечься на сене, дверь тихонько отворилась и послышались легкие шаги. Выглянув из-за крупа Белянки, он увидел в смутном свете, как в хлев вошла девочка. Значит, и ей стало грустно, подумал он, и она тоже решила, что только ласковое жвачное может вернуть покой ее сердцу. Луна светила сквозь узкое оконце, обливала стену молочным светом. Волосы девочки золотились в лучах, а сам он оставался в тени и затаился, как боящийся поимки беглец. Он видел, как она опустилась на колени в солому совсем рядом, он слышал, как она дышит. Кажется, она даже всплакнула. Так пролежали они бок о бок всю короткую весеннюю ночь, то засыпая, то просыпаясь, и мирная, дружественная Белянка их разделяла, как обоюдоострый меч рыцарской поэмы. Какие только мысли, какие заманчивые картины тогда не роились в его голове! Он засыпал — и Нанна ему снилась, он просыпался — и она была тут как тут, знать не зная, что он рядом. Рано утром, чуть свет, она встала, отряхнула с юбки солому и ушла, а он так никогда и не сказал ей, что тоже был в хлеву той ночью.

В приятных мыслях Советник побрел дальше. Слова графа Шиммельмана ему вспомнились: «Только глупый не понимает, насколько половина больше целого». Тот давний, забытый случай был цветок в его жизни, в венке его жизни, полевой цветок, дикая незабудка. Немало было в его жизни цветов — незабудки, фиалки, желтые ромашки. А ну, как ночь нынешняя вплетет и розу в венок?

Невдалеке от Свободы была буковая роща. На опушке, на взгорке давняя хозяйка именья, влюбившись в сладкий покой этого места, воздвигла ротонду, маленький греческий храм дружбы. Пять деревянных столбов держали купол крыши. В ротонду вели две ступеньки, и деревянная скамья полукругом обегала ее изнутри. Отсюда можно было любоваться озером. Но датский климат не в ладу с архитектурой греческой, и часть сооружения пришлось утеплить соломой, дабы укрыть от непогоды уединенного мечтателя. Теперь все это развалилось, и днем являло печальное зрелище, но при луне казалось театральной романтической декорацией.

Он направил свои стопы к беседке, где так приятно было помечтать накануне свадьбы, но шел медленно, осторожно, ибо юной его невесте могла прийти та же фантазия, и он боялся ее спугнуть. Подойдя поближе, он, однако, различил голоса и сперва остолбенел, а потом тихонько пошел на звук. Второй раз являлся сюда Советник тайным соглядатаем, и он бесшумно крался вдоль законопаченной стены.

Андерс и Франсина были в ротонде и тихонько разговаривали. Молодой человек неподвижно сидел на скамье, она же стояла перед ним, прислонясь спиной к столбу, и луна озаряла обоих. Но старый Советник был надежно укрыт тенью в своей засаде. Он стоял в точности как памятник, о котором ему давеча мечталось. Памятникам — тем тоже порой кое-что приходится видеть.

На Франсине был иноземный наряд, которого он не знал у нее,— то ли плащ, то ли домино,— и она в него куталась. Темные волосы падали живым, душистым плащом, и средь них росисто-прохладной розой сияло ее лицо. Никогда еще не видел он ее столь прекрасной. Никогда еще никого он не видывал столь прекрасною. Словно вся прелесть летней ночи, вся ее сладость разрешилась этим единственным цветком. Она чуть-чуть покачивалась, как гибкий, отягченный розами куст.

Была долгая пауза. Потом Франсина засмеялась низким, счастливым смехом, как воркованье лесной голубки.

— Улеглись все и спят,— сказала она.— Как мертвецы на погосте. Только мы с тобою не спим. Какая глупость спать. Ведь правда?

Она чуть поежилась, запахиваясь в свое черное домино.

— Ах, какие они глупые все, как надоели! — вскрикнула она.— Говорят, говорят, говорят. Господи, хоть бы и вовсе они не вставали, дали бы нам немножко побыть вдвоем на свете.

От этой дивной мысли у нее, кажется, захватило дух. Она глубоко вздохнула и тихо стояла, ожидая, что он на это скажет. Немного погодя она спросила, и в голосе еще был призвук смеха:

— Что же ты ни словечка в ответ не проронишь, Андерс?

Андерс долго молчал и наконец заговорил очень медленно:

— Как хорошо ты сказала, Франсина. Отчего я словечка не пророню? Ронять слова. Чего только человек не роняет, пот, к примеру, и слезы, говоря лишь о том, что позволительно упоминать в дамском обществе. Я бы мог тебе объяснить, если бы ты и вправду хотела знать,— да вы разве хотите? — что то, что роняем мы, что испускаем,— и есть истинная суть наша, куда важнее того, что вам остается, что вы усаживаете в кресла, на что натягиваете домашние туфли. Вот как мое ружье,— продолжал он медленно, гордо,— оно роняет, оно, как вздох, испускает — выстрел, и в том его назначение. И поцелуй,— он долго сидел молча,— поцелуй, видишь ли, важней для меня моих губ. Навозные лепешки, которые роняют коровы — и нечего морщить нос! — есть подлинная их суть, их нутро, и ей-богу лучшее из того, что способны они произвесть.

И тут старый соглядатай понял, отчего так недвижен Андерс. Юный писарь был пьян мертвецки. Он кое-как еще сохранял равновесие, сидя на скамье, но не мог двинуться с места. Он был бледен, как смерть, пот тек по лицу, и он не сводил глаз с лица Франсины, будто им больно было бы от него оторваться. Советник, все твердивший про себя формулу графа «половина больше целого», мог воочию убедиться в справедливости этой теории. Но Франсина была в математике не сильна, и для нее — что половина, что целое, было, кажется, едино.

Она улыбалась. Как и большинство женщин, она не умела различить, пьян или трезв мужчина.

— Ах, Андерс,— сказала она.— Ты думаешь, я позабыла, как ты из-за меня плакал? У меня обе руки намокли от твоих слез, и когда ты ушел, я их прижала к губам. Я думала, ты никогда не перестанешь плакать. Глупая Франсина, глупый Андерс. А теперь — чего и желать? Тебе весело — и мне ничего на свете не нужно.

— Да вот беда,— сказал Андерс, вдруг ужасно расстроившись.— Проклятый этот закон флогистона [1]. Понять его нетрудно, когда о нем читаешь, но неприятно испытывать на собственной шкуре. Ведь казалось бы, когда человека сжигают живьем на радость богам — на костре ли, на медленном огне, но уж как-то его да сжигают,— он мог бы утешаться соображением, что по мере сгорания становится легче и легче и в конце концов непременно взлетит. Но ничуть не бывало, Франсина,— этот флогистон обладает отрицательным весом, и чем более мы выгораем, тем мы делаемся тяжелей. Да, тяжело это, ничего не скажешь.

— Ах, Андерс,— сказала она.— Ты вот не знаешь, а я тебе скажу: я умею летать. Почти. Старый балетмейстер Бассо мне говорил: «Других девчонок надо подхлестывать, а к твоим ногам мне скоро придется привязать по камню, чтобы ты от меня не улетела». Бог знает, что творится с этими стариками, вечно они невесть чего от тебя хотят. Но довольно слов, Андерс, скоро я покажу тебе, как я летаю — как те камешки, помнишь, ты рассказывал, какие мальчишки пускают по волнам. Только я полечу к тебе, а не прочь.

— Знаешь, Франсина,— сказал Андерс.— Ты как та кухарка, которая гробит живого гуся ради несчастного супа из гусиных потрохов.

---

[1] Немецкий физик и врач Георг Эрнст Шталь (1659—1734) сформулировал теорию, согласно которой все, что горит, содержит таинственную субстанцию — флогистон, при сжигании вещества выделяющийся в воздух. Великий французский ученый Лавуазье (1743—1794) доказал несостоятельность этой теории.

Употребляй меня на суп, пожалуйста, сколько угодно, но только уж потрудись сама вырезать нужные кусочки. Гуси не знают, где сердце у них и где печень. Это женское дело, Франсина.

Франсина призадумалась. Она не сомневалась, что каждое слово его исполнено мудрости и благоволения к ней.

— Моя мама,— сказала она,— была из римского гетто. Ты про это не знал. И вот она умела правильно забить птицу, я видела,— чтоб ни кровинки в ней не осталось. В гетто, Андерс, людям плохо, поверь, надо держать ухо востро, не то тебя убьют. Моего дедушку повесили. Но что это мы все о стариках да о мертвой птице? Андерс, милый, неужто нельзя думать о прекрасном! Столько есть прекрасных вещей. Живых и прекрасных. И легких, Андерс.

— Но нелегко о них думать, и поздно уже,— сказал Андерс.— И без нашего ведома случается что-то. Кричат петухи, хоть мы и не слышим.

И он медленно произнес старый стишок угольщиков:

Летняя ночка скоро светала.
Двадцать две люльки я раскачала.

Франсина не замечала течения времени и не любила, когда ей про него напоминали. Она насторожилась.

— Но это же не петух, Андерс,— сказала она.— Это даже не соловей, соловей уже не поет. Это, верно, кычет сова. У нас вся ночь впереди.

— Кое-кто меня возьмет и со всеми потрохами,— сказал Андерс.— У меня даже есть выбор. Абелона возьмет меня со всеми потрохами, если я только дамся. Она хочет открыть трактир в Эльсиноре и выйти за меня замуж, чтобы я в том трактире потчевал моряков. И море меня возьмет со всеми потрохами. Так что я не пропаду, Франсина.

Это был для Советника совершенный сюрприз. Чтобы его домоправительница строила подобные планы и ни словом о них не обмолвилась?

Франсина смотрела Андерсу в лицо.

— Андерс,— сказала она.— Ну о ком ты толкуешь? Когда я танцевала на ярмарках, мне кричали «Da capo! Da capo!»[1] Говорили: «Будто звезды пляшут, будто пламенеют сердца!» Неужто ты не веришь, что я могу тебя сделать счастливым?

— Ах, девочка моя,— сказал Андерс.— Давай будем разумными людьми, давай будем вести себя разумно. Давай я заплачу тебе, как платят своим девушкам моряки в Эльсиноре. Много я тебе дать не могу, вот беда. Я прокутил запрошлой ночью в кабаке с дружками все свои сбережения. Каюсь. Но пятьдесят талеров серебром у меня осталось. Возьми ты их, ради бога. Клянусь, не для себя прошу, мне все равно умирать, а прошу для тебя, бедная ты моя красавица. Красавице не повредят пятьдесят талеров серебром. Пошла бы ты и купила себе сорочку, чем голой стоять на ветру.

Франсина вся устремилась к нему. Взметнулись волосы, взметнулось черное домино. На светящемся лице, неподвижно распахнутые, темнели глаза. Как у юной ведьмы под луною.

— Андерс! — крикнула она.— Ты любишь меня? Ты меня не любишь!

— О, Господи,— сказал он.— Начинается. Так я и знал. Ничего, я привычный, я сразу тебе отвечу. Я люблю тебя, всеядную, как любил кита Иона. Волосы твои — как восклицательный знак, а без них не обойтись нашему брату-поэту, они — как красный болотный огонь, сбивают человека с пути, заманивают в преисподнюю.

Франсина вся дрожала с головы до пят.

---

[1] Сначала! Сначала! *(итал.)*

— Андерс! Андерс! — кричала она.— Разве не сам ты хотел, чтобы я сюда пришла!

Мгновение он молча сидел и думал.

— Нет,— сказал он.— Если хотите по чести, мадам Франсина,— нет. Я не хотел. Я хотел побыть один.

Франсина повернулась и побежала. Длинный неаполитанский плащ путался в ногах, несколько раз она падала в траву. Так бежала некогда нимфа Аретуза, уже рыдающим потоком мча сквозь дубравы[1].

Андерс долго сидел неподвижно, как мертвец. Потом медленным, неверным жестом потянулся к ружью и встал. Обернулся и оказался лицом к лицу с Советником.

Кажется, он ничуть не удивился. То ли он думал о Советнике, то ли ощущал присутствие третьего во время своего свиданья.

Он только широко улыбнулся, встретясь с Советником взглядом, словно ему наконец подсказали решение хитрой загадки. Советник, со своей стороны, испытывал известную неловкость. Несколько секунд двое смотрели друг на друга, потом Андерс, улыбаясь, как мальчишка, намеревающийся выкинуть скверную шутку, приподнял ружье и, не целясь, выстрелил в старика. Дальним раскатом отозвалась на выстрел летняя ночь.

Грохот и мучительная боль слились для Советника в одно. То был конец света — или, быть может, начало. Он упал навзничь и, падая, видел, как убийца с неожиданной в пьяном ловкостью перемахнул через низкую ограду и скрылся.

После долгого пребывания в неведомом мире Советник обнаружил, что лежит среди клевера в теплой и липкой луже собственной крови.

Ему казалось, что только что он сердился ужасно. Не его ли гнев вызвал грохот и тьму? Этот грохот, эта тьма не проклятие ли неблагодарному протеже? Медленно приходя в себя, он чувствовал изнеможенье и боль, какие великий гнев, миновав, оставляет в груди. Но уже он ничего не боялся, уже он не проклинал. С этим было кончено.

Он потерял много крови. Андерс, верно, в него выпустил весь заряд. Он не мог пошевелить правой ногой. И как удивительно меняется все, когда вот только что ты стоял — и вдруг лежишь плашмя на том же месте. Он и не подозревал, как одуряюще пахнет цветущий клевер,— но он никогда еще и не лежал вот так, под ним погребенный.

Он умирал. Молодой человек, которого он любил, пожелал его смерти. Мир его выбросил. Завещание, он вспомнил, было у него в порядке. Все свои средства он завещал невесте. Он не забыл и слуг, а винный погреб оставлял он графу Шиммельману, который так умел насладиться добрым вином. Составляя документ, он еще думал, кстати, может ли утешить умирающего мысль о тщательно взвешенном завещании. И вот — убедился.

Немного погодя он попытался определить, куда именно его выбросил мир. Он опознал место, и у него забрезжила надежда на спасение.

Он был, кажется, всего в миле от Свободы. Если бы только повернуться и опереться на неповрежденную руку, можно будет двигаться. Добраться бы только до ведущей к дому аллеи, а там можно ползти вдоль ограды и, привалясь к ней, отдыхать.

Он приподнялся было, но его пронзила такая острая боль, что он усомнился, стоит ли мучиться.

«Ну, друг мой милый,— сказал он сам себе, чувствуя, что пришло время для доброго слова,— поднатужься, и все будет хорошо».

---

[1] По греческому мифу, нимфа Аретуза, преследуемая речным богом Алфеем, обратилась в поток. Этим именем назывались в древности несколько источников.

Он мог еще двигаться. Так корчится у́ж, раздавленный на дороге. Рука подломилась. Он упал ничком, и грязь набилась в раскрытый от усилия рот.

Когда он снова, очень медленно, приподнялся, он увидел, что обманывался относительно места. Вовсе он был не в Дании, он был в Веймаре.

Он вконец обессилел от своего сладостного открытия. Вот, значит, как легко было добраться до Веймара. Путь к нему вел прямо с лугов Свободы. Здесь — теперь он ясно видел,— здесь терраса. И вид на город открывался с нее восхитительный, как всегда, то был сам священный сад, и величавые липы стерегли святилище, он чувствовал их дух — пышный, амброзийный. Все вместе тихо озаряла луна, и, быть может, великий поэт сейчас смотрел на нее из окна и слагал в честь ночного божества божественные строки.

Вдруг он вспомнил: сам он так и не написал трагедию. А когда-то носился с замыслом, считал ее важнейшим начинанием своей жизни, странно, как это он век целый уж про нее не вспоминал. Ведь подумывал даже всучить ее Geheimrat'у, испросить у него приговор. Быть может, нынче выдался как раз подходящий случай. Называлась трагедия «Вечный жид». Не бог знает что такое, не обошлось без влияния «Фауста» самого Geheimrat'а, но было там одно место, которым он обязан только собственной фантазии. Воображаемый крест, который волочит по тяжкому своему пути Агасфер,— это, кажется, у него получилось недурно.

Он думал: а допустил бы великий поэт создания Юстиции Советника в общество собственных героев — Вильгельма Мейстера, Вертера, Доротеи? В мире поэзии существует, бесспорно, своя табель о рангах, как существует она повсюду, даже в Хиршхольме. В самом деле, произведение искусства поверяется тем, можно ли вообразить его героев в одной компании с героями великих мастеров. Интересно, могли бы высадиться на Кипре Тартюф и Эльмира, стал бы их там величать юный Кассио в отсутствие своего господина, могли бы они повстречать на пути корабль, бегущий под темным парусом в Шарию?

Снова он упал и перевалился на спину. С этого положения приподняться было трудней, он лежал, ворочался, задыхался и вот услышал вдали собачий лай.

> Все маленькие шавки, Трей, и Бланш,
> И Милка, лают на меня. Смотрите [1].

Что ж, быть может, у шавок есть резон. Он видел в свете летней ночи свою одежду, залубеневшую от грязи и крови. Никакой головорез, вышвырнутый из кабака, никакой беглый раб, за голову которого сам Юстиции Советник назначил высокую цену, не выглядели бы мерзей.

Король Лир когда-то тоже был в плачевнейшем положении. За ним гнались убийцы. Один среди пустоши, он тоже вставал и падал. А ночь тогда была похуже этой. И все равно старый король был в совершенной безопасности. Лежа плашмя в грязи, Советник пытался припомнить, что же делало короля Лира таким защищенным, почему ни буря, ни ночь, ни все коварство мира не могли ему повредить. Он побывал в руках двух жестокосердных, неблагодарных дочек. Они отвратительно с ним обошлись — какая уж безопасность. Нет, там было другое. Король Лир, что бы с ним ни стряслось, был в руках великого поэта британского, Уильяма Шекспира. Вот в чем дело.

Тут Советник добрался до каменной ограды. С неимоверным усилием он приподнялся и сел, привалясь к ней спиной. Можно было отдохнуть. И лицом к лицу с луной, которая глядела в его окровавленные, перепачканные черты, старый Советник вдруг понял все на свете.

Он не просто был в Веймаре. Мало того, он проник в магический

---

[1] В. Шекспир, «Король Лир». Акт III, сцена 6. Перев. Б. Пастернака.

круг поэзии. Он проник в душу великого Geheimrat'a. Вся окру́жная тьма, даже самая боль, время от времени его прошивавшая, были создание веймарского поэта. Он вошел в творение, полное гармонии, глубокой мысли, ненарушимого порядка. В его воле было стать Мефистофелем или глупым студентом, явившимся к нему за советом. Он что угодно мог предпринять без всякого риска, ибо что бы ни делал он, он был под присмотром автора, всегда соблюдавшего божественный закон и порядок. И чего же он, право, боялся? Неужто думал, что великий Гёте может его подвести?

Ты из одной
Десятку строй,
А двойку скрой,
О ней не вой.
Дай тройке ход,
Чтоб стала чёт,
И ты богач.
. . . . . .
Девятка — кон,
Десятку — вон.
Вот ведьмина таблица умноженья [1].

Эти слова несказанно его утешили. Ну что, право, за глупец, что за глупец он был! Ничего с ним не может стрястись дурного, раз он в руках у Гёте.

Словно впервые в жизни, старик поднял взгляд к небу. Губы его шевелились. Он говорил:

— Ich bin Ihrer Excellenz ehrerbietigster Diener...

И в этот миг апофеоза ему показалось, что он слышит рыданья. Звук приближался, вдруг изменил направленье, уплыл. Быть может, это рыдает покинутая Гретхен?

Чтоб вольнее гулять,
Извела меня мать,
И отец-людоед
Обглодал мой скелет,
И меня у бугра
Закопала сестра
Головою к ключу.
Я вспорхнула весной
Серой птичкой лесной
И лечу [2].

Но нет, это была, конечно, юная хозяйка Свободы, его невеста, бедная Франсина. По звуку он определил, что она бродит где-то рядом. Она отошла в самый дальний конец террасы, верно, чтоб ее не услышали из дому. Если она еще чуть-чуть приблизится, она услышит его, и тогда он спасен.

И великая жалость нахлынула на Советника. Франсина, верно, слышала выстрел и теперь сама не своя от страха. Ее рыданья надрывали пустую ночь. Какая жестокость со стороны Geheimrat'a. Но ведь заставил же он Гретхен убить в безумии собственное дитя, а это жестокость похлеще. Но и то было правильно, и то было как до́лжно.

Он привалился к ограде, подтянув по грязи парализованные ноги, и старался собраться с мыслями. С высоты собственного опыта он обязан был утешить бедную молодую женщину, ее поддержать. Она юная, неискушенная, и тщетно было бы пытаться ей втолковать разумность происходящего. Но это ничего, собственно, так даже лучше. Дитя, еще неспособное переварить плодов земных, успокаивают леденцом, к тому же она сама не лишена чувства гармонии. И надо, чтобы Франсина обрела то, что обычно именуется счастьем. Ведь таков и был, конечно, замысел автора, план Geheimrat'a.

---

[1] Гёте, «Фауст». Часть первая. Кухня ведьмы. Перев. Б. Пастернака.
[2] Гёте, «Фауст». Часть первая. Тюрьма. Перев. Б. Пастернака.

Луна в вышине изменила положение и цвет. Близилось утро. Медленно ржавело летнее небо, звезды повисли прозрачными каплями, готовясь пролиться. Льнули к земле бальзамические ветры.

Советник подумал, что он, верно, похож на привидение, и вынул платок, чтоб отереть лицо. Это стоило ему неимоверных усилий, но удалось лишь размазать грязь. Он понял, что и пытаться не стоит дозваться Франсину. Слишком слаб его голос, и надо подползти к ней поближе.

Две каменные ступени вели к калитке террасы, и если на них взобраться, она увидит его. Из последних сил он прополз на животе еще шесть метров. Он понял — это конец, дальше ему не двинуться. Он вполз на нижнюю ступеньку и оперся подбородком о верхнюю. Хотел крикнуть, но ни звука не вылетало из горла. И тут она обернулась и увидела его.

Если он был похож на призрак,— а он был похож, да так, что при виде его она испугалась,— сама она казалась, да и была, лишь призраком юной красавицы, хозяйки Свободы, прелестной Франсины Лерке. Она была в простой, кое-как надетой сорочке, ибо она забыла о своем теле. Вместе с неаполитанским домино сбросила она благовонный, лилейно-розовый венок своей красоты, которой так дорожила. Округлые груди и бедра опали, сорочка на ней болталась как на вешалке. Даже длинные волосы повисли безжизненно, как повисли у нее руки. Свежее, нежное кукольное личико растаяло, исказилось от слез. Куклу разбили, сияющие глаза и ротик-бутон стали черными дырками на белой поверхности. Она устала смертельно, но не могла ни сесть, ни лечь. Отчаяние держало ее стоймя, как свинец в куколках, какими играют дети, как груз, привязанный к ногам мертвых матросов, стоймя раскачивающихся на дне морском.

Они смотрели друг на друга. Наконец умирающий заговорил.

— Помоги мне,— шепнул он хрипло.— Я больше не могу.

Она не шелохнулась. Он решил, что надо ее успокоить, что она окаменела от страха. Он сказал:

— Да, в меня стреляли. Но это ничего.— Он не знал, услышала она или нет.

И тут Франсина поняла. Ее любимый пристрелил этого старика. В мгновение ока, как при вспышке молнии, ей было видение: Андерс с петлей на шее. И тотчас к ней вернулось что-то от прежних сил, как вымывает обломки вашего корабля к вам на необитаемый берег. Что бы ни натворил Андерс, они с ним — одно. Пусть он смертельно ее оскорбил, и она убежала, и ни за что не хотела снова видеть его — все не важно.

Она стояла и смотрела, как из ран старика хлещет кровь и окрашивает ступени. Словно по волшебству, кровь эта ей успокоила сердце. Красное сияние высветлило, что сама она во всем виновата. И сразу ей полегчало. Думать, что виноват Андерс, было выше ее сил. Красная кровь и разливавшаяся заря мешались в одно, облегчая душу. Тьма рассеивалась.

Вот она убежала, а он доказал, что ее любит. И знают про это только она да старик.

Как менада, волосы разметав, стала она толкать, раскачивать, выламывать из ограды большой плоский камень. Потом минуту стояла, держа его обеими руками, прижимая к груди, как родное дитя, обращенное в камень чарами злого волшебника.

Советнику уже заволакивало взгляд. Что-то он еще хотел сказать. Надо было спешить. Боясь, что голос опять изменит, он проволок по земле правую руку и коснулся ее голой ноги. Такая чувствительная к прикосновениям, она даже не шелохнулась, будто не заметила. Она забыла о своем теле.

— Девочка моя бедная, нежный, верный друг мой,— сказал он.— Послушай. Все хорошо, все, все.

— Блаженны,— сказал он,— блаженны мы с тобою, Франсина. Блаженны куклы. Марионетки.

Ему пришлось перевести дух, еще так много надо было сказать ей. Он выдавил, очень медленно:

— В жизни одна задача — что-нибудь значить. В смерти одно утешение — наше значение.

Больше он ничего не мог и ударился о ступеньку лицом.

И Франсина поняла. Он собирается ей вдолбить, что жизнь хороша и прекрасна, но нет, теперь ее не проведешь. Ему понадобилось, чтобы мир был прекрасен, и ведь он еще наколдует, старый колдун, и так и обернется, и он еще о красотах природы станет рассказывать. Он уже не раз такое с нею проделывал. Сейчас он поведает, что нынче день ее свадьбы, и ей улыбаются земля и небеса. А этот мир готовит Андерсу петлю.

— Ты! — крикнула она.— Поэт!

Она обеими руками подняла камень над головой и швырнула вниз.

Фонтаном брызнула кровь. Секунду назад это тело удерживало равновесие, сознавало мир вокруг — и вот лежало, как куль тряпья, там, куда поверг его закон тяготения.

Советнику показалось, что могучая рука кинула его головою в бездонную пропасть. Все было мгновенно. Его рвануло, поволокло, бряк-нуло. И со всех сторон, как эхо из провалов мрака, гудя, раскатываясь, гремя, летело, летело к нему ее последнее слово.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 1980

С польского

Из книги «Спасенье» (1945)

Посвященье

Ты, которого я не сумел спасти,
выслушай. Постарайся понять эти простые слова. Ей-Богу,
я не знаю других. Говорю с тобой молча, как дерево или туча.

То, что меня закалило, тебя убило.
Ты конец эпохи счел за начало новой
эры. И пафос ненависти — за лирические восторги.
Силу слепую — за совершенство формы.

Мелкие польские реки, струящиеся по равнине.
И колоссальный мост, тонущий в белой мгле.
И разрушенный город. Ветер швыряет вопли
чаек тебе на гроб, пока я говорю с тобою.

В неумелых попытках пера добиться
стихотворенья, в стремлении строчек к недостижимой цели,—
в этом, и только в этом, как выяснилось, спасенье.

Раньше просом и семенами мака
посыпали могилы — ради всегда бездомных
птиц; в них, считалось, вселяются души мертвых.

Я кладу сюда эту книгу нынче,
чтоб к тебе нам больше не возвращаться.

Стенанья дам минувших дней

Наши платья втоптала в грязь большаков пехота.
Ленты скрутило пламя в собственные спирали.
Бусы упали на дно исторического водоворота.
Кольца с прозрачных пальцев темные люди сняли.

Рухнули наши прически — зависть любой богини.
Мастер вплетал в них перья. Теперь там кричит ворона.
Мы посыпаем их на ночь пеплом. Когда дневная

розовоперстая вещь из вод восстанет, нагими
мы проходим по улицам нового вавилона,
лбы напряженно морща, что-то припоминая.

Перевод ИОСИФА БРОДСКОГО

Песенка о конце света

В день конца света
Пчела кружится над цветком настурции,
Рыбак починяет сеть,
Скачут весело в море дельфины,
Воробьи гомонят без причины,
Золотая змея блестит, как должна блестеть.

В день конца света
Идут женщины под зонтиками полем,
Засыпает пьяница на сквере,
Зеленью торгует зеленщица,
Лодка под желтым парусом к острову подплывает,
Звук скрипки в воздухе длится,
Звездной ночи отворяя двери.

А те, что ждали громов и молний,
Обманулись.
А те, что ждали знамений на небе,
Никак не верят, что уже.
Покуда солнце и луна не пали наземь,
Покуда шмель летит на розу,
Пока родятся розовые дети,
Никто не верит, что уже.

Лишь седой старичок, тот, что был бы пророком,
Но не стал, потому что над грядкой колдует,
Повторяет, подвязывая помидоры:
Другого конца света не будет,
Другого конца света не будет.

Перевод ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

Из книги «Дневной свет» (1953)

Дитя Европы

Мы, чьи легкие впитывают свежесть утра,
чьи глаза восхищаются зеленью ветки в мае,
— мы лучше тех, которые (вздох) погибли.

Мы, кто смакует успехи восточной кухни,
кто оценить способен нюансы ласки,
— мы лучше тех, кто лежит в могилах.

От пещи огненной, от колючки,
за которой пулями вечная осень свищет,
нас спасла наша хитрость и знанье жизни.

Другим достались простреливаемые участки
и наши призывы не уступать ни пяди.
Нам же выпали мысли про обреченность дела.

Выбирая меж собственной смертью и смертью друга,
мы склонялись к последней, думая: только быстро.

Мы запирали двери газовых камер, крали
хлеб, понимая, что завтра — кошмарнее, чем сегодня.

Как положено людям, мы познали добро и зло.
Наша подлая мудрость себе не имеет равных.

Призна́ем доказанным, что мы лучше
пылких, слабых, наивных,— не оценивших жизни.

2

Цени прискорбное знанье, дитя Европы,
получившее по завещанью готические соборы,
церкви в стиле барокко, синагоги с картавым
клекотом горя, труды Декарта,
Спинозу и громкое слово «честь».
Цени этот опыт, добытый в пору страха.

Твой практический разум схватывает на лету
недостатки и выгоду всякой вещи.
Утонченность и скепсис гарантируют наслажденья,
невнятные примитивным душам.

Обладая писанным выше складом
ума, оцени глубину нижеследующего совета:
вбирай свежесть утра всей глубиною легких.

Прилагаем ряд жестких, но мудрых правил.

3

Никаких разговоров о триумфе силы.
В наши дни торжествует, усвой это, справедливость.

Не вспоминай о силе, чтоб не обвинили
в тайной приверженности к ошибочному ученью.

Обладающий властью обладает ей в силу
исторической логики. Воздай же должное оной.

Да не знают уста, излагающие ученье,
о руке, что подделывает результаты эксперимента.

Да не знает рука, подделывающая результаты,
ничего про уста, излагающие ученье.

Умей предсказать пожар с точностью до минуты.
Затем подожги свой дом, оправдывая предсказанье.

4

Выращивай древо лжи, но — из семени правды.
Не уважай лжеца, презирающего реальность.

Ложь должна быть логичней действительности. Усталый
путник да отдохнет в ее разветвленной сени.

День посвятивши лжи, можешь вечером в узком
кругу хохотать, припомнив, как было на самом деле.

Мы — последние, чья изворотливость схожа
с отчаянием, чей цинизм еще источник смеха.

Уже подросло серьезное поколенье,
способное воспринять наши речи буквально.

5

Пусть слово твое значит не то, что значит,
но меру испорченной крови посредством слова.

Двусмысленность да пребудет твоим доспехом.
Сошли простые слова в недра энциклопедий.

Не оценивай слов, покуда из картотеки
не поступит сообщенья, кто́ их употребляет.

Жертвуй голосом разума ради голоса страсти.
Ибо первый на ход истории не влияет.

6

Не влюбляйся в страну: способна исчезнуть с карты.
Ни тем более в город: склонен лежать в руинах.

Не храни сувениров. Из твоего комода
может подняться дым, в котором ты задохнешься.

Не связывайся с людьми: они легко погибают.
Или, попав в беду, призывают на помощь.

Также вредно смотреть в озера детства:
подернуты ржавой ряской, они исказят твой облик.

7

Того, кто взывает к истории, редко перебивают.
Мертвецы не воскреснут, чтоб выдвинуть возраженья.

Можешь валить на них все, что тебе угодно.
Их реакцией будет всегда молчанье.

Из ночной глубины плывут их пустые лица...
Можешь придать им черты, которые пожелаешь.

Гордый властью над теми, кого не стало,
усовершенствуй и прошлое. По собственному подобью.

8

Смех, бывший некогда эхом правды,
нынче оружье врагов народа.

Объявляем оконченным век сатиры.
Хватит учтивых насмешек над пожилым тираном.

Суровые, как подобает борцам за правое дело,
позволим себе отныне только служебный юмор.

С сомкнутыми устами, решительно, но осторожно
вступим в эпоху пляшущего огня.

Перевод ИОСИФА БРОДСКОГО

Отражения

Мураш растоптанный, а выше — облака.
Мураш растоптанный, над ним — колонна сини.
А вдалеке течет лазурная река,
Висла иль Днепр в своей гранитной котловине.

Такое отражение в воде:

Город разрушенный, а выше — облака.
Город разрушенный, над ним — колонна сини.
А вдалеке грядут года или века,
Финал истории иль миф, рожденный ныне.

Труп мышки полевой, могильщики-жуки
На тропке, где восторг резвится семилетний.
В саду мелькает мяч, смеются игро́ки,
А с неба желтый блеск, апрельский, майский, светлый.

Такое отражение в воде:

Народ разгромленный, могильщиков полки —
Дорогой движется восторг тысячелетний,
А на пожарищах синеют васильки,
А день — обыденный, голубовато-бледный.

Такое отражение в воде.

Из книги «Заколдованный Гутя» (1965)

Никогда от тебя, мой город...

Никогда от тебя, мой город, я не мог уехать.
Вновь и вновь возвращало меня назад, как шахматную фигуру.
Я убегал по планете, вращавшейся все быстрее,
Но всегда был там: с учебниками в холщовой сумке,
Заглядевшийся на холмы за башнями Святого Якуба,
Где движутся маленький конь и маленький человек за плугом,
Те, что, конечно, давно уже умерли.
Да, никто не постиг того общества, того города,
Кинематографов «Люкс» и «Гелиос», вывесок «Гальперн» и «Сегал»,
Фланёров на Свентоерской, она же потом Мицкевича.
Нет, никто не постиг. Не удалось никому.
Но если вложишь всю свою жизнь в надежду:
Что однажды уже лишь пронзительность и прозрачность,
То, очень часто, жаль.

Беркли, 1963

Перевод ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

По ту сторону

Некоторые разновидности ада имеют вид возникших в результате пожара городских развалин, и адские духи обретаются в оных, находя в них себе укрытие. В более скромных случаях ад состоит из заурядных построек, расположеньем своим напоминающих обычные улицы и переулки.

Эм. Сведенборг

Падая, я зацепил портьеру,
и бархат ее был на земле последней
вещью, что я запомнил, проваливаясь в никудаааааа.

До конца не верил, что, как и все, я тоже.

После я брел по колее, в слякоти, по проселку,
вдоль фанерных бараков. Изредка возникало
нечто из камня, окруженное чертополохом;
грядки с картошкой, огороженные колючкой.
Внутри играли в почтичто-карты, пахло почтичто-щами,
пили почтичто-водку, царила почтичто-грязь
и шло, замирая, почтичто-время.
Я начал: «В конце концов...» Но они пожимали плечами
либо смотрели в сторону: здесь отвыкли от возмущенья.
И от цветов. Сухая герань в консервных
банках, запорошенных слоем пыли.
Также — от будущего. Наяривали патефоны,
повторяя то, чего и не существовало.
Разговоры кончались там же, где начинались,
чтоб никто не вздрогнул: где я? и чего ради?
Видел странных собак, чьи морды то удлинялись,
то сжимались в гармошку, переходя при этом
из овчарки в бульдога и снова в таксу.
Чем давали понять, что — не совсем собаки.
Черной битой посудой гремели в небе
замерзшие на лету вороны...

Перевод ИОСИФА БРОДСКОГО

Из книги «Город без названия» (1969)

Высшие аргументы в пользу дисциплины, почерпнутые из речи на Совете Всемирного Государства в 2068 году

Призыв к дисциплине, мы знаем, не вызовет аплодисментов.
Нам их аплодисменты не нужны.
Лояльных граждан мы дарим своей опекой,
Не требуя ничего, кроме послушанья.
Однако, приняв во вниманье богатый опыт,
Мы будем надеяться, люди все же оценят,
Сколь отличается правильность линии, избранной нами,
От их неразумных предположений и пожеланий.
Смело можем сказать, что мы и никто другой
Их вывели из пустыни противоречивых мнений,
Где то, что истинно, не имеет должного веса,
Поскольку неистинное вес имеет такой же.
Мы вывели их оттуда, из той бесплодной земли,

Где каждый, один на один со своим незнаньем,
Размышлял над смыслом и бессмыслицей мира.
Так же, как их свобода, то бишь нагота их женщин,
Хлеб им был не по вкусу, ведь его хватало в пекарнях.
Под видом Искусства они защищали капризы скуки
И свой каждодневный страх перед уходящим временем.
Мы и никто другой открыли Закон Затемнения,
Понимая, что разум, предоставленный самому себе,
Дерзает задумываться о вещах, для него непомерных.
Мы также открыли Закон Минимальности Целей,
Ибо нищета и обида — обязательное условие счастья.
И когда они ныне, безумные, злобствуют против запретов,
Боятся сами же, что запреты могли бы исчезнуть.
Запрет дает им возможность мечтать о себе, но бóльших,
Ангелах, быть может, гигантах, силой остановленных в беге.
Их правда, они это знают, правда лишь вопреки нашей
Или же вопреки нашей лжи, что мы принимаем с юмором.
Рай булок на дереве манит их и отталкивает.
Они бы там встретили только ничто: себя.
Давайте же ясно и недвусмысленно скажем:
Мы правим жестко, но не без их согласья.
Ведь, по последним данным, во сне большинство из них
шепчет:
Да будут благословенны цензура и бедность.

Беркли, 1968

Из книги «Где всходит солнце и где садится» (1974)

Час

Сверканье солнца на листьях, шмелей гуденье густое,
Издалека, из-за речки, чуть сонный гомон
И неспешный стук молотка не меня одного услаждали.
Прежде чем были открыты пять чувств и прежде начала
Ждали, готовые, всех, кто потом назовут себя: смертные,
Чтобы, как я, восславляли жизнь, то есть счастье.

Беркли, 1972

Сколько прекрасных замыслов

Сколько прекрасных замыслов, сколько забав и проделок,
Когда нас, друзья мои,
Облака осеняли над лесом, как статуи славы,
И над улочкой узкой орлы-ангелы Святого Яна.
Вы должны были проиграть и не знали об этом.
Вы должны были проиграть, я об этом знал,
Не признаваясь ни вам, ни себе в тайном знании, тщетном,
А теперь уж свершилось. Ветер трогает тени имен,
Пока после династии не настанет
Снежистая тишина.
Кто был поумнее, тот выбирал доктрины,
В которых светились, мерцая, дьявольские гнилушки.
Кто был посердечнее, тот увлекся любовью к людям.
Кто искал прекрасного, заработал камень на камне.

© Czesław Miłosz, 1974, 1982, 1984, 1987

Так отплачивал век наш тем, кто поверил
Его отчаянию и его надежде.
А выиграть что значило? Молкнуть на полуслове.
Крик слышать, хвалу неправде, ибо правда погибла.
Изображать побратимство, минуя могилы.
И себя самого причисляя к избранным,
Чувствовать всем своим телом
Стыд.

Беркли, 1970

Так мало

Так мало я сказал.
Краткие дни.

Краткие дни,
Краткие ночи,
Краткие годы.

Так мало я сказал,
Я не успел.

Сердце мое истомилось
Восторгом,
Отчаяньем,
Жаром,
Надеждой.

Пасть левиафана
Смыкалась на мне.

Нагой лежал я на берегах
Безлюдных островов.

Увлек меня с собою в бездну
Белый кит вселенной.

И теперь я не знаю,
Что было правдой.

Беркли, 1969

Дар

День такой счастливый.
Туман опустился рано, я работал в саду.
Колибри висели в воздухе над цветком каприфолии.
Не было на земле ничего, что я хотел бы иметь.
Не было никого, кому стоило бы завидовать.
Все, что было в жизни плохого, я позабыл.
Я не стыдился думать, что я таков, каков есть.
Я не чувствовал в теле какой-нибудь боли.
Распрямляясь, я видел синее море и паруса.

Беркли, 1971

Перевод ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

Из книги «Гимн о Жемчужине» (1982)

Счастливец

Старость его совпала в эпохой благополучья.
Не было ни землетрясений, ни засухи, ни потопа.
Выровнялись границы меж временами года.
Звезды сверкали ярче; так же, впрочем, как солнце.
Даже в провинциях больше не воевали.
Поколенья росли в уваженьи к ближним.
Горько было прощаться со столь совершенным миром!

Глядя на них, он стыдился своих отчаянных мыслей
И рад был, что вместе с ним сгниет страшная память.
Через сорок восемь часов после его кончины
Опустошительный ураган пронесся по побережью.
Задымили дремавшие двести лет вулканы.
Лава подмяла леса, виноградники и селенья.
И война началась на знойном архипелаге.

Перевод ИОСИФА БРОДСКОГО

Из книги «Необъятная земля» (1984)

Мальчишка

Забросив удочку, стоишь на камне,
Босые ноги окружает зыбь
Родной реки и гуща белых лилий.
Кто ты, уставившийся в поплавок
И слушающий эхо, стук вальков?
Каким же знаком ты отмечен, панич,
Уже свою отдельность ощутивший,
С единственной мечтой: быть как другие?
Знаю всю жизнь твою, знаю, кем станешь.
Цыганкой мог бы я спуститься к речке,
Гадать тебе: и славу и богатство.
Но не сказав, какой ценой заплатишь,
Кто нам завидует, пусть не узнает.
Одно лишь ясно: две твои натуры,
Скупая, сдержанная, против щедрой.
И будешь ты искать их примиренья,
Пока поймешь: твои труды напрасны,
Прекрасна лишь беспечная растрата
Богатств души, без всякого расчета
На книги, памятники или память.

Из книги «Хроники» (1987)

Признание

Господи, я любил клубничный джем,
Темную сладость женщины, а также
И ледяную водку, и сельдь в оливковом масле,
И запахи: корицы и гвоздики.
Какой же из меня пророк? Да разве
Дух на такого снизошел бы? Столько
Было других, достойных, заслуживающих доверья.
А мне кто бы поверил? Все видали,
Как на еду бросаюсь, пью стаканом,
Алчно гляжу на шею официантки.
С изъяном я, сам сознаю. Величия жаждущий,
Умеющий распознать его, там где есть,
Но не достигший полной ясности видения,
Я знал, что осталось для меньших, таких, как я:
Праздник кратких надежд, собранье надменных,
Турнир горбатых, литература.

Но книги

Но книги пребудут на полках, воистину живы,
Они появились однажды, свежи, чуть влажны,
Как лаковые каштаны, упавшие осенью наземь,
И осязаемые, ласкаемые, остались в мире,
Невзирая на зарева на горизонте,
замки, взлетающие в воздух,
Народы в битвах, планеты в вихре.
Мы существуем — твердили, хоть им вырывали страницы
Или слизывал буквы огонь бушевавший.
Насколько ж надежнее нас, чье тепло нестойко
И с памятью вместе стынет, рассеивается, исчезает.
Воображаю землю, когда меня уж не будет,
И что ж, ничего не убыло, те же дивные дива,
Платья женщин, куст жасмина, песнь в долине.
Но книги пребудут на полках, высокородные книги,
Людьми рождены и ясностью наивысшей.

Перевод ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

Речь в Шведской королевской академии. Стокгольм, декабрь 1980

I

То, что я оказался на этой трибуне, должно быть аргументом для всех тех, кто славит данную нам от Бога чудесную непредсказуемость жизни. В школьные годы я читал тома издававшейся тогда в Польше серии «Библиотека нобелевских лауреатов», помню шрифт, цвет бумаги. Я думал тогда, что нобелевские лауреаты — это писатели, то есть люди, пишущие толстые книги прозы, и даже когда я уже знал, что есть среди них и поэты, я долго не мог избавиться от привычки думать по-прежнему. А печатая в 1930 году первые стихи в нашем университетском журнале «Alma Mater Vilnensis», я не претендовал на звание писателя. Точно так же позже, выбирая одиночество и предаваясь такому странному занятию, как писать стихи по-польски, живя во Франции или в Америке, я видел перед собой идеальный образ поэта, который если и хочет быть знаменит, то только в своей деревеньке или в своем городе.

Один из нобелевских лауреатов, прочитанных в детстве, в значительной мере, мне кажется, повлиял на мои понятия о поэзии, и я рад, что могу здесь об этом сказать. Это была Сельма Лагерлёф [1]. Ее «Чудесное путешествие», книжка, которую я обожал, дает герою двойную роль. Он летит над землей и охватывает ее взором сверху, а в то же время видит ее во всех подробностях, что может быть метафорой призвания поэта. Подобную метафору я нашел позже в латинской оде поэта XVII века Мацея Сарбевского [2], известного в Европе под псевдонимом Казимир. В моем университете он тогда преподавал поэтику. В этой оде он описывает свое путешествие из Вильно в Брюссель, к

---

[1] Сельма Лагерлёф (1858—1940) — шведская писательница, лауреат Нобелевской премии 1909 года. Ее книга о чудесном путешествии Нильса с дикими гусями сразу же появилась в русском, польском и других переводах. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Мацей Казимеж Сарбевский (1595—1640) — польский латиноязычный поэт, широко известный в Европе, «христианский Гораций».

тамошним своим друзьям-поэтам,— на спине Пегаса. Так же как Нильс Хольгерсон, он разглядывает внизу реки, озера, леса, то есть карту, далекую, но подробную.

Итак, стало быть, два атрибута поэта: жадность видеть и желание описать. Каждый, однако, кто понимает поэзию как «видеть и описывать», должен сознавать, что вступает в серьезный спор с современностью, увлекающейся бесчисленными теориями специфического поэтического языка.

Каждый поэт зависит от предшественников, писавших на его родном языке, он наследует стили и формы, выработанные теми, кто жил до него. В то же время, однако, он чувствует, что эти давние способы высказывания не годятся для выражения его собственного опыта. Приспособляясь к ним, он слышит в себе голос, предостерегающий его от маски и переодевания. Бунтуя, он попадает в свою очередь в зависимость от своих ровесников, от разнообразнейших авангардизмов. К сожалению, стоит ему издать первый том стихов, и он уже попался. Потому что едва лишь высохнет типографская краска, как произведение, которое казалось ему чем-то максимально личным, является ему как несвобода от стиля, как зависимость. Единственный способ ответить на смутный упрек совести — это искать дальше и опубликовать новую книгу, после чего все повторяется и нет конца этой погоне. И может даже случиться, что, оставляя так за собой книги, будто сброшенные змеиные кожи, чтобы убегать от того, что сделал раньше, поэт получает Нобелевскую премию.

Что же такое тот загадочный импульс, который не позволяет остановиться на том, что совершено, закончено? Я думаю, это поиски действительности. Слову этому я придаю значение наивное и высокое, не имеющее ничего общего с философскими спорами последних столетий. Это Земля, которую Нильс видит со спины гуся и автор латинской оды со спины Пегаса. Несомненно, Земля есть, и никакое описание не может исчерпать ее богатств. Утверждать так — значит с порога отбросить часто звучащий ныне вопрос «Что есть действительность?», ибо это то же самое, что вопрос Понтия Пилата «Что есть истина?». Если среди пар противоположностей, которыми мы постоянно пользуемся, так важна противоположность жизни и смерти, то не менее важна противоположность правды и лжи, действительности и иллюзии.

II

Симона Вайль [3], произведениям которой я многим обязан, говорит: «Дистанция — это душа прекрасного». Бывает, однако, что чувство дистанции невозможно. Я — «Дитя Европы», как указывает название одного из моих стихотворений, но это горькие, саркастические слова. Я также автор автобиографической книги, которую во французском переводе назвали «Une autre Europe» [4]. Несомненно, существуют две Европы, и случилось так, что нам, обитателям этой другой Европы, дано было сойти в «сердце тьмы» [5] XX века. И я не смог бы говорить о поэзии вообще. Я должен говорить о поэзии в ее столкновении с особыми обстоятельствами места и времени. Теперь, в перспективе прошедших лет, видны общие контуры событий, которые по масштабам смертоносности превзошли все известные нам стихийные катастрофы, но поэзия — и моя, и моих ровесников, пользовавшаяся авангардистским ли стилем или унаследованным, не была готова к восприятию этих событий. Как слепцы, мы двигались ощупью, доступные всем ис-

---

[3] Симона Вайль (1909—1943) — французская писательница, философ, «святая Симона», о ней писали Камю, Элиот, Грэм Грин. Милош опубликовал ее «Избранные произведения» в своих переводах (Париж, 1958).

[4] «Другая Европа». В польском оригинале — «Родная Европа» («Rodzinna Europa»).

[5] «Сердце тьмы» (1902) Джозефа Конрада — из самых важных для Милоша книг; в одном из эссе Милош вспоминает слова Т. Манна, что эта книга начинает XX век в литературе.

кушениям, каким в нашем столетии подвергает сам себя разум. Нелег. ко отличить действительность от иллюзии тем, кто живет в период великого переворота, начавшегося лет двести тому назад на небольшом западном полуострове евро-азиатского материка, а затем, на протяжении одного поколения, охватившего всю планету единым культом — науки и техники. А особенно трудно было противостоять разным искушениям на тех территориях Европы, где дегенеративные идеи господства над людьми, будто над Природой, привели к пароксизмам революции и войны, стоившим жизни миллионам людей, убитых физически или духовно. Может быть, однако, не размышления над этими идеями — самое ценное наше приобретение, наше, то есть тех, кто столкнулся с ними в их более чем осязаемой форме, а уважение и благодарность всему тому, что сохраняет людей от внутренней дезинтеграции и от податливости насилию. Именно это было предметом ярости зловражьих сил: определенные обычаи, определенные институции, в первую очередь всяческие связи между людьми, существующие органически, как бы сами собой, поддерживаемые семьей, религией, соседством, общим наследием, одним словом, все человеческое, беспорядочное, нелогичное, так часто кажущееся смешным в своих провинциальных привязанностях и преданностях. Во многих странах традиционные связи civitas [6] подвергаются сейчас постепенной эрозии, и жители этих стран оказываются обездоленными, не отдавая себе в этом отчета. Но другое дело, когда внезапно под угрозой оказывается хранящая эти связи жизнетворческая ценность. Так было на тех землях, откуда я родом.

Я полагаю, именно здесь уместно вспомнить о дарах, полученных мною и моими друзьями в нашей части Европы, высказать слова благодарений.

Прекрасно родиться в малой стране, где природа человечна и соразмерна человеку, где на протяжении столетий сосуществовали друг с другом разные языки и разные религии. Я имею в виду Литву, землю мифов и поэзии. И хотя моя семья уже с XVI века пользовалась польским языком, как многие семьи в Финляндии шведским, а в Ирландии английским, и в итоге я польский, а не литовский поэт, но пейзажи, а может быть, и духи Литвы никогда меня не покидали. Прекрасно слышать с детства слова латинского богослужения, переводить в школе Овидия, учиться католической догматике и апологетике. Благословен тот, кому дан был судьбой в школьные и университетские годы такой город, каким был Вильно, город причудливой, город барочной, итальянской архитектуры, перенесенной в северные леса, город, где история запечатлена в каждом камне, город сорока католических костелов, но и множества синагог, евреи в те времена называли его Иерусалимом севера. Только став университетским преподавателем в Америке, я понял, как много вошло в меня из самых стен нашего старого университета, из запомнившихся формул римского права, из истории и литературы давней Польши, которая удивляет молодых американцев своими особенностями: добродушной анархией, разоруживающим яростные споры юмором, чувством органической общности, недоверием ко всякой централизованной власти.

Поэт, который вырос в таком мире, должен быть искателем действительности путем созерцания. Ему должны быть дороги определенный патриархальный лад, звон колоколов, желание оградиться от натиска и настойчивых пожеланий наших ближних, тишина монастырской кельи, если книги на столе, то книги, трактующие о том непонятном свойстве вещей, каковым является их esse [7]. И вдруг все это оказывается отвергнуто демоническими действиями Истории, имеющей все черты кровожадного божества. Земля, на которую поэт глядел в

---

[6] Граждане, народ, община *(лат.)*.

[7] Инфинитив настоящего времени глагола «быть», «существовать» *(лат.)*.

своем полете, взывает криком воистину из бездны, и невозможно глядеть на нее с в ы с о к а. Возникает непреодолимое противоречие, реальное, не дающее покоя ни днем, ни ночью, как бы мы его ни назвали, противоречием между существованием и действием или противоречием между искусством и солидарностью с людьми. Действительность требует заключить ее в слова, но она невыносима, и если мы ее касаемся, из уст поэта не может исторгнуться даже жалоба Иова, всякое искусство оказывается ничто в сравнении с действием. А объять действительность так, чтобы сохранить ее во всем извечном переплетении добра и зла, отчаяния и надежды, можно только благодаря дистанции, только возносясь н а д действительностью — но это в свою очередь представляется нравственной изменой.

Таково было противоречие, затрагивающее самую суть конфликтов XX века, противоречие, открытое поэтами на земле, осквернённой преступлением человекоубийства. Что думает автор некоторого количества стихотворений, остающихся памятью того времени, свидетельством? Он думает, что они родились из мучительного противоречия и что было бы лучше, если бы он мог его разрешить, а они не были бы написаны.

III

Патроном всех изгнанников, навещающих родные места только в воспоминании, остается Данте, но как же выросло с того времени число Флоренций! Изгнание поэта сейчас лишь следствие недавнего открытия: тот, кто обладает властью, может также контролировать язык, и не только путем цензурных запретов, но и путем изменения смысла слов. Особое явление — язык несвободного общества, приобретающего определенные постоянные навыки: целые области действительности перестают существовать попросту потому, что не имеют названия. Похоже, что есть скрытая связь между теориями литературы как écriture[8], речи, которая питается сама собой, и ростом тоталитарного государства. Во всяком случае, ничто не побуждает государство быть нетерпимым к деятельности, заключающейся в писании стихов и прозы, понимаемых как автономные системы, замкнутые в своих границах. Только если мы примем, что поэт постоянно стремится освободиться от заимствованных стилей, поскольку он ищет действительности, тогда он опасен. В зале, где все собравшиеся согласно соблюдают уговор умолчаний, слово правды звучит как выстрел из пистолета, а искушение произнести его, подобно внезапному зуду, становится навязчивой мыслью, не позволяющей думать ни о чем другом.

Вот почему поэты выбирают изгнание[9]. Трудно, однако, сказать с уверенностью, что тут преобладает, одержимость ли злободневностью или жажда освободиться от нее и в других странах, на других берегах обрести свое подлинное призвание, которым является созерцание Бытия.

Эта надежда, однако, иллюзорна, потому что пришелец из нашей «другой Европы» везде, где он окажется, замечает, что от новой среды его отчуждает весь запас его опыта, что в свою очередь может стать источником навязчивых состояний. На планете, которая с каждым годом уменьшается, при фантастическом развитии средств информации, происходит процесс, не поддающийся пока что определениям, процесс, который можно бы назвать отказом памяти. Неграмотные прежних времен — то есть огромное большинство человечества — мало знали об истории своих стран или своей цивилизации. Но в сознании нынешних неграмотных, умеющих и читать и писать, даже обучающих молодежь в школах и университетах, история присутствует, только странно запу-

---

[8] Писание *(франц.)*; «самодостаточная языковая деятельность», как иронизирует Милош в одном из эссе.

[9] С 1951 года Милош в эмиграции; до 1960 года жил во Франции, затем — в Беркли (США).

танная и затуманенная. Мольер становится современником Наполеона, Вольтер — Ленина. Да и события последних десятилетий, столь важные, что знание или незнание о них решит судьбы человеческого рода, тоже отдаляются, бледнеют, теряют всякую консистенцию, как если бы буквально осуществлялось предсказание Ницше о европейском нигилизме. «Глаз нигилиста,— писал Ницше в 1887 году,— неверен в отношении своих воспоминаний: он позволяет им осыпаться, терять листья... А то, чего нигилист не делает для себя, он не делает и для всего прошлого человеческого рода: он позволяет этому прошлому исчезнуть». К тому же сейчас полно вымыслов о прошлом, противоречащих здравому смыслу и элементарному чувству зла и добра. Как сообщила недавно «The Los Angeles Times», в разных странах опубликовано около ста книг, доказывающих, что the Holocaust [10] изобрела еврейская пропаганда, что его никогда не было. Если такое сумасшествие возможно, то разве совсем неправдоподобна всеобщая утрата памяти как перманентное состояние и разве не было бы это угрозой большей, чем манипуляция генами или отравление природной среды?

Для поэта из «другой Европы» события, охватываемые названием Holocaust,— это действительность столь близкая во времени, что он может попытаться освободиться от ее постоянного присутствия в воображении разве что переводя Псалмы Давида [11]. Он ощущает, однако, страх, когда значение этого слова постепенно претерпевает метаморфозы, так что оно начинает принадлежать лишь истории евреев, как будто жертвой преступления не пали также миллионы поляков, русских, украинцев и узников иных национальностей. Он ощущает страх потому, что есть в этом предвестие недалекого, может быть, будущего, когда из истории останется только то, что появится на экране телевизора, тогда как истина, будучи слишком сложной, окажется погребена в архивах, если не вовсе уничтожена. Есть и другие факты, близкие ему и далекие людям Запада, заставляющие его поверить в вероятность виде́ния Уэллса в «Машине времени»: Земля, населенная племенем детей дня, беспечным, лишенным памяти и тем самым истории, беспомощным перед жителями подземных пещер, кровожадными детьми ночи.

Уносимые движением технологических перемен, мы знаем, что началось объединение нашей планеты, и придаем большое значение понятию международного сообщества. Даты создания Лиги Наций и затем Организации Объединенных Наций заслуживают того, чтобы их помнить. К сожалению, они теряют значение по сравнению с другой датой, которую следует отмечать ежегодно как день траура, тогда как молодые поколения о ней не слышат. День 23 августа 1939 года. Два диктатора заключили тогда соглашение с тайной клаузулой о разделе между ними соседних стран, имеющих собственные столицы, правительства и парламенты. Это означало не только развязывание страшной войны. Вновь был введен колониализм, по смыслу которого народы — не что иное, как скот, покупаемый, продаваемый, полностью зависящий от воли очередного владельца. Их границы, их право на самоопределение, их паспорта перестали существовать. И можно лишь удивляться, если и сегодня люди еще шепотом, прикладывая палец к губам, говорят о том, что творили диктаторы сорок лет назад. А ведь если преступления против человеческих законов не признаны таковыми и не осуждены, это становится медленно действующим ядом и вместо дружбы создает ненависть между народами [12].

Антологии польской поэзии дают имена моих друзей. Владыслава Себылы и Леха Пивовара и дату их смерти — 1940 год. Абсурд, что

---

[10] Жертва, всесожжение *(от древнегреческого);* так называют массовый геноцид евреев в годы второй мировой войны *(англ.)*.

[11] Милош в поздние годы изучил древнееврейский и перевел Псалтирь.

[12] Недавно, в январе 1991 года, после кровопролития в Вильнюсе, Милош писал: «Москва утопила в Литве шансы на создание свободной федерации государств».

нельзя написать, как они погибли, хотя каждый в Польше знает правду: они разделили жребий многих тысяч польских офицеров, разоруженных и интернированных тогдашним сообщником Гитлера, и похоронены в братской могиле. А разве молодые поколения на Западе, если они вообще учатся истории, не должны знать о двухстах тысячах людей, павших в 1944 году в Варшаве, городе, обреченном на уничтожение обоими сообщниками?

Два диктатора-человекоубийцы давно умерли, кто знает, однако, не одержали ли они победу, последствия которой более долговечны, чем последствия побед и поражений их армий. Вопреки Атлантической хартии, принцип, что страны являются предметом торговли или даже игры в карты или в кости, был подтвержден разделом Европы на две зоны. А постоянным напоминанием о наследии двух диктаторов остается отсутствие трех Балтийских государств среди членов Организации Объединенных Наций. Перед войной эти государства принадлежали к Лиге Наций, но исчезли с карты Европы в результате тайной клаузулы договора 1939 года.

Пусть простят мне, что я обнажаю память, как рану. Предмет этот не так уж далек от моих размышлений над словом «действительность», которым часто злоупотребляют, но которое достойно уважения. Скорбь народов, пакты более предательские, чем те, о которых мы читаем у Фукидида, форма кленового листа, восходы и закаты солнца над океаном, вся эта ткань причин и следствий, называем ли мы ее Натурой или Историей, указывает, как я верю, на иную действительность, в которую проникнуть мы не можем, хотя бесконечное стремление к ней движет всякую науку и искусство. Временами мне кажется, что я расшифровываю смысл несчастий, постигших народы «другой Европы». Благодаря несчастьям они сохранили память, тогда как Европа без эпитета и Америка теряют ее, похоже, все больше с каждым поколением. Может быть, нет иной памяти, нежели память ран, как это доказывает Библия, хроника тяжких испытаний Израиля. Эта книга долго позволяла европейским народам сохранять чувство преемственности, которое не тождественно модному ныне термину «историзм».

На протяжении тридцати лет, проведенных мною за границей, я чувствовал себя в лучшем положении, чем мои западные коллеги, пишущие или преподающие литературу, потому что события, и недавние, и очень давние, происходившие столетия назад, обретали в моем сознании форму острую и точную. Зарубежные читатели, сталкивающиеся со стихами или романами, написанными в Польше, Чехословакии, Венгрии, или зрители созданных там фильмов, вероятно, угадывают столь же обостренное сознание, постоянно борющееся с ограничениями цензуры. Стало быть, память — это наша, нас всех из «другой Европы», сила. Это она спасает нас от речи, вьющейся сама вокруг себя, как плющ, обвивающийся вокруг себя, когда он не находит опору — стену или ствол дерева.

Я говорил о желании избавиться от противоречия между потребностью дистанции и чувством солидарности с людьми. Если, однако, мы признаем полет н а д землей, на спине гуся ли, Пегаса ли, метафорой призвания поэта, то нетрудно заметить, что уже в ней содержится противоречие, потому что как быть н а д и одновременно видеть землю во всех ее подробностях? Однако же, при колеблющемся равновесии противоположностей, определенная гармония может быть достигнута благодаря дистанции, которую создает само течение времени. «Видеть» — значит не только иметь перед глазами, но также сохранять в памяти, «видеть и описывать» — значит воссоздавать в воображении. Дистанция, которую создает тайна времени, не должна превращать события, пейзажи, людские лица в путаницу все более бледнеющих теней. Наоборот, она может освещать их полным светом, так что каждый факт, каждая дата получают выразительность и продолжают существовать как вечное напоминание о человеческом оподлении, но и о челове-

ском величии. Те, что живы, получают мандат от всех тех, которые навсегда умолкли. Выполнить свой долг они могут только стараясь точно воссоздать то, что было, освобождая прошлое от вымыслов и легенд. Так земля, видимая свысока, в вечном сейчас, и земля, пребывающая в обретенном времени, становятся равно материалом поэзии.

IV

Я не хотел бы создать впечатление, что мое сознание обращено к прошлому, это была бы неправда. Как все мои современники, я склонен был отчаиваться, предвидеть близость всеобщей гибели и упрекал себя, что поддаюсь нигилистическому соблазну. Однако на более глубоком уровне поэзия моя, как мне кажется, осталась здоровой и выражала мечту о Царстве Истины и Справедливости. Дóлжно назвать здесь имя человека, который научил меня, что не следует поддаваться отчаянию. Мы получаем дары не только от нашего родного края, его рек и озер, его традиций, но также от людей, особенно если встретим сильную индивидуальность в ранней молодости. Мне было дано такое счастье, что меня почитал почти за сына мой родственник Оскар Милош [13], парижский отшельник и визионер. Как случилось, что он был французским поэтом, объяснить могла бы сложная история его семьи и того края, который назывался некогда Великим Княжеством Литовским. Как бы там ни было, недавно можно было читать в парижской прессе слова сожаления, что высшая международная премия не досталась полвека назад поэту с той же фамилией, что моя.

Многому я у него научился. Он дал мне более глубокое понимание религии Ветхого и Нового Завета и привил потребность точной, аскетичной иерархии во всех вопросах разума, включая то, что касается искусства. Самым большим грехом здесь он считал ставить второстепенное наравне с первостепенно важным. Прежде всего, однако, я слушал его, как слушают пророка, который, как он сам говорил, любил людей «старой любовью, которую изнурили жалость, одиночество и гнев», и потому предостерегал безумный мир, несущийся к катастрофе. Я узнавал от него, что катастрофа неизбежна, но узнавал также, что великий пожар, который он предсказывал, будет только частью более широкой драмы, которая должна быть доиграна до конца.

Более глубокие причины он видел в неверном направлении, избранном наукой XVIII века, что вызвало лавинный эффект. Подобно Уильяму Блейку до него, он предсказывал Новый Век, повторный ренессанс воображения, изуродованного ныне определенным типом научного знания, но, как он верил, не всякого научного знания и уж наверняка не такого, какое откроют люди будущего. Не важно, в какой мере я принимал его пророчества буквально, важна была общая ориентация.

Оскар Милош, как и Уильям Блейк, черпал вдохновение из книг Эмануэля Сведенборга [14], ученого, который раньше чем кто бы то ни было предвидел крах человека, таящийся в ньютоновской модели Вселенной. Когда благодаря моему родственнику я стал внимательным читателем Сведенборга, интерпретируя его, впрочем, не так, как это было принято в эру романтизма, я не предполагал, что впервые побываю в его стране при такой оказии, как сегодняшняя.

Наше столетие близится к концу, и те влияния, которые я назвал, не позволяют мне злоречить о нем, потому что это было также столетие веры и надежды. Происходит глубокая перемена, которую мы почти не осознаем, потому что сами являемся ее частью, и время от времени она дает о себе знать в событиях, вызывающих всеобщее удивле-

---

[13] Оскар Милош (1877—1939) — французский поэт, краткую заметку и два стихотворения в переводах А. Парина см.: «Западноевропейская поэзия XX века», М., 1977 («БВЛ»).

[14] Эмануэль Сведенборг (1688—1772) — шведский естествоиспытатель, позже — мистик. Милош писал о нем в книге «Земля Ульро».

ние. Перемена эта связана с тем, что — скажу словами Оскара Милоша — составляет «глубочайшую тайну трудящихся масс, более чем когда-либо живых, восприимчивых и полных внутренней му́ки». Их тайна, их невысказанная потребность подлинных ценностей, не находит языка, в котором эта потребность могла бы выразить себя, и здесь не одни только средства массовой информации, но также интеллектуалы несут тяжелую ответственность. Тем не менее перемена происходит, вопреки краткосрочным прогнозам, и вполне вероятно, что, несмотря на все ужасы и опасности, наше время будет оценено как неизбежная фаза родовых болей, пока человечество не ступит на новый порог сознания. Тогда появится новая иерархия заслуг, и я убежден, что Симона Вайль и Оскар Милош, писатели, в школе которых я был послушным учеником, получат то, что им надлежит. Мне кажется, что мы должны публично свидетельствовать о нашей привязанности к каким-то именам, потому что таким способом мы яснее определяем нашу позицию, чем называя имена, которым мы резко противостоим. Надеюсь, что эта лекция, несмотря на меандры мысли, свойственные поэтам, четко выявляет мои «да» и «нет», во всяком случае там, где речь идет о наследии. Потому что все мы, здесь находящиеся, и оратор, и слушатели,— лишь звенья в цепи между прошлым и будущим.

Перевод ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

К 100-летию МИХАИЛА БУЛГАКОВА

ЭЛЛЕНДЕА ПРОФФЕР

ХУДОЖНИК И ВЛАСТЬ

По страницам романа «Мастер и Маргарита»

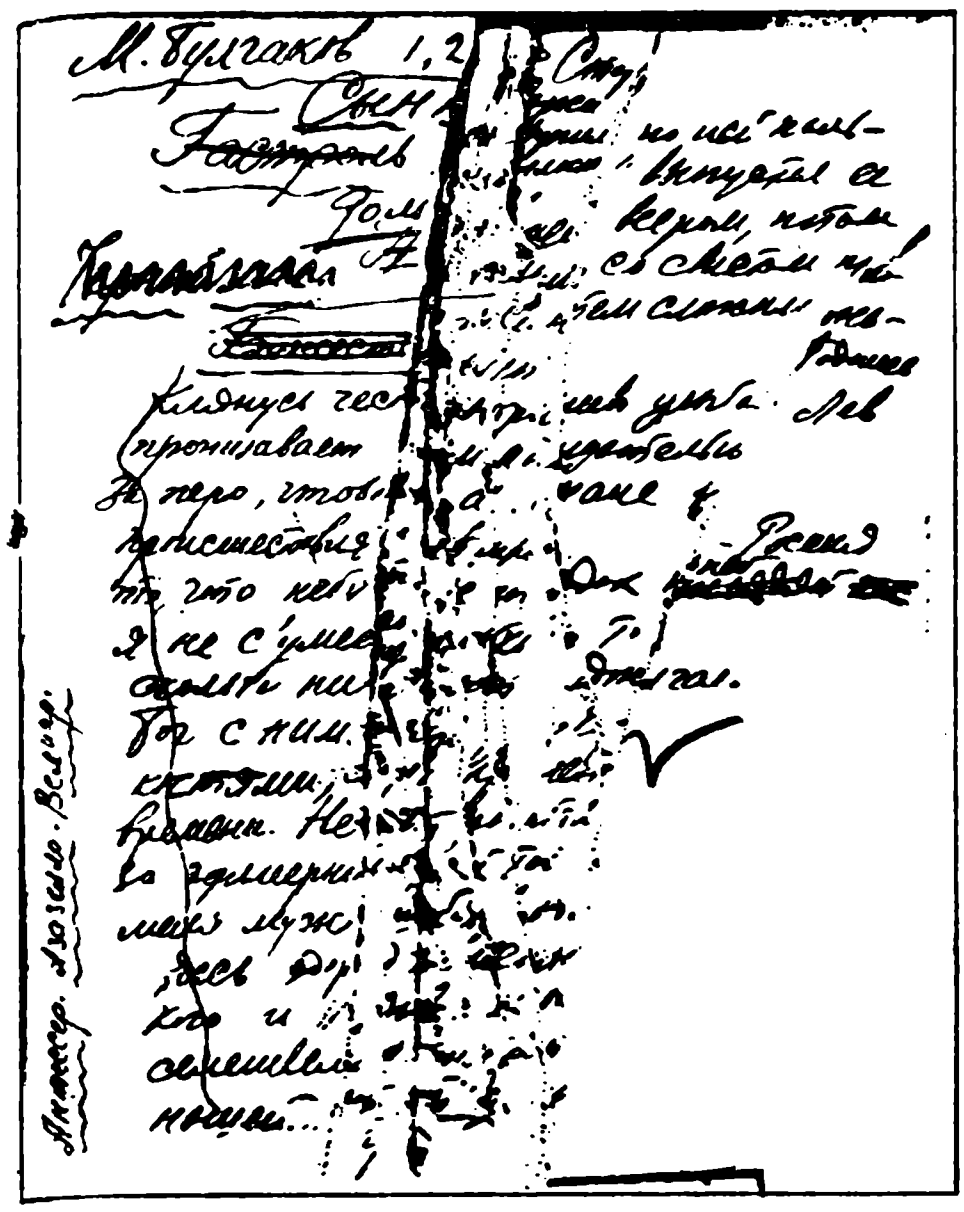
М. Булгаков. Около 1932 г.

Критик, знакомый с предыдущими работами Булгакова, вряд ли сумел бы предсказать появление «Мастера и Маргариты». Несмотря на присутствие тем, мотивов и характеров, типичных для его творчества в целом, последний роман Булгакова — произведение явно иного масштаба, дающее возможность оценить истинные размеры его таланта. В этом романе Булгаков настолько свободен, что позволил себе поместить созданных им фантастических героев в знакомую среду, пойти на рискованный пересказ евангельской истории, вывести на сцену дьявола — этого самого литературного из всех мыслимых литературных персонажей. Пренебрегая опасностями, которыми чревато писать о писателе, Булгаков с помощью вставных глав о Пилате великолепно доказывает, что его герой, Мастер, и в самом деле выдающийся писатель. Щедрость и блеск этой работы особенно поразительны, если вспомнить, что она писалась в Москве тридцатых годов, в период, когда значительной скованностью отличалось большинство национальных литератур.

Если литература — это нравственность, воплощенная в воображении, некое зеркало, в котором отражается общественное и политическое здоровье, и если правда об историческом периоде обнаруживается в его искусстве, то роман Булгакова создан в невеселые времена. На каждом шагу нас ожидают лицемерие и наушничество, а главное сравнение, которое приходит в голову читателю,— Римская империя эпохи Тиберия. Очевидно и то, что терзания Пилата имеют прямое отношение к эпохе самого Булгакова.

«Мастера и Маргариту» нелегко отнести к определенной жанровой категории. Смесь сатиры, реализма и фантазии в этом романе можно было бы назвать Менипповой сатирой, можно — и энциклопедической прозой. Но линейную, нередко связанную с мотивами путешествия, композицию этих жанров Булгаков замещает искусной сетью, в которую вовлечены практически все события и герои. И если Сервантес, например, строит свое повествование в виде последовательных изолированных эпизодов, то для Булгакова исключительно важна взаимосвязь событий. На этой взаимосвязи, в частности, и держится в основном философия и этика «Мастера и Маргариты». Причины и следствия в романе так переплетены, что решение одного в конце концов влияет на жизнь многих. Стоит критику Латунскому опубликовать разносную статью о романе Мастера — и сосед Мастера Алоизий Могарыч, позарившись на его квартиру, доносит на него за хранение запрещенной литературы. А тайная полиция, действуя по этому

Иллюстрации — из книги «Михаил Булгаков. Фотобиография». Составитель Э. Проффер. «Ардис», Энн Арбор, 1984.



Первая страница первой редакции романа «Мастер и Маргарита». 1928.

доносу, хватает Мастера, и тот сходит с ума. В другой сюжетной линии романа, за две тысячи лет до Латунского, некий прокуратор Иудеи рассматривает обычное судебное дело. Исчерпав собственные возможности спасти осужденного, римский наместник предлагает первосвященнику освободить одного заключенного на выбор. Заурядная история. Но выбор, сделанный Каиафой, приносит и ему самому, и Пилату, и Вар-Равану то бессмертие, которое мы назвали бы сомнительным. Действия, вызванные предыдущими поступками, никогда не проходят бесследно.

Для большинства героев романа политическая выгода куда важнее нравственности. Критики, нападающие на Мастера, первосвященник, расставляющий западню для Иешуа, прокуратор, который в конце концов поступает ничуть не лучше, чем любой в его положении,— все они сходны в одном. Зная, что ведут себя неверно, они тем не менее отказываются прислушаться к голосу совести. Недаром в «Мастере и Маргарите» вновь и вновь подчеркивается бренность мирской власти. Если человек, подобно Берлиозу, может умереть в любой момент, то чего же стоит вся его преданность государству или империи? Да и сами империи в конце концов погибают, и память о них хранят только историки. Булгаков — нравственный абсолютист. Для него понятия о добре и зле остаются неизменными в любой империи — и в Римской, и в советской.

Многочисленные черты сходства между Москвой и древним Иерусалимом, усиленные повторением мотивов и структурных элементов, лишний раз проясняют отношение Булгакова к идее прогресса. Здесь читатель может обнаружить десятки тонких параллелей — от черт пейзажа (золотые идолы и золотые купола) до реального перемещения героев по городу (Арбат, Нижний Иерусалим). Однако истинное сходство между этими городами, разделенными двумя тысячелетиями, связано с природой человека, со способами выживания тирании, с доносами, отречениями, обыкновенным страхом. Под этим углом зрения и сам Пилат выступает предтечей тех, кто вершил правосудие на открытых процессах сталинской эпохи.

У главных героев «Мастера и Маргариты» есть предшественники в раннем творчестве Булгакова. Все они — предки Мастера, который, не сумев победить страха, отрекается от собственного таланта.

В раннем творчестве писателя обнаруживаются и другие ключи к «Мастеру и Маргарите». Есть, например, роман, где женщина спасает близкого человека с помощью сверхъестественных сил. Другая выступает спасительницей, совершая подвиг. Там же мы встречаем поэта-атеиста, который приходит к вере, встречаем город, играющий роль одного из героев, встречаем порой безобидную, а порой убийственную иронию. Мы видим и тему опасных мифов, и тему вечности, сопоставленную с текущими политическими проблемами. Мы говорим, конечно, о «Белой гвардии», единственной, кроме «Мастера и Маргариты», крупной прозаической книге Булгакова. Заметим еще, что и в этой книге одной из точек отсчета служит Библия, прежде всего, разумеется, Апокалипсис.

Не появляясь в таком открытом виде, как в «Мастере и Маргарите», дьявол присутствует в «Белой гвардии» за кулисами, в виде часто упоминаемого «антихриста». Это определение применяется по отношению к Троцкому, Шполянскому и Петлюре. В известном смысле эти трое персонажей действительно напоминают Воланда хотя бы тем, что «катализируют» действие романа. Булгаков, естественно, развивал свои идеи с течением времени. Если главный грех в «Белой гвардии» определяется как уныние, то в последнем романе он превращается в трусость. Однако трусость есть и в «Белой гвардии». В дальнейшем мы еще вернемся к связи между двумя этими произведениями.

В «Мастере и Маргарите» Булгаков выступает во всех своих ипостасях. Здесь равно присутствуют и сатирик «Театрального романа» и «Похождений Чичикова», и фантаст «Блаженства» и «Адама и Евы», и историк «Последних дней». Здесь мы вновь сталкиваемся с привычными темами и мотивами — гастрономией, розами, Фаустом, квартирным вопросом, театральным миром. Булгаков вновь пишет о богатстве и бедности, о докторах и больницах, о снах и галлюцинациях. Его снова заботят темы насилия, бюрократии, зловещего шепотка власть имущих. Вместе с ним мы размышляем о природе истории, о столкновении художника с обществом, о деяниях божественной справедливости.

В повествовательной структуре «Мастера и Маргариты» присутствуют три линии, причем в каждой из них обнаруживается свой собственный стиль. Сатирические сцены из московской литературной и театральной жизни написаны языком, напоминающим о комических повестях Булгакова, прежде всего о «Театральном романе». Для этого языка характерны канцеляризмы, не слишком вежливые разговорные выражения, а

также подробные физические описания действующих лиц. История Понтия рассказана другим стилем — уравновешенным и красноречивым, окрашенным экзотической лексикой. Рассказчик в этих главах прозрачен. Что же до глав, где описываются чисто фантастические события, то они, пожалуй, созданы по законам кино, с упором на зримые детали. На первый взгляд эти три линии представляются независимыми друг от друга. Внимательное чтение, однако, раскрывает постоянное взаимопроникновение их тем и мотивов.

С точки зрения стиля этот роман — наиболее свободное творение Булгакова. Рассказчик — или рассказчики, в зависимости от взгляда читателя,— предстает в нем актером, то надевающим, то снимающим иронические маски. В иные минуты он настроен лирически, иногда страдает от острого недостатка сведений, порою предстает в виде комического хлопотуна, отвечающего на свои собственные риторические вопросы. А в главах о Пилате рассказчик полностью исчезает, предоставляя читателю свободу делать самостоятельные выводы.

Булгаков был по природе склонен к созданию романа внутри романа, пьесы внутри пьесы и сочинению литературы о писателях. Трудности этих приемов вполне очевидны — автора подстерегает опасность либо наскучить читателю, либо разочаровать его. Но Булгаков не обманывает наших ожиданий. Не ограничиваясь практическими последствиями писательского ремесла, он описывает и источник вдохновения, и сам процесс творчества. А в «Мастере и Маргарите» писатель намеренно доводит читателя до самой грани неверия в его художественную систему, чтобы еще надежнее заставить его принять все невероятные вещи в романе.

Первая глава истории Пилата рассказывается от лица свидетеля, Воланда. Во второй главе повествование ведется через сон Ивана Бездомного, героя, целиком принадлежащего к московской линии романа. И только две последние главы представлены как отрывки из произведения Мастера. Эта композиция подчеркивает связь Пилата со всеми главными героями. Берлиоз — редактор поэмы об Иисусе, написанной Бездомным. Воланд присутствует на допросе Иешуа Пилатом. Маргарита читает отрывок из произведения Мастера в первой же главе, где появляется. Латунский пишет разгромную рецензию на опубликованный отрывок из романа. Сосед Мастера, которого он считает своим другом, пишет на него донос, и, наконец, Мастера арестовывают за его собственные сочинения — точь-в-точь как Иешуа приговаривают к смерти за его слова. Так даются примеры силы слова. К концу романа Воланд упоминает о том, что и Иешуа, и Пилат прочли роман Мастера — и круг замыкается. В эпилоге, где рассказано о судьбе большинства героев, Ивану снятся Пилат, Иешуа, Мастер и Маргарита.

Многообразны связи между «библейскими» главами романа и остальным текстом. Прежде всего они заключаются в общности тем, фраз и мотивов. Это розы, красный, черный и желтый цвета (те же самые, которыми пользуется при описании дьявола Данте Алигьери), фраза «О боги, боги!» (заимствованная из «Аиды») — все это подразумевает временные и пространственные параллели между героями и событиями. Однако есть связи и более глубокие, которые осуществляются через сложный процесс пародирования и раздвоения. Они заметны лишь при более тщательном изучении романа. Это справедливо и по отношению к физическим описаниям (бал Воланда, например, происходит, по-видимому, во дворце Ирода), и описаниям героев (у Воланда, Иешуа и Стравинского есть общие черты). Особенно поразительно это сходство, если мы рассмотрим один из видов взаимоотношений — между учителем и учеником.

В главах о Пилате у Иешуа всего два друга — Левий Матвей и Иуда. Один из них — предатель, другой — действующий из лучших побуждений, но сбитый с толку человек, который плохо понимает своего учителя и, как замечает Иешуа, неверно записывает его слова. Кроме того, Левий Матвей — фанатик, по мнению Пилата неправильно понимающий дух учения Иешуа. По сути дела, Левий Матвей не верит в кротость — он готов пойти на убийство, чтобы отомстить за гибель учителя. При всем отличии от Иешуа главный герой московской линии — Мастер — находится в тех же отношениях со своими двумя друзьями — Алоизием Могарычем и Иваном. Алоизий, как и Иуда, предает друга, впрочем, не за серебро, а за жилплощадь. Что до Ивана, то он, вместо того чтобы продолжать труд Мастера, то есть роман о Пилате, становится профессором в институте, которым, правда, Мастер весьма интересовался. Однако от своей веры в Мастера и связанных с ним событий Бездомный отказался. Хотя Иван Николаевич и не может «совладать с этим весенним полнолунием», ему хорошо известно, что «в молодости он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился и вылечился».

Таким образом, Бездомный также оказывается учеником, который мало что усвоил у своего учителя. Несмотря на происходящее с ним ежегодно в весеннее полнолуние, Ивану — ныне профессору Понырев — удается видеть героев романа Мастера лишь под действием морфия, во сне, где Пилат, подобно многим другим персонажам Булгакова, пытается утешить себя, настаивая на том, что главного насилия над Иешуа — казни — «не было».

Связь между Мастером и Иваном не сводится ни к пародии, ни к зеркальному отображению отношений Иешуа и Левия Матвея. Вернее говорить здесь о сознательной параллели. Иван — не Левий Матвей, да и Мастер — не Иешуа. В противоположность последнему Мастер утратил веру в себя и в других. Если Иешуа перед лицом опасности продолжает говорить правду, то Мастер сжигает свой роман. Иешуа остается самим собой и приемлет собственную судьбу. Мастер сдается. Пускай в обычном смысле слова Иешуа не герой, но он не поступается убеждениями.

Повесть о Пилате и московские главы взаимосвязаны и по-другому, через намеки, подсказки и такой любимый прием Булгакова, как смещение. Одна из центральных сцен «ершалаимской» линии — допрос. Против ожиданий, ничего подобного в москов-

ских главах не имеется. И если римский тиран дает почувствовать свою силу в любом решении Пилата, то на тогдашнего диктатора России автор даже не намекает. Все, что представляется нам типичным для жизни в Советском Союзе в тридцатые годы, при Сталине, наиболее ясно показано в главах о Пилате. В сущности, при внимательном чтении жизнь в Ершалаиме обнаруживает глубокое сходство с жизнью в настоящей — в противоположность вымышленной — Москве этого периода. В то же время некоторые очевидные параллели между двумя городами лучше рассматривать как параллели между Иерусалимом и другим городом — Киевом.

Ершалаим весьма напоминает Киев времен булгаковской юности хотя бы тем, что он оккупирован солдатами иного вероисповедания, и местную веру поддерживают священники-коллаборационисты, которые пытаются защитить своих последователей от оккупантов. Да и с географической точки зрения Киев больше подходит на роль двойника Ершалаима — в Киеве тоже есть Верхний город, Нижний город и даже своя собственная Лысая Гора. Далее мы увидим, что последний роман Булгакова разрабатывает многие темы и идеи «Белой гвардии», не в последнюю очередь — идею о двойственной роли церкви, останавливая внимание на том решительном моменте, когда на смену одной религии в стране приходит другая.

Под красноречием и иронией в главах, посвященных Пилату, скрывается титаническая исследовательская работа, масштабы и глубина которой стали проясняться лишь в последние годы. Булгаков, разумеется, не впервые выступает в роли ученого. Тщательная подготовка предшествовала написанию пьесы о Пушкине и биографии Мольера. Собрав и оформив все исторические сведения, Булгаков заполнял пустые участки холста тем, что он считал — с учетом имеющихся фактов — психологически оправданным. На ранних стадиях работы Булгаков, как и его отец, был прежде всего ученым. На поздних этапах он превращался в художника, который оставлял последнее слово за своей — надо заметить, весьма просвещенной — интуицией. Соблазнительно думать: а не полагал ли Булгаков на самом деле, что раскрыл подлинную историю Пилата и его пленника, записав, подобно некоему новому Ионе, продиктованную божественным вдохновением «правду» о происходившем? Видимо, это все-таки не так. Булгаков явно стремится заставить читателя поверить в то, что его повествование более правдоподобно, более убедительно и лучше написано, чем Евангелия. Этого достаточно, чтобы вызвать к писателю ненависть религиозного ортодокса. Но нельзя забывать и о том, что Булгаков был из тех иллюзионистов, которые никогда не раскрывают секрета своих фокусов. Эти главы с самой блестящей стороны представляют нам Булгакова-мистификатора. И действительно, будучи насыщены огромным количеством исторического материала, ожидающего будущих исследователей, они в то же время изобилуют ложными следами и аллюзиями в той же мере, что и московские главы романа. И если московская линия книги в некотором смысле представляет собой анти-Фауста, то библейские главы можно назвать анти-Евангелием.

С любой ортодоксально-церковной точки зрения Булгаков — настоящий еретик. Это неудивительно, если вспомнить отношение писателя к церкви, выраженное в его книгах. Это, конечно же, антипатия. Причем, с одной стороны, многие из его сильных духом героев — священников — скорее политики, чем духовные вожди. С другой — их основное занятие орудовать людьми, используя именно человеческую потребность в мифах. Священники, служащие церковную службу для Петлюры, архиепископ Африкан в «Беге», архиепископ Шаррон в «Мольере» — во всех этих героях, вплоть до первосвященника Каифы, творящего зло во имя добра, прослеживается неослабевающее презрение Булгакова к носителям религиозной власти.

Иешуа — простой и добрый человек, который действительно следует золотым правилам жизни, верит в прощение и милосердие. Но для канонических Евангелий главное не в этом, а в мифе о непорочном зачатии, о появлении на земле Сына Божия. Как Лев Толстой, чье переписанное Евангелие отчасти сродни булгаковскому, автор глав о Пилате не отрицает важности религиозного чувства, однако ставит под сомнение необходимость в организованной религии. Он подчеркивает, что пергамент Левия Матвея содержит многое, чего Иешуа никогда не говорил. Иными словами, Левий Матвей уже начал создавать миф об Иешуа, человеке, который никого и никогда не просил становиться его учеником.

В работах Булгакова миф выступает как могучая отрицательная сила. Словно Наполеон у Толстого, обретает мифические черты Петлюра в «Белой гвардии», и во имя этого мифа люди гибнут точь-в-точь как во времена инквизиции — да и в другие времена — гибли во имя Христа. Неудивительно, что Булгаков так мало пользуется каноническими евангельскими текстами. На первый взгляд общая канва ершалаимских событий в «Мастере и Маргарите» соответствует евангельской. Пилат против собственной воли вынужден отправить на казнь человека, которого считает невинным. Иешуа и Иуда погибают. Однако все остальное у Булгакова отличается от Святого Писания настолько, что, по сути, большинство основных тезисов Евангелия в «Мастере и Маргарите» обращается в свою противоположность.

Практически каждая деталь, каждый разговор или описание в плотной ткани повести о Пилате содержит литературные отсылки — исторические или легендарные. В описаниях флоры и фауны Иерусалима, в подробностях организации римской армии, в упоминаниях о политических событиях, происходивших еще до того, как Пилат впервые увидел преступника,— повсюду чувствуется стремление автора убедить читателя в достоверности своего повествования. Характерно, что в этом нескончаемом потоке сведений попадаются и неожиданные включения легендарного материала. Любой источник хорош для Булгакова, если он дает правдоподобные или занимательные подробности.

М. Булгаков в роли судьи, в пьесе «Пиквикский клуб», МХАТ. 1934 г.

Познакомившись, наконец, с пергаментом Левия Матвея, Пилат находит там приводящую его в ужас фразу о трусости. Однако остальное содержание пергамента принадлежит к иному философскому уровню, дает пример апокалипсического мышления. В особенности это касается пророчеств Иешуа о природе грядущих счастливых времен. «Смерти нет... вчера мы ели сладкие весенние баккуроты...», и «Мы увидим чистые всды реки жизни... человечество увидит солнце сквозь прозрачный кристалл...»

Эти фразы напоминают о пророчествах из Апокалипсиса, касающихся далеких будущих столетий, жизни после жизни. Однако они же и подчеркивают, что в настоящее время смоковница бесплодна и человечеством правит зло. Лишь в ином мире может воцариться справедливость, только там настанет торжество Иешуа, а на земле покуда царствует Тиберий. И в то же время Иешуа, несомненно, служит своего рода совершенным образцом. Он — обыкновенный человек, принимающий страдания за свои убеждения.

Представляется, что в повести о Пилате никак не участвуют сверхъестественные силы, несмотря даже на то, что в первой же главе «Мастера и Маргариты» читателю сообщают о незримом присутствии Воланда во дворце наместника. В пределах отведенных им ролей и Пилат, и Каифа обладают относительной свободой воли. Судьба Пилата — быть в этот момент прокуратором, судьба Каифы — защищать интересы своего народа (вернее, то, что он считает его интересами), принося в жертву одного-единственного человека — Иешуа. Однако между ними есть и глубокое различие. Пилат знает о невиновности Иешуа, а Каифа пребывает в непоколебимой уверенности, что подсудимый — шпион Пилата. Пилат мог спасти Иешуа, лишь рискуя своей карьерой и жизнью. На это он пойти не решился. Как проясняется из первых же строк романа, написанного Мастером, Пилат отождествляет себя со своей должностью, считая себя прежде всего не человеком, носящим имя Пилат, но прокуратором, игемоном. Оттого и ведет он себя столь бесчеловечно в начале допроса Иешуа. Не напрасно употребляет здесь автор еще один стилистический прием, отличающий повествование от евангельского. Во всех этих сценах Иешуа неизменно именуется «обвиняемым» и «арестованным» — что лишний раз подчеркивает превосходство Пилата и его равнодушие к существу, стоящему перед ним.

На самом деле у Пилата достаточно власти для того, чтобы вести себя совсем по-другому. Давлению священников он поддается только из-за страха перед каким бы то ни было риском. Только после казни, внезапно «прозрев», он не останавливается перед своими страхами, чтобы искупить собственную вину. Да и то поступок его — приказ убить доносчика Иуду — не из тех, что одобрил бы казненный Иешуа.

Каков же главный мотив этого поступка? При всей силе фантазии Булгаков-писатель был прочно связан с общественной и политической реальностью, шла ли речь об эпохе Пилата, Пушкина или Мольера. В этих столь различных на первый взгляд обществах его интересовали прежде всего черты сходства с его собственным временем. А они были — всюду он видел тирана, окруженного армией доносчиков, всюду видел власть, основанную на страхе. Этому чувству в «Мастере и Маргарите», кроме Воланда и его свиты, не поддается только Иешуа — за исключением момента, когда он понимает грозящую ему опасность.

Страх, мотивирующий поступки героев «ершалаимских» глав, исходит от императора. Но толстовские слова о государственной власти, звучащие из уст Иешуа, весьма важны и для понимания «Мастера и Маргариты» в целом. «Всякая власть является насилием над людьми... настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть».

Повесть о Понтии Пилате показывает, как при деспотическом правлении извращаются закон и справедливость, сама природа человеческих отношений. Римская империя Булгакова напоминает этим сталинскую Россию. Заметим, что рассказ Булгакова остается исторически точным. Для доказательства своей точки зрения ему нечего изменять в исторической реальности — пускай и не все подробности его книги основаны на достоверных источниках.

Следует отметить, что в источниках Булгакова были определенные области, которые остались не освещенными ни историками Древнего Рима и Иудеи, ни исследователями Библии прошлого века. В таких случаях Булгаков находил своеобразный выход, пользуясь апокрифами и легендами, в том числе средневековыми. Однако Булгаков пользовался лишь теми деталями, которые облекали плотью его исторический материал, будучи при этом достаточно правдоподобными, и вторжение апокрифического материала в историческое повествование не касается ни одного из поворотных пунктов сюжета, «окрашивая» рассказ лишь с поверхности.

В то же время напряженность между историческими и мифическими элементами в романе указывает и на нечто иное, а именно на борьбу между двумя точками зрения

М. Булгаков — последние дни.

на вопрос о существовании Христа. В первой главе «Мастера и Маргариты» Берлиоз защищает взгляды так называемой мифологической школы, утверждающей, что Иисус Христос не существовал и что окружающие его легенды сходны с присутствующими во многих религиях мира. Эти мысли были популярны во времена Булгакова, особенно в периоды антирелигиозных кампаний. Сторонники противоположной, исторической школы утверждали, что человек по имени Иисус — реальное лицо и сведений о нем, при всей их противоречивости, вполне достаточно для доказательства его существования. Ко времени публикации «Мастера и Маргариты» мифологическая школа уже перестала доминировать в советской науке. Однако в двадцатые и тридцатые годы, когда создавался роман, взгляды Берлиоза еще были достаточно популярными.

Булгаков был знаком с основными христологическими трудами, принадлежавшими к обоим направлениям. В романе он явно стоит на стороне исторической школы, хотя и не во всех аспектах. Следуя Давиду Штраусу, основателю критического подхода в христологии, Булгаков исключает из романа мессианскую тему, а также большинство других подробностей мифологического характера. После этой операции остается Христос Нагорной проповеди, человек, советовавший подставлять обидчику другую щеку и веривший в то, что все люди от природы добры. Иешуа есть воплощенная идея христианства, в то время как Пилат олицетворяет земную власть. Спор между ними, в сущности, неразрешим. В известном смысле Булгаков считает, что разрешать его не следует.

Возможно и другое истолкование намеренного смешения источников, к которому прибегает Булгаков. Булгаков пользовался главным образом апокрифическими источниками средневекового происхождения, то есть принадлежащими к тому периоду, с которым тесно связан мир Воланда. Средневековые легенды, таким образом, формируют один из пластов романа, пересекаясь как с «Фаустом» Гёте (основанном на тех же источниках), так и с «Адом» Данте. Выбор источников указывает и на другие цели Булгакова. С одной стороны, Лысая Гора, например, это место распятия Христа (под названием Голгофа), с другой — место, где на свой шабаш собираются ведьмы. Древний языческий мир Пилата, новый мир религии, основанной именем Иешуа, и мир Воланда, существующий параллельно им обоим, составляют части конструкции, которая представляется вполне манихейской. В этом случае становится ясным истинный смысл обращенной к фанатику Левию Матвею речи Воланда, где тот утверждает, что свет и тень равно необходимы миру. Независимо от того, заимствовал ли Булгаков эту философию у Гёте или из древних религий вроде зороастризма, но она, несомненно, оказала на него определенное влияние.

И ранние и поздние книги Булгакова насыщены образами, созданными на основе собственного жизненного опыта. Однако от одного произведения к другому эти образы претерпевают эволюцию, покуда не получают окончательного художественного разрешения. Символические описания Булгакова выполняют особенную, сложную функцию в его последнем романе, где и в московских, и в ершалаимских главах выделяются образы золотых церковных куполов и золотых идолов. Настойчивое возвращение к этим живописным подробностям указывает на их глубокое значение. В повести о Пилате золотые идолы, представляя собой еще одно оскорбление иудейской веры, запрещавшей поклоняться кумирам, символизируют мощь римских оккупантов.

Все они исчезают, когда в романе появляется грозовая туча, покрывающая Ершалаим с тем, чтобы великий город «исчез... будто и не существовал на свете». Этой туче предшествует в «Белой гвардии» образ собора св. Владимира, крест на котором, превращаясь в меч, пророчит кровопролитие и конец старого мира. Но в этом образе есть и более глубокое содержание. Все исчезающие приметы города являются символами Рима — и главный иудейский храм, например, не упомянут в их числе, исчезает только мост, соединяющий его с дворцом наместника. Эта гроза предвещает не иудейские войны, а приход христианства, новой веры, которая будет так же ненавидеть золотых идолов, как иудейская, но по другой причине. Золотые идолы в Ершалаиме станут столь же бессмысленны, как золотые купола в Москве — и те, и другие из религиозных символов становятся простым украшением.

Тема гибели старой веры, скрыто присутствуя на всем протяжении «Мастера и Маргариты», объединяет немало внешне разрозненных элементов от антирелигиозной пропаганды Берлиоза до пергамента Левия Матвея, представляющего собой пропаганду христианскую. Интересно, что прагматичный и терпимый язычник Пилат находит фанатическими обе точки зрения; и, несомненно, чувствовал бы то же самое по отношению к идеологии, заменившей религию в Москве времен Мастера.

Многое еще можно было бы сказать о библейских главах «Мастера и Маргариты». Однако даже наших кратких наблюдений достаточно, чтобы оценить размах и изящество этого романа внутри романа. И в то же время, в противоположность «Легенде о Великом Инквизиторе» из «Братьев Карамазовых» Достоевского, которая, очевидно, повлияла на Булгакова, хотя бы по принципу отталкивания, роман о Пилате вряд ли можно рассматривать как самостоятельное произведение. Его художественная и

философская сила зависит от его места в главном романе, и целая сеть кровеносных сосудов тесно связывает его с остальным текстом «Мастера и Маргариты». Контекст, весь материал, окружающий историю гибели Иешуа, соотнесен с приездом дьявола в атеистическую Москву, где истинным заветам Иешуа следует лишь ничтожная кучка людей. В этом пласте романа царит апокриф из апокрифов, полная противоположность всякой религии — одним словом, волшебство.

В повести о Пилате, как мы видим, материал, традиционно связанный с историей Иисуса, настолько изменен, сокращен и даже превращен в свою противоположность, что Новый Завет для него стал всего лишь простой точкой отсчета. Ни своим образам, ни концепциям Булгаков не приписывает постоянной величины, иной раз приводя читателя к ложным выводам.

Двойственна, например, роль черной магии в романе. Разумеется, проделки Воланда и его свиты оборачиваются массой неприятностей для московских обывателей. Но приводят ли они хотя бы к одной подлинной катастрофе? В советском мире двадцатых — тридцатых годов черная магия оказывается менее примечательной, чем реальный быт, с его ночными исчезновениями и другими видами узаконенного насилия. При этом для московских глав романа характерна своеобразная фигура умолчания — о российском тиране в них нет ни одного слова. Вся политическая жизнь как бы перенесена из этой линии в ершалаимскую.

По прихоти Воланда и его подручных москвичи — эти граждане рационалистического, материалистического государства — оказались вовлечены в нечто, отличное от ежедневной чертовщины их жизни. Несовпадение внешнего и реального — одна из главных тем романа — остается для них непостижимым, заставляя изобретать самые неправдоподобные объяснения. Чертовщина ежедневного быта, составлявшая основу «Дьяволиады», используется в «Мастере и Маргарите» с особой целью — противостоять настоящему дьяволу и его ученикам. Если жизнь нелогична и случайна по самой своей сути, то есть ли смысл в изощренных теориях, претендующих на объяснение и систематизацию истории? Булгаков наглядно показывает, что все эти теории — касаются ли они божественного права императоров, или основаны на диалектическом материализме — имеют мало общего с подлинной жизнью. В эпилоге мы видим преображение большинства второстепенных персонажей, которые сознательно отказались поверить в свое соприкосновение с миром дьявола!

Для Мастера и его подруги волшебство имеет совершенно иное значение. Ключ к этому мы находим в главе 30-й, где Мастер говорит: «Конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у нечистой силы!» Для этих героев романа черная магия оборачивается добром. Воланд и впрямь приносит им спасение, сначала выполняя просьбу Маргариты увидеться с Мастером, а затем по приказу свыше давая им окончательное прибежище. Такой силой не обладает ни Мефистофель у Гёте, ни другие литературные воплощения дьявола, известные автору этих строк.

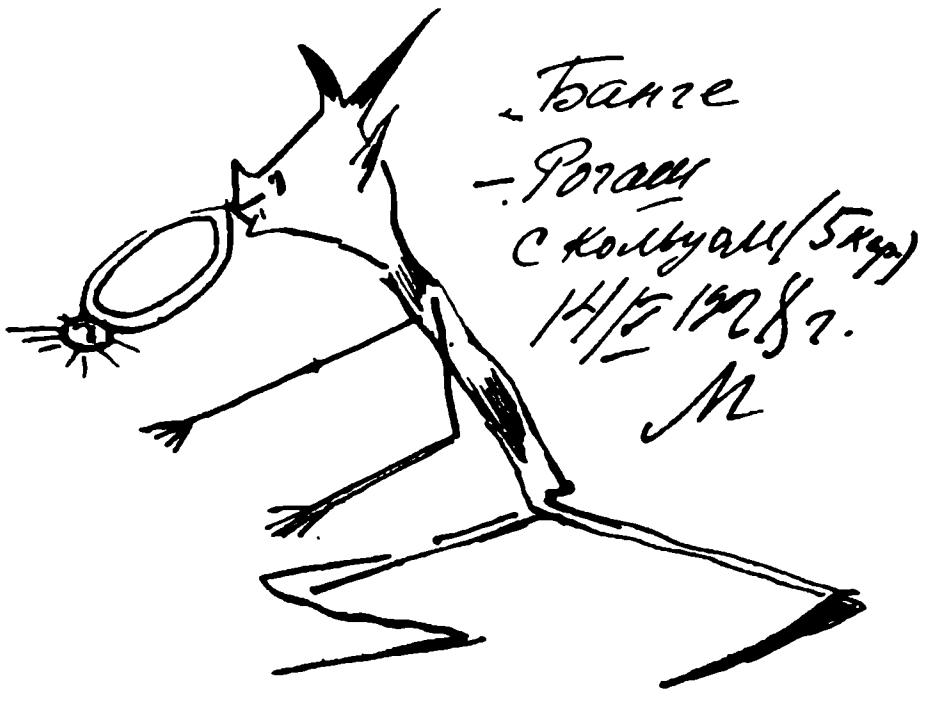
Иешуа — не традиционный Иисус. Но и Воланд далек от традиционного Мефистофеля, веселого и злорадного искусителя, смахивающего на бесенка из «Братьев Карамазовых». При всей зависимости от образов, созданных Гёте и Гуно, Воланд куда величественнее. Сарказм, а не ирония — вот его основная черта. Это и в самом деле падший ангел, главный грех которого составляла гордыня.

Воланд выступает в романе в первую очередь как судья. Он является в Москву выяснить, изменилось ли человечество. И для этого проводит жителей города через всевозможные испытания, которых те обыкновенно не выдерживают. Однако в отличие от Мефистофеля Воланд не получает особого удовлетворения, лишний раз убеждаясь в корыстолюбии и низости людей, хотя ничего другого от них и не ожидает. При редких же встречах с теми, кто еще не утратил способности к состраданию, он иронически удивляется и, что характерно, выполняет их просьбы.

Играя на земле роль бога мести, Воланд наказывает настоящее зло, а изредка дарует свободу тем, кто достаточно настрадался. Он явно не враг того бога, которому подвластны недоступные для Мастера области света. Скорее, он его помощник, искупающий некое тяжкое прегрешение. При внимательном чтении обнаруживается, что Воланд, обладая властью над землей, со всеми ее бьющими в глаза несправедливостями и злом, не в силах решать, когда обрываться человеческой жизни. И последнее слово в решении судьбы Мастера и Маргариты тоже принадлежит не ему — даже если они и отправляются в подвластные ему области. Да и Пилату приносит свободу не крик Маргариты, а заступничество того, с кем он так отчаянно хочет поговорить, то есть Иешуа. Отсюда, кстати, ясно, что Иешуа — не бог, как полагают некоторые критики, ибо как же он мог бы ходатайствовать перед самим собой? При всех своих надмирных качествах Иешуа все-таки смертен.

Полностью изменяя тему Фауста, Булгаков заставляет не Мастера, а саму Маргариту связаться с дьяволом и вступить в мир черной магии. Мастер, в сущности, с фаустовскими мотивами совсем не связан. Единственным персонажем, который отваживается на сделку с дьяволом, оказывается жиз-

Булгаковский рисунок Рогаша, домового квартиры. 1928 г.



нелюбивая, беспокойная и отважная Маргарита, готовая рисковать чем угодно, лишь бы отыскать своего любимого. Фауст, разумеется, продавал душу дьяволу не ради любви — им двигала страсть к возможно более полному познанию жизни.

Интересно, что в романе, который на первый взгляд так сильно зависит от «Фауста», нет ни одного героя, который бы достаточно близко соответствовал заглавному герою Гёте. Несомненно лишь сходство мировоззрений, лежащих в основе этих двух произведений. И в том, и в другом случаях мы сталкиваемся с теорией сосуществующих противоположностей и с идеей, что человек имеет право ошибаться, но при этом обязан к чему-то стремиться, а не пребывать в застое. Есть, конечно же, и еще одно важное сходство — и Фауст, и Мастер получают спасение от любящих женщин.

Вместе с тем не стоит забывать, подобно иным литературоведам, что многие аллюзии в «Мастере и Маргарите» — ложные. Пользуясь фрагментами и мотивами любимых произведений, будь то оперы, романы или стихотворения, Булгаков создавал свое собственное, в высшей степени оригинальное творение.

Воланд — единственный герой, присутствующий во всех пластах романа. Отчасти это отражает первоначальный замысел автора, по которому дьявол был центральной фигурой произведения. Всякое присутствие Воланда в данном конкретном месте сопровождается некоторым искажением времени, тем, что физик назвал бы электронным возмущением. Именно это искажение указывает нам, что Воланд действительно был на балконе у Понтия Пилата. Допрос Иешуа начинается часов в десять утра. За ним следует долгое совещание. Приговор же Пилат выносит, по всей видимости, не раньше полудня. Это не мешает Булгакову закончить главу фразой: «Было около десяти часов утра». С момента, когда Пилат впервые взглянул на Иешуа, время останавливается. Таких примеров в книге несколько. Вспомним, как был потрясен Иван незаметным наступлением вечера вслед за долгой историей Воланда. Тот же Иван, преследуя Воланда и его подручных, передвигается с невероятной, сверхъестественной скоростью. Это явление, видимо, связано с верой Булгакова в способность искусства побеждать время и пространство — ведь Воланд, помимо всего прочего, еще и фокусник, то есть художник, артист.

Говоря об инверсиях, характерных для романа, можно обратить внимание на то, что в «магических» московских сценах обнаруживаются те отсылки на различные евангельские события, которые в «ершалаимских» главах отсутствуют. Эти отсылки создают род профанической пародии на христианские источники. Иван с бумажной иконкой и Маргарита с тяжелым изображением пуделя на шее — это варианты изображения распятья, отсутствующие в рассказе об Иешуа. Двенадцать апостолов появляются в зале заседаний Грибоедова, только ожидают они не Христа, а погибшего Берлиоза. Этикетки от нарзана и другие предметы превращаются в деньги — как вода в Евангелии претворяется в вино, которому тоже находится место в романе,— в него превращается кровь Майгеля, когда ее подносят в кубке Маргарите. Бенгальский и Берлиоз воскресают подобно Лазарю, но с помощью дьявола. И, наконец, после своей мнимой смерти Мастер и Маргарита испытывают мнимое воскресение и «вознесение». В московские главы своеобразно вторгается и хронология Евангелий. Например, выступление Воланда происходит в четверг, тогда же, когда и тайная вечеря. Иисус говорит с учениками примерно в то же время, когда и Мастер — с Иваном (который становится его учеником). Воскресным утром воскресает Христос, а Мастер и Маргарита вступают в вечную жизнь.

Соблазнительно увидеть в этом недоверие Булгакова к Евангелию как к историческому источнику, пародию, столь для него характерную. Однако образ Воланда далеко не пародиен. В этом состоит один из парадоксов романа.

Отец лжи выступает в «Мастере и Маргарите» защитником истины. Словно Мефистофель, он играет роль провокатора, на что указывает эпиграф к книге. Однако, в отличие от Мефистофеля, если Воланд и испытывает людей, если и расставляет для них ловушки, то всегда дает искушенным выбрать между добром и злом, шанс использовать свою свободную волю. Потому-то он и не оставляет, подобно Мефистофелю, впечатления существа, стремящегося творить зло, а добро совершающего лишь невольно. И если присмотреться к его взглядам, если вспомнить потрепанный наряд, в который он облачается в домашней обстановке, то мы увидим, что скорее Воланд, а не Мастер, ближе всего к воплощению собственных воззрений и характера Булгакова.

Кто главные герои романа? Напрашивается ответ, что это Пилат и Воланд, фигуры, доминирующие в двух основных повествовательных линиях книги. Самим Мастеру и Маргарите отведено слишком мало места в тексте, появляются они слишком поздно, да и характеристики их слишком скудны. На это обращается мало внимания, поскольку большинство исследователей считает Мастера художественным портретом самого автора. К сожалению, эта точка зрения не выдерживает критики, ибо ведет к многочисленным недоразумениям. В частности, она не может объяснить, почему в конце роман Мастеру отказывают в праве на свет.

Что мы, в сущности, знаем о Мастере?

Его история дана самыми скупыми штрихами. Он историк, работавший в музее. У него была жена. Он получил выигрыш в лотерее. Его роман с Маргаритой, о котором он так трогательно и в то же время так кратко рассказывает Ивану, дает крайне мало личных сведений о нем самом. Ко времени знакомства с Иваном Мастер — уже человек конченый, насмерть перепуганный. Он настаивает на том, что сломала его не только тюрьма, что страх завладел им еще до ареста. Есть всего один источник сведений о Мастере, еще не искалеченном страхом,— это его роман. Главным событием в жизни Мастера было создание романа о Пилате. И если прочесть главы о Пилате, с точки зрения Мастера, мы увидим героя наиболее схожего с ним в самом Пилате, человеке, живущем в страхе, хотя и не окончательно захваченном им, человеке, ут-

ратившем всю свою веру в других людей. При всем своем кажущемся сходстве с Иешуа Мастер столь же не похож на этого наивного верующего в людскую доброту, сколь и Пилат. Мастер — это такой же художник, противостоящий обществу, как Мольер и Пушкин. Но, в отличие от них, он не принимает своей судьбы и, не сумев полностью осуществить требования своего дара, сдается, как только ему приходится действительно страдать за искусство

Жало своего сатирического дара Булгаков направил не на Иерусалим, не на клинику Стравинского (хотя туда и попадают в конце концов многие герои) и не на квартиру номер 50. Его главной мишенью стал писательский клуб — Грибоедов.

Для Булгакова этот клуб воплощает принципы социалистического неравенства, управления искусством с помощью кнута и пряника, выдачу лицензий на творчество путем голосования. Подручные Воланда напоминают нам, что принадлежность к МАССОЛИТу не означает наличия писательского дара. Не случайно два главных общественных собрания в романе — это полночные пляски в Грибоедове и бал Сатаны, который также разворачивается в полночь.

Писатели, населяющие Грибоедов,— литераторы явно второсортные. Об этом говорят уже малоаппетитные фамилии «пляшущих» поэтов и прозаиков в абзаце, где в бесконечно пошлом подражании балу у Воланда веселится вся посредственность официального литературного мира. Литераторы, которые склочничают на предмет дач в Перелыгине, путевок и кооперативных квартир, не имеют ничего общего ни с великими русскими писателями прошлого века, ни с одиноким и самоотверженным Мастером.

Но Мастер — не положительный герой. На это указывают многочисленные тонкие подробности, проходящие через весь роман. Подобно Пилату, Мастер страдает в полнолуние. И не случайно именно луна оказывается последним пунктом его назначения. Причина этого, как и в «Божественной комедии», лежит в том, что Мастер не исполнил своего долга, не смог продолжать писательского труда. «У меня больше нет фамилии,— говорит он,— я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней». И подчеркивает: «У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновений тоже нет». К концу романа он замечает, что ничего больше не боится — его «слишком пугали и ничем более напугать не могут». И тем не менее он советует Маргарите оставить его, чтобы не ломать своей жизни, а та называет его в ответ «маловерным, несчастным человеком». Мастер прекратил борьбу. Он жаждет только покоя. Не таков Пушкин, продолжавший свои труды в самых печальных обстоятельствах. Не таков и Мольер, который нередко заблуждается, нередко заискивает перед властью, но до самой смерти не оставляет своего призвания.

Булгаков в своих произведениях всегда внимательно присматривается к конфликтам, вытекающим из напряженных отношений между художником и обществом. В роли художника при этом мог выступать писатель, а мог и ученый. Самым тяжким грехом для Булгакова был отнюдь не компромисс — на них приходилось идти и Пушкину, и Мольеру, и самому Булгакову. Он не прощал другого — предательства своего предназначения. И главной целью для Булгакова был не просто талант, но «дар» в набоковском смысле, божественное слово. Слово играет ключевую роль в жизни. Пока не произнесено слово, не может обрести свободы Пилат. Левий Матвей, ученик Иешуа,— писатель. И хотя он неправильно передает слова Иешуа, в них остается достаточно вдохновения, чтобы повлиять на Пилата в той же мере, как на многие следующие поколения, которые прочтут Новый Завет.

При всех очевидных ссылках на произведения Гёте, Данте и других иностранных авторов, главным источником аллюзий в романе остается литература русская — от Грибоедова, Пушкина и Гоголя до Толстого и Достоевского. Что до крупных советских писателей, то они появляются лишь в пародийном обличии. В «Мастере и Маргарите» доминирует литература золотого века. Можно, разумеется, не увидеть в этом ничего, кроме любви Булгакова к отечественной словесности. Как это бывает в значительных произведениях, одной из главных тем «Мастера и Маргариты» является сама литература. Есть, вероятно, и другая причина. Подобно самому Булгакову, Мастер подвергается ожесточенной травле современных критиков. В конце двадцатых годов рапповцы избрали своей мишенью тех писателей, которые, продолжая традиции XIX века, пытались показать связь между до- и послереволюционной Россией.

Мы окажем скверную услугу роману, если вслед за некоторыми критиками будем искать в нем прежде всего аллегории сталинизма. Используя в своей работе множество реальных лиц и событий, Булгаков ставил более значительную цель. Он стремился описать катаклизмы собственной жизни, русскую революцию и правление Сталина в исторической перспективе, вновь подтвердить связь своего дара с великими традициями XIX века. Несомненно, в «Мастере и Маргарите», как и в ранних вещах писателя, немало новых воплощений прохвостов и тупоголовых чиновников, навеянных Гоголем, Салтыковым-Щедриным и Сухово-Кобылиным. Но из того же века, из той же традиции приходят в роман и интеллигенты. Даже в эту людоедскую эпоху появляется Мастер, сочиняющий роман об Иешуа, и человек, сочиняющий роман о Мастере. Критикуя интеллигенцию, Булгаков гордился своей принадлежностью к этому классу и отказывался считать его ценности устаревшими и непригодными в «прекрасном новом мире» сталинского «Краткого курса».

Роман Мастера и роман Булгакова доказывают одно и то же — существование нравственных абсолютов, которые не могут поколебать ни революции, ни тирании. Булгаков сосредоточивает внимание на тех, кто способен все понять, на тех, кто слышит голос совести, но заглушает его по политическим соображениям. В тридцатые годы эта идея была опасна. Даже людям совестли-

вым хотелось верить, что ради блага общества можно приносить в жертву отдельных его членов. Стояла, в сущности, эпоха Великого Инквизитора, который присваивал себе исключительное право на моральные решения. Была такая эпоха, когда даже интеллигенция жаждала быть к чему-то причастной. Ответом на все страдания Булгакова и его современников было обещание справедливости — не в этой, а в другой жизни. Но есть и другая, более реальная надежда. Это суд истории, это способность искусства даровать бессмертие, побеждать пространство и время так, как не под силу даже Воланду. В конечном итоге в искусстве продолжается жизнь Пушкина, а не императора.

Перевод с английского Б. КИНЖЕЕВА

БОРИС СОКОЛОВ

АМЕРИКАНСКИЙ ДИПЛОМАТ — ЗНАКОМЕЦ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

Сегодня, когда творчество Михаила Булгакова известно всему миру, когда опубликованы его письма, воспоминания близко знавших писателя людей, особое значение приобретают любые крупицы сведений об авторе «Мастера и Маргариты». К такого рода свидетельствам относятся воспоминания американского посла в СССР Чарльза Е. Боолена, которые пока еще не попали в поле зрения исследователей творчества великого писателя.

Читатели, без сомнения, помнят рожденный фантазией Михаила Булгакова великий бал у сатаны Воланда. Однако мало кто знает, что эта яркая картина создавалась не без влияния впечатлений от посещения писателем приема в американском посольстве в Москве. Вот запись в дневнике вдовы автора «Мастера и Маргариты» от 23 апреля 1935 года: «Бал у американского посла. М. А. в черном костюме. У меня вечернее платье исчерна-синее с бледно-розовыми цветами. Поехали к двенадцати часам. Все во фраках, было только несколько смокингов и пиджаков (...).

Боолен и Файмонвилл спустились к нам в вестибюль, чтобы помочь. Буллит поручил м-с Уайли нас занимать.

В зале с колоннами танцуют, с хор — прожектора разноцветные. За сеткой — птицы — массы — порхают. Оркестр, выписанный из Стокгольма. М. А. пленился больше всего фраком дирижера — до пят.

Ужин в специально пристроенной для этого бала к посольскому особняку столовой, на отдельных столиках. В углах столовой — выгоны небольшие, на них — козлята, овечки, медвежата. По стенкам — клетки с петухами. Часа в три заиграли гармоники и петухи запели. Стиль рюсс.

Масса тюльпанов, роз — из Голландии.

В верхнем этаже — шашлычная. Красные розы, красное французское вино. Внизу — всюду шампанское, сигареты.

Хотели уехать часа в три, американцы не пустили — и секретари и Файмонвилл (атташе), и Уорд все время были с нами. Около шести мы сели в их посольский «кадиллак» и поехали домой. Привезла домой громадный букет тюльпанов от Боолена».

Здесь Елена Сергеевна назвала целый ряд сотрудников американского посольства: посла В. Буллита, военного атташе Ф. Файмонвилла, супругу советника посольства Уайли, секретарей В. Уорда и Ч. Боолена. Последний заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Чарльз Е. Боолен — видный американский дипломат, в 50-е годы ставший послом США в Москве. Он был одним из немногих сотрудников посольства, не поддавшихся советской пропаганде. В вышедших в 1973 году в Нью-Йорке мемуарах «Свидетельство перед историей, 1929—1969» Боолен критиковал антигуманизм Сталина и всей советской системы, осуждал тех коллег, которые не распознали ее сущности. В частности, Ч. Боолен даже в дни войны пытался убедить сотрудников посольства и госдепартамента, что «выдающаяся доблесть русской армии и неоспоримый героизм русского народа» не должны заслонять «опасности, исходящей от большевиков».

Возможно, именно трезвое отношение к советской действительности способствовало сближению Боолена и Булгакова. Помогло и то, что, по записи в дневнике Е. С. Булгаковой, Боолен «совсем хорошо» говорил по-русски. Впервые он упоминается ею 31 августа 1934 года как присутствовавший на встрече Булгаковых с артистами труппы Йельского университета во главе с режиссером М. Вельсом, поставившим «Дни Турбиных». Боолен вместе с советским литератором Эммануилом Львовичем Жуховицким вызвался перевести на английский пьесу Булгакова «Зойкина квартира». Для этого перевода в мае 1935 года драматург существенно переработал и сократил пьесу, сделав ее из 4-актной 3-актной. 13 мая переводчики работу завершили, о чем в тот же день Булгаков написал брату Николаю в Париж. Однако сведениями о том, что пьеса в этом переводе увидела сцену при жизни Михаила Афанасьевича, мы не располагаем.

Позднее, как можно судить по дневнику Елены Сергеевны, связи между Боолеком и Булгаковым ослабли. Поздняя запись, в которой фигурирует американский дипломат, сделана 20 сентября 1935 года: секретарь посольства Тейер, встретив Булгаковых в

консерватории на концерте американского хора «Орфеус», сообщил им, что «Боолен вышел замуж...» Не исключено, что женитьба и последующие семейные хлопоты сделали встречи Булгакова и Боолена редкими или даже вовсе свели их на нет. Сыграло свою роль и то, что после 1935 года Булгаковы, несмотря на приглашения, перестали посещать приемы в американском посольстве: по свидетельству Е. С. Булгаковой, тяготило сознание невозможности выбраться за границу, да и в периоды материальных затруднений непросто было приобрести подходящий туалет.

Чарльз Боолен на всю жизнь запомнил знакомство с Михаилом Булгаковым. Уже выйдя в отставку, в своих мемуарах он посвятил этому сюжету целых две страницы. Ввиду несомненной важности данного свидетельства приведем его полностью:

«Одним из русских, с которыми я познакомился и в определенной степени подружился, был Михаил Булгаков, в то время — выдающийся драматург России. У него было круглое украинское лицо, красноватый вздернутый нос и общительный характер. Привлекали ясные, полные мысли глаза. Он без колебания высказывался по поводу советской системы. Его карьера в советском театре была необычайно успешной, но противоречивой, а пьесы сохраняли стойкую популярность, хотя он непрерывно конфликтовал с советской цензурой. Он однажды сказал мне, что никогда не выведет коммуниста ни в одной из своих пьес, потому что они для него всего лишь некие плоские фигуры.

Coup de grâce[1] был направлен против Булгакова после того, как он написал рассказ «Роковые яйца». Речь в нем идет о профессоре, который нечаянно открыл средство роста и по ошибке использовал его для рептилий. Рептилии выросли и превратились в монстров метров в сто длиной. Они быстро размножились и начали опустошать сельскую местность. Была призвана Красная Армия, но потерпела полное поражение. Как раз тогда, когда несчастье казалось неизбежным, сверхъестественным образом ударил сильный мороз и убил всех монстров. Небольшой литературный журнал «Недра» напечатал рассказ целиком, прежде чем редакторы осознали, что это — пародия на большевизм, который превращает людей в монстров, разрушающих Россию и могущих быть остановленными только вмешательством Господа.

Когда настоящее значение рассказа поняли, против Булгакова была развязана обличительная кампания. В прессе появились карикатуры с такими, например, подписями: «Сокрушим булгаковщину на культурном фронте». Булгаков украсил этими карикатурами стены своей квартиры. В конечном счете пьесы были запрещены, писатель не мог устроиться ни на какую работу. Тогда он обратился за выездной визой. Он рассказывал мне, как однажды, когда он сидел дома, страдая депрессией, раздался телефонный звонок и голос в трубке сказал: «Товарищ Сталин хочет говорить с вами». Булгаков подумал, что это была шутка кого-то из знакомых и, ответив соответственным образом, повесил трубку. Через несколько минут телефон зазвонил снова, и тот же голос сказал: «Я говорю совершенно серьезно. Это в самом деле товарищ Сталин». Так и оказалось. Сталин спросил Булгакова, почему он хочет покинуть родину, и Булгаков объяснил, что поскольку он — профессиональный драматург, но не может работать в этом качестве в СССР, то хотел бы заниматься этим за границей. Сталин сказал ему: «Не действуйте поспешно. Мы кое-что уладим». Через несколько дней Булгаков был назначен режиссером-ассистентом в Первый Московский Художественный театр, а одна из его пьес, «Дни Турбиных», отличная революционная пьеса, была вновь поставлена на сцене того же театра. Булгаков, однако, никогда не мог согласиться с принципом «от добра добра не ищут», и вскоре в его отношениях с театром вновь возникли трудности. Он умер, будучи либреттистом и консультантом в Большом театре в Москве. В более свободном обществе Булгаков, несомненно, был бы признан великим драматургом».

Чарльз Боолен писал свои воспоминания спустя несколько десятилетий после знакомства с Булгаковым, но очень точно изложил обстоятельства писательской биографии. Возможно, он как-то фиксировал разговоры с Булгаковым, да и профессиональная память дипломата помогла. Действительно, отрицательные отзывы на творчество Булгакова стали приобретать характер кампании с момента опубликования повести «Роковые яйца». В составленном Булгаковым альбоме отзывов на его произведения сохранилась рецензия критика М. Лирова, опубликованная в 1925 году в журнале «Печать и революция», где эта повесть рассматривалась как антибольшевистский пасквиль. Не случайно выпуск «Недр» с «Роковыми яйцами» был первоначально конфискован. Не исключено, что приведенная Боолеком характеристика «Роковых яиц» принадлежит самому Булгакову. В том же альбоме газетных вырезок сохранилась и статья И. Кора «Ударим по булгаковщине!», появившаяся в 1928 году и посвященная пьесе «Бег». Наконец, самое, может быть, важное свидетельство Боолена: о знаменитом телефонном разговоре со Сталиным. Об этом разговоре, состоявшемся 18 апреля 1930 года после отчаянного письма Булгакова «наверх», вызванного полной неудачей в получении выездной визы или устройстве на работу, сохранилось не так много свидетельств. Присутствовавшая при разговоре вторая жена писателя, Л. Е. Белозерская, так описала его в конце 60-х годов в своих мемуарах: «Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала Михаила Афанасьевича, а сама занялась домашними делами. Михаил Афанасьевич взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники).

На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице: «Сталин получил, Сталин прочел...» (...) Он предложил Булгакову:

[1] Решающий удар *(франц.)*.

— Может быть, вы хотите уехать за границу?
(...) Но Михаил Афанасьевич предпочел остаться в Союзе».

Несколько иначе излагает ход разговора в сделанной в 1956 году дневниковой записи Е. С. Булгакова, которой Булгаков передал его содержание в тот же вечер: «Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок, и Люба его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают. Михаил Афанасьевич не поверил, решил, что это розыгрыш (тогда это проделывалось), и, взъерошенный, раздраженный, взялся за трубку и услышал:

— Михаил Афанасьевич Булгаков?

— Да, да.

— Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.

— Что? Сталин? Сталин?

И тут же услышал голос с явным грузинским акцентом:

— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или Михаил Афанасьевич — не помню точно).

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... А может быть, правда — вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?

Михаил Афанасьевич сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) — что растерялся и не сразу ответил:

— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.

— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

— Да, я хотел. Но я говорил об этом, и мне отказали.

— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.

— Да, да. Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.

— Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего».

Отметим, что в 1967-м году в интервью радиостанции «Родина» Елена Сергеевна несколько иначе изложила этот разговор, утверждая, в частности, что на неожиданный вопрос о выезде за границу Булгаков ответил быстро и не упомянул в переговорах о возможной встрече в будущем. Версия же Боолена по крайней мере в одном пункте совпадает с сообщением, приведенным М. О. Чудаковой в «Жизнеописании Михаила Булгакова»: «По устному свидетельству М. Д. Вольпина, Булгаков рассказывал ему, что сначала он бросил трубку, энергично выразившись по адресу звонившего, и тут же звонок раздался снова и ему сказали: «Не вешайте трубку» и повторили «С вами будет говорить Сталин». И тут же раздался голос абонента и почти сразу последовал вопрос: «Что — мы вам очень надоели?» Здесь мы имеем фактически два независимых свидетельства, поэтому факт, что Булгаков сначала бросил трубку, обругав звонившего, можно считать твердо установленным. Это заставляет с большим доверием отнестись к переданным Бооленом словам Булгакова о том, что он не может работать как драматург в СССР и надеется сделать это за границей. Боолен ничего не говорит о будто бы высказанном Сталиным пожелании встретиться с Булгаковым, равно как ничего не сказали об этом Л. Е. Белозерская и Е. С. Булгакова (последняя — в интервью «Родине»).

Что ж, вполне вероятно, что Сталин в самом деле ничего не сказал о возможной встрече с Булгаковым, хотя его звонок, несомненно, побудил у писателя надежду на такую встречу, что отмечено в одном из последующих булгаковских писем Сталину и в дневнике Елены Сергеевны. Но встреча Сталина с Булгаковым так никогда и не состоялась, и, быть может, Михаил Афанасьевич к середине 30-х уже не рассчитывал на нее и не стал говорить Боолену об обнадеживающем высказывании Сталина.

...После смерти М. А. Булгакова прошли годы. Чарльз Е. Боолен сделал успешную дипломатическую карьеру, уйдя в отставку в 1969-м году с поста исполняющего обязанности государственного секретаря Соединенных Штатов. И в созданных на склоне лет мемуарах он нашел теплые, заинтересованные слова для рассказа о замечательном русском писателе, с которым свела его жизнь.

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ

ПЕРЕПОЛОХ СРЕДИ ШПИОНОВ, ИЛИ МЕТАФИЗИКА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Бурность событий в современной России сопоставима лишь с бурным цветением северных весен, лишенных времени на постепенность. Но как же писать о том редкостном времени, которое сорвалось с часовой пружины? Здесь нужна либо смелость чистого незнания, либо точное знание часового механизма. Иначе, застряв между временем и вечностью, книга умрет в долю секунды, и никакой залихватский шпионский сюжет не спасет, не поможет. Русские писатели, подозревая о сложности задачи, пропускают вперед иностранцев.

Джон Ле Карре взялся за шпионский роман, разворачивающийся на третьем году перестройки, с тем бесстрашием, которое можно объяснить скорее все-таки любопытством и беспокойством, чем безрассудством, поскольку и первое, и второе — классические черты писателя, любителя необычайного и обеспокоенного судьбами мира. Речь идет о романе «Русский отдел» [1]. Но эта попытка не стоила бы пространных о ней рассуждений, если бы писательская интуиция Ле Карре не нащупала в русском материале важной исторической константы, поставившей роман на ноги.

Я говорю о мотивах, побудивших советского физика по прозвищу Гёте переслать на Запад секретную информацию военного значения. По сути дела, весь роман построен на анализе этого *идеалистического* предательства (задуманного во имя мира на Земле), которое вызывает бурю толков и кривотолков со стороны всех персонажей. Книга распадается на две части с хронологически перемешанными между собою главами, действие которых происходит попеременно то в Советском Союзе, то на Западе. Над поступком Гёте ломают себе головы как британская, так и американская разведки.

Читатель медленно втягивается в повествование, и в той медлительности чувствуется намерение автора заставить шпионскую историю скорее не развлекать, а работать над решением серьезных мировых проблем. Насколько это адекватно жанру, сказать с уверенностью трудно, поскольку роман отвечает и «да» и «нет» на этот общий вопрос.

По-моему, роману явно не хватает динамизма, особенно в начальных главах, когда знакомство читателя с героями надолго откладывается. На первом плане возникают персонажи вроде Ники Ландау, которым затем в романе делать решительно нечего. Случайный почтальон секретной рукописи, Ники Ландау нужен автору лишь для запуска повествования, которое начинается с испытания этого промежуточного героя на прочность. В самом деле, приехать в Москву на какое-то незначительное издательское мероприятие и получить предложение от таинственной русской незнакомки и безусловной красавицы, которая случается только в шпионских романах, продемонстрировать себя героем не в постели, а в деле нелегальной перевозки рукописи, вещь, конечно, нешуточная. Надо, правда, добавить, что герой не до конца справляется с нею. Не на высоте оказывается и героиня. Но недоверие возникает скорее к самому автору, что уже хуже.

В свете огромного диссидентского опыта, накопленного в брежневское время по пересылке рукописей за границу, весьма наивно выглядит автор, сочиняющий вариант столь необдуманного и легкомысленного поступка со стороны героини, явно не дуроч-

[1] Роман «Русский отдел» опубликован в «ИЛ», № 5—7, 1990. Перевод с английского И. Гуровой и Е. Рождественской.

ки в издательских делах, поскольку она сама служит в советском издательстве. Понятно, что в реальной жизни она не стала бы подвергать испытанию незнакомого и неопытного английского издателя, который всю ночь напролет проводит в страхе перед возможным его разоблачением на шереметьевской таможне. Боязнь Ники, вызывающая если не сочувствие, то сострадательную улыбку, понятна, но непонятно, чем руководствовалась героиня, идя на этот неосмотрительный шаг.

Такие отчаянные поступки и просьбы обычно оказывались анекдотическим приложением к диссидентским делам, о чем с юмором писал Владимир Буковский в книге «И возвращается ветер...», рассказывая, как однажды московский алкоголик пытался предложить болгарскому туристу какую-то ультрасекретную деталь с секретного завода, впрочем, по чисто коммерческим соображениям.

Поведение красавицы Кати в конечном счете привело к тому, что рукопись попала не к английскому издателю книги, а, по милости Ники, к английской разведке, которой она отнюдь не предназначалась. В сущности, Ники с Катей все напортили, введя в заблуждение не только персонажей книги, но и ее читателей.

Однако это мелочь по сравнению с характером самой «секретной» рукописи. В ней, судя по описанию, приводятся доказательства того, что́, опять-таки в форме диссидентского фольклора, пародирующего официальные лозунги, известно давно, но что сам Гёте преподносит в своем дневнике как собственное открытие: «Наш величайший прогресс — в отсталости! Советский паралич — самый прогрессивный в мире!»

Итак, Гёте стремится обосновать распространенный анекдот с помощью математических выкладок, но не совсем понятно, почему его доказательства сводят с ума западные разведки. То, что страна находится в тяжелом экономическом состоянии, уже ни для кого не секрет даже в СССР на третьем году перестройки. Сама перестройка во многом вызвана этим отставанием, тем, что страна очутилась, по мягкой формулировке властей, в «предкризисном состоянии», а на самом деле на краю пропасти.

Казалось бы, выкладки Гёте о развале также в военном деле должны были только обрадовать ястребов из западных спецслужб, которые и в самом романе ликуют по этому поводу. Так чем же вызван такой переполох среди шпионов? Почему наиболее консервативно мыслящие из них яростно настаивают на том, что рукопись Гёте — фальшивка и дезинформация?

Рукопись Гёте, если я что-нибудь понимаю в этих вещах, могла быть скорее двояко интерпретирована, а не так однозначно, как в романе Ле Карре. В книге основной сюжет строится не на какой-либо политической альтернативе, а исключительно на отчаянной необходимости шпионской проверки информации Гёте с целью защиты интересов Запада.

Итак, если с самого начала роман дважды споткнулся о достаточно очевидные вещи, он невольно читается дальше с некоторым подозрением, которое, впрочем, ослабляется благодаря достоверности описания главного героя.

Барли Блейр, которому предназначалась рукопись Гёте, показался мне поначалу слишком похожим на Ники, почти что его двойником, но потом он развился в самостоятельную фигуру и постепенно привлек меня своими невыдуманными достоинствами. Пьяница и, в сущности, неудачник, Барли показан у Ле Карре человеком, который готов постоять за свои убеждения. По-моему, это наиболее удачный персонаж книги, видимо близкий самому автору.

Когда британская разведка пытается завербовать Барли в Лиссабоне, где он очутился по собственному капризу, Барли неподражаем, неподражаем именно в роли свободного, неподкупного англичанина, который с очевидной брезгливостью относится к любой спецслужбе мира, включая собственную. Почему же, однако, он соглашается участвовать в операции по обнаружению и проверке Гёте? Кажется, только по той причине, что они с Гёте единомышленники.

Барли заключает в себе всю краткую энциклопедию современного европейского либерализма, изложенную почти тезисно в рассказе о его знакомстве с Гёте на подмосковной даче: «Я сказал, что верю в Горбачева... Я сказал, что если бы американцы так же сильно заботились о разоружении, как о том, чтобы высадить на Луне какого-то дурака или снабдить зубную пасту розовыми полосками, то мы бы разоружились давным-давно... Я сказал, что, бряцая оружием, Запад дал советским лидерам повод держать свои ворота на запоре и превратить государство в гарнизон».

У Ле Карре возникает убеждение, что подобные (вполне тривиальные) слова могут пленить Гёте и бросить обоих мужчин в дружеские объятья, хотя на самом деле Гёте, вовсе не простофиля, скорее всего сказал бы Барли то же, что тот услышал из британских шпионских уст: «Но вы ему *поверили*, Барли? Он вас дурачил?»

Вопрос не в том, насколько ошибочны либеральные суждения, а в том, что они совершенно не были популярны среди советского диссидентского движения, настроенного в общей массе скорее по-рейгановски. Это движение, к которому бесспорно принадлежит и сам Гёте, всегда приводило в отчаяние европейских либералов, которые, с одной стороны, хотели ему помочь, но, с другой, ужасались его консерватизму и неумеренному американизму. Между тем у Ле Карре Гёте высказывается в пользу Европы и Англии в противовес именно Америке и самой России. Гёте, в пересказе того же Барли, «говорит, что любит англичан. Англичане — нравственные лидеры Европы... Говорит, что англичане понимают взаимосвязь слова и дела, а в России в дело больше никто не верит... Говорит, что беда русских в том, что они мечтают стать европейцами, но их жребий — стать американцами, а американцы отравили весь мир материалистической логикой».

Боюсь, что здесь много напутано. Диссиденты скорее обладали наивной верой в Америку, и вряд ли кто из них — даже не столько из-за недостатка информации, сколько из упрямства — утверждал, что Америка отравила мир материалистической

логикой. Американский миф слишком силен в прозападной части советского общественного мнения, чтобы Гёте мог так просто от него отмахнуться. В общем, вряд ли Гёте, услышав от Барли его катехизис либерализма, взял бы его в свои сообщники.

Но в романе Гёте совершает еще более опасное преступление относительно диссидентского кодекса чести. Речь заходит о малоизвестном, не только на Западе, но и в России, русском писателе XIX века Печерине (1807—1885), который отличался своим западничеством, принял католицизм и уехал в Ирландию, где стал монахом. Печерин остался знаменит главным образом благодаря четверостишью, от которого до сих пор бросает в жар идеологов националистического объединения «Память» и которое звучит в «Русском отделе» в таком переводе: «Как сладко ненавидеть свою страну и жадно ожидать ее гибели... и в этой гибели различить зарю всеобщего возрожденья».

Эти строки, я думаю, не понравились бы любым, не только российским, националистам. Но в России недаром еще с Лермонтова было принято любить родину «странной любовью», в которой ненависть к режиму сочетается с болью за угнетенный народ. Когда же Барли спрашивает Гёте, отчего тот не следует за Печериным на Запад, то выясняется, что «Гёте сделать так не может, потому что не получит визу, и вообще, он не любит Бога». Насчет визы все ясно, а вот то, что он не любит Бога,— это полная невозможность.

Бог в советской России, хотя и не так очевидно, как в Польше, был всегда символом неповиновения и нонконформизма, и потому среди диссидентов быть атеистом было стыдно (как, впрочем, сейчас среди писателей и русской интеллигенции вообще), а богохульствовать — позорно.

Все эти неточности, однако, не отменяют значимости разговора о смысле предательства, любимой темы Ле Карре не только в этой книге. Гёте развивает эти идеи, ссылаясь на опыт Печерина: «Печерин показал, что в предательстве нет вероломства, если предают то, что ненавидят, и борются за то, что любят. Теперь предположим, что Печерин располагал ключом к великой тайне русской души. Что бы он сделал? Яснее ясного. Он бы передал этот ключ англичанам».

Вот эта тема наиболее оригинальна в романе, и размышление Гёте, обратившегося к не известному каким бы то ни было шпионам Печерину, является лучшим алиби его идеализма. В России, как и в любой другой стране с невыносимым и подлым режимом (вспомним нацистскую Германию), проблема предательства стояла очень остро в течение многих веков. Предательство рассматривалось как дело чести и бесчестия со времен князя Курбского, перешедшего на сторону Литвы в борьбе против тирании Ивана Грозного. Его аналогом в XX веке оказался генерал Власов, перешедший на сторону немцев для борьбы со Сталиным.

«Невозвращенцами» оказались молодые русские люди, посланные правительством в XVII веке в Европу для обучения в университетах: никто из них не вернулся назад. Революционные партии в России нередко охотно шли на любые меры, вплоть до терроризма и государственного предательства, с тем чтобы противостоять режиму. Как известно, и Ленин обвинялся в сговоре с немцами, пропустившими его в начале Февральской революции в знаменитом пломбированном вагоне через свою территорию, чтобы способствовать деморализации России в войне.

Тема государственного предательства, наказуемого в России свирепо, нередко смертной казнью, часто выглядела темой национального спасения, поскольку сам режим рассматривался как антинациональный. Традицией стали антирежимные публикации за границей для многих поколений русских и советских диссидентов и писателей, от Герцена до Солженицына, Синявского и Даниэля, а также авторов литературного альманаха «Метрополь», в котором я тоже принял участие в 1979 году. По собственному скромному опыту знаю, что ни один диссидент не рассматривал «тамиздат» (публикации за границей) как предательство (военные секреты, наверно, не случайно не были темой этих публикаций), но как вызов обанкротившимся властям, а стало быть, как патриотический поступок.

В этом смысле идеи Гёте (заострение щекотливой военной темы я отношу здесь к условностям шпионского жанра и не обсуждаю по существу) лежат в русле антитоталитарной традиции, и, с точки зрения русского инакомыслия, их можно если не оправдать, то объяснить. В своей философии предательства Ле Карре верно обнаружил русский вариант универсальной проблемы.

Я бы прибавил к этому и тот любопытный факт, что само по себе писательство имеет характер предательства, о чем подозревают, наверное, немало писателей, поскольку существует определенная метафизика писательства, связанная с произнесением непроизнесенного, запретного и сокровенного. И когда в романе Ле Карре тема предательства — метафизика предательства! — переплетается с писательской метафизикой, возникает глубокий эффект достоверности темы, независимо от того, в каком конкретном жанре реализуется эта тема.

Правда, сам автор — утверждающий устами Барли, что если и суждена нам какая-то надежда, то «мы все должны были бы предать свои страны»,— остается скорее всего английским патриотом. Он настаивает на явном моральном превосходстве англичан перед американцами на примере столкновения мнений двух национальных разведок и с особой нежностью создает портреты таких обаятельных, гуманных английских шпионов, как Нед и Гарри, верящих в искренность Гёте. Признаюсь, однако, что все эти (гуманные и негуманные) герои «невидимого фронта», как называют разведчиков в России, не вызвали у меня ничего, кроме смутного чувства отвращения, связанного с их непосредственными функциями, с их копанием в грязном белье и верой в незыблемое право лезть в личную жизнь каждого человека, верой, которая, разумеется, не может не привести их к этакому шикарному цинизму, достойному героев худших романов. Особенно гнусно выглядят шпионы со своими вечно меняющимися, при-

врачными именами, когда они проверяют искренность Барли на засекреченном американском острове в Атлантике при помощи детектора лжи. Это уже похоже на пытку.

Возможно, я не большой ценитель шпионских романов вообще, поскольку подозреваю, что их психологичность является слишком покорной служанкой сюжета. Эта зависимость вызывает у меня тоску, а «шпионский» психологизм кажется мне душным и мучительным. Меня мало волнует вопрос о том, нужны или нет шпионы в современном обществе, но есть профессии, общественная функция которых, может быть, и полезна, но уж больно противна. Тем более неуклюжей мне показалась некоторая, может порой и невольная, романтизация этой профессии у Ле Карре, сходная с романтизацией проституции или гангстерства.

Что же касается русских сцен, то автор оказался здесь и наблюдательным, и тонким, и остроумным. Он верно передал атмосферу всяческих книжных ярмарок, приемов и объятий, пустых слов и фальшивых братаний между издателями, писателями и всякими сомнительными окололитературными людьми, этот угар похмелья и амикошонства, который вечно там возникает, и эту вечную убежденность иностранцев в том, что Россия похожа на огромный бар, где нужно наливаться как нигде под одобрительный хохот русских хозяев. Точно сказано и о специфическом запахе бензина в Москве, и о тонкостенных перегородках в современных московских домах, отчего невидимые соседи становятся навязчивыми партнерами вашей жизни, и, наконец, о горько-сладких размышлениях самого Барли, почему ему нравится, несмотря ни на что, возвращаться в Россию.

Но что делать, однако, с Катей, как оценить эту экзотическую русскую красавицу? Только вот русская ли она? На этот счет у меня большие сомнения. Не говорю уж о том, что она изъясняется на немыслимо прекрасном английском языке XIX века, который, может быть, теоретически и пришел к ней, как считает Ле Карре, из *незапрещенных* книг классического прошлого (хотя в основном в России предпочитают по-английски читать не Джейн Остин, а книги вроде «Русского отдела»), но который практически должен был воплотиться в недурном, допустим, но все-таки «Russian English», этом неистребимом зле, детище «железного занавеса».

Дело, впрочем, даже не в идеологическом занавесе, а в занавесе ментальном. Катя — порождение слишком очевидного западного писательского воображения, слишком европейской ментальности, чтобы быть хоть немножко русской. Все, что в ней русского, это машина «Лада» и «Жигулевское» пиво, которое Барли распивает с нею на пикнике, то есть внешние детали и атрибуты.

Это извечная проблема, и Ле Карре не первый и не последний западный писатель, кто представляет русскую женщину в качестве чисто западной заложницы чудовищной восточной деспотии, оказавшейся тем не менее не затронутой этой деспотией, хотя живет она в ней с рождения. Правда, Катя вроде бы *по-русски* жертвенно любит Гёте, однако их отношения слишком абстрактны, чтобы выглядеть убедительно. Понятно, что в *идеальную* Катю, с идеальными длинными ногами, идеальным телом и идеальным юмором, страстно влюбляется Барли, забыв о своей шпионской миссии настолько, что сдается советским «коллегам». Это трогательное предательство во всяком случае решительно сентиментально и, кажется, обещает кончиться, по случаю смерти затравленного шпионами разных стран Гёте, счастливо и матримониально.

Возможно, я излишне строг к шпионской истории, не претендующей на исчерпывающий психологизм. Возможно. Но сам Ле Карре поставил перед собой амбициозную цель разобраться в судьбах современного мира. Роман недостаточно увлекателен, чтобы быть чисто шпионским романом, и недостаточно точен, чтобы соответствовать требованиям психологической прозы. Получилось нечто среднее, конечно, весьма и весьма добротное, как это и должно быть у такого маститого автора, как Ле Карре, но эту середину мне все-таки трудно назвать золотой.

УОЛТЕР ЛАКЁР

НАСТАВНИКИ ГИТЛЕРА

Главы из книги «Россия и Германия»

Перевод с английского О. СОЛОВЬЯНОВОЙ

Сегодня на просторах нашей неспокойной, охваченной политическими страстями страны все чаще звучит одно и то же обвинение, слово-приговор, которое бросают друг другу люди совершенно противоположных взглядов и убеждений: «Фашисты!» Значит ли это, что «фашист» для наших соотечественников — всего лишь ругательство, обозначающее набор любых неприемлемых для данного человека политических воззрений? И да, и нет. Безусловно, страшная травма, нанесенная войной, помешала нам спокойно, аналитически разобраться в сути и истоках нацистского движения, а значит, и извлечь соответствующие уроки — эту задачу еще предстоит выполнить нашей исторической науке, которая только теперь становится действительно наукой. На Западе же работа по изучению феномена фашизма проведена обстоятельно и скрупулезно еще в первые послевоенные десятилетия. Мы предлагаем вниманию читателя главы из книги Уолтера Лакёра «Россия и Германия», проливающие новый для нас свет на тему идеологических корней немецкого национал-социализма.

Когда эта книга впервые вышла в 1966 году, она заинтересовала главным образом историков. Однако в минувшем году книга была переиздана в Соединенных Штатах и вызвала интерес куда более широкий и острый. Не потому ли, что сегодня как никогда ясно, насколько живучи корни, питавшие фашизм? Не потому ли, что мир чувствует угрозу, исходящую от нашей огромной, мятущейся (и неизвестно, в каком направлении идущей) страны? Для нас актуальность книги У. Лакёра тем более очевидна. Ведь яростнее всего взаимные обвинения в фашизме звучат в той самой Прибалтике, которая дала нацизму Розенберга и Шёбнер-Рихтера, «героев» первой из публикуемых глав. А в Москве и бывшем Петербурге живы и здоровы идейные наследники персонажей второй главы, черносотенцев, познакомивших нацистов с «Протоколами сионских мудрецов» и концепцией «жидомасонского заговора». Неужто все повторяется — и так скоро?..

Профессор Уолтер Лакёр — один из самых авторитетных зарубежных историков-славистов; он является председателем Международного исследовательского совета при вашингтонском Центре стратегических исследований и одновременно директором лондонского Института современной истории. Его интерес к нашей стране не только научного свойства: несколько поколений предков У. Лакёра жили в России и даже оставили в ее истории и культуре некоторый след. Так, лекарь Борис Лакиер в 1825 году подписал документ, вызвавший впоследствии столько толков,— свидетельство о смерти Александра I, за что и получил российское дворянство, а его сын Александр Лакиер в 1855 году опубликовал труд «Русская геральдика», переиздаваемый и поныне. Их потомка Уолтера Лакёра можно назвать уже постоянным автором нашего журнала: в 1988 году (№ 3) мы напечатали его статью «Купить в Москве книгу», в 1990 году (№ 2) — главу из книги «Долгий путь к свободе».

Наставники Гитлера

В хаосе, вызванном первой мировой войной, в ряде европейских стран одержали победу партии экстремистского толка. Радикальные движения, как правые, так и левые, существовали в Европе и до 1914 года, но лишь благодаря военной разрухе, сопутствующему ей политическому и экономическому кризису и роковому ослаблению традиционных сил они смогли реально претендовать на политическую власть. Итальянский фашизм и германский национал-социализм являлись движениями контрреволюционными, но было бы заблуждением сводить их суть к одной только контрреволюционности. Вознесшая их к власти националистическая волна была поднята крайне правыми, но динамичность фашистского движения привела к тоталитаризму, намного превосходившему традиционные концепции и правых, и левых.

Первое столкновение нацизма и большевизма произошло в 1919 году, когда молодой советский режим вел борьбу за свое существование как с внутренними врагами, так и с интервентами, а нацистская партия была всего лишь региональной группой, не обладавшей сколько-нибудь существенным политическим весом. Казалось, какое может иметь значение, что думал о России и коммунизме в то время Гитлер, фигура малозаметная даже на мюнхенской сцене, не говоря уже о всей Германии. Но на самом деле это имеет значение, и немалое, так как именно между 1919 и 1923 годами сформировалось мировоззрение Гитлера и его партии. Он ненавидел евреев и испытывал традиционную для австрийских националистов антипатию к славянам. Однако если не считать этих двух идей или предрассудков, в 1919 году Гитлер был еще в значительной степени «чистой страницей». А к 1923 году его взгляды окончательно сформировались и с тех пор существенным образом не менялись.

На первый взгляд, не так уж трудно определить, какие политические воззрения повлияли в этот ранний период на отношение Гитлера к коммунизму и Советскому Союзу. Большинство действующих лиц, их поступки, высказывания, письменные свидетельства известны — все это достаточно подробно можно подтвердить документами. Имеются, однако, трудности другого рода: исследователь вынужден обращаться к предметам, казалось бы, достаточно отдаленным. В те годы весьма значительное влияние на Гитлера и его партию имели прибалтийские немцы и их друзья из крайне правого крыла русской эмиграции. Сам Гитлер много лет спустя шутя сказал, что газета «Фёлькишер беобахтер» («Народный обозреватель») тогда на самом деле должна была бы называться «Мюнхенер беобахтер — балтише аусгабе» («Мюнхенский обозреватель — балтийское издание») [1]. Российские корни национал-социализма не могут быть проанализированы без ссылки на события и политические движения дореволюционной России — такое, например, как протофашистский «Союз русского народа». Точно так же огромное влияние «Протоколов сионских мудрецов» не может обсуждаться вне более широкой тематики, касающейся сотрудничества экстремистов правого толка России и Германии еще в 80-е годы XIX века. Это, в свою очередь, выводит на проблемы истоков фашизма и современного антисемитизма. В Германии религиозный антисемитизм весьма явственно перешел в антисемитизм расовый, тогда как в России имелись куда более тесные связи между крайне правыми, церковью и монархией. Русское крайне правое крыло так и не оформилось окончательно; оно предприняло несколько неуверенных шагов по направлению к социальной демагогии и фашистским методам, но по существу оставалось старомодно реакционным и поэтому гораздо менее притягательным в социальном и политическом смысле. То же можно сказать и о прибалтийских немцах, игравших столь заметную роль в ранние годы нацистского движения; люди типа Шёбнер-Рихтера и Розенберга (несмотря на антихристианские убеждения последнего) были, по своей сути, крайне консервативными. Они внесли важный вклад в политику и идеологию национал-социализма — но более радикальное, революционное начало в нацизме имело иной источник. Влияние этих людей на Гитлера действительно было очень велико — до поры до времени; однако Гитлер, удивительно способный ученик, был также крайне избирателен. Он сразу понял, например, огромные возможности «Протоколов» и взял их на вооружение; в то же время он не стал воспринимать слишком всерьез общие теории Розенберга и был низкого мнения о русских эмигрантах правой ориентации после того, как те продемонстрировали в 1919—1922 годах свою политическую беспомощность. Но это предвосхищение событий; в 1920 году Гитлер был всего лишь лидером одной из многих разобщенных группок, поэтому фолькс-дойче из Риги и русские из Москвы, обладавшие более значительными политическими и финансовыми возможностями, казались ему важными потенциальными союзниками.

В 1919—1920 годах вслед за разбитыми белыми армиями в центральной Европе по-

---

[1] «Тайные беседы Гитлера» (издательство Сигнет). Единственный автор, обративший внимание на огромную важность «русских корней» национал-социализма,— это Анри Роллен («Апокалипсис наших дней», Париж, 1939). Эта работа особенно важна, поскольку в ней рассказано о происхождении «Протоколов сионских мудрецов» и их распространении. Все же она почти неизвестна, так как появилась незадолго до нацистского вторжения во Францию, вследствие чего большинство копий было уничтожено. Более всего я признателен профессору Норману Кону, исследовавшему происхождение «Протоколов» и обратившему мое внимание на эту книгу. Роллен, насколько мне известно, первый подчеркнул влияние «послания», принесенного в Германию из России людьми типа Винберга и Шабельского-Борка. Его книга, содержащая огромное количество документальных материалов, имеет явную слабость: автор увереннее чувствует себя при описании событий в России и Франции, но меньше знаком с германскими делами. Даже при этом названная работа, опубликованная зимой 1939 года, более ценна, чем большинство литературы по нацизму, появившейся после второй мировой войны. И остается очень сожалеть, что она не была переиздана и переведена. *(Здесь и там, где не указано особо, прим. автора.)*

явилось много русских беженцев, но лишь малая их часть имела политические убеждения, а «идеологов» было еще меньше. В России некоторые из «идеологов» принадлежали к крайне правым или переместились вправо во время гражданской войны; теперь они осели в Берлине и Мюнхене и искали контактов со сходно мыслящими партиями и политическими деятелями. В результате этих поисков они стали сотрудничать с лидерами националистических и расистских фракций — графом Ревентловом, фельдмаршалом Людендорфом, антисемитскими группами и антибольшевистскими лигами, возникшими в 1917—1918 годах. Ни одна из этих организаций не являлась массовой, но начинали поговаривать о новой группе, только что возникшей в Мюнхене и присвоившей себе название «Национал-социалистическая рабочая партия Германии». Говорили, что ее возглавляет необычайно одаренный лидер, бывший солдат, способный сделать свою небольшую организацию великой и долгожданной политической партией самой правой ориентации. Некоторые из прибалтийских беглецов от русской революции отправились на разведку и в результате вступили в новую партию; скоро они заняли в ней ведущие позиции. Они привели с собой кое-кого из своих русских друзей, на которых бывший ефрейтор, превосходный и мощный оратор, произвел изрядное впечатление. Те тоже решили помочь новой партии. Комбинированное влияние прибалтийцев и русских эмигрантов было ощутимо на самых разных уровнях. Это было, во-первых, идеологическое влияние: как это будет видно из дальнейшего, россияне привнесли в нацистскую идеологию некоторые важные пункты. Кроме того, они были политическими наставниками и оказывали финансовую помощь, которая, возможно, имела решающее значение в определенные критические моменты ранней истории нацистской партии. Как позже скажет Гитлер, нацистская партия в то время была еще хрупким растением.

Какие только влияния не исследовались в поисках истоков национал-социализма — вплоть до самых мудреных и невероятных, однако наиболее реальное и существенное воздействие, оказанное изгнанниками из России, обычно оставалось вне поля зрения. Есть две причины этой оплошности: историкам нацистского движения было неинтересно (а некоторые, возможно, были недостаточно квалифицированны) изучать веяния, пришедшие с Востока; вероятно, также сыграли свою роль языковой барьер и огромная трудность в просмотре исторических источников. Есть другое, возможно, более подходящее объяснение: последующие события заслонили происходившее в ранний период. С годами влияние прибалтов ослабело; фон Шёбнер-Рихтер был убит еще в 1923 году, а Розенберг, проявив себя бездарным политиком и организатором, быстро утратил значение. То же относится и к правому крылу русской эмиграции — оно перестало представлять интерес для нацистов после того, как партия Гитлера превратилась в массовое движение. С конца двадцатых отношения этих двух движений носят уже односторонний характер. Определенные группы русской эмиграции пленились чарами нацизма, но сами больше не имели влияния на Гитлера, считавшего их политическими неудачниками, а то и просто надоедливыми субъектами.

Эти более поздние события не должны, однако, заслонять (как это произошло) тот факт, что одно время Шёбнер-Рихтер был главным политическим помощником Гитлера, что теории Розенберга имели сильное влияние на формирование мировоззрения Гитлера, пусть даже тот и не признавал этого влияния, и что в целом значение некоторых русских кругов — ввезших в Германию «Протоколы сионских мудрецов» и делавших тайные взносы в нацистскую казну — между 1919 и 1923 годами было очень велико. Пятнадцать лет спустя человек, принадлежавший к этим кругам, утверждал, что «скромнейший книжный магазин» (Мауерштрассе, 15, в Берлине, где «Протоколы» можно было купить на русском и английском), «известный сначала только немногим, затерянный среди многочисленных оживленных улиц, тем не менее был штабквартирой народного движения, которое через десять лет привело к власти Адольфа Гитлера». О Шёбнер-Рихтере тот же автор пишет, что «он в буквальном смысле заложил основы движения, приведшего Гитлера к власти». Такие утверждения, безусловно, преувеличены; в 1933 году каждому хотелось вскочить в нацистский поезд и выглядеть «альтер кемпфером» (ветераном). Но за напыщенностью и приукрашиванием здесь есть доля истины, которая заслуживает исследования.

В январе 1919 года, через несколько недель после окончания первой мировой войны и свержения в Германии монархии, мюнхенский слесарь Антон Дрекслер основал в пригородной пивной новую политическую группу, Германскую рабочую партию. В то время политические партии росли как грибы, в основном они были немногочисленны и не пользовались влиянием. Партия Дрекслера была, без сомнения, одной из самых маленьких, так как даже много месяцев спустя она насчитывала не более полудюжины членов. Местное командование рейхсвера, наблюдавшее за всеми крайне правыми группировками и, в определенной степени, сотрудничавшее с ними, не обошло вниманием и эту миниатюрную партию. 12 сентября 1919 года Адольф Гитлер, ефрейтор, имевший временное и неофициальное звание «бильдунгсофицир» (политический офицер), направился в мюнхенскую пивную «Штернекер», чтобы впоследствии сделать командованию отчет о группе Дрекслера. После встречи Гитлер, не без колебаний, решил вступить в нее. Вскоре он стал основным пропагандистом группы; его публичные выступления пользовались огромным успехом, и количество присутствовавших на партийных митингах постоянно увеличивалось; но руководство партией Гитлер взял на себя лишь в июле 1921 года, до этого времени ею управлял комитет.

Партия продолжала расти и распространилась из Мюнхена в другие баварские города; для терроризирования врагов были созданы отряды штурмовиков (СА), а в январе 1923 года в Мюнхене нацисты провели

первый райхспартайтаг, всегерманский съезд. Формально партия считалась региональной (баварской), но слава о ней гремела по всей Германии, и Адольф Гитлер стал фигурой в германской политике еще до неудавшегося путча в ноябре 1923 года, на время приостановившего деятельность нацистов.

Нелегко воссоздать во всех подробностях политическую платформу ранней нацистской партии; известно, что ее программа была опубликована уже в феврале 1920 года и партия организовывала бесчисленные митинги и демонстрации, но летопись ее ранних дней неполна. В большинстве случаев сохранились только конспекты речей. Лишь в декабре 1920 года партия получила свой официальный печатный орган «Фёлькишер беобахтер». В общих чертах главное направление партии было предельно ясно: она стояла на крайне правых позициях, ее основная пропаганда была направлена против «ноябрьских преступников» (социал-демократов и демократов), нанесших победоносной германской армии удар в спину и одобривших Версальский договор; она ратовала за Великую Германию («Гросдойчланд»), в особенности же отличалась антисемитизмом, так как «евреи являются причиной всех наших бед». В то время в Германии было много таких групп; нацистская партия выделялась наибольшей радикальностью подхода, предельно разнузданной пропагандой.

Принято считать, что Гитлер с самого начала был неистовым антикоммунистом; успех его партии в Мюнхене и в самом деле можно объяснить реакцией среднего класса (и его низших слоев) баварской столицы на недолго просуществовавшую советскую республику апреля 1919 года. Однако при внимательном изучении этот тезис вызывает сомнение: Гитлер и нацистская партия на самом раннем этапе своего существования никоим образом не рассматривали коммунизм как основного врага и главную угрозу немецкому народу. Такую позицию они заняли только позднее, когда опасность коммунизма на самом деле уже пошла на убыль. Среди сформулированных Гитлером пропагандистских тезисов «борьба против марксизма» занимала третье место после борьбы с евреями и борьбы с мирными договорами. Более того, в девяти случаях из десяти под марксизмом подразумевались правящие социал-демократы, а не коммунисты. Это ясно, между прочим, из любопытной и малоизвестной книги Дитриха Эккарта «Большевизм от Моисея до Гитлера: мой диалог с Адольфом Гитлером» [2]. Дитрих Эккарт, один из первых членов партии, критик и поэт, много средств вносивший в партийную кассу, оказал большое влияние на формирование взглядов Гитлера. Но, несмотря на внушительное название, в этой книге (в которой два лидера рассуждают вслух) практически нет ничего о коммунизме; там есть высказывания о еврейской истории, Талмуде и многих других вещах, включая и социал-демократию от Эберта до Мартова,— но ничего о большевизме. Возможно, это не столь уж удивительно, так как отношение нацистов к немецким коммунистам, на которых они стремились иметь влияние и которых, по возможности, надеялись привлечь на свою сторону, безусловно, не было таким последовательным, как принято описывать. Например, осенью 1919 года Дитрих Эккарт и Готфрид Федер появились в Нюрнберге, безуспешно пытаясь завоевать приверженцев среди местных коммунистов. Несколько месяцев спустя в речи на партийном собрании в Мюнхене Эккарт сказал, что коммунисты немецкого происхождения в достаточной степени идеалисты; сами того не осознавая, они тоже трудятся ради общего блага — то есть ради спасения Германии. В статье «Германский и еврейский большевизм», напечатанной в его собственном журнале, Эккарт прямо выступил в поддержку того, что он называет «германским большевизмом», призывая богачей добровольно отказаться от прибылей. Подобно Гитлеру, он поддержал призыв Федера к свержению «процентного рабства» — этот лозунг впервые появился в газете Эккарта и впоследствии стал неудачным пунктом в программе нацистской партии.

Граф Ревентлов, позднее — один из нацистских вождей в Берлине и член рейхстага, продемонстрировал подобное же непостоянство: он был одним из основных пропагандистов «Протоколов сионских мудрецов» в Германии, но это не мешало ему заигрывать с Радеком и даже писать для «Роте фане», центральной газеты немецких коммунистов. Аналогичные несообразности можно обнаружить даже в выступлениях Гитлера того же периода. На встрече с австрийскими национал-социалистами в Зальцбурге в августе 1920 года он заявил, что предпочел бы быть повешенным в большевистской Германии, чем обрести спасение в Германии французской. На митинге в Мюнхене в феврале 1921 года Гитлер сказал, что уж лучше пусть 500 тысяч винтовок отдадут (немецким) коммунистам, чем Антанте. Это были не случайные оговорки; внимательное изучение ранней нацистской литературы и деятельности показывает, что коммунистический вопрос в те дни для Гитлера и его политических друзей был второстепенным. С 1921-го и в течение 1922 года отношение к коммунизму постепенно менялось, и этот процесс в целом завершился в 1924 году, когда Гитлер написал «Майн кампф». Антикоммунистические идеи Гитлер воспринял главным образом от эмигранта из Прибалтики и российского подданного Альфреда Розенберга. Последний приехал в Мюнхен зимой 1918—1919 года и вступил в нацистскую партию, когда она насчитывала менее двухсот членов. Между ранними антирусскими и антикоммунистическими речами Гитлера, соответствующими страницами из «Майн кампф» и работами Альфреда Розенберга можно установить текстуальное сходство. Макс-Эрвин фон Шёбнер-Рихтер, другой эмигрант из Риги, также имел большое влияние на Гитлера [3],

[2] Мюнхен, 1924 г. Беседы в действительности были записаны в 1922—1923 гг. Была обещана, но так и не издана вторая часть. Эккарт умер в 1924 г., когда Гитлер находился в Ландсбергской тюрьме. В 1942 г. он сказал об Эккарте: «Он блистал в наших глазах как Полярная звезда... в то время интеллектуально я был еще грудным ребенком» («Тайные беседы Гитлера», с. 222).

[3] По поводу влияния Шёбнер-Рихтера большинство историков единодушны, начиная с одного из первых антинацистов — Конрада Хайдена, писавше-

и благодаря ему тот познакомился с некоторыми известными русскими эмигрантами правого крыла, устроившими свою штаб-квартиру в Мюнхене,— многообещающий выбор для русского Кобленца.

Именно там Гитлер заимствовал идею антибольшевизма в качестве центрального пункта нацистской идеологии и пропаганды, приравняв большевизм к мировому еврейству. В какой мере Гитлер действительно верил во все это (как верили Розенберг и Шёбнер-Рихтер, фанатичные антикоммунисты) или же просто считал это полезным для внутренней политики мифом и хорошим двигателем внешней политики — уже другой вопрос.

Но в данном случае не так важно, верил Гитлер в свою собственную пропаганду или нет, важен ее результат. На протяжении всей своей политической жизни Гитлер испытывал тайное восхищение перед Сталиным и русским большевизмом, не распространявшееся, впрочем, на немецких коммунистов. То же можно сказать о Геббельсе и некоторых других нацистских лидерах. Совсем другим было отношение прибалтийских немцев Розенберга и Шёбнер-Рихтера: они первые столкнулись с большевизмом и были против любого компромисса или полумер по отношению к нему. Они, как и немецкие националисты в Австрии, были бо́льшими патриотами, чем сами коренные жители Германии. В Прибалтике это было сравнительно недавним явлением; примерно до 1905 года тамошние немцы были верными подданными царя, но начиная с революции 1905 года эта традиционная преданность стала иссякать. За десятилетие между 1905 и 1914 годами идеологическая и политическая лояльность лидеров прибалтийских немцев существенным образом переменилась. Не все прибалтийские немцы поддерживали своих лидеров, но как единая группа они чувствовали серьезную угрозу нарастающей волны латвийского и эстонского национализма, с одной стороны, и радикальных социалистических атак на их социальное и политическое главенство, с другой [4].

И революционные события 1905 года, и последовавшие за ними репрессии носили в Прибалтике характер более ожесточенный, чем в какой-либо другой части Российской империи. Во время восстания 1905 года крестьяне и рабочие разрушили много баронских усадеб, а во время «усмирения» к смерти были приговорены 700 агитаторов, не считая убитых без суда. У прибалтийских немцев росло ощущение изолированности, они осознали, что царь, их традиционный защитник, более не способен им помочь. В этих обстоятельствах единственным логическим выходом было сближение с Германией. Конечно, тесные культурные связи существовали всегда; теперь к ним добавилась идеологическая переориентация. Неудивительно, что прибалтийские немцы проявили особый интерес к возрождавшимся в вильгельмовской Германии расовым и империалистическим идеям. Члены высокопоставленных семей, такие как Штакельберг и Мантейфель-Кацданге, исповедовали экстремистские националистические взгляды и дома и в рейхе. Поколение розенбергов и шёбнер-рихтеров выросло именно в этом политическом климате, в период между началом века и русской революцией. Во время первой мировой войны оно приветствовало вторжение кайзеровской армии, а после великих потрясений 1919 года многие из этого поколения предпочли эмигрировать в Германию, прежде всего представители интеллигенции, не связанные с Прибалтикой имущественными или деловыми интересами.

Прибалтийцы, одно из самых немногочисленных германских племен, были в то же время одной из самых культурных и общественно активных немецких групп. Их политическое влияние в Германии было совершенно несравнимо с их численностью. Некоторые являлись видными писателями или советниками по вопросам внешней политики в вильгельмовской Германии — например, издатель влиятельной «Кройццайтунг» Теодор Шиман или самый популярный и убедительный апологет немецкого империализма Пауль Рорбах. Теперь к ним присоединилась большая группа более молодых и гораздо радикальнее настроенных соотечественников. Эта радикализация повлияла даже на немногочисленных прибалтийских либералов, в 1905 году поддерживавших сотрудничество с российскими демократами; впоследствии они сыграли роковую роль для веймарской Германии. Озлобленные всем тем, что выпало на их долю в Курляндии и Ливонии, эти прибалтийцы считали своим предназначением защитить немецкий народ от опасности, грозившей с Востока. В Адольфе Гитлере и его партии они обрели необычайно старательных учеников.

Шёбнер-Рихтер

Шёбнер-Рихтер — самая загадочная фигура в ранней истории нацизма. Существуют весьма разноречивые сведения о его прошлом, профессии, деятельности во время первой мировой войны; по сути дела, все, что касается этого человека, почти всегда державшегося в тени, окутано тайной [5]. Он был убит во время гитлеровского путча в ноябре 1923 года и тем самым стал одной из первых жертв нацистского движения. Как и Дитрих Эккарт, Шёбнер-Рихтер должен был бы войти в нацистскую агиографию в качестве одного из святых отцов движения. Однако в третьем рейхе он был почти забыт, хотя одно время являлся близким другом Гитлера. Во время рокового марша 9 ноября 1923 года он шел рука об

го, что «тот совершенно поразил Гитлера и приобрел на него роковое влияние», и до современного историка Г. Франца-Виллинга, которого нельзя заподозрить в чрезмерной антинацистской ориентации. Он сообщает, что Гитлер воскликнул после смерти Шёбнер-Рихтера в 1923 г.: «Всех можно заменить, но только не его».

[4] Ни Шёбнер-Рихтер, ни Розенберг не принадлежали к аристократическим семьям; первый получил приставку «фон» и двойную фамилию благодаря своему браку с Матильдой фон Шёбнер, которая, между прочим, была его старше на 18 лет.

[5] Хайден ошибочно считает его актером по профессии; Алан Буллок считал Шёбнер-Рихтера русским агентом, перешедшим на немецкую сторону во время первой мировой войны; даже современный историк (Х. Х. Хофман, «Путч Гитлера») называет Шёбнер-Рихтера пожилым жителем Восточной Пруссии — он не был пожилым и не жил в Восточной Пруссии.

руку с Гитлером; когда Шёбнер-Рихтера сразила пуля, при падении он вывихнул Гитлеру плечо. Возможно, фюрер позднее не хотел вспоминать человека, который в ранние годы очень ему помогал и был ближе всех в час опасности [6].

Макс-Эрвин фон Шёбнер-Рихтер родился в 1884 году в семье прибалтийских немцев. Юношей он служил в казацком полку и во время революции 1905 года участвовал в организации «самообороны» немецких поселенцев. Около 1910 года он приехал в Германию, изучал инженерное дело в Мюнхене, служил в аристократическом мюнхенском полку «Шево-леже» и стал подданным Германии. В этот период он не был политически активным: он находился под влиянием модного тогда учения Фридриха Наумана, сочетавшего веру в великое предназначение немцев с расплывчатыми социалистическими симпатиями. Шёбнер-Рихтер обладал большой самоуверенностью, знал много языков, умел приобретать друзей и оказывать влияние на людей [7]; казалось, он был создан для работы дипломата. Шёбнер-Рихтер хотел служить на Западном фронте, но вскоре был назначен на незначительный дипломатический пост (консул в Эрзеруме). У него была ярко выраженная авантюрная жилка, увлекавшая его в различные опасные экспедиции к горным курдам и другим племенам самой дикой части Турции, рядом с линией фронта.

Согласно другой мюнхенской версии, Шёбнер-Рихтер закончил Рижский инженерный институт. В 1918 году его вызвали в Прибалтийский штаб германской армии («Оберост») руководить рижским пресс-бюро. Поначалу положение немецких войск в этом регионе после русской революции почти не изменилось; в отличие от немецких армий на западе, они не были побеждены в сражениях, и их командование не хотело уходить с захваченных территорий. Шёбнер очень верил в немецкое возрождение. «Через 5 лет будет новая Германия»,— говорил он Августу Виннигу. Он был решительным противником революционного движения, однако его попытки обратить в свою веру солдат и защитить их от большевистского влияния — для этого он использовал ряд газет (например, «Нойес Дойчланд») и другие издания — были не слишком успешными. Под давлением Красной Армии и получивших независимость латышей немецкие части, в конце концов, были вынуждены отступить, и именно Шёбнер-Рихтеру пришлось вести переговоры со Стучкой, руководителем местных частей Красной Армии.

Как большинство сверстников, Шёбнер-Рихтер был членом рижской студенческой корпорации «Рубония». В «Оберосте» у него служил другой член «Рубонии», Арно Шикеданц [8], который однажды рассказал ему о переписке с товарищем юности — Альфредом Розенбергом, архитектором и художником, незадолго до того осевшим в Мюнхене. Розенберг подвизался в политических кругах немецких правых и русской эмиграции, он стал писать Шёбнер-Рихтеру о своих переговорах с крупными германскими фирмами, стремящимися установить контакт с генералом Врангелем, который правил в то время на юге России. Немецкие деловые люди хотели торговать с контролируемой генералом территорией и, если нужно, соглашались оказать экономическую помощь. Разве не был Шёбнер-Рихтер, обладавший обширными связями и владевший языками, самым подходящим человеком для встречи с Врангелем и поддержания связей с белой армией? В 1920 году он добрался до Балкан, но армия Врангеля оказалась к тому времени полностью разгромленной, и план не был осуществлен. Однако во время путешествия Шёбнер-Рихтер познакомился с главными лицами русской эмиграции, особенно из ее монархического, крайне правого крыла. Чем больше он думал об этом, тем больше ему казалось, что главным источником бед России были попытки осуществить демократические реформы. Он писал: «В России может быть только две формы правления — царизм или большевизм, все очень просто». Любая попытка буржуазных либералов,— например кадетов, не говоря уж об умеренных социалистах,— управлять Россией была обречена на провал.

После возвращения в Германию Шёбнер-Рихтер решил продолжить сотрудничество с русскими экстремистами правой ориентации. Перед этим была короткая берлинская интерлюдия. В марте 1920 года группа армейских офицеров и правых политиков пыталась свергнуть Веймарскую республику; в руководители информационной службы они прочили Шёбнер-Рихтера. Однако к тому времени, когда он добрался до Берлина, капповский путч закончился и Шёбнер-Рихтеру оставалось только вернуться в Мюнхен. За участие в заговоре правительство рейха собиралось привлечь его к суду, но обвинения были сняты — не то из-за вмешательства влиятельных друзей, не то из-за того, что берлинские судьи поняли: мюнхенские власти, предоставившие убежище всем политическим беженцам с севера, все равно не выдадут его.

От своего старого приятеля Розенберга Шёбнер-Рихтер узнал о существовании маленькой, но быстро растущей Национал-социалистской рабочей партии Германии. В октябре 1920 года он был представлен ее лидеру. 22 ноября он присутствовал на митинге и вскоре вступил в партию вместе

---

[6] Биография, написанная другом Шёбнер-Рихтера и почти полностью посвященная его деятельности во время первой мировой войны, была опубликована во времена третьего рейха провинциальным издательством: Пауль Леверкюн, «На боевом посту. Из приключенческой жизни Макса фон Шёбнер-Рихтера» (Эссен, 1938). Доктор Леверкюн во время первой мировой войны был переведен из армии в немецкое дипломатическое представительство в Турции, а во время второй мировой войны снова служил там в качестве сотрудника разведки. Он называет Шёбнер-Рихтера немецким Лоуренсом. Васмутом фон Хентигом и т. д.

[7] В романе Ричарда Хьюза «Лиса на чердаке» Наташа говорит о нем: «Бедный Макс-Эрвин,— она встречалась с ним на вечеринках,— он был так обаятелен».

[8] Шикеданц в дальнейшем стал известен как нацистский идеолог. В своем «Социальном паразитизме в жизни народа» (1927) он следовал теориям, разработанным Альфредом Розенбергом. Согласно Отто Штрассеру (интервью, Мюнхен, май 1962 г.), в 20-е годы Шикеданц конфликтовал с Розенбергом, но это не помешало ему стать правой рукой Розенберга — сначала в «Фёлькишер беобахтер», а позже при управлении оккупированными русскими территориями. Он был назначен губернатором Кубани и Кавказа, но так и не добрался до места назначения. В 1945 г. со всей семьей Шикеданц покончил жизнь самоубийством.

с женой. Очень благоприятное впечатление на Шёбнер-Рихтера произвела гипнотическая сила, исходившая от этого отставного ефрейтора, человека самого простого происхождения. Скоро он писал о нем как о «пророке народной Германии». Симпатия была взаимной: Гитлеру очень понравился аристократ, свободно чувствовавший себя во всех слоях общества. Правда, Шёбнер-Рихтер не был идеологом или глубоким мыслителем, как Розенберг, но зато он был гораздо более волевым человеком, чем этот свободный художник. Выдающегося оратора из Шёбнер-Рихтера не вышло бы — но в этом отношении Гитлер в помощи не нуждался. В ком он действительно нуждался — а этими качествами обладал только Шёбнер-Рихтер,— так это в исключительно респектабельном, обаятельном человеке из высшего общества, способном организаторе, преданном движению, который мог бы добывать деньги и, что еще более важно, обеспечить полезные политические контакты. Впоследствии вождя массового движения будут мало заботить контакты с высшими классами — крупные банкиры и промышленники сами станут умолять его взять у них деньги. Но рывок от почти полной безвестности к заметному положению на германской политической сцене был невозможен без денег и связей, и в этом отношении помощь Шёбнер-Рихтера значила очень много. Он был гением по части добывания денег, и это во времена экономического кризиса, когда достать деньги было совсем непросто. Говорят, он получал их от бывших баварских монархов, Виттельсбахов, а также от одного из двух претендентов на царский престол — принца Кобургского Кирилла. Жена Кирилла, Виктория Федоровна, с 1922-го по 1924 год предоставила в распоряжение Людендорфа огромную сумму для распределения между немецкими экстремистскими движениями правого направления. Другими заметными вкладчиками являлись русские промышленники (в основном нефтяные), переведшие часть своих капиталов в Германию, также как Гукасов, Нобель, Ленизов и другие, а также барон Кёппен, кузен генерала Бискупского, который, как говорят, разорился из-за вкладов на эти цели.

Семья Шёбнер-Рихтера и претенденты Кобургской ветви были в близких отношениях; жена Шёбнер-Рихтера, Матильда, впоследствии вспоминала, как она во время военных учений СА в пригороде Мюнхена вместе с женой Кирилла, великой княгиней Викторией, ходила смотреть на будущих спасителей Германии.

Имелись и полезные контакты в немецком обществе: высокопоставленные церковники, представители баварской аристократии, банкиры и магнаты тяжелой промышленности — такие как Ройш-Ханиель и Тиссен. В отличие от других членов гитлеровской партии, Шёбнер-Рихтер сам был богатым человеком, и поскольку он просил деньги не для себя, а для достойной, по его убеждению, цели, то действовал легко и весьма успешно [9].

Возможно, еще более важными были политические контакты Шёбнер-Рихтера, которые охватывали практически всех заметных германских политиков того времени, придерживавшихся правой ориентации. Он был особенно близок с Людендорфом и Пёнером, главой мюнхенской полиции и, как бывший офицер, имел непосредственный доступ к местному командованию рейхсвера, следившему с большой симпатией за деятельностью Гитлера и при случае оказывавшему ему поддержку. Так, именно при поддержке местного рейхсвера в Мюнхене (январь 1923 года) состоялся первый райхспартайтаг, несмотря на сильное сопротивление гражданского правительства. Ранее Шёбнер-Рихтер несколько раз помогал Гитлеру избежать тюрьмы по обвинению в тайном заговоре и попытке переворота. Но все же большую часть времени и сил Шёбнер-Рихтер посвящал работе среди русских эмигрантов.

В 1920 году многие эмигранты все еще отказывались считать свое поражение и изгнание окончательным. Они надеялись, что Советское правительство будет свергнуто изнутри, или падет в результате собственной несостоятельности, или будет изгнано в результате новой интервенции. Поэтому центры русской эмиграции вели активную деятельность. Но там было много распрей, личных и политических ссор, взаимных обвинений как между левыми, правыми и центром, так и внутри каждой из этих фракций. Эмигранты обвиняли друг друга если не в откровенном предательстве, то в трусости и слабости в прошлом и настоящем, они спорили о сегодняшней политической ориентации и о будущем России после победы контрреволюции.

У крайне правых в 1920 году тоже царил хаос. Одна из группировок делала ставку на Германию и пропагандировала немецко-русское сотрудничество в борьбе за новую Россию. Но сотрудничество понималось поразному: например, князь Бермондт-Авалов, находившийся в Берлине, считался стопроцентным немецким агентом. В 1919 году в Прибалтике он сформировал небольшую армию, чтобы вместе с фрайкоровцами [10] бороться против большевиков. Многочисленные враги сомневались как в его княжеском происхождении, так и в военной квалификации. Другая группировка, также с центром в Берлине, состояла в основном из бывших членов или сторонников «Союза русского народа», черной сотни времен царизма, и считала всех, кто был чуть либеральнее, предателями русского дела. Но многие консерваторы относились к этим экстремистам

---

[9] Согласно сообщению для служебного пользования, составленному баварским правительством, Шёбнер-Рихтер имел в своем распоряжении «огромные суммы». Источник информации не исключал возможности, что путч Гитлера каким-то образом косвенно был поддержан Москвой: «Москва выиграет от борьбы фашистов с правительством Баварии. Извечная тактика Москвы — спровоцировать «белых» на преждевременные действия. Еще свежо в памяти сближение в Берлине в августе 1923 года коммунистов с националистами, как и братание нацистов и коммунистов в Мюнхене после путча». Пишущий также обращал внимание на участие в «Кампфбунде» (Немецком боевом союзе) Шёбнер-Рихтера многих бывших коммунистов и недавних репатриантов из бывших прибалтийских провинций России. Эти подозрения скорее всего были беспочвенны, но интересно, что они вообще могли появиться в секретном докладе.

[10] Фрайкоры — добровольческие корпуса, созданные из демобилизованных немецких солдат и офицеров в ноябре 1918 г. Просуществовали до 1923 г. *(прим. перев.)*.

как к накипи, иностранным агентам или провокаторам, не слишком отличающимся от большевиков. Велись ожесточенные споры по поводу политической ориентации; многие русские инстинктивно недолюбливали немцев и не доверяли их замыслам относительно будущего России. Как можно сотрудничать с Людендорфом, спрашивали они, с тем самым человеком, который привез в Россию Ленина в заплюмбированном железнодорожном вагоне? Даже на царский трон было два претендента: великий князь Кирилл Владимирович, женатый на немецкой принцессе Виктории и настроенный прогермански, и великий князь Николай Николаевич, живший во Франции, настроенный профранцузски и поддерживаемый большинством правой эмиграции.

Шёбнер-Рихтер был организатором большого монархического конгресса, состоявшегося в конце мая 1921 года в Бад-Райхенхалле. Это была самая смелая из попыток объединить все правые силы русских на одной платформе. Как обычно, сам Шёбнер-Рихтер держался на втором плане; он приветствовал участников конгресса, и некоторые делегаты с симпатией отзывались о работе его мюнхенской ассоциации, однако Шёбнер-Рихтер предоставил русским самим обсуждать свои проблемы, думая, что они найдут общий язык. Конгресс в Райхенхалле стал важным событием в истории русской эмиграции, но надежды Шёбнер-Рихтера не оправдались.

Все же он продолжал посвящать много времени трудной задаче объединения русской эмиграции правого толка в одну эффективную политическую организацию, которая вступила в союз с немецкими правыми — в основном с гитлеровским движением — для борьбы за новую Россию. Он основал Германо-Русскую политико-экономическую ассоциацию, в задачи которой входило, среди прочего, содействовать торговле (с будущей Россией); ассоциация издавала собственную газету. Это объединение, названное сначала «Брюкке» («Мост»), стало более известно как «Ауфбау» («Возрождение»); выходил и журнал с таким же названием. Это был правый народный фронт, союз различных политических групп, в котором участвовали некоторые видные уважаемые люди, например, Крамер-Клетт, представлявший в Баварии интересы Ватикана. Но ключевые посты в организации занимали верные люди, которые, так уж получилось, все когда-то состояли членами одной и той же рижской студенческой корпорации: Шёбнер-Рихтер, фон Курсель, Шикеданц, не было лишь Альфреда Розенберга. В своей работе ассоциация «Ауфбау» делала упор на экономическое сотрудничество, но «Форвертс», газета немецких социал-демократов, безусловно, была права, назвав это попыткой ввести общественность в заблуждение: о каком экономическом сотрудничестве может идти речь, если «Ауфбау» отказывается вести с советским правительством какие бы то ни было дела? Шёбнер-Рихтер был противником политики рапалльского договора; он считал, что эта линия не была бы опасной, если бы немецким народом правило сильное правительство, в нынешних же реальных обстоятельствах это может привести к гибели. Он верил, что белая армия потерпела поражение, потому что была недостаточно безжалостна; она допускала в свои ряды умеренных социалистов, вместо того чтобы поступать с ними, как с большевиками. Ответственность за разлад в русской эмиграции Шёбнер-Рихтер возлагал на евреев, в особенности на «Сионских мудрецов», и призывал к принятию суровейших мер против коммунистов: коммунистов нужно вешать, истреблять, как в Италии. Он был высокого мнения о Муссолини, заставлявшем своих противников пить касторовое масло, и выражал надежду, что «принципы итальянского фашизма покажут себя и в Германии». Но для этой задачи немецкие правые были недостаточно воинственны, и Шёбнер-Рихтер убеждал их идти на Берлин, чтобы «спасти немецкую землю от террора». Спасителем Германии он стал считать Гитлера; цитируя русскую эмигрантскую газету «Накануне», «Ауфбау» предсказывала, что Гитлер будет единственным человеком в Германии, который добьется результатов этой зимой 1923 года. Он умен и имеет много сторонников среди потерпевших крушение и гонимых. Борьба Гитлера решит судьбу не только Германии, но и Европы, а возможно, всего мира: «Эта борьба будет вестись под лозунгом «Советская звезда против свастики». И свастика победит».

Эти строки были написаны за несколько недель до первой и неудачной попытки Гитлера захватить власть. Звучащий в них оптимизм был не вполне искренним; Шёбнер-Рихтер не мог не понимать, что его предсказания не сбылись, советский режим устоял. В статье, написанной им для центральной нацистской газеты, он теперь призывал своих товарищей учиться у русских действовать.

Существует легенда, что Шёбнер-Рихтер был главным организатором ноябрьского путча 1923 года, и большинство историков разделяют ее. Он был секретарем «Кампфбунда», объединения, возглавлявшего все правые организации Мюнхена, и являлся связным между Людендорфом и Гитлером. Идея марша на Берлин принадлежала ему, но инициатива исходила от Гитлера. В сентябре Шёбнер-Рихтер разработал стратегию в деталях; он считал, что нет смысла в дальнейших столкновениях с полицией. «Национальная революция» произойдет тогда, когда нацисты и их союзники легальным или полулегальным путем завоюют в государстве ключевые позиции, например, руководство полицией. Политическая ситуация такова, что рано или поздно неминуемо возникнет необходимость в решительных действиях. Национал-социалисты добьются успеха, если сумеют использовать психологический фактор; это будет рискованно, конечно, но любое дело требует риска. Риск сравнительно мал, и если общественное мнение поддержит выступление, оно будет выглядеть более законным. Однако, согласно свидетельству вдовы Шёбнер-Рихтера, данному много лет спустя, он чувствовал себя не слишком уютно в эти октябрьские и ноябрьские дни 1923 года. Шёбнер-Рихтер без конца подвергался нападкам; католическая пресса называла его политическим мошенником и требовала изгнания из Баварии: «Мы не поздравляем гитлеровскую армию с

этим приобретением... Если опубликовать имена руководителей гитлеровского движения, будет видно, что на три четверти — это не баварцы; еще десять лет назад эти люди не подозревали, что Гизинг — пригород Мюнхена». В письме к генералу Кару Гитлеру пришлось защищать Шёбнер-Рихтера от нападок. В начале ноября 1923 года Шёбнер-Рихтер был очень подавлен. «Всякий раз, когда у Германии появлялся шанс подняться вновь,— сказал он,— кто-нибудь обязательно совершал глупость». Накануне путча Шёбнер-Рихтер рано лег спать, и когда Гитлер позвонил и попросил о встрече, согласился неохотно. Но как только Гитлер появился собственной персоной, прежние чары подействовали, и к нему вернулся энтузиазм. Шёбнер-Рихтер отправился на встречу с Гитлером, Пёнером, Людендорфом и другими главными действующими лицами замышляемого переворота. Наконец, все согласились перейти к действию. В перерыве между лихорадочными приготовлениями Шёбнер-Рихтер на несколько минут зашел домой. «Все прошло гладко, сверх всяких ожиданий, без кровопролития,— сказал он.— Мне еще многое надо сделать, и я не буду ночевать дома».

События этих 24 часов, начиная со встречи в «Хофбройхауз», где был заключен непростой союз Гитлер — Кар — Лоссов, до марша по Фельдхернхалле, воссозданы досконально. Шёбнер-Рихтер, как обычно, действовал в качестве связного — на этот раз между Гитлером, Людендорфом и монархистскими лидерами. В роковом марше по Фельдхернхалле он шел рядом с Гитлером, в форме офицера «Шево-леже», островерхом шлеме и пенсне. Шёбнер-Рихтер одним из первых был сражен полицейскими выстрелами; падая на землю, он увлек Гитлера за собой и, возможно, тем самым спас ему жизнь.

Путч потерпел крах за несколько минут; охваченные энтузиазмом массы не вознесли Гитлера к власти (как тот надеялся), а некоторые союзники из числа правых его покинули. За этим последовал крупный судебный процесс, во время которого Гитлер находился в Ландсбергской тюрьме, где написал «Майн кампф». Когда он вышел из тюрьмы, все надо было начинать почти сначала, но обстановка благоприятствовала ему, и понадобилось немного времени, чтобы сделать нацистскую партию мощным политическим орудием.

На кремации Шёбнер-Рихтера присутствовали все оставшиеся на свободе национал-социалистские лидеры, и многие из них воздали должное трудам погибшего руководителя «Ауфбау» и «Кампфбунда». Они обещали продолжать его дело, но без динамичной личности Шёбнер-Рихтера «Ауфбау» скоро стала приходить в упадок. На короткое время она была запрещена баварским правительством, но влиятельные покровители вскоре помогли отменить запрет. Тогда стал вопрос о преемнике Шёбнер-Рихтера. Генерал Бискупский отвечал за русское отделение организации и долгое время с подозрением следил за деятельностью украинской секции, возглавляемой инженером Бутенко и полковником Полтавцем-Остраницей, украинско-казацким экстремистом. По этому поводу позиции русских правых и их немецких друзей сильно расходились. Немцы колебались — поддерживать им реставрацию царской России или предпочесть разделение империи по этническому принципу; отсюда заигрывание со Скоропадским и другими лидерами национальных меньшинств. Людендорф, державший в своих руках все финансовые нити, на роль преемника Шёбнер-Рихтера предложил двух кандидатов — Арно Шикеданца и Отто фон Курселя. Оба были уроженцами Риги и принадлежали все к той же студенческой корпорации. Фон Курсель был художником; он делал рисунки для самых ранних антисемитских памфлетов Дитриха Эккарта и Розенберга. Менее склонный к политике, чем Шикеданц, он считался более опытным (был на несколько лет старше) и занял место Шёбнер-Рихтера. Но вскоре последовали новые интриги: Бискупский обвинил Курселя, что тот стакнулся с украинскими сепаратистами против великороссов. «Ауфбау» разделилась на «Русский отдел», возглавляемый Бискупским, и «Украинский центр», руководимый Курселем. Оба эти образования через несколько месяцев прекратили свое существование. К концу 1924 года от великих проектов Шёбнер-Рихтера ничего не осталось; Бискупский всецело отдался русскому эмигрантскому движению, Курсель стал академическим художником и вернулся в политику лишь после 1933 года, Шикеданц же стал работать под руководством Розенберга в «Фёлькишер беобахтер». Вдова Шёбнер-Рихтера продолжала оставаться фанатичной сторонницей партии Гитлера; несколько лет она проработала в одном бюро с Гиммлером, создав службу газетных вырезок для фюрера.

Некоторые сверстники Шёбнер-Рихтера уверены, что если бы он остался жив, то не удержался бы на верхушке нацистской партии и третьего рейха. Это очень вероятно: Шёбнер-Рихтер был по своей сути крайним консерватором, в отличие от Гитлера, никогда не прекращавшим верить в религию и монархию. Другими словами, ему не хватало революционного и нигилистического импульса, столь заметного в нацистах типа Гитлера и Геббельса. Кроме того, у него были враги в нацистском руководстве: Геринг, например, Шёбнер-Рихтера терпеть не мог. В ранние годы он был очень полезным, может быть, даже необходимым орудием Гитлера, но вряд ли он сохранил бы свою значимость, когда партия стала массовым движением, поддерживаемым всеми слоями германского общества. С идеологической точки зрения влияние Шёбнер-Рихтера на Гитлера было несущественным; Розенберг имел тогда влияние гораздо более сильное, хотя Гитлер, человек по природе неблагодарный, никогда открыто не признавал этого. Во всяком случае, Гитлер был способным учеником: не потребовалось много сил, чтобы убедить его — во внутренней политике антикоммунизм его прибалтийских сторонников весьма кстати. Недолговечная Баварская республика сильно напугала соотечественников Гитлера: попытки немецких коммунистов устроить вооруженные восстания в других местах имели мало шансов на успех и лишь способствовали росту влияния ультраправых. В отличие от Муссолини Гитлер никогда всерьез не изучал марксизм, ему это было неинтересно. На первом этапе

антибольшевизм не играл в нацистской пропаганде центральной роли; позиция Гитлера по отношению к России и коммунизму сформировалась между 1919 и 1924 годами, а последствия этого стали очевидны еще позднее.

Альфред Розенберг

Альфред Розенберг, главный идеолог национал-социализма, был также главным партийным авторитетом по русским делам. Родившись в 1893 году в старом ганзейском городе Ревеле, он прошел (говоря словами официального биографа) «через все страдания немца, живущего за границей». Сложное положение, в котором оказались прибалтийские немцы после революции 1905 года, уже было описано, однако Розенберг не испытал в детстве и отрочестве особенных притеснений и несчастий — ни личных, ни как немец. Розенберг происходил из низших слоев среднего класса, из семьи с неопределенными расовыми корнями — факт сам по себе незначительный, но только не для философа расизма [11]. Он посещал местную гимназию, а затем Рижский технический институт. Писатели, оказавшие на него наибольшее культурное и политическое влияние — Ницше и Хьюстон Стюарт Чемберлен,— были обычным для того времени кругом чтения молодых немцев среднего класса. Если прибалтийцы как «представители германской расы» и были более политизированными (то есть более правыми), чем прочие немцы, то это же можно сказать о немцах, живших в Австрии.

Однако юный Розенберг, посетивший Германию и Францию как раз накануне первой мировой войны, не думал о политике как о своем призвании; его главным интересом была культура. Он хотел стать архитектором и художником, и когда во время войны Рижский университет переехал в Москву, Розенберг также обосновался в старой русской столице. Судя по всему, его не особенно волновал исход войны; позднее, когда он оказался видным лицом на немецкой политической арене, одним из лидеров милитаристской партии, военный опыт — точнее, его отсутствие — превратил Розенберга в уязвимую мишень для политических врагов.

Когда в Москве разразилась революция, Розенберг готовил (весьма уместно) проект современного крематория с римскими склепами, широкой колоннадой и примыкающим кладбищем. О происходящих вокруг событиях он был осведомлен слабо и в своих мемуарах пишет: «Если бы я попытался дать здесь описание (русской) революции и участвовавших в ней сил, пришлось бы воспользоваться знаниями, полученными гораздо позже из воспоминаний русских и англичан» (Бьюкенена, его дочери и сэра Сэмюэла Хора).

Розенберг покинул Москву, отправился в Крым, потом заехал в Ревель, вернулся в Москву для выпускных экзаменов и опять поехал в Ревель, который через несколько дней был оккупирован немецкими войсками. Розенберг думал, что объединенные войска русских генералов в конце концов возьмут верх над неорганизованным большевистским режимом: «Но не хватало лидера, лозунга во имя будущего. Никто не хотел сражаться за возвращение тех, кто уже был свергнут». Розенберг пытался вступить в немецкую армию добровольцем, но не был принят как российский гражданин, проживавший на оккупированной территории, а также потому, что не смог представить какие-либо рекомендации из Германии. В ноябре 1918 года он с трудом получил разрешение уехать в Германию вместе с отступающими немецкими войсками.

В Германию Розенберг прибыл как один из множества русских эмигрантов. Правда, это было в некотором роде возвращение на родину. Немецкий был его родным языком, а Германия — второй родиной. Во всяком случае, немецкая революция задела его сильнее, чем русская: «Я не хотел жить между двумя фронтами... Я хотел уехать в рейх». 1918 год был годом политического пробуждения Розенберга; в 1919 и 1920 годах он заложил идеологический фундамент своей новой политической философии. К 1923 году он уже опубликовал 7 книг и брошюр, а также бесчисленное количество статей. По любым меркам — развитие стремительное.

В соответствии с официальной биографией Розенберг приехал в Германию в 1918 году, чтобы рассказать немцам о русской революции и коммунизме; но сначала он должен был сам разобраться в этом. Он знал, что случившееся в России ему не нравится, но объяснить почему, было для него сложно. О политическом образовании Альфреда Розенберга можно узнать из его дневников, часть которых издавалась в последние годы третьего рейха.

Во время революции 1917 года он был поглощен Шопенгауэром и Вагнером, искусством Возрождения и индийской философией. Он подробно описывал свои впечатления от «Нирваны и личности», написал план книги о «Философии немецкого искусства» (который затем превратился в «Миф XX столетия»). Вокруг него умирал старый мир и рождался новый, но молодой архитектор из Ревеля, похоже, не обращал на это внимания. Правда, имелись некоторые неприязненные замечания о евреях: «Этот народ ненавидит все, что не похоже на него самого, поэтому к нему не должно быть терпимости»; о русских Розенберг писал: «Мне интересно сравнить русских и немцев» и находил у русских моральную слабость и недостаток характера. Но это были обычные предрассудки прибалтийцев, задолго до этого нашедшие классическое выражение в книге одного из соотечественников Розенберга, Виктора Хена, «De Moribus Ruthenorum»: русские у него лживы, ленивы, не способны на продолжительное усилие; они одарены художественно, но неустойчивы морально.

Отношение Розенберга к Февральской революции было восторженным; как-то он назвал ее делом неслыханного величия. Повсюду он отмечал сознательное и серьезное поведение всех слоев населения. Пятнадцатью месяцами позже он стал фанатичным

---

[11] По данным персонального дела Розенберга (№ 1259) из Берлинского центрального архива. Один его дед (Мартин Роз) был латышом, бабка, урожденная Сир, происходила из Франции; ходили слухи также о его еврейских и даже монгольских предках.

антисемитом и яростным антисоциалистом; политика вдруг вытеснила искусство. Розенберг продолжал писать статьи о личности, но в них речь шла исключительно об «идее эксплуатации и разрушения», еврейской идее. Он обвинял евреев в попытке посредством искусной болтовни о правах человека вызвать всеобщий хаос. Почти все социалисты левой ориентации были евреями: «Путешествуя по России, на курортах и в других местах, я видел студентов-евреев с «Правдой» в руках, читающих лекции в военных госпиталях». За всеми попытками социального и политического разрушения всегда стоял еврей. Тезис Розенберга не был оригинален — некоторые из слов-лозунгов, например «фёлькерхаос» (национальный хаос), были заимствованы у Х. С. Чемберлена. В чем-то ощутим плохо прочитанный Ницше: например, упоминание о тупости невежественной массы. Что-то отдает типично романтическим неприятием индустриального века: деятельность промышленного рабочего названа абсолютно бессмысленной, тогда как работа крестьянина полна смысла и ясна. «Чума в России» начинается цитатой из Гёте, в которой веймарский мудрец выразил свои опасения по поводу засилия машин: «врывается, как буря». Эта цитата, символизирующая реакцию художественной натуры на «бездушный машинный век», впервые встречается в неопубликованном эссе («Еврей», написано в Ревеле или Москве в июле 1918 года), уже содержавшем большинство тех идей Розенберга о еврействе и большевизме, на которых построены его последующие книги.

Внезапное преображение Розенберга в 1918 году, его превращение из слегка эксцентричного и не слишком оригинального художественного критика и философа в политического мыслителя, сейчас выглядит загадочным. Тем, кто не жил в то бурное время, трудно представить страсти, разыгрывавшиеся во время революции. Так же трудно понять психологию тех, кто считал, что обнаружил за текущими событиями действие тайных сил. На протяжении всей истории существовала склонность искать тайную руку всякий раз, когда неожиданность или масштаб событий были выше понимания тех, кто являлся их свидетелями. Одним таким событием была французская революция, русская революция — другим. Кропотливое изучение их политической, социальной и экономической предыстории, развития идеологии в предшествующие десятилетия, анализ участвовавших политических сил — все это дает ясные и удовлетворительные ответы, тогда как неизменно возникающая теория заговора находит отзыв у многих современников, не обладающих терпением и умственными способностями для более серьезного исследования.

Для Розенберга, художника, любой подобный политико-социальный анализ был изначально невозможен; он не интересовался экономикой и ничего не знал об истории революционного движения в России, о социализме, марксизме или о других левых учениях. Из Х. С. Чемберлена и памфлетов Черной сотни Розенберг вынес довольно туманное убеждение, что евреи — это зло и на них лежит ответственность за большую часть мировых несчастий. «Черная сотня» разработала концепцию жидомасонства (еврейско-масонского заговора), собрав различные зловещие идеи под одним лозунгом, пригодным для всех случаев жизни [12]; Розенберг вследствие своих этнических и культурных корней смог увязать эти идеи с немецкими расовыми доктринами. Когда он таким образом обрел ключ к пониманию революции, ему было уже неинтересно подробно описывать или анализировать, что не так в революционной России, социализме или коммунизме; оказалось достаточно, что настоящая фамилия Троцкого — Бронштейн, Стеклова — Нахамкес, а Каменева — Розенфельд, что Керенский в действительности звался Кирбисом (sic) и что (согласно Моммзену) однажды на Кипре евреи убили 120 тысяч человек. Серьезный спор с русской революцией на такой основе был невозможен, но Розенбергу это и не нужно было. Много лет спустя он сказал так: «Вы не сможете вести большую войну в мировой истории, надеясь на прочный успех, если изберете полем сражения идеологию и мировоззрение врага». Поэтому только в очень немногих из многочисленных трудов Розенберга о России речь идет действительно об обсуждаемом предмете. Он всегда поглощен цитатами из Талмуда, сионистским движением или влиянием масонов на «Франкфуртер цайтунг». Много часов Розенберг проводил в мюнхенской государственной библиотеке в поисках какой-нибудь цитаты из «Шулкан Арух», чтобы разоблачить еще одного французского или английского еврея прошлого века, взявшего христианское имя. Насколько нам известно, эксперт национал-социалистов по России не прочитал ни одной книги или статьи Маркса или Энгельса [13]. Единственным источником информации о русских делах для Розенберга были газеты правой эмиграции «Новое время», «Двуглавый орел» или «Призыв»; их он активно использовал в своей работе.

О дореволюционной России он знал, конечно, больше остальных нацистских лидеров. Он выучил в гимназии русский язык и владел им очень хорошо. Был начитан в русской классической литературе и в ранних трудах часто цитировал Достоевского и реже Толстого. В одной из первых своих книг он перечисляет некоторые значительные русские литературные произведения и пишет, что, только читая их и изуч я народные песни и иконы, иностранец сможет заглянуть в русскую душу. Читал ли все эти книги сам Розенберг, не совсем ясно; они не могли по-настоящему тронуть его, иначе бы сильнее повлияли на его отношение к России. В ранние годы он иногда пытался оправдать ее, например, когда утверждал, что русское православие выигрывает при сравнении и с католической церковью, и с масонством. Позднее его позиция стала жестче; Розенберг уже почти не вспоминал о культурных достижениях России, зато не уставал поносить русских за распущенность, недостаток творческого начала, деспотизм и рабство. В книге «Миф XX столетия» он писал, что европеизация

---

[12] До этого лозунг получил широкое распространение во Франции, особенно во время дела Дрейфуса.

[13] Единственная цитируемая им книга Ленина — «Государство и революция».

России была ошибкой; в будущем Россия будет тяготеть к Азии — только тогда она вновь обретет внутреннее равновесие. Свое предназначение она должна выполнить в Азии, а не в Европе.

Розенберг и Дитрих Эккарт

Когда в январе 1919 года Розенберг приехал в Мюнхен, он обратился за помощью к комитету русских эмигрантов, который обеспечил его комнатой и продуктовыми карточками. Большую часть времени Розенберг проводил в государственной библиотеке, изучая еврейскую историю, историю иезуитов, масонских лож и тому подобное. Через знакомую эмигрантку из Прибалтики, мадам фон Шренк, он познакомился с немецким писателем и драматургом Дитрихом Эккартом, который собирался издавать журнал, посвященный антисемитской и антикоммунистической пропаганде.

Розенберг описал свои первые встречи с этим патроном национал-социализма, принявшим его как «соратника в борьбе против Иерусалима». Эккарта, который был еще и поэтом, сейчас помнят главным образом как переводчика «Пер Гюнта». Человек крепкого сложения, чем-то напоминавший другого раннего лидера нацизма Юлиуса Штрайхера, он был пламенным антимарксистом и антисемитом, а также любителем выпить, поэтому время от времени проходил курс лечения в закрытых заведениях. Эккарт, натура художественная, не мог полностью разделять чрезмерную серьезность и фанатизм Розенберга, его полное отсутствие юмора. Розенберг писал, что у Эккарта «после дней, полных энергии, всегда наступало время, когда он уходил в себя, просто отказываясь считать происходившее вокруг достаточно важным. Поскольку Эккарт был не способен на любое длительное усилие, я взял на себя всю повседневную работу и освободил его почти ото всех обязанностей» (как редактора «Фёлькишер беобахтер»). Когда в марте 1923 года «Фёлькишер беобахтер» превратилась в ежедневную газету, Розенберг стал ее редактором. По его версии, Эккарт более не утруждал себя появлением в редакции, и Гитлер сказал ему (Розенбергу), что раз он делает всю работу, то пусть и честь достается ему. Розенберг стал немецким гражданином и решил, что теперь ничто не мешает ему быть на виду в немецкой внутренней политике. Есть свидетельства, что Эккарт плохо воспринял это назначение; сам Розенберг говорит, что бывший наставник обвинил его в неблагодарности и что «остался некоторый неприятный осадок». Самая первая напечатанная Розенбергом статья касалась «еврейского большевизма»; первый его материал в «Фёлькишер беобахтер» был о сионизме, за этим последовала серия публикаций о преступлениях масонства. В начале 20-х годов эти темы оставались для него главными. Не вполне ясно, почему Розенберг взялся за сионизм — еще несколько лет тому назад он выступал за еврейское государство. Антисионистом он теперь стал главным образом потому, что уверился: движение за еврейскую государственность — лишь маска для планов о мировом господстве. «Вайцманы, Ротшильды, Варбурги, Шиффы совершенно открыто пугают нас большевизмом, если не дать им Палестину». Один из главных тезисов Розенберга заключался в том, что большевизм — не цель, а средство, используемое еврейским финансовым капиталом для искоренения существующего порядка, разрушения национальных экономик, деморализации народов, дабы в итоге захватить мир голыми руками.

Не многие из современников разделяли эти воззрения; даже в крайне правом крыле раздавались голоса за примирение с большевистской Россией. Одной из своих основных задач Розенберг считал призывать соотечественников «оставаться твердыми перед искушениями с Востока»; особенно резко он осудил поддержку, которую некоторые немецкие националистические газеты оказывали Радеку. Он всеми силами противодействовал кампании за оказание помощи голодающим России: немецкие рабочие ограничивают себя в еде, думая, что помогают русским товарищам, а большинство этих средств тратится в роскошных ресторанах Берлина и Стокгольма. Розенберг задним числом сокрушался о том, что надо было сделать в 1918 году: наступающей немецкой армии следовало взять Москву; аннексий, предусмотренных Брест-Литовским мирным договором, оказалось явно недостаточно.

Многие свои материалы он брал из правой эмигрантской прессы, которую регулярно просматривал в поисках дружественных для молодого нацистского движения комментариев. В одной из таких газет Розенбергу явно понравилось упоминание о «социалистической традиции», связывающей Петра I и Адольфа Гитлера; он с одобрением отметил, что другой журнал поместил на обложке свастику, а из еще одного почерпнул цитату, что Россия тоже надеется когда-нибудь иметь собственное нацистское движение. За все эти годы появилась только одна скромная попытка проанализировать коммунистическую идеологию; тут Розенберг довольно подробно пытался продемонстрировать, чем нехорош марксизм. Но опять оказалось слишком сильным искушение все объяснить еврейским характером марксизма, и на этом логическая дискуссия окончилась.

С 1919 по 1923 год Розенберг написал и опубликовал не менее 7 книг, одну перевел и постоянно писал статьи. Некоторые книги были незначительными, все — повторяли одна другую, но он почти сразу стал главным идеологом и пропагандистом нацистской партии; помимо желчных выпадов Дитриха Эккарта и экономического трактата Федера, его труды были единственным идеологическим пропагандистским материалом партии. «Майн кампф» появилась гораздо позже, а Геббельс еще не стал даже членом партии. Нетрудно представить, какое воздействие эти длинные памфлеты имели на партию в ее ранний период, период формирования. Кроме того, Розенберг-памфлетист был гораздо вразумитель-

пее Розенберга-философа; «Миф XX столетия» продавался повсюду, однако, судя по всему, его так и не прочел ни один из руководителей третьего рейха, даже Гитлер.

На первый взгляд длинные памфлеты производят впечатление огромной эрудиции. Когда Розенберг пишет об аморальности Талмуда, он цитирует «Баба Мезиа» и «Баба Камма», как будто сам он был раввином и сыном раввина. При описании преступлений масонства нередки ссылки вроде: «Ривиста делла Массонериа Итальяна» (1881) и «Глоб» (Париж, 25 ноября 1830). В других местах он ссылается на «Историю коммерции Лиона» Больe (1838), «Историю Наварры» Андре Фавена (1612), «Аналекта Екклесиастика» и «Масонскую хронику Чикаго». (Единственная книга, в которой бросается в глаза отсутствие ссылок, это «Чума в России».) Конечно, Розенберг не читал в Мюнхенской библиотеке все эти книги; он был из тех людей, кому всегда некогда, и если какой-либо предмет его заинтересовывал (например, Талмуд), но требовал долгого изучения, он полагался на дюжину общеизвестных трудов в этой области. Розенберг не изучал Талмуд (он не знал ни слова на иврите или идише); цитаты взяты из заурядных антисемитских работ — Ролинга и Айзенменгера, давно и широко известных. Не обращался он и к многочисленным томам «Израильских архивов», а заимствовал примечания из книги Гугено де Мюссо. Он был просто пропагандистом, который коллекционировал цитаты и ссылки, нанизывая их одна на другую и представляя в современном ракурсе. Конечно, на такую литературу был спрос; в стране с традиционной слабостью к подстрочным комментариям эта псевдонаучность производила впечатление самостоятельного исследования не только на необразованных, но также на значительную часть тех, кого в Германии обычно называли «образованным средним классом». Большое количество псевдоученых ссылок вообще типично для сторонников теории заговора в истории; Розенберг в этом отношении не отличается от Неста Вебстеров, Шварц-Бостуничей и других, живших до и после него. Ведь всем им приходилось строить свои теории, не имея необходимых фактов; а чем неправдоподобнее утверждение, тем больше нужно цитат.

До 1923 года Розенберг воздерживался от активного участия в немецкой политике. В своих работах, однако, он такой сдержанности не проявлял; несколько странно читать постоянно повторяющиеся тирады о чужаках из России, наводнивших Германию после первой мировой войны и стремящихся доминировать в немецкой политике. Розенберг предпочел забыть, что он тоже беженец из России. Свои взгляды на Россию он обобщил в книге «Чума в России», опубликованной в 1922 году с 75 фотографиями. Ее основной тезис: конфликт между коммунизмом и капитализмом есть явная фантазия; Троцкий знает, что финансовый капитализм ему не враг, в крайнем случае — соперник. Истинное значение русской революции — это попытка преступного мира, принадлежащего к ближневосточной расе, победить Европу («поход азиатского духа против Европы»), и поэтому она сравнивается с нашествием мусульман, татар, гуннов и других завоевателей древних времен и средних веков. Евреи занимают наиболее выдающееся место в этой демонологии; им помогают армяне, китайцы, латыши (к которым Розенберг, похоже, испытывал личную антипатию) и даже тунгусы.

До этого момента Розенберг не вступает в противоречие со своими друзьями из русской эмиграции, которые также считали, что русская революция была работой чужаков. Но он шел дальше, указывая на роковые, по его мнению, недостатки русского характера: лень, невежество, беспорядочную, анархичную жилку, присущую многим русским, а также на глупость и высокомерие полуинтеллигенции. Все это Розенберг объяснял как следствие расовой ублюдочности России, произошедшей в результате татарского ига, «фатального смешения крови»; европейский и азиатский характеры находятся в постоянной борьбе, исход которой нельзя предвидеть. Поэтому Россия еще менее Германии способна противостоять порче.

Подобные идеи расовой неполноценности русских и вообще славян были совсем не новы; они широко распространились среди русских немцев задолго до революции. Имели они хождение и в Германии, хотя существовала и традиционная русофилия правых, а после первой мировой войны — различные национал-большевистские учения. Розенберг считал одной из своих главных задач очистить национал-социализм от этих отклонений, и именно благодаря ему нацистская политика с самого начала отбросила саму идею идеологического сопоставления или политического компромисса.

Эта позиция постепенно осложняла сотрудничество с русской эмиграцией. Русским, хоть бы и правого направления, не нравилось слышать, что они неполноценны в расовом отношении; не испытывали они также удовольствия, когда Розенберг развивал свои идеи о разделении будущей России на этнические группы. До 1923 года, пока существовала «Ауфбау», помимо всего преобладающим был обоюдный интерес борьбы с советским режимом. Но после гитлеровского путча ситуация быстро изменилась. Советы держались прочно. Розенберг теперь активно участвовал в немецкой политике. Пока Гитлер находился в тюрьме, он руководил нацистским движением. Розенберг сохранил близость с несколькими эмигрантами, которые сотрудничали с ним в «Вельткампф» (новая антисемитская служба новостей), но большинство из них были русскими немцами, украинцами или представителями других меньшинств. С настоящими русскими Розенберг контакт потерял; он настроил их против себя своей программой, по их мнению, не столько антибольшевистской, сколько антирусской. Кроме того, он почти утратил интерес к России, так как Розенберг-памфлетист уступил место Розенбергу-философу истории и критику культуры; теперь он работал над своим главным трудом «Миф XX столетия».

Розенберг был в целом человеком искренне убежденным. В отличие от Геббельса

он не был циником, а действительно верил в свою собственную пропаганду; он свел очень сложный феномен русской революции к простому ложному тезису, помешавшему с самого начала понять, в чем ее суть. Врожденное и, по-видимому, полное отсутствие чувства юмора не позволило ему осознать, насколько на самом деле гротескны его исторические и политические построения.

Гитлер скоро понял, что Розенберг в лучшем случае — тяжеловесный сухарь-идеолог, представляющий сомнительную ценность для партии; отсюда постепенный закат Розенберга после 1930 года. Но в ретроспекции это не уменьшает его значения как ведущего авторитета по России и коммунизму в ранние годы формирования нацистского движения.

Пролог к «окончательному решению»

Гитлер и русские правые

«Протоколы сионских мудрецов» были привезены в Германию русскими после революции 1917 года. Среди той части эмигрантов, которая обосновалась в центральной и северной Европе, выделялась немногочисленная, но общественно очень активная группа правой политической ориентации. Ее взаимоотношения с ранним нацистским движением заслуживают внимательного изучения.

Русская эмиграция разделилась на множество фракций и партий. У нее были собственные газеты и издательства, школы и театры, клубы и организации бывших военных. Многим казалось, что эти люди только на время покинули родину. Ведь спасавшиеся от французской революции в конце концов вернулись к себе домой, хоть это и произошло много лет спустя. В те времена, когда Ленин и Троцкий с друзьями сидели здесь рядом — в берлинских, венских, цюрихских кафе, никто не обращал на них внимания. Теперь же правительства, партии и разведывательные службы решили не повторять своих ошибок и установили за деятельностью новой русской эмиграции тщательное наблюдение.

Самыми активными сторонниками русских правых были те немецкие политики, которые на райхенхалльском конгрессе 1921 года предприняли серьезную попытку заключить союз с этой частью эмиграции. По оценке немецких источников того времени, возможно ошибочной, почти 90% русских эмигрантов придерживались крайне правых или монархических взглядов. Инициатива сближения исходила прежде всего от Шёбнер-Рихтера и его мюнхенского окружения, в которое входили деятели Баварской народной партии Крамер-Клетт и Хофрат Аман, промышленники из Регенсбурга, Мюнхена и Аугсбурга, а главное — Людендорф и его ближайший помощник, глава полуофициальной разведслужбы полковник Бауэр. Поддержка Людендорфа и Бауэра не афишировалась, но на самом деле о ней знали очень многие, и она даже обсуждалась в прессе. Правые германские политики стремились восстановить прежний немецко-русский альянс; русские же, по понятным причинам, нуждались в политической и финансовой поддержке немцев. К тому же они надеялись, что встреча в Райхенхалле поможет покончить с давними противоречиями и расколом.

Июньским утром 1921 года в ресторане «Пошт» маленького баварского городка Райхенхалля собрались примерно 130 представителей русской эмиграции, приехавших из разных европейских стран. Там можно было встретить немало известных лиц: бывшего московского предводителя дворянства Крупенского, бывшего товарища председателя Думы Волконского, сенаторов Бельгарда и Римского-Корсакова, бывшего министра Трепова, генералов Захарова (командовавшего дальневосточными армиями) и Бискупского. Из духовенства присутствовали епископы Антоний Киевский, Сергий и Евлогий; из политиков Марков, из идеологов — А. М. Масленников. Барон Таубе, граф Граббе, Фёлькерзамб и прочие представляли прибалтийцев. Конгресс начался успешно (одна немецкая газета отметила, что каждое заседание открывалось ровно в 10 часов утра, хотя в Петербурге никогда не брались за дела раньше полудня), но внутренние разногласия оказались сильнее стремления к единству, и добиться удалось очень немногого. Отзывы прессы в основном были враждебными. Одна социал-демократическая газета назвала эту встречу попыткой заключить союз между «новыми баварцами» (подразумевались Людендорф, Шёбнер-Рихтер и, возможно, Гитлер) и «старыми русскими». Коммунисты, естественно, назвали конгресс «черносотенным», но даже крайне антикоммунистическая газета сухо писала, что «откровений из Райхенхалля ожидает весьма узкий круг». По мнению русской демократической эмиграции, требования и надежды собравшихся в Райхенхалле монархистов были совершенно беспочвенны, а кто-то назвал всю затею чистым донкихотством. Дальнейший ход съезда оправдал этот скептицизм.

Все участники были согласны, что экономическое возрождение России является важнейшим вопросом. Но о каком возрождении могла идти речь до завоевания политической власти? Не был решен вопрос о национальных меньшинствах и новых приграничных государствах, образовавшихся из старой Российской империи. Возник разговор о необходимости ограниченной аграрной реформы, но так и повис в воздухе. Многие участники собирались поднять еврейский вопрос, но остальные сочли это неблагоразумным. Тогда конгресс выступил с заявлением, что единственное спасение евреев — это их помощь в деле реставрации монархии; иначе всю вину русский народ возложит на них. От имени группы «Ауфбау» выступил Немирович-Данченко, бывший сотрудник пресс-службы Врангеля и будущий многолетний автор розенберговской «Фёлькишер беобахтер». Он предложил следующее: поскольку Россия нуждается в квалифицированных немецких рабочих, следует разработать план их отправки на Восток — не ради эксплуатации рабочих и обогащения

капиталистов, а ради блага обеих стран.

Представители правого немецкого крыла, несомненно, с удовлетворением слушали, как Марков осудил Версальский мирный договор, который (по его словам) предал Россию и является оскорблением всего человечества. Все это было бы чудесно, но согласия по главному вопросу достичь не удалось. Даже самые правые из эмигрантов не хотели исключительно прогерманской ориентации, а грозное предупреждение немецкой националистической прессы, что парижский центр русской эмиграции не только офранцужен, но к тому же кишит евреями и масонами, не произвело на них должного впечатления. Не было единодушия и по поводу избрания нового царя. Свои сторонники были и у Кирилла Владимировича (Кобургского) и у Николая Николаевича (Парижского); прогермански настроенные участники не преуспели в утверждении своего кандидата. Показателен отчет полуофициальной немецкой разведки: в нем говорится, что Марков настроен полностью прогермански; секретарь конгресса Римский-Корсаков — фигура пусть малозначительная, но зато абсолютно лояльная; другие же, например сенатор Нейхардт и Долгоруков, настроены совершенно профранцузски. Русская эмигрантская разведка названа весьма неразборчивой в связях: ее руководители Гаусман и Фрейберг установили контакт даже с японцами [14]. Таким образом райхенхалльский конгресс не оправдал надежд организаторов, и его участники, вернувшись в Берлин или Белград, Мюнхен или Париж, не изменили своей прежней политической линии. План объединения в одну организацию всех групп русской эмиграции, или хотя бы ее крайне правого монархического крыла, провалился. Осталась лишь легенда о грандиозной встрече, на которой почти было достигнуто единство.

Василий Бискупский

Одним из тех, кто не сдался после неудачи в Райхенхалле, был генерал Василий Бискупский, заметная политическая фигура в русской эмиграции и двадцатых годов, и при Гитлере. В России он имел репутацию способного офицера и еще более способного карточного игрока. Во время революции Бискупский командовал в Одессе третьим армейским корпусом. Когда белая армия оставила Украину, он отправился в Берлин, а после капповского путча (в котором участвовал на второстепенных ролях) поселился в Мюнхене, тогдашней Мекке всех правых. Он был давним знакомцем Людендорфа и полковника Бауэра, которые считали генерала наиболее одаренным и заслуживающим доверия лидером русской эмиграции. В Мюнхене Бискупский занялся поиском новых союзников по борьбе с большевизмом; впоследствии один из его друзей вспоминал, как на митинге в какой-то мюнхенской гостинице они впервые открыли для себя Гитлера. По словам очевидца, «Гитлер производил впечатление сильного человека, имеющего большую власть над окружающими». Состоялось знакомство, и вскоре они очень сблизились [15]. Примерно в то же время Бискупский примкнул к фракции великого князя Кирилла и вскоре стал ее «премьер-министром».

По словам тех, кто хорошо его знал, он был очень хитрым человеком, интриганом с размахом, вечно участвовавшим в крупных финансовых и политических аферах. Бискупский утверждал, что уверился в гнусных происках «тайной руки» — евреев, масонов, иезуитов и других темных международных сил — еще в начале первой мировой войны. Однако один из свидетелей пишет, что Бискупский был слишком умен для этого и только изображал верность основным пунктам кредо правых монархистов. По мнению того же автора, Бискупский «так же заботился о судьбе России, как о будущем Абиссинии»; его привлекала не идеология, а политические страсти [16]. Может быть, здесь есть некоторое преувеличение, но Бискупский, несомненно, обожал закулисные заговоры и интриги и натравливал претендентов друг на друга. Он втянул в свои интриги и Людендорфа, заключив с ним (как утверждал позже) тайное соглашение о будущем Германии и России. Точное содержание этого «Русско-германского договора 1923 г.» неизвестно; насколько можно выяснить, Людендорф на эту тему никогда не высказывался. Но зато Бискупский вскоре после заключения советско-германского пакта 1939 г. говорил, что этот пакт «не нарушает прежнего соглашения, основанного на границах 1914 года». Он также сообщил, что последним параграфом «соглашения» предусматривалась «народная монархия».

Из молодых помощников Бискупского в Мюнхене и Берлине некоторой известностью пользовались Шабельский-Борк и Таборицкий. Петр Николаевич Шабельский-Борк родился в 1893 году на Тереке и был сыном богатого кавказского помещика. Он рано вступил в «Союз русского народа»; впрочем, с этим движением его связывала семейная традиция, так как его мать, Е. А. Шабельская-Борк, была одним из

---

[14] Разведсообщение «Оргеш» («Организации Эшерих» баварского фрайкора, от 10 июня 1921 г.). Марков, впрочем, не вполне оправдал доверие немцев: в период своей думской деятельности он был настроен прогермански, но после райхенхалльского конгресса перешел во французский лагерь. И только в 1929 г. вновь стал союзником Кирилла, а затем и нацистов. Римский-Корсаков до 1917 г. был одним из руководителей «Союза русского народа».

[15] Александр Захарович Силаев, бывший полковник царской армии и херсонский вице-губернатор при Врангеле, в беседе с Борисом Николаевским, Нью-Йорк, 22 декабря 1947 г. Он рассказывал, что Гитлер одно время скрывался в доме Бискупского, и жена последнего, известная певица, заложив часть своего жемчуга, помогла ему спастись. Я склонен думать, что здесь Силаеву изменяет память: чтобы помочь молодому нацистскому движению, часть драгоценностей продала Виктория Федоровна, жена претендента на царский трон Кирилла.

[16] Снесарев, «Кирилл I, император Кобурга». Это очень откровенный и разоблачительный рассказ известного журналиста, одно время тесно сотрудничавшего с Бискупским и «кобургским» кругом, но затем от него отдалившегося. В этой книге много оскорбительных слов, но много и достоверных фактов. Это был не первый удар Снесарева по престижу русских правых: в 1913 г. он порвал с их ведущей газетой «Новое время», редактором которой являлся, и обнародовал скандальные факты о коррупции.

руководителей организации [17]. Молодой Шабельский имел офицерское звание, участвовал в первой мировой и гражданской войнах, а затем вместе со своим другом Таборицким создал в Берлине организацию черносотенного толка. Оба приятеля занимались как литературой, так и террористической деятельностью: Шабельский-Борк помогал издавать экстремистский журнал «Луч света», а Таборицкий на берлинской улице напал на известного политика, бывшего руководителя октябристов Гучкова. Наиболее выдающимся их свершением было убийство 28 марта 1922 года Владимира Набокова. Чтобы помочь голодающим России, партия кадетов организовала в Берлине съезд эмигрантов. Когда Милюков закончил доклад и председатель предложил присутствующим задавать вопросы, в зал (дело происходило в Берлинской филармонии) с пением русских патриотических песен ворвались террористы и открыли огонь по президиуму. Руководили покушением Шабельский-Борк и Таборицкий. Они хотели убить Милюкова, но застрелили Набокова, заслонившего собой лидера партии (с которым, между прочим, у него были разногласия по многим важным вопросам). Милюков бросился на пол и спасся; Набоков же был смертельно ранен [18]. На суде Шабельский-Борк и Таборицкий отрицали свое членство в какой-либо политической организации; они клялись, что эта акция была чем-то вроде романтической кавказской вендетты, месть за оскорбление, допущенное Милюковым в адрес царицы в одном из его выступлений во время войны. Шабельский-Борк был приговорен к четырнадцати годам каторжных работ, Таборицкий — к двенадцати. Однако оба вышли на свободу гораздо раньше срока и продолжали играть не слишком заметную роль в жизни русской колонии в Германии [19].

Кобургский круг

Великий князь Кирилл Владимирович (1876—1938), провозгласивший себя царем в августе 1922 года, был двоюродным братом Николая II и, следовательно, одним из законных претендентов на русский трон. Его противники считали, что, поскольку мать Кирилла не принадлежала к «истинной вере», да и сам он был женат не на православной, царем он стать не мог; сторонники же утверждали, что все остальные претенденты либо скомпрометированы своим поведением во время революции и гражданской войны, либо могут быть заподозрены в демократических и конституционных настроениях.

Кирилл без особых отличий служил на флоте, после революции отправился в Финляндию и в конце концов обосновался в Кобурге, где располагались владения семьи его супруги. Великий князь был человеком непритязательным и недалеким, политикой всерьез не интересовался и поэтому предоставлял своим советникам и жене решать все вопросы самим [20]. Впервые его программа была опубликована в октябре 1922 года; позднее ее называли расистско-националистической, так как она была очень похожа по содержанию на нацистскую. По сути дела она представляла собой составленный по старому образцу манифест с туманными утверждениями о желательности «советов без коммунистов» и обещаниями оставить крестьянам обрабатываемую ими землю. Очевидно, было сочтено, что такие уступки духу времени и социальной революции необходимы: впрочем, практические детали не оговаривались. Кирилл и его советники были уверены только в одном: для реставрации монархии им понадобится немецкая помощь, и изо всех сил старались противодействовать очень модной в 20-е годы в немецких правых кругах просоветской ориентации.

Сама идея попытаться создать вне России царское правительство традиционного образца была лишена малейшего чувства политической реальности; скоро это превратилось в фарс. Большинство монархистов-эмигрантов, включая Высший монархический совет, не признавали Кирилла; между его сторонниками и сторонниками великого князя Николая Николаевича началась ожесточенная борьба. Кобуржцы пытались заручиться помощью Америки. (Согласно одному источнику, три места в Кобургском регентском совете были даже проданы американцам.) Среди членов этого правительства изгнанников можно назвать камергера Мятлева, пользовавшегося не слишком хорошей репутацией у своих соотечественников, главу «тайной службы» полковника Доливо-Долинского, старого генерала Алексея Бобринского, издававшего газету «Вера и верность», и самого активного из всех — Н. О. Граффа, гусарского ротмистра, который дослужился в эмиграции до «адмирала» и исполнял при Кирилле Владимировиче обязанности канцлера вплоть до начала второй мировой войны [21].

Конец сотрудничества

Сотрудничество русских с раннефашистским движением прекратилось после разгрома гитлеровского путча в 1923 году. Это поражение возымело на русских правых отрезвляющее действие; к тому же монархический подъем в Баварии (как и

---

[17] В Петербурге она издавала черносотенскую газету «Свобода и порядок», предназначенную для рабочего класса, но финансируемую местной полицией. Она также писала передовые статьи для дубровинского «Русского знамени». Винберг называл ее «самой святой и чистой из русских женщин». Незадолго до смерти Распутина она пыталась уговорить его покинуть Петроград ради блага России и царской семьи.

[18] Доклад общественного прокурора о судебном деле Шабельского-Борка (1922) хранится в Берлинском муниципальном архиве.

[19] В 1933 г. за оказываемые услуги Шабельский-Борк получал от бюро Розенберга ежемесячную плату. В том же году он помог организовать русское нацистское движение (письмо Шикеданцу от 14 марта 1933 г.). На заре нацистской эры Таборицкий тоже хотел получить какую-нибудь должность, но был отвергнут нацистами «как лично ненадежный». В 1938 г. он стал помощником лидера пронацистской эмигрантской группы генерала Туркула.

[20] Царица поддерживала национал-социализм гораздо активнее, чем ее муж (письмо Бискупского Шикеданцу от 22 марта 1933 г.).

[21] Николай Освальдович Графф был председателем отделения «Союза русского народа» в Петербургском университете и правой рукой Пуришкевича.

во всей Германии) шел на убыль, в Британии у власти было правительство лейбористов, а Франция собиралась признать Советское государство. Мюнхен перестал быть центром русской эмиграции, и кроме фракции Кирилла русских эмигрантов в Германии почти не осталось.

После выхода Гитлера из тюрьмы тесный контакт с русскими больше не возобновился; в нацистском движении усиливались антирусские настроения, и в своей восточноевропейской политике оно стало поддерживать украинских сепаратистов. Бискупский безуспешно пытался восстановить отношения с различными нацистскими лидерами, в том числе и с Гитлером. В письме от 21 сентября 1932 года он предлагает «координировать политические действия», невзирая на идеологические разногласия, но никакого удовлетворительного ответа не получает. Бискупский предпринимает много усилий для того, чтобы войти в доверие к Розенбергу, которого прочили в будущие министры иностранных дел. Он сказал Розенбергу, что хотя не разделяет его антирусских взглядов, но лично к нему испытывает большую симпатию; тот ответил, что Бискупский и его друзья не придают должного значения законным территориальным притязаниям Германии на Востоке. Когда нацисты пришли к власти, Бискупский постарался поскорее напомнить новым хозяевам страны о своих немалых заслугах в 1921—23 годах. «Дорогого» Альфреда Вольдемаровича (Розенберга) и «дорогого» Арно Густавовича (Шикеданца) бомбардировали письмами на русском и немецком [22]. В первую очередь просили денег, так как финансовое положение эмигрантов было отчаянным: Бискупский не имел доходов с 1928 года, а Шабельский-Борк и того дольше. При этом генерал не собирался получать деньги даром: он предлагал организовать во Франции разветвленную шпионскую сеть. Подчиненная ему организация (возможно, имелись в виду «младороссы») должна была передавать донесения лично Бискупскому, а он будет выходить непосредственно на Розенберга и Гитлера. Эта организация уже располагала агентурной сетью во французском генеральном штабе, 2-м и 3-м Интернационалах и даже в масонской ложе «Великий Восток». Неужели нацисты не понимают всю важность получения непрерывного потока точнейшей информации о враждебном государстве? Ведь, в отличие от предыдущих правительств, они знакомы с книгой полковника Николаи (о шпионаже во время первой мировой войны) и, по-видимому, сделали соответствующие выводы. Однако немецкие профессионалы, судя по всему, скептически отнеслись к усилиям шпиона-любителя, и не без их помощи Бискупского арестовало гестапо. Он пробыл в тюрьме с июня по сентябрь 1933 года. Впрочем, на этом его карьера не закончилась. Через два года он снова появился на политической арене и возглавил русскую эмиграцию в Германии.

Но произойдет это позже и к тому же выходит за рамки нашей темы. В середине 20-х Кирилл Кобургский с семьей был вынужден покинуть Германию, по его словам, из-за непомерных финансовых притязаний немецких налоговых властей, наущиваемых самим министром социал-демократического правительства Гильфердингом. В действительности же большую часть остававшихся у великого князя средств выманил некий мошенник, принадлежавший к правоэкстремистскому кругу Людендорфа.

В конце 20-х многие русские эмигранты испытывали к Гитлеру и Муссолини явную симпатию, и после победы нацистов в Германии и других странах появилось много небольших полуфашистских и полунацистских групп. Сами нацисты к этим потенциальным союзникам относились равнодушно и никоим образом не поощряли их [23]. В союзниках они нуждались лишь в начале своей деятельности, а после 1931—32 года русские стали для них скорее обузой.

Все же большая часть русской эмиграции не участвовала в заигрывании с нацистами в начале 20-х и уклонялась от сотрудничества с ними после 1933 года. Военные вожди типа генерала Деникина и политики старшего поколения не были сторонниками демократии, но идеи национал-социализма их тем более не вдохновляли, а Гитлера они считали ненадежным союзником. На первый взгляд могло показаться, что русская эмиграция является благоприятной почвой для различных фашистских идеологий и движений. На самом деле все было гораздо сложнее. Среди русских, независимо от их политических убеждений, нашлось немного последователей расовых теорий; возможно, им бы больше импонировал «правый» (итальянский) тип фашизма. Помимо идеологических нюансов отсутствовал наиболее существенный фактор: в Германии и Италии фашисты пришли к власти как крайне националистические массовые движения, направленные против внешнего врага. Русские же фашистские группы, наоборот, для освобождения России от большевистского правительства должны были обращаться к иностранной помощи — не совсем достойная позиция для националистов. Гитлер понимал это лучше других и много лет спустя вспоминал, как еще в 1921 году спорил об этом с Розенбергом: «Я говорил ему: «Розенберг, запомните мои слова — революции делаются изнутри страны, а не извне». Затем пришел гетман (Скоропадский), и я спросил Розенберга: «Чего ты ждешь от этого человека?» — «Он готовит революцию». Тогда я ответил: «В таком случае он должен находиться в России».

Пролог к «окончательному решению»

Несколько правых русских экстремистов вступили в НСДАП; остальные членами партии не стали — или были несогласны с программой, или потому, что их просто не

[22] Некоторые русские, например В. Викторов, обращались к Розенбергу «Альфред Владимирович». Вряд ли это доставляло ему удовольствие.

[23] Фракция Кирилла была вынуждена прекратить свою деятельность в Германии в 1933 г. По мнению современных русских монархистов, законным претендентом на царский трон является живущий в Испании сын Кирилла Владимир Кириллович.

приняли. В любом случае их политическая деятельность малоинтересна; гораздо большее значение имели их идеологические усилия осовременить черносотенную доктрину, использовав уроки войны и революции. Именно в этом русские правые оказали несомненное, пусть ограниченное, влияние на национал-социализм. Особого внимания с этой точки зрения заслуживает фигура Федора Викторовича Винберга. В прошлом царский офицер, в 20-е годы Винберг жил в Берлине и издавал несколько газет. В политической жизни России Винберг не был заметной фигурой: он не состоял членом Думы и не принадлежал к советам правых эмигрантских партий. Тем не менее его писания имеют прямое отношение к затронутой нами теме, так как они были самыми откровенными и логичными — под их влиянием находился Розенберг, а через него и Гитлер. Кроме того, «Протоколы сионских мудрецов» были впервые привезены и опубликованы в Германии именно Винбергом.

Винберг родился в Киеве в семье генерала, командира кавалерийской дивизии; был офицером-конногвардейцем, дослужился до полковника. Политикой он начал интересоваться достаточно поздно, перед самой первой мировой войной. Став членом группы Пуришкевича, писал для некоторых черносотенных изданий. Винберг принадлежал к небольшой, но очень влиятельной группе обрусевших немцев, игравших важную роль в политической и государственной жизни царской России, а после революции — в правом движении [24]. Во время первой мировой войны положение людей этого круга было достаточно нелегким — их подозревали в измене. Винберг так и не простил Пуришкевичу ярого антигерманизма тех лет. Безусловно, обвинения в измене были беспочвенны. Друзья Винберга поддерживали прогерманский курс во внешней политике империи, но когда война уже началась, их преданность своему государю и отечеству была несомненной.

Винберг был наипреданнейшим слугой престола, его писания изобилуют обличениями в адрес политиков, особенно правой и центристской ориентации, не разделявших столь же верноподданнических чувств [25]. Незадолго до Октябрьской революции Винберг участвовал в заговоре с целью свержения Временного правительства, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Здесь у него было достаточно времени для обдумывания своих идей и ведения дневников. Как Гитлер в Ландсбергской тюрьме, он готовился к будущей карьере политика и публициста. Винберг вышел из тюрьмы (или бежал) в 1918 году и уехал сначала на Украину, а затем в Германию. Он неустанно развивал свои идеи в недолго просуществовавшей берлинской газете «Призыв», в издававшемся сначала в Берлине, а потом в Югославии ежегоднике «Луч света», в книге «Крестный путь» и в других своих сочинениях. Вкратце идеи Винберга можно представить так:

1. Корень всех зол — в евреях. Они должны быть уничтожены.

2. В развале России виновны либералы и конституционные демократы. Плоха любая форма демократии и республики. Необходим сильный диктатор, так как народ по своей природе глуп и порочен, доверять ему нельзя.

3. Чтобы покончить с революцией, необходимо объединить усилия России и Германии.

4. Для борьбы с объединенными силами жидомасонских сект, которые в настоящее время превратились в новый Интернационал, необходим союз католической и православной церквей.

Винберг начинал как приверженец царского режима, но потом отказался от некоторых своих традиционных постулатов веры. Он был активным противником всех форм парламентаризма и «демократической перебранки», называя это смесью ницшеанства и социального дарвинизма, неприемлемой для подлинного монархиста. В своих «Берлинских письмах», опубликованных в «Луче света», он пишет, что природа любит людей сильных, смелых, активно действующих, а не болтающих; ей чужды слабость и демократические полумеры. К народным массам Винберг не испытывает ничего, кроме презрения; его единственная претензия к Николаю II заключается в том, что тот идеализировал русского мужика и весь русский народ — свору бездельников, которые за измену своему царю должны понести наказание. Народ всегда будет только слепой, невежественной, бесчувственной толпой, которую волнуют исключительно грубые, материальные потребности. Люди — это «антропоидное стадо», многоликий зверь. Все, что писал впоследствии Розенберг о евреях и еврейской истории, слово в слово совпадает с идеями «Берлинских писем»: еврейская религия в высшей степени аристократична; многие столетия евреям приходилось бороться с не-еврейской аристократией; для этого в своей внеевреиской политике они использовали яд демократических, либеральных и социалистических идей. Так уничтожили они Римскую империю, впрыснув ей смертельную инъекцию демократически-еврейского христианства. Сами же евреи от демократического вируса защищены своей религией и расой. Для сохранения и усиления свойств своей расы они используют законы наследственности и естественного отбора. А «гои» только недавно стали понимать значение расы. Социализм — это христианство на современный лад; евреи избрали социализм для достижения своей конечной цели — победы над арийским миром. Но можно ли еще спасти арийский мир? В еврейско-масонские сети уже пойманы три четверти так называемых христиан, в руках масонов — три четверти мировой прессы и все запасы золота. В любой момент их Интернационал может начать открытую борьбу там, где прикажет их Синедрион; окончательной победой этих сил будет создание международной армии при Лиге Наций. Но, несмотря на эту смертельную опасность, есть надежда на

---

[24] В этих кругах были распространены фамилии вроде: барон фон Таубе, Меллер, Шварц, фон Лямпе, фон Траубенберг, фон Лейхтенберг, Тальберг, фон Мантейфель, Гартман.

[25] Главный труд Винберга начинается одой Николаю II.

спасение. Арийские народы должны отказаться от своей неразумной, недальновидной политики и создать объединенный фронт. Они, как настоящие охотники, должны знать вкусы и повадки своей дичи, должны научиться думать и вести себя как хищные звери — только тогда они победят. Те, кто понял истинное значение еврейской религии — захват мирового господства,— не имеют права бездействовать. Борьба за власть должна быть хитрой и беспощадной.

Как же поступать с евреями? Винберг подчеркивает: единственное решение — полное физическое истребление. Существует два вида антисемитизма: «высокий», использующий ограничительные законы, изгнание и другие защитные меры, и «низкий», предполагающий полное физическое истребление евреев. Этот антисемитизм ужасен, но зато эффективен, а его последствия благотворны. Такой антисемитизм разрубает гордиев узел проблемы путем уничтожения евреев, объевреившихся и всего, что отдает иудаизмом. Такова воля масс, идущая из глубин самого народа (в остальном презираемого Винбергом),— безусловно, воля эта ниспослана свыше. Змеиное гнездо должно быть уничтожено так, чтоб и следа не осталось.

Винберг умер в феврале 1927 года и потому не смог стать свидетелем воплощения своих идей. Его взгляды представляют интерес с исторической точки зрения, поскольку их можно расценивать как связующее звено между черносотенной идеологией и идеологией национал-социализма. Отвержение христианства при попытке сохранить один из христианских мифов, применение расовой теории (хоть пока не в разработанной, псевдонаучной форме), полное презрение к массам, интеллигенции и, в общем, ко всему человечеству, кроме элиты, идея диктатуры и радикального решения еврейского вопроса (более радикального, чем в трудах Гитлера и Розенберга) — все это явно выходило за рамки традиционной правой политической мысли, идущей от славянофилов и Победоносцева. Некоторые идеи Винберга (суждения о христианстве как о демократическом яде и предшественнике большевизма) и предложение истребить евреев физически пришлись по вкусу Розенбергу и были использованы им в «Мифе XX столетия».

Очевидна и ограниченность Винберга как предшественника нацизма. Старомодная вера в монархию мешала ему стать современным фашистским мыслителем (как и Людендорфу); презрение к массам не сопровождалось (как у Гитлера) осознанием их значения и стремлением к их политической эксплуатации. Винберг и ему подобные имели ясные цели, но не представляли путей их воплощения; он был безумцем, но безумцем неопасным. Преданность России была сильнее немецкого происхождения, поэтому Винберг не мог заодно с нацистскими идеологами в конце концов списать Россию со счетов как страну «недочеловеков». Основой нацистской идеологии был тезис о превосходстве немецкого национального духа, нордической расы. Винберг же, как человек русский, не мог стать пророком мифа о расовой исключительности.

Марков

В Берлине, Мюнхене, Белграде было целое войско второстепенных идеологов и писателей, с различной степенью истовости, таланта и постоянства излагавших примерно одни и те же взгляды. В их распоряжении были собственные организации, газеты, журналы и издательства. Самым заметным, несомненно, являлся Николай Евгеньевич Марков (известный в Думе как Марков 2-й), само имя которого в последние годы царской империи стало притчей во языцех. Он родился в 1866 году и был помещиком Курской губернии. Во второй и последующих Думах Марков представлял крайне правое крыло, раз за разом неистово атаковал и социалистов, и либералов, а более всего правоцентристов. Своего рода русский юнкер, нападки которого на капитализм были еще более яростными, чем обвинения против социалистов, он был самым активным политиком прогерманской ориентации и на протяжении всей войны настаивал на сепаратном мире.

После революции Марков продолжил свою деятельность уже в Германии. Он возглавил русский монархический союз и участвовал в выпуске одного из ведущих периодических изданий того времени, газеты «Двуглавый орел»[26]. Однако как идеолог и писатель он лавров так и не стяжал: его главный труд, опубликованный по-русски в Париже и по-немецки в третьем рейхе — это просто сборник взволнованных рассказов о собраниях иллюминатов[27], ритуальных жертвоприношениях, масонских заговорах и т. п., начиная со смерти Христа и кончая убийством Николая Романова. Единственная свежая идея его книги — появление Карла Радека в качестве главного агента верховного раввина константинопольского. В Германии хватало своей антисемитской литературы, и к вновь прибывшим чужестранцам особого интереса проявлено не было. Поэтому на Маркова в третьем рейхе должного внимания не обратили, и остаток дней он занимался чтением лекций о русской эмиграции — не очень лестный, но вполне уместный финал жизни для политика, воображавшего себя русским Бисмарком, если не самим Петром I.

«Призыв»

На этой идеологической помойке некоторое время процветала ежедневная берлинская газета «Призыв», выходившая в 1919—1920 годах. Но еще долгие годы после прекращения ее девятимесячного существования[28] немецкая ультраправая пресса питалась информацией, впервые появившейся в этой газете. Вот, например, какие истории печатались в «Призыве»: во время боев с отрядами Красной Армии на эстонской границе в кармане убитого краскома Зунделя было найдено письмо. Оказалось, что это циркуляр для руководителей отделений международной еврейской органи-

[26] Свои статьи Марков часто печатал под псевдонимом «Гой».

[27] Тайный орден, примыкающий к масонской организации. Основан в Баварии в конце XVIII в. *(прим. перев.)*.

[28] Первый номер газеты появился 22 июня 1919 г., а последний — 14 марта 1920 г.

зации «Сыны Израиля». В нем сообщалось, что час победы близок и «мы на пороге мирового господства».

Газета призывала русскую эмиграцию уповать на немецкую поддержку, а не на помощь западных держав. Главное место отводилось антисемитской пропаганде: редакторы гордо заявляли, что их «Призыв» — единственная эмигрантская газета, среди сотрудников которой нет ни одного еврея. Это было несколько опрометчивое заявление: трудно совместить разговоры о «жидобольшевизме» с таким количеством эмигрировавших из России евреев. Обвинения в экстремизме отвергались с большим негодованием. «Те, кто называет нас экстремистами, пусть почитают газеты, которые печатались в тылу белой армии,— возражали они.— Кадеты и те куда резче нас». «Призыв» почти ежедневно подчеркивал веру издателей в принципы Православия, сообщая о большом религиозном возрождении в районах, занятых белой армией. Победу венгерской контрреволюции и усиление правых сил в Германии «Призыв» счел счастливым предзнаменованием. В марте 1920 года издатели газеты принимали участие в подготовке капповского путча, попытке правых сил свергнуть немецкую демократию. Поэтому после подавления мятежа германские власти вынесли решение о запрещении «Призыва».

Эксперты Гитлера по русским вопросам — Розенберг [29] и Шёбнер-Рихтер — тщательно просматривали «Призыв» и другие подобные газеты (например, «Двуглавый орел»). Розенбергу, считавшему себя учеником Х. С. Чемберлена, наверное, не очень нравилась религиозность этих публикаций, но зато ценность такого источника информации была несомненна.

Нельзя не вспомнить еще некоторых представителей этой группы. Граф (и генерал) Череп-Спиридович обосновался в Соединенных Штатах; это случай уже совершенно клинический. В своих книгах и памфлетах он именовал себя «Славянским Папой», «Славянским Бисмарком», «Обладателем дара ясновидения» (слова лорда Альфреда Дугласа) и использовал чисто рекламные приемы для распространения историй, поставляемых ему единомышленниками из Европы. Его опусы поистине неописуемы — их нужно видеть. Однако даже такие известные люди, как Генри Форд, солидные газеты вроде лондонской «Файнэншл таймс» относились к Череп-Спиридовичу всерьез и помогали заполучить немалую аудиторию.

Во Франции примерно в том же ключе работал другой генерал, Нечволодов, а князь Горчаков в Париже содержал издательство, специализировавшееся на все той же литературе о заговорах, ритуальных убийствах и тому подобных вещах. Большое количество таких изданий выпускалось в Югославии. Евгений Брант в своем «научном исследовании», посвященном ритуальным преступлениям, собрал все материалы на эту тему, когда-либо появлявшиеся на европейских языках. Получился трактат в трех томах. А. В. Ахматов заканчивает свою очень религиозную по настроению книгу такими благочестивыми словами: «В глубине души я продолжаю надеяться, что недалек тот день, когда христианский Мессия восстанет для крестового похода против еврейства». Главные русские эмигрантские газеты той эпохи «Старое время» и «Новое время» придерживались примерно такого же направления, хоть «Новое время» было настроено чуть менее прогермански.

В Германии князь Н. Д. Жевахов, биограф Нилуса, опубликовал мемуары, в которых упрекнул в недостатке антисемитского энтузиазма даже Маркова. Более почтенные по возрасту и стажу правые деятели типа Крупенского или Бобринского не обременяли себя в таком преклонном возрасте литературным трудом. Это относится также к одному из наиболее реакционных царских губернаторов, сотруднику Победоносцева по Святейшему Синоду А. А. Ширинскому-Шихматову. Но у старика был сын, Юрий Алексеевич, деятельность и судьба которого заслуживает упоминания. Ширинский-Шихматов-младший руководил существовавшей в Берлине и Мюнхене организацией под названием «Совет национально мыслящей русской молодежи за границей». В периодических изданиях своей организации он писал под псевдонимом «Лукьянов», провозглашая довольно еретические взгляды — например, протест против интервенции и призыв к «революционному монархическому движению» — хотя непонятно, что под этим подразумевалось. Как видный деятель монархической и правоэкстремистской организации он был уполномочен вести переговоры с неким А. А. Якушевым (он же Федоров). Якушев приехал в Берлин в ноябре 1922 года и представился посланцем монархической оппозиции внутри России, из Москвы он прибыл под видом советского эксперта. Так началась захватывающая страница в истории русской эмиграции, поскольку Якушев был верен своему слову и каждый раз привозил важную и вполне достоверную информацию о положении дел в СССР. Только несколько лет спустя русские монархисты обнаружили, что связь с «внутренней эмиграцией» — не более чем мистификация, тщательно подготовленная советской политической полицией для проникновения в зарубежные русские круги.

Эта история имеет только косвенное отношение к нашей теме. Но пока продолжалась так называемая операция «Трест», продолжалось и сотрудничество русских с нацистами. Через берлинский и мюнхенский эмигрантские центры в эту операцию, судя по всему, были вовлечены некоторые видные нацистские руководители. Похоже, Гитлер очень рано перестал доверять русским эмигрантским политикам и предостерегал Розенберга. Шёбнер-Рихтер все же не прекращал сотрудничества с русским Высшим монархическим советом. В Германии ходили упорные слухи, что Шёбнер-Рихтер имеет телеграфную связь с Москвой; командующий фрайкоровскими частями капитан Эрхардт утверждал, что в 1923 году через Шёбнер-Рихтера сумел

---

[29] Информация, почерпнутая из этих газет, послужила основой для многих статей Розенберга тех лет. Иногда он делал ссылку на источник (например, в статье «На хорошем немецком» от 30 декабря 1919 г.), но гораздо чаще — нет.

выйти на прямой контакт с советским правительством [30]. Звучит это крайне неправдоподобно; возможно, мы никогда не узнаем, что происходило тогда на самом деле, ибо участники этих событий давно умерли и, насколько известно, не оставили никаких воспоминаний.

Литературная продукция Винберга и его соратников не иссякала все двадцатые и тридцатые годы. Она получила распространение не только в Европе, и хоть все авторы эксплуатировали одну тему, каждый обогащал ее собственными вариациями. Один шанхайский исследователь в 1939 году сделал открытие, что Христианский союз молодых людей — ветвь жидомасонского интернационала, того же поля ягоды и баптисты с бойскаутами. Тема пережила вторую мировую войну и дала о себе знать в 50-е годы под названием «антисатанизма». Теперь ее приверженцы из рядов правой русской эмиграции утверждали, что они не против самих евреев, а лишь против темных сил, которые стоят за евреями, и против евреев-ассимилянтов.

Шварц-Бостунич

Среди всех проповедников «окончательного решения» еврейского вопроса только один Шварц-Бостунич не остановился на полдороге и полностью отождествил себя с нацистским движением. Он стал близким другом Карла Вольфа, Олендорфа, Гейдриха, доверенным лицом Гиммлера и был удостоен довольно высокого звания в войсках СС. Для этого было недостаточно принять нацистскую идеологию, нужно было еще отречься от русских корней и добиться статуса этнического немца (фольксдойче). Случай Григория Шварц-Бостунича интересен и как вклад в политическую психопатологию нашего времени, и как звено в органической связи Черной сотни с национал-социалистским движением.

Бостунич родился в 1883 году в Киеве. Его родители были людьми обеспеченными. В университете он изучал право и с самого начала заинтересовался антисемитизмом и антимасонскими «исследованиями». Во время гражданской войны Бостунич служил в отделе пропаганды деникинской и врангелевской армий; после их разгрома отправился в Белград, а потом переехал в Германию. Его первые работы — это комментарии к «Протоколам сионских мудрецов» и более фундаментальный труд о масонстве. После 1917 года фактически вся его жизнь была посвящена исследованию тайных обществ и оккультных сил, насылавших бедствия на арийские народы. Он был наиболее плодовитым из создателей антииезуитских, антиантропософских, антимасонских произведений, а в свободное время обеспечивал философским прикрытием газету Штрайхера «Штюрмер», изучая роковое влечение еврейских мужчин к германским арийским женщинам и ужасные последствия таких интимных отношений. «И мои друзья, и мои многочисленные враги,— писал он в 1933 году,— знают, что я совершенно неуязвим, так как каждую свою главу и каждый абзац я подкрепляю точными ссылками». Бостунич был специалистом по выявлению в истории масонских символов; и так как он считал, что масоны и евреи использовали в качестве символов не только круг, треугольник и квадрат, но и крест, пентаграмму, гексаграмму и даже свастику, то ему удавалось обнаружить лишь совсем немного знаков, печатей, картин, незатронутых этим пагубным влиянием. В качестве примера его философско-исторических построений можно привести комментарий к где-то найденной им картине, на которой была изображена змея (еще один знаменитый жидомасонский символ) на фоне карты Европы. Оказывается, это изображение обозначало успешные попытки евреев уничтожить все государства, препятствовавшие их продвижению к мировой власти: Афины в 429 г. до н. э.; Рим в эпоху Августа; Мадрид при Карле V; Париж при Людовике XIV; Москву в 1917 году. Аллегорическая змея, сыгравшая такую большую роль в русской антисемитской литературе, попала в Германию в 20-е годы, придумал ее Лютстанский, известный иудаистский вероотступник, живший в России во 2-й половине XIX века. Он стал католическим священником, потом ярым антисемитом, а в конце концов предложил старейшинам еврейской общины публично отречься от всех своих писаний — за соответствующее вознаграждение.

Работы Бостунича не добавили ничего нового в антимасонскую и антисемитскую литературу, зато в них были собраны достижения в этой области за многие столетия. Очевидно, он искренне полагал, что в виде печатного слова даже явная ложь превращается в научную истину. Бостунич усердно рылся в выгребных ямах европейской литературы, добывая сведения, которые, на его взгляд, могли понравиться руководству СС. Но даже нацистам такие методы казались сомнительными. Когда во время второй мировой войны Бостунича собирались удостоить звания профессора, один из руководителей СС, Олендорф, прошедший некоторую академическую школу, заявил, что метод Шварц-Бостунича недостаточно научен. Ни один германский университет не выразил желания принять Бостунича в свои ряды, и тот стал почетным профессором СС.

Позднее Бостунич утверждал, что является приверженцем «движения» с 1923 года. На самом деле его обращение в национал-социализм происходило постепенно. В 1923 году он был просто русским эмигрантом, опубликовавшим на родном языке антисемитскую пьесу. Пьеса заканчивалась сценой, в которой руководитель ЧК, еврей Задок, распинал на кресте маленького сы-

---

[30] См. Баварский главный архив; министерство внутренних дел 73700, см. также Август Винниг, «Возвращение на родину», с. 179. Эти слухи были основаны на сообщении, появившемся в белградском журнале «Русское дело» в конце 1922 г. В Мюнхен для тайных переговоров с Шёбнер-Рихтером и Бискупским якобы прибыл генерал Комиссаров, один из руководителей царской охранки. В свое время он сыграл большую роль в деле Распутина, был замешан в организации погромов и связан с Черной сотней. Позже, как говорят, работал на ЧК. Эта статья была сразу же опровергнута («Ауфбау», 7 февраля 1923 г.), но даже 12 лет спустя Бискупский и Гиммлер упоминают о ней в переписке.

на русского генерала[31]. В 1925 году состоялось его знакомство с Розенбергом, и Бостунич начал работать в антисемитском агентстве новостей «Вельтдинст». Теперь он носил фамилию Шварц-Бостунич и писал — не вполне складно — на немецком. В отличие от своих соратников по правой эмиграции, он не остался сторонником Розенберга, а примкнул к Гиммлеру и СС. Это был умный политический ход, так как влияние Розенберга шло на убыль, а звезда Гиммлера только начинала восходить.

Трудно понять, что́ СС, самая элитарная из нацистских организаций, нашла в этом сумасшедшем полуинвалиде. Однако в 1935 году он стал гауптштурмфюрером, а в 1944 штандартенфюрером — довольно высокое звание для обыкновенного идеолога. Гиммлер оценил фанатичную преданность Шварц-Бостунича, неустанно им демонстрируемую. «Мы все полюбили вас»,— писал ему Гиммлер в 1935 году. В свою очередь, при каждом удобном случае Бостунич подчеркивал, что смысл всей его жизни только в «великолепном СС». Бессчетное количество раз он клялся в беззаветной верности Гиммлеру и другим лидерам СС. К тому же Бостунич был не лишен старомодного австро-украинского шарма, обладал даром рассказчика и пользовался популярностью как лектор, хотя его немецкий язык оставлял желать лучшего. Со своими лекциями о евреях и масонах он объездил сначала Германию, а потом и некоторые оккупированные страны.

При всем при этом Бостунич был совершенно безумен. С ранних лет он испытывал желание работать осведомителем и, что самое удивительное, не стеснялся открыто говорить об этом. В своем письме в штаб СС он сообщил, что всегда докладывал о врагах государства, где бы они ему ни попадались, и есть достаточно доказательств, что это не преувеличение. Бостунич страдал манией преследования; однажды, еще в начале войны, шеф гестапо Гейдрих был вынужден прислать ему в качестве телохранителя профессионального боксера. Когда в отсутствие Бостунича гестапо провело в его доме свою обычную проверку, Бостунич немедленно кинулся за помощью к Гиммлеру, утверждая, что пал жертвой масонских козней.

К концу 30-х годов Бостунич стал одним из главных экспертов СС по еврейскому вопросу и крупнейшим авторитетом по борьбе с масонами[32]. Однако в конце войны его фанатизм раздражал даже Гиммлера, который заявил ему, что официальная линия по отношению к масонству изменилась, что его лекции нуждаются в цензуре, к тому же ему больше не разрешается появляться в форме СС. Это было тяжелым ударом, и Бостунич провел остаток войны в попытках отменить несправедливый приказ. Бостунич обладал уникальной библиотекой по масонству и еврейству, насчитывавшей 15 000 томов, и потратил много времени на поиски надежного места для ее хранения за пределами Берлина. Еще он пытался, правда безуспешно, убедить Гиммлера принять необходимые меры против курения в общественном транспорте (в первую очередь это должно было касаться возвращающихся с фронта солдат) и ускорить обслуживание на почте. У Гиммлера к этому времени были заботы куда более серьезные. Теперь, когда приближался конец войны и вместе с ним победа жидомасонских сил, шестидесятилетний больной Бостунич оказался предоставлен самому себе.

Случай Бостунича по-своему показателен, так как в нем проявилось как то общее, что есть у черносотенной идеологии и нацистского мировоззрения, так и то, что их разделяет. Нацизм с его убежденностью в расовой исключительности не мог принять в свои ряды русских (или других ненемцев), как бы ни были они близки ему идеологически. Некоторым отдельным личностям вроде Бостунича удалось прорваться в ряды нацистов и стать «расовыми немцами», но нечего говорить, что этот путь был закрыт для большой группы людей другой национальности.

Идеи Черной сотни оказали влияние на гитлеровское движение только в самом начале его существования. В Германии и без того были сильны пангерманские и антисемитские традиции, и Гитлер, возможно, обошелся бы без этой идеологической поддержки извне. Тем не менее сильное влияние иностранцев неоспоримо: прибалтов, бежавших из России в 1918 году, и русских ультраправых — они обеспечили идеологическое оружие и материальную помощь. Именно благодаря им возникло совершенно искаженное представление, которому вслед за Гитлером поверили многие миллионы немцев. В дальнейшем это представление отразилось на нацистской политике по отношению к Советскому Союзу и на еврейском вопросе; а во время второй мировой войны эти безумные идеи обрели реальность в виде лагерей смерти.

---

[31] «Луч света», т. 4; немецкий перевод вышел в 1936 г. в Граце, под названием «Смерть палача». Бостунич продолжал писать пьесы при нацистах, однако они не имели успеха. Гиммлер был против постановки пьесы «Невеста СС»: намерение похвальное, сказал он, а исполнение — не совсем.

[32] После 1935 г. он стал все больше специализироваться на масонских интригах и заговорах, так как специалистов по антисемитизму стало слишком много, и тут его услуги уже не пользовались таким спросом.

Курьер «ИЛ»

Венгрия

ВЕНГЕРСКИЙ ИВАН ДЕНИСОВИЧ?

«Не только размеры книги, не только тема сближает (я бы даже сказал, роднит) ее с эпохальным трудом Александра Солженицына, но и та колоссальная внутренняя потребность, которая побудила того и другого автора взяться за перо»,— пишет на страницах журнала «Кёнывилаг» Габор Мурани, откликнувшийся на выход в Венгрии книги Яноша Рожаша «Горькая молодость».

«Янош Рожаш — по сути венгерский Иван Денисович,— считает другой критик, Тамаш Кабдебё.— На книжной полке его книга должна стоять рядом с воспоминаниями Йожефа Лендела и Андора Габора, только Янош Рожаш не был интеллектуалом, не был прежде революционером, коммунистом, как эти двое, он был и остался простым, рядовым человеком».

Янош Рожаш родился в 1926 году в Будапеште, с четырнадцати лет пошел работать — семья нуждалась, и мечту о продолжении учебы пришлось отложить на долгие годы. Осенью 1944-го восемнадцатилетнего юношу призвали в армию, в декабре того же года он попадает в плен к русским, его приговаривают к десяти годам принудительных работ. Девять лет из десяти он провел в лагерях ГУЛАГа. В декабре 1953 года возвратился на родину.

К мемуарам, которые Я. Рожаш начал писать, возвратившись домой, проявляли интерес советское издательство АПН, будапештское «Магветё», но до издания книги ни в том ни в другом случае дело не дошло. Рукопись оказалась на Западе, и в 1986 году вышел первый том воспоминаний Рожаша «Горькая молодость», а в 1987-м — второй, «Спасительная надежда». Книги вышли в Мюнхене на венгерском языке и имели большой успех среди венгерских эмигрантов. Рецензии на них поступали в Венгрию из всех уголков мира.

И вот недавно будапештское издательство «Сабадтер» выпустило новое издание нашумевшего произведения. В качестве предисловия к нему помещены четыре страницы текста из «Архипелага ГУЛАГ», посвященные Рожашу. На обложку книги с разрешения А. Солженицына вынесена фраза (на русском и венгерском языках): «Александр Солженицын поздравляет своего лагерного друга Яноша Рожаша с выходом его книги на его родине».

В своих воспоминаниях Я. Рожаш описывает — день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем — свое пребывание в различных лагерях, тюрьмах, на пересылках. «Его память,— отмечает один из рецензентов,— словно электронная машина, она зафиксировала все». Она вобрала в себя 444 судьбы русских, украинцев, белорусов, казахов, армян, немцев Поволжья, поляков, других товарищей по несчастью и 167 судеб его соотечественников. «Это — подлинные истории, а не «легенды», не придуманные задним числом эффектные сюжеты. Они дадут историку,— полагает Т. Кабдебё,— гораздо больший материал, чем самые умелые обзоры политиков-идеологов».

Критики подчеркивают огромную документальную ценность книги, и многие из них признаются, что больше всего их поразило в ней абсолютное отсутствие злобы, ненависти — ни к той стране, где прошла «горькая молодость» Рожаша, ни к кому-либо из ее людей. Наоборот, этот «какой-то не по-лагерному воспитанный, даже робкий молодой человек усердно учил в лагере язык своих надзирателей и конвоиров» — так пишет о нем А. Солженицын. Я. Рожаш много читал, все вызывало у него живейший интерес, а признательность тем, кто спас от смерти «никому не нужного молодого человека», переросла в нем в горячую любовь к России. «То, что Янош Рожаш при всей его скромности и простоте все же не был человеком со «стертым» лицом, просто одним из сотен тысяч, подтверждает хотя бы уважение, с каким вспоминает о нем А. Солженицын»,— пишет парижский журналист Дежё Ланди.

«Из большой венгерской литературы уже нельзя исключить эту книгу. Она показывает, что и в суровые бесчестные времена, пройдя через ад тяжких испытаний, унижений, мытарств, все же можно остаться чистым и незапятнанным. Скромное, тихое, но далеко слышное вокруг слово его хроники — это слово нашего нравственного возрождения» — такую оценку получила книга Я. Рожаша во время ее представления в Стокгольме.

Гаити

ЦАРСТВО ТЕМНОКОЖЕГО ЭРОСА

Новое литературное путешествие в мир любви предлагает совершить читателям известный гаитянский писатель Рене Депестр в своем сборнике рассказов «Эрос в китайском поезде», о выходе которого сообщает парижский журнал «Кензен литтерер».

Сборник состоит из девяти новелл и мистической притчи, действие которых происходит в Китае, Японии, Югославии, Франции, Бразилии и — естественно — на Гаити. Галерея мужских персонажей весьма разнообразна: студент, маститый писатель, журналист, врач... Их возрастной диапазон также широк — от юношей до стариков. Все они — темнокожие, и всех объединяет то, что над ними безраздельно

Рене Депестр.
(Журнал «Кензен литтерер»)

властвует эрос. Героини Р. Депестра здесь, как и в предыдущих его произведениях, неизменно молоды, очаровательны и чувственны — словом, «это прелестный букет».

Среди поведанных историй встречаются как классические варианты (когда двое отдаются испепеляющей их страсти), так и «оригинальные» сюжеты. В одном из рассказов любовным утехам в купе поезда, следующего в Югославию, предаются сразу три пары; в другой новелле муж сам подталкивает к интимному союзу собственную жену и своего приятеля. Рене Депестр постоянно подчеркивает безудержность, импульсивность, чувственную свободу темнокожего мужчины вообще и гаитянца в частности, с чем так контрастирует европейская зажатость и боязнь «грешных удовольствий».

Однако, предупреждает журнал, не нужно спешить с выводом об извращенной сексуальности героев Р. Депестра, ибо она представлена как полное радости здоровое желание, которое, будучи сильным и полнокровным, требует немедленного удовлетворения. Именно поэтому автор опускает сцены предварительных объяснений и душевных переживаний и сразу же переходит к описанию интимной близости, что, по мнению журнала, составляет одну из главных сложностей эротического жанра, ибо «каждый раз приходится искать все новые и новые краски для изображения этого бесконечно повторенного и все же неповторимого и вечного таинства».

Рене Депестра нетрудно упрекнуть в отсутствии психологической глубины, однако он и не стремился к ней. «Эротика в его произведениях служит мощным оружием, которое должно если не опрокинуть, то по крайней мере сдвинуть с места и поколебать пуританство, все еще встречающееся в социалистических странах, и расизм, проявляющийся всюду, и особенно в США и во Франции»,— заключает «Кензен литтерер».

Германия

ЗИГФРИД ЛЕНЦ О СВОЕМ НОВОМ РОМАНЕ

Герой нового романа Зигфрида Ленца «Простукивание», вышедшего в гамбургском издательстве «Хофман унд Кампе», каменотес Ханс Боде, несостоявшийся скульптор, занимается изготовлением кладбищенских надгробий. Перед тем как обработать камень, Боде простукивает глыбу молотком, чтобы на слух определить, нет ли в ней скрытых трещин или посторонних включений, которые могут повредить изделию. И с тревогой отмечает, что результат все чаще оказывается неутешительным: камень, этот символ долговечности, устойчивости, надежности, оказывается «больным», подверженным порче и разрушению.

Так возникает символ, который в романе относится не только к камням, но прежде всего к людям. Ян Боде, двадцатичетырехлетний сын каменотеса, не сумев найти места учителя, устраивается детективом в крупный универмаг: у экрана контрольного телемонитора он наблюдает «феномен массовой клептомании», нравственной порчи, которой заболевают люди в современном обществе.

«Магазин — тоже своего рода символ,— заявил в интервью журналу «Бух актуэль» Зигфрид Ленц.— Здесь храм потребления. Здесь воочию видишь, как тупеют люди...

— Персонажи вашего романа живут в раю товарного благоденствия,— замечает интервьюер.— И все-таки их не назовешь счастливыми...

— Мы жалкие, достойные жалости создания. Блеск внешней роскоши тут мало что изменил».

Надежду в романе Ленца воплощает маленький мальчик Фриц, тончайший слух которого способен, как ничей другой, определять чистоту и доброкачественность камня. «Он, можно сказать, тот самый молоток, которым простукивают глыбу, чтобы проверить ее на слух,— говорит писатель.— Его любознательность, его почти непостижимая для этого возраста страсть к камням, само его присутствие побуждают всю семью что-то изменить в жизни. В этом смысле Фриц — носитель надежды... Он может осуществить то, чего не сумели Ханс Боде и его сын Ян».

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» ИОГАННЕСА МАРИО ЗИММЕЛЯ

Новая книга Иоганнеса Марио Зиммеля «Весной жаворонок поет последний раз», вышедшая в мюнхенском издательстве «Дрёмер Кнаур»,— во многих отношениях «роман с ключом», считает рецензент журнала «Шпигель», активист движения «зеленых» И. Фишер. Так, прототипом одного из главных персонажей, руководителя химического концерна Ханзена, можно считать фабриканта Хиппельштайн-Имхаузена, построившего для Каддафи в Ливии завод отравляющих веществ, «Освенцим в пустыне», как назвал его один из обозревателей.

Роман заставляет вспомнить целый ряд международных скандалов, в которых оказались замешаны предприниматели из ФРГ: нелегальный экспорт ядерных материалов и технологий в Пакистан и Индию, тайные поставки подводных лодок в ЮАР, подпольный оружейный бизнес с участием немецких колонистов в Парагвае. «Германская марка, германская марка превыше всего» — вот жизненное кредо многих персонажей романа. Для Зиммеля, однако, эта тема связана с другой, не менее насущной для ФРГ: темой разрушения окружающей среды.

Фирма Ханзена производит парадихлорбензол — вещество, которое можно положить и в гроб к покойнику, и в стойло скоту, чтобы устранить дурной запах. Но этот опасный канцероген невозможно затем удалить биологическими методами, он попадает в сточные воды, в почву, в воздух, а затем и в организм человека.

Другой персонаж романа — доктор Маркус Марвин, физик-ядерщик, убежденный сторонник атомной энергетики, служащий управления по надзору за атомными электростанциями земли Гессен. Читатель знакомится с ним в момент душевного кризиса: от него ушла жена, а затем и 18-летняя дочь, активистка экологического движения. Она не без оснований считает, что отец соучаствовал в сокрытии аварии на атомной электростанции Библис в 1987 году, сведения о которой лишь год спустя просочились через американские источники.

Начальство посылает Марвина в Америку, и там с ним происходит резкая перемена. «Атомный Савл превращается в защитника окружающей среды Павла» — так характеризует это рецензент. Вернувшись в Германию, Марвин пишет отчет, который означает быстрый конец всей его карьеры, и присоединяется к группе ученых-экологистов.

Сложно переплетенные между собой события разворачиваются в жанре захватывающего детектива: герои перемещаются между Франкфуртом-на-Майне, Рио-де-Жанейро и Боготой, их выслеживают, пытаются отравить, в них влюбляются и стреляют. Зиммель умеет построить сюжет — недаром почти все его предыдущие книги стали бестселлерами и разошлись на разных языках общим тиражом 65 млн. экземпляров.

«Новый роман писателя служит делу предотвращения грозящей экологической катастрофы,— считает рецензент.— Книга говорит о моральной несостоятельности тех, кто принимает решения и должен за них отвечать, призывает к действию. Одного этого достаточно, чтобы пожелать и ей высоких тиражей».

Италия

«ДНЕВНИК ДУРОЧКИ»

«Пиши, Италия» — таков был девиз не совсем обычного литературного конкурса, который организовали журнал «Панорама» и издательство «Мондадори». Участникам — а им мог стать любой итальянец — предлагалось попробовать свои силы на литературном поприще, описав жизнь современной Италии. Под стать нетрадиционному замыслу было выбрано и жюри: вместо маститых критиков и профессиональных писателей — философы, ученые, художники, журналисты, судьи... Успех смелого эксперимента превзошел все ожидания: жюри получило более тысячи (!) рукописей со всех концов страны. «И каждый пишет по-своему, получилась не одна Италия, а тысяча Италий!» — поражается обозреватель «Панорамы». Журнал отмечает любопытный факт: авторы делятся на две почти равные половины — на тех, кому за 30 лет, и тех, кому за 50. Профессии самые разные, большинство приславших рукописи на конкурс — женщины.

Одна из них победила — Паола Пело, пятидесятипятилетняя домохозяйка из Милана. Она много путешествовала, жила в Аргентине, Швейцарии, Австрии, Англии, Германии... Домохозяйкой стала недавно, а до того работала; из писателей предпочитает М. Пруста; над своей первой книгой потрудилась основательно: «Живость диалогов мне давалась нелегко — раза три все переписывала, не меньше».

Героиня книги-победительницы «Дневник дурочки» очень похожа на ее автора — она тоже миланская домохозяйка и даже живет на той же улице Пьятти. Но почему «дурочка»? «Домохозяйка большую часть времени проводит вне общества,— поясняет Паола Пело,— мало с чем сталкивается непосредственно, о многом знает лишь понаслышке — из случайных разговоров, газет или книг. Иначе говоря, она в определенном смысле — «дурочка». С другой стороны, в отличие от работающих на фабриках и в учреждениях, она в меньшей степени чувствует себя «винтиком» и благодаря своей наивности может воскликнуть: «А король-то голый!» Героиня Паолы Пело критично относится к окружающему, не приемлет лицемерия и предрассудков, по-своему

Паола Пело.

(Журнал «Панорама»)

проницательна и вовсе не так уж глупа.

Почему же среди множества историй о терроризме, психических заболеваниях или первой любви жюри выбрало именно «Дневник дурочки»? Журнал приводит слова представителя издательства Ферруччо Параццоли: «Живая, занимательная книга Паолы Пело — приятный сюрприз. Маленький мир дневника домохозяйки вместил в себя всех и вся, он оказался универсален. Этот дневник не описывает страну, он — сама Италия, калейдоскопичная, разноголосая, многоликая».

США

«В МОЕМ КОНЦЕ — МОЕ НАЧАЛО»

«Эпохальное событие», «самая значительная публикация года, а может быть, и десятилетия», «бесценный подарок любителям поэзии и литературоведам» — так высоко и на редкость единодушно англоязычная пресса отозвалась о выходе в США «Полного собрания стихотворений Анны Ахматовой». «Гигантская пятнадцатилетняя подготовительная работа издательства «Зефир пресс» увенчалась успехом: двуязычное собрание сочинений стало действительно самым полным как в английском, так и в русском вариантах»,— отмечает рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью», профессор Оксфордского университета Джон Бейли.

Двухтомник включает в себя более 700 произведений, со многими из которых русскоязычные читатели встретятся впервые, ибо вышедшее в СССР к столетию Анны Ахматовой издание уступает американскому по полноте. Что касается англоязычных читателей, то они не только познакомятся с сотнями ранее не публиковавшихся переводов, но и — что, по мнению Дж. Бейли, еще важнее — получат истинное представление о творчестве Ахматовой. Таков блестящий итог многолетнего труда английской поэтессы и переводчицы Джудит Хемсмайер. Как считают критики, главная заслуга профессора Хемсмайер состоит в том, что она отказалась от традиционного воссоздания стихотворных рифм и форм оригинала, стремясь прежде всего точно передать ахматовские образы, мысли, чувства. «Г-жа Хемсмайер справилась с задачей превосходно — то есть насколько это вообще под силу переводчику»,— указывает английская «Гардиан».

Не менее великолепна и включенная в двухтомник 150-страничная биография великой поэтессы и изумительной женщины, написанная Робертой Ридер — видным специалистом по русской культуре. Это фундаментальное научное исследование, а также подробные комментарии и прилагаемые воспоминания А. Наймана и И. Берлина, близко знавших Ахматову, являются важным вкладом в изучение ее творчества, полагают критики. Книгу отличает богатое художественное оформление: в ней помещено более ста иллюстраций, большинство из которых ранее встречалось лишь в русских изданиях.

«В моем конце — мое начало» — этот девиз Марии Стюарт был для Ахматовой источником вдохновения. И она, обладавшая, как и

всякий настоящий поэт, даром предвидения, не ошиблась»,— заключает «Нью-Йорк таймс бук ревью».

«КОСТРЫ АМБИЦИЙ» В КНИГЕ И НА ЭКРАНЕ

Роман американского писателя Тома Вулфа «Костры амбиций» вновь привлек к себе внимание критиков и рецензентов после выхода на экран одноименного фильма. С обстоятельным разбором новой киноленты выступил журнал «Тайм». Отдавая дань мастерству сценариста Майкла Кристофера и режиссера Брайена де Пальма, рецензент Ричард Шикел считает существенным недостатком фильма значительное отступление его создателей от сюжетной канвы увлекательной книги.

В своем произведении, опубликованном в 1987 году, Том Вулф поведал о личной драме одного из сильных мира сего — банкира Шермана Маккоя. Непривычную для себя роль финансового магната блестяще, по мнению Р. Шикела, сыграл Том Хэнкс.

Отвозя после свидания свою приятельницу Марию домой, Шерман сбивает чернокожего юношу в бедняцком районе Южного Бронкса. Любовники спешно покидают место происшествия, ничего не сообщив полиции.

Однако властям становится известно о случившемся. Разражается грандиозный скандал, из которого стремятся извлечь выгоду некий пройдоха-священник и нечистоплотный журналист (последнему персонажу, считает рецензент, отведено в фильме неоправданно много места ради кинозвезды Брюса Уиллиса). К хору разного рода обличителей Шермана присоединяются и слуги закона, желающие создать видимость абсолютной беспристрастности американского правосудия.

В конце романа герой трагически переживает глубокий разлад с обществом и с собой. Но создатели фильма по-своему интерпретировали финал произведения Тома Вулфа, лишив свое детище отличающего книгу нравственного и социального звучания. Зритель, отмечает «Тайм», не увидев душевных терзаний Шермана, оказавшегося жертвой того самого общества, в котором недавно царил.

По воле сценариста Шерману Маккою удается благополучно избежать тюремного заключения. В последних кадрах картины почтенный судья, словно в насмешку над Томом Вулфом, «потчует зрителей умильной проповедью либерально-гуманистического толка».

«Это отвратительный конец, искажающий глубокие мысли автора»,— пишет Ричард Шикел. Вместе с тем, считает он, режиссеру Брайену де Пальма удалось с помощью неожиданных световых эффектов и необычных ракурсов съемки в какой-то мере передать художественное своеобразие романа, добиться того, чего Том Вулф достиг выразительностью диалогов и пародийностью, скрытой под личиной беспристрастности.

Вскоре читатели «Иностранной литературы» смогут сами познакомиться с произведением выдающегося американского прозаика и по достоинству оценить его талант.

Мелани Гриффит и Том Хэнкс в фильме Брайена де Пальма «Костры амбиций»

(Журнал «Тайм»)

КРОВЬ, ПОТ И СЛЕЗЫ

«Мне нравится, что оно горькое, потому что это мое сердце». Так называется новый роман Джойс Кэрол Оутс, выпущенный издательством «Абрамс/Даттон». Странное название двадцатого по счету романа писательницы — это цитата из стихотворения американского поэта конца века Стивена Крейна. В небольшой поэтической притче рассказывается о человеке, поедающем собственное сердце. На вопрос прохожего, каково оно на вкус, человек отвечает словами, вынесенными на обложку новой книги Оутс.

В этом романе, по словам обозревателя журнала «Ньюсуик», Оутс возвращается к проблематике своих ранних книг. Здесь, как и во многих ее произведениях, «ландшафт души» героев столь же печален и мрачен, как и географический ландшафт, в котором разыгрываются ее драмы. Территория Оутс — трущобные кварталы города, где по зловещим улицам бродят одинокие неприкаянные люди — главным образом молодые. Здесь царят насилие и страх, тяжко пахнет кровью. Любовь не посещает эти темные закоулки жизни, и взрослые отчаялись настолько, что не могут утешить собственных детей. Персонажей Оутс раздирают саморазрушительные конфликты, иссушающие душу... В новой книге писательницы ко всем привычным для ее прозы социальным коллизиям добавляется и расовый антагонизм.

Дело происходит в 1956 году в небольшом городке на севере штата Нью-Йорк. Завязка сюжета — убийство. Как-то поздно вечером, проходя по улице негритянского гетто, четырнадцатилетняя Айрис подверглась нападению белого юнца. Ей на помощь пришел черный юноша Джинкс Фейрчайлд. В начавшейся драке он убил белого. Это было случайное убийство, совершенное непредумышленно, в целях самообороны. Сегодня, подчеркивает рецензент, суд оправдал бы Джинкса. Но тогда были иные времена, иные нравы. Стандартная ситуация: белый убит негром, к тому же в инциденте замешана белая девочка. Молодому негру грозит электрический стул.

Участникам трагедии Джинксу и Айрис ничего не остается, как только держать язык за зубами. Что они и делают. Далее сюжет концентрируется вокруг этих двух судеб, во многом

Джойс Кэрол Оутс.

(Газета «Таймс»)

схожих. Родители Айрис расходятся. Рушится и семья Фейрчайлдов. Девушка и юноша страдают от неизбывного одиночества и от странного, непреодолимого чувства притяжения-отталкивания. Тем временем Джинкс становится звездой школьной баскетбольной команды, состоящей в основном из белых. Многие колледжи приглашают его учиться, но черный юноша отказывается, боясь, что может стать «объектом эксплуатации со стороны белых». И в дальнейшем становится жертвой куда более опасной «эксплуатации», когда его отправляют во Вьетнам.

Произведения Оутс, пишет «Ньюсуик», сильно разнятся по своему художественному уровню. Так, изданный в конце 1988 года роман «Американские аппетиты» разочаровал критиков рыхлостью, замедленностью и отчасти надуманностью сюжета. В последней же книге писательница «достигла своей вершины». Нынешний ее успех связывают прежде всего с психологической точностью и достоверностью изображения сложной, изломанной душевной жизни черного юноши. Оутс, по мнению рецензента, ухватила самую суть расового конфликта, «в основе которого издавна лежит глубоко укоренившееся в сознании черных и белых американцев взаимное недоверие».

Франция

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ...

Впервые за сорок лет, пишет рецензент газеты «Либерасьон», члены гонкуровской академии остановили свой выбор на первой книге одного из претендентов: в 1990 году наиболее престижную литературную премию Франции получил Жан Руо из Нанта (в Париже он живет десять лет, в последнее время подрабатывал киоскером). Его роман «Поля чести» выпустило в свет издательство «Минюи», возглавляемое Жеромом Лэндоном и открывшее читающей публике не только тексты представителей школы «нового романа», но и прозу молодого поколения — Э. Гибера, Ж. Эшеноза и других.

Не так давно Руо предлагал парижским издателям, в том числе и Ж. Лэндону, рукопись повести, озаглавленной «Предыстория»,— своего рода набросок сегодняшнего «романа-триумфатора», сообщает «Либерасьон». В «Полях чести» резче определился основной круг тем — история семьи, память о прошлом, оплакивание близких. Одни легли во тьму фамильного склепа на кладбище небольшого городка под Нантом, в низовьях Луары (отец мальчика, ведущего повествование; тетушка Мари, сестра отца,— одинокая старая дева), другие — полегли на «полях чести» в годы первой мировой войны (братья отца — отравленный ипритом Жозеф, оставивший дома жену и сынишку Эмиль).

По ком звонит колокол в книге Жана Руо? На этот вопрос рецензент «Либерасьон» отвечает не колеблясь: по безвестным «героям войны», по вовсе уж безвестным их матерям, сестрам, женам — по привычному быту, семейному укладу «конца века» и «прежней», довоенной жизни. «Жан Руо,—дает свою оценку «Либерасьон»,— рассказывает нам о дорогих его сердцу событиях хриплым, искаженным печалью голосом, и точность его интонации потрясает».

По данным газеты, еще до получения Руо Гонкуровской премии во Франции книгу прочли 70 тысяч человек. Сейчас она переводится на добрый десяток языков («ИЛ» также планирует познакомить с ней своих читателей), и крупнейшие парижские издатели готовы в недалеком будущем рассмотреть новое произведение писателя — трилогию о первой мировой войне и обстоятельствах смерти отца.

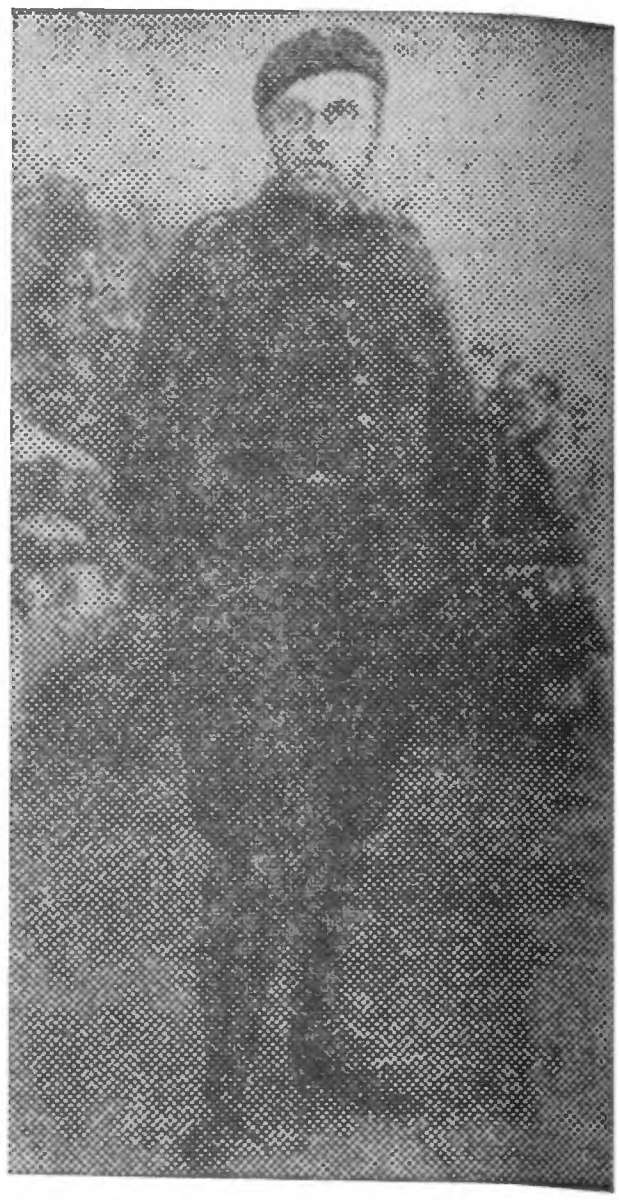
НАПИСАНЫ ПЕРВЫМИ — ИЗДАНЫ ПОСЛЕДНИМИ

И на самых изученных «литературных материках» можно совершать открытия. Эту истину блестяще подтвердил исследователь Мишель Конта, отыскавший «на земле Сартра» юношеские тетради писателя, относящиеся к 20-м годам и хранившиеся в архивах Симоны де Бовуар.

Сомневаться в подлинности материалов, найденных через десять лет после смерти Сартра, не приходится, ибо М. Конта — знаток его творчества и крупный специалист по установлению авторства. Вместе со своим коллегой и неизменным помощником Мишелем Рыбалка он подготовил к публикации романы Сартра в серии «Плеяда», составил первую полную библиографию работ Нобелевского лауреата, а также возглавил научную программу, предусматривающую, в частности, поиск и идентификацию текстов Сартра. Промежуточным результатом этих изысканий и стал выход «Юношеских тетрадей Сартра» в издательстве «Галлимар».

Эти записи Жан-Поль Сартр начал делать, когда ему было семнадцать лет, а закончил приблизительно в двадцать пять, рассказывает М. Конта в интервью журналу «Магазин литтерер». Они представлены тремя неизданными романами, новеллой, очерком, набросками будущих произведений. Обнаружены, к примеру, главы романа «Иисус-Сова», в котором молодой автор рисует события своей школьной жизни, когда он впервые столкнулся со злом и жестокостью. В романе «Поражение», где также описаны школьные годы, Сартр говорит от лица неудачника по имени Фредерик: он терпит фиаско буквально во всем, он даже не способен привлечь внимание понравившейся женщины — супруги своего учителя. «Примечательно, что везде автор постоянно иронизирует над собой,— размышляет М. Конта.— Эти тетради помогают проследить, как Сартр вырос в создателя «Тошноты».

Отвечая на вопрос о сегодняшней популярности Сартра, исследователь напоминает: «За ним прочно утвердилась репутация классика; по числу публикаций, занесенных в международные библиографические справочники, во французской литературе XX века Ж.-П. Сартр следует сразу же за М. Прустом и намного опережает Л.-Ф. Селина».



Жан-Поль Сартр. Эльзас, 1939 год.

(Журнал «Магазин литтерер»)

Авторы этого номера

ГРЭМ ГРИН (GRAHAM GREENE; 1904—1991) — английский писатель. В 1956 г. «Иностранная литература» впервые познакомила советских читателей с творчеством Грина, напечатав его роман «Тихий американец». В последующие годы на страницах журнала неоднократно появлялись его романы, повести, рассказы, публицистика. Многие произведения Грина печатались в периодике и советских издательствах. В настоящее время издательство «Художественная литература» готовит к печати собрание сочинений писателя в шести томах.
Рассказ «Последнее слово» взят из одноименного сборника («The Last Word and Other Stories», London, Reinhardt Books in Association with Viking, 1990).

КЭНДЗИ МАРУЯМА (род. в 1943 г.) — японский писатель. Живет в маленьком городке, в горах префектуры Нагано. В двадцать три года за повесть «Течение лета» получил премию Акутагава и стал самым молодым лауреатом этой высшей в Японии литературной награды. Автор многих романов, повестей, рассказов. Наиболее известны романы «Источник планет» (1986), «Упавшая в поле звезда» (1990).
Повесть «Сердцебиение» («Токимэки-ни сиру») печатается по изданию Токио, Бунгэй сюндзю, 1983.

ИФТИХАР АРИФ (род. в 1943 г.) — пакистанский поэт, пишет на языке урду. С 1983 г. живет в Лондоне. Лауреат премии Гильдии писателей Пакистана (1984) и Международной премии Фаиза Ахмада Фаиза (1988).
Публикуемые стихи взяты из книг «Раскаленное солнце» (Лондон, Хусейнз, 1983) и «Запасной игрок» (Лондон, «Форест букс», 1989).

ОЛДОС ХАКСЛИ (ALDOUS HUXLEY; 1894—1968) — английский писатель. Литературную деятельность начал как поэт в 1916 году; был литературным и театральным критиком. Многие годы жил в Италии и США. Автор романов «Шутовской хоровод» («Antic Hay», 1923; рус. пер. 1936), «Контрапункт» («Point Counter Point», 1928; рус. пер. 1936), «Желтый Кром» («Crome Yellow», 1921; рус. пер. 1986), «Слепой в Газе» («Eyeless in Gaza», 1936), «Через много лет умирает лебедь» («After Many a Summer Dies the Swan», 1939), «Остров» («Island», 1962), сборников рассказов, эссе и др. В «ИЛ» напечатан его роман «О дивный новый мир» (1988, № 4).
Первое издание повести «Гений и богиня» вышло в Англии в 1955 году («The Genius and the Goddess», London, Chatto & Windus, 1955).

АНТОНИО ТАБУККИ (ANTONIO TABUCCHI; род. в 1943 г.) — итальянский писатель. Автор романов и повестей «Площадь Италии» («Piazza d'Italia», 1975), «Кораблик» («Il piccolo naviglio», 1978), «Индийский ноктюрн» («Notturno indiano», 1984), «Линия горизонта» («Il filo dell'orizzonte», 1986), сборников рассказов «Перевертыши» («Il gioco del rovescio», 1981), «Женщина из Порто Пим» («Donna di Porto Pim», 1983). А. Табукки — филолог, исследователь творчества португальского поэта Фернандо Пессоа.
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Маленькие несущественные недоразумения» («Piccoli equivoci senza importanza», Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1985).

КАРЕН БЛИКСЕН (KAREN BLIXEN; 1885—1962) — датская писательница. Начала печататься в 1907 г. Обучалась живописи в Копенгагене, Париже и Италии. С 1914 по 1931 г. жила в Кении. Первая книга «Семь готических рассказов» («Seven Gothic Tales») вышла на английском языке в 1934 г. под псевдонимом Исак Динесен; в собственном переводе на датский — в 1935 г. под названием «Семь фантастических рассказов». Автор книги воспоминаний «Африканская ферма» («Den afrikanske farm», 1937), сборников новелл «Зимние сказки» («Vinter-eventyr», 1942), «Кони-призраки» («SpØgelseshestene», 1955), «Последние рассказы» («Sidste fortaellinger», 1957), «Роковые анекдоты» («Skaebne-anekdoter», 1958) и др., сборника эссе «Дагерротипы» («Daguerreotypier», 1951).
Новелла «Поэт» печатается по изданию «Фантастические рассказы» («Fantastiske fortaellinger», KØbenhavn, Gyldendal, 1964).

ЧЕСЛАВ МИЛОШ (CZESŁAW MIŁOSZ; род. в 1911 г.) — польский поэт, прозаик, литературовед, публицист, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 года. Окончил юридический факультет университета в Вильно, несколько лет был на дипломатической работе. С 1951 г.— в эмиграции. Профессор славянских языков и литератур в Калифорнийском университете в Беркли. Первые книги стихов Ч. Милоша выходили в Вильно в 1933—1936 гг. и в Варшаве в 1940 г. подпольно.
Публикуемые стихи взяты из книг «Спасение» («Ocalenie», Warszawa, 1945), «Дневной свет» («Światło dzienne», Paryż, 1953), «Заколдованный Гутя» («Gucio zaczarowany», Paryż, 1965), «Город без названия» («Miasto bez imienia», Paryż, 1969), «Где восходит солнце и где садится» («Gdzie wschodzi słońce i kedy zapada», Paryż, 1974), «Гимн о Жемчужине» («Hymn o

Perle», 1982), «Необъятная земля» («Nieobjeta Ziemia», 1984), «Хроники» («Kroniki», 1987).

ЭЛЛЕНДЕА ПРОФФЕР (ELLENDEA PROFFER; род. в 1944 г.) — американский критик, литературовед-славист, владелец и редактор издательства Ardis (штат Мичиган). Автор книг «Ранние пьесы Михаила Булгакова» («The Early Plays of Mikhail Bulgakov», 1971), «Серебряный век русской культуры» («The Silver Age of Russian Culture», 1975), «Булгаков» («Bulgakov», 1983), романа «Двойная свадьба» («Double Wedding», 1982) и многих статей. Как издатель Э. Проффер выпустила «Антологию новейшей русской литературы» (1975), книгу в фотографиях «Цветаева» («Tsvetaeva: A Photo Biography», 1980).
Публикуемая статья является послесловием к VIII тому Собрания сочинений Михаила Булгакова (в 10-ти тт.). Печатается с сокращениями.

ЕРОФЕЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1947 г.) — советский литературовед, критик, кандидат филологических наук. Автор многих статей по истории русской и западных литератур. В «ИЛ» напечатаны его статьи о Селине (1986, № 11) и Иосифе Бродском (1988, № 9).

Переводчики:

ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ (род. в 1956 г.) — советский переводчик с японского. В его переводах публиковались рассказы Кобо Абэ, Кэндзи Маруямы, Ясуси Иноуэ, главы из книги Такэси Кайко «Все дальше и дальше!» («ИЛ», 1986, № 3), роман Юкио Мисимы «Золотой Храм» («ИЛ», 1989, № 5) и др.

Е. СУРИЦ (Богатырева Елена Александровна) — советский переводчик с английского и скандинавских языков. В ее переводах издавались романы У. Голдинга «Повелитель мух», Дж. Стейнбека «Консервный ряд», Ш. Бронте «Городок», С. Хилл «Я в замке король» («ИЛ», 1978, № 1—2), В. Вулф «Миссис Дэллоуэй» («ИЛ», 1984, № 4), со скандинавских языков — роман К. Гамсуна «Пан», драмы А. Стриндберга, сценарии И. Бергмана и др. произведения классиков и современных писателей.

БАБКОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ (род. в 1961 г.) — советский переводчик с английского. В его переводе публиковались отрывки из романа Т. Вулфа «О времени и о реке», рассказы Т. Вулфа, В. Найпола, Р. Шекли и др.

ГОРСКАЯ НАТЭЛЛА ВСЕВОЛОДОВНА — советский переводчик испанской и латиноамериканской поэзии. В ее переводах публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Х. Л. Пачеко («ИЛ», 1972, № 4), Х. А. Гойтисоло («ИЛ», 1975, № 11), Р. Богранда («ИЛ», 1980, № 4) и др. Н. Горская переводила также стихи Фаиза Ахмада Фаиза (с урду), Р. Тагора, Суфию Камалу (с бенгали) и др.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»:

ЭДГАР ЛОУРЕНС ДОКТОРОУ «Билли Батгейт»
Новое сочинение известного автора. Остросюжетный психологический роман, повествующий об истории знаменитого американского гангстера. «Эта сказка о нью-йоркском гангстере эпохи Аль-Капоне столь хороша своим содержанием и столь питательна для ума, что просто обречена оставить след в вашем сознании»,— писала «Дейли телеграф».

ИВЛИН ВО «Черная беда»
Блестящий сатирический роман выдающегося английского писателя, который, описывая нравы вымышленного государства на востоке Африки, многое, похоже, угадал из сегодняшней жизни.

ШАНДОР КАНЯДИ «Есть край такой...»
Цикл стихов, лирических, печально-иронических, посвященных Трансильвании. Поэт выражает чаяния румынских венгров, самого многочисленного национального меньшинства в Европе.

ИТАЛО КАЛЬВИНО «Легкость»
Эссе из книги «Американские лекции», которая обошла едва ли не весь мир и стала последней работой одного из крупнейших итальянских писателей XX века.

«Любовник леди Чаттерли» — роман и его творец
Под этим заголовком опубликованы две статьи (ИГОРЬ КОН: «С точки зрения сексологии» и НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ: «По ту сторону сексологии»), приглашающие читателя к обсуждению нашумевшего романа.

Цена 2 руб. 95 коп.

ИНДЕКС 70394

Журнал

«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

предоставляет

заинтересованным учреждениям и фирмам,
как советским так и зарубежным,
свою

обложку и страницы журнала

для рекламы

Адрес редакции:
109017, Москва, Пятницкая, д. 41.
Телефон для справок и заявок на рекламу:
☎ 233-59-72 ☎